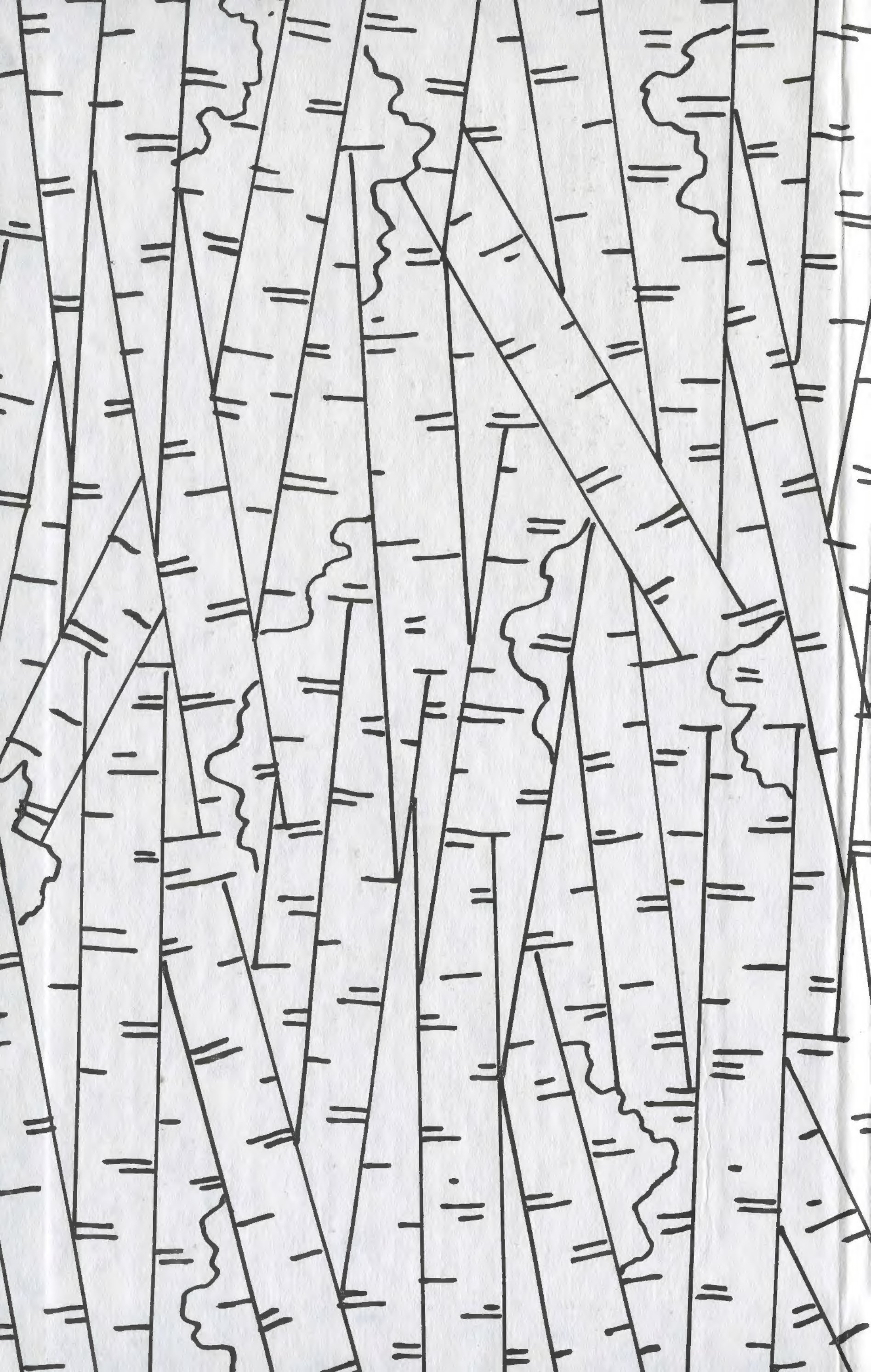
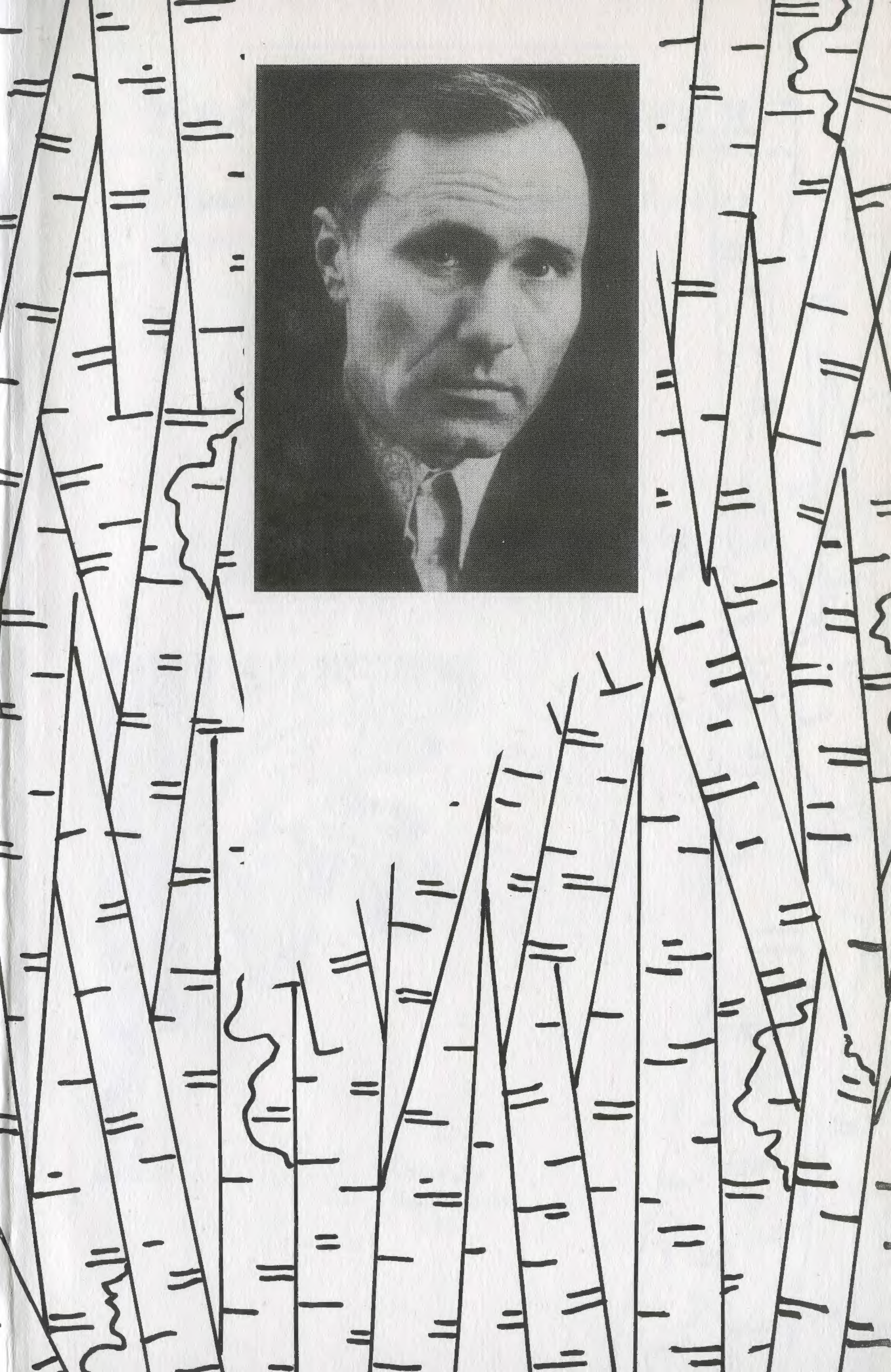
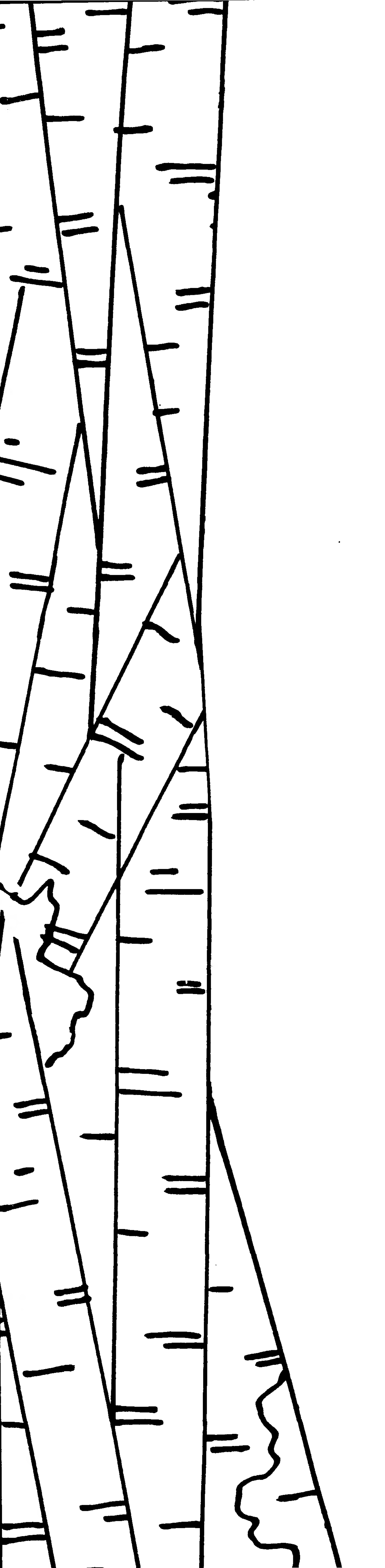
ВАСИЛИЙ
ШУКШИН









К 70-летию
со дня рождения
Василия Шукшина

Василий Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах



книга

Странные люди



Москва
«Надежда-1»
1998

ББК 84 Р7
Ш 95

Шукшин В. М.

Ш 95 Собрание сочинений в 6-ти книгах. Книга третья. Странные люди. М.: Изд-во «Надежда-1», 1998. — 528 с.

В третью книгу наиболее полного собрания сочинений Василия Шукшина вошли рассказы 70-х годов, повести для театра и публицистика. Раздел «Непросто говорить о Шукшине...» посвящен воспоминаниям коллег Василия Макаровича. В книге представлены фотографии из семейного архива писателя.

Ш $\frac{4702010200 — 048}{В72 (03) — 98}$

ISBN 5-86150-048-7

Рассказы 70-х годов

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Некоторые конкретные мысли Н.Н.Князева, человека и гражданина

1. «О ГОСУДАРСТВЕ»

В райгородок Н. приехали эти, которые по вертикальной стене на мотоциклах ездят. На бывшей базарной площади соорудили большой балаган из щитов и брезента, и пошла там трескотня с паузами; над площадью целыми днями висела синяя дымка и остро пахло бензином. Трескотня начиналась в 11 часов и заканчивалась в 19. По стене гоняли супруги Кайгородовы — так гласила афиша.

Кайгородовы остановились в здешней гостинице.

Как-то вечером к ним в дверь постучали.

Кайгородов, лежа на кровати, читал газету, жена его, рослая, круглолицая спортсменка, гладила платье.

— Да, — сказал Кайгородов. Отложил газету, сел, подобрал дальше под кровать босые ноги. — Войдите!

Вошел невысокий человек лет сорока пяти, голубоглазый, в галстуке, усмешливый, чуть нахальный.

— Здравствуйте! — сказал человек весело. — Разрешите познакомиться: Князев. Николай Николаич. Вас я знаю: наблюдал вашу работу.

Кайгородов, крепкий красивый мужик, пожал руку гостя. Тот слегка тоже пожал руку хозяина и поклонился Кайгородовой.

— Садитесь, — пригласил Кайгородов.

— Спасибо, — Князев сел и оглядел жилище спортсменов. — А номерок-то... не очень. А?

Кайгородов пожал плечами.

— Ничего. Временно же...

— Я, собственно, вот чего: хотел пригласить вас к себе домой, — сказал Князев. И вопросительно посмотрел сперва на Кайгородову, потом на Кайгородова.

— Зачем? — спросил прямодушный Кайгородов.

— Да так — в гости. Попьем чайку... — Князев смотрел на хозяев весело и бесцеремонно. — Я здесь близко живу. Иконами интересуетесь?

— Иконами?.. Нет. А что?

— У моей тетки есть редкие иконы. Она, конечно, трясется над ними, но когда приезжают знающие люди — показывает. Кроме того, если ей поднести стаканчик водки, — тоже покажет.

— Нет, не интересуемся.

— Ну, просто так пойдемте.

— Да зачем? — все не понимал хозяин.

— В гости, боже мой! — воскликнул Князев. — Что тут такого?

Жена Кайгородова посмотрела на мужа... Тот тоже глянул на нее. Они ничего не понимали.

— Ну? — продолжал Князев. — Чего переглядываться-то? Я же не приглашаю вас на троих сообразить.

— Слушайте, — перебил Кайгородов, человек прямой и несдержанный, — я не понимаю, чего вам надо?

— Тю-тю-тю, — с улыбкой, мирно сказал Князев. — Сразу — обида. Зачем же обижаться-то? Я просто приглашаю вас в гости. Что тут обидного?

— Да я не обижаюсь... — спортсмен несколько смутился. — Но с другой стороны... я не пойму...

— А я объясняю: пойдемте ко мне в гости, — опять мирно, терпеливо пояснил Князев. — И будет как раз с той стороны, с какой...

— Не пойду, — отчетливо, тоже изо всех сил спокойно сказал Кайгородов. Он опять обозлился. Обозлило вконец это нахальное спокойствие гостя, его какая-то противная веселость. — Вам ясно? Не пойду. Не хочу пить чай.

Князев от души засмеялся.

— Да почему?!

Кайгородов почувствовал себя в дураках. Ноздри его крупного красивого носа запрыгали.

— Гриша, — сказала жена предостерегающе.

Кайгородов встал... Пристально глядя на гостя, нашел под кроватью — ногой — тапочки, надел их и пошел к выходу.

— Пойдемте, — велел он Князеву тихо, но решительно.

— Гриша! — опять сказала жена.

— Все в порядке, — обернулся с порога Кайгородов. — Чего? — и требовательно посмотрел на сидящего Князева. И еще раз сказал: — Пойдемте.

— Куда? — спросил Князев.

— В коридор. Там объясните мне: чего вам надо.

— Да я здесь объясню, зачем в коридор-то? — похоже, гость струсил, потому что оставил веселость. И говорил теперь, обращаясь больше к хозяйке. — Вы не подумайте, ради бога, что я чего-нибудь тут... преследую, просто захотелось поговорить с приезжими людьми. К нам ведь не часто жалуют. Почему вы обиделись-то? — и Князев просто, кротко посмотрел на хозяина. — Я вовсе не хотел вас обидеть. Извините, если уж вам так не по нутру мое приглашение... — Князев встал со стула, — как умел, так и пригласил.

Кайгородову опять неловко стало за свою несдержанность. Он вернулся от двери, сел на кровать. Хмурился и не глядел на гостя.

— Гриша, — заговорила жена, — ты ведь свободен... Я-то не могу, — сказала она гостю, — мы завтра уезжаем, надо приготовиться...

— Я знаю, что вы завтра уезжаете, поэтому и пришел, — сказал Князев. — Вы уж извините, что так нескладно вышло... Хотел, как лучше. Вас, наверно, покоробило, что я хихикать стал? — повернулся он к Кайгородову. — Это я от смущения. Все же вы люди... заметные.

— Да ну, чего тут!.. — сказал Кайгородов. И посмотрел на жену. — Можно сходить, вообще-то...

— Сходи. А я буду собираться пока.

— Пойдемте! — подхватил Князев. — Посмо́трите как живут провинциалы... Все равно ведь так лежите.

Кайгородов, совсем уже было собравшийся с духом, опять заколебался. Вопросительно посмотрел на Князева,

Князев поглядел на него опять весело и с каким-то необъяснимым нахальством. Это изумляло Кайгородова.

— Пойдемте, — решительно сказал он. И встал.

— Ну вот, — с облегчением, как бы сам себе молвил Князев. — А то — в коридор...

Кайгородову теперь уже даже хотелось поскорей выйти отсюда с Князевым — понять, наконец, что это за человек и чего он хочет. Что тут что-то неспроста, он не сомневался, но ему стало любопытно, и он был достаточно сильный и смелый человек, чтобы надеяться на себя. Зато теперь жена явно обеспокоилась.

— А может быть, лучше... — начала было она, но муж не дал ей договорить:

— Я скоро, Галя.

— Мы быстро, — сказал и Князев.

Всякое смущение у Кайгородова прошло. Он скоренько оделся, и они вышли с Князевым из номера. На прощание Князев слегка опять поклонился Кайгородовой и сказал:

— Спокойной ночи.

На дворе уже стемнело. На улицах городка совсем почти не было освещения, только возле гостиницы, у подъезда, лежал на земле светлый круг, а дальше было темно и тревожно.

— Вон там вон мой дом, — сказал Князев. — Метров триста. Когда вышли из светлого круга и ступили в темень, Кайгородов остановился прикурить.

— Ну, так в чем дело? — спросил он, когда прикурил. Он не видел лица Князева, но чувствовал его веселый, нахальный взгляд, поэтому говорил прямо и жестко.

— Вас как по батюшке-то? — спросил Князев.

— Что надо, я спрашиваю?

Они стояли друг против друга.

— Господи! — насмешливо сказал Князев.— Да вы что, испугались, что ли?

— Что надо?! — в третий раз спросил Кайгородов строго. — Я знаешь, всяких этих штук не люблю...

— Тьфу! — горько и по правде изумился Князев. — Да вы что?! Ну, спортсмены... На чай приглашаю, в гости! Вот мой дом — рукой подать. У меня жена дома, дети, двое... Тетка в боковой комнате. Ну, дают спортсмены. Вы что?

— А что это за манера такая... странная? — сказал Кайгородов. — Хаханьки какие-то...

— Манера-то? — Князев хмыкнул. — Заметил!.. — и он двинулся в темноту. Кайгородов пошел следом. — Манера, которая вырабатывается от постоянного общения с человеческой глупостью и тупостью. Вот побьешься-побьешься об нее лбом — и начнешь хихикать, — Князев говорил серьезно, негромко, с грустью. — Сперва, знаете, кричать хочется, ругаться, а потом уж — смешно.

Кайгородов не знал, что говорить. Да и говорить сейчас было бы крайне неудобно: он продвигался наугад, несколько раз натыкался на Князева. Тот протягивал назад руку и говорил:

— Осторожно.

— Темно, как...

— Про Спинозу что-нибудь слышали? — спросил Князев.

— Слышал... Мыслитель такой был?

— Мыслитель, совершенно верно. Философ. Приехал он однажды в один городок, остановился у каких-то людей... Целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди, они как? — сразу на смех: глядите, мол, ничего человек не делает, только пишет. Что остается делать Спинозе?

— Вы спрашиваете, что ли?

— Спрашиваю. Что делать мыслителю?

— Что делать?.. Что он и делал — писать.

Князев помолчал... Потом сказал грустно:

— Это — легко сказать... спустя триста лет. А он был живой человек, его всякие эти... штуки, как вы говорите, тоже из себя выводили. Вот и мой дом, — сказал Князев. — Я хочу только предупредить... — Князев остановился перед воротцами. — Жена у меня... как бы это поточное — не сильно приветливая. Вы все поймете. Главное, не обращайте внимания, если она будет чего-нибудь... недовольство проявлять, например.

Кайгородов очень жалел, что пошел черт знает куда и с кем.

— Может, не ходить? — если она недовольство проявляет.

Князев — слышно было — тихо заругался матом.

— А что делал Спиноза? Вы же сами сказали! Смелей, спортсмен! Пусть нас осудят потом — если исторически окажутся умней нас, — Князев — чувствовалось — намеренно вызывал в себе некую непреклонность, которую он ослабил на время общения с незнакомыми людьми. — Не бойтесь.

— Да ничего я не боюсь! — раздраженно сказал Кайгородов. — Но поперся с вами зря, это уж точно.

— Как сказать, как сказать, — молвил Князев, открывая сеничную дверь. — Тут осторожней — головой можно удариться.

В большой светлой комнате, куда вошли, бросалось в глаза много телевизоров. Они стояли везде: на столе, на стульях... Потом Кайгородов увидел сухощавую женщину в кути у печки, она чистила картошку. Кайгородова поразили ее глаза: враждебно-вопросительные, умные, но сердитые.

— Здравствуйте, — сказал Кайгородов, наткнувшись на сердитый взгляд женщины.

— Это товарищ из госцирка, — пояснил Князев. — Приготовь нам чайку. А мы пока побеседуем... Проходите сюда, товарищ Кайгородов.

Они прошли в горницу — тоже большая комната, очень много книг, большой письменный стол и тоже полно телевизоров.

— Почему столько телевизоров-то? — спросил Кайгородов.

— Ремонтирую, — сказал Князев, сразу подсаживаясь к столу и извлекая из ящика какие-то бумаги. — Спиноза стекла шлифовал, а я вот... паяю, тем самым зарабатываю на хлеб насущный. А мастерская у нас маленькая, поэтому приходится домой брать, — он достал бумаги — несколько общих тетрадей, — посмотрел на них. Он не улыбался, он был озабочен, как-то привычно озабочен, покорно. — Садитесь, пожалуйста. Чаю, возможно, не будет... Может, и будет, если совесть проснется. Но дело не в этом. Садитесь, я не люблю, когда стоят, — Князев говорил так, как если бы говорил и делал это же самое много раз уже — торопился, не интересовался, как воспримут его слова. Весь он был поглощен тетрадями, которые держал в руках. — Здесь, — продолжал он и качнул тетради, — труд многих лет. Я вас очень прошу... — Князев посмотрел на Кайгородова, и глаза его...

в глазах его стояла серьезная мольба и тревога. — Это размышления о государстве.

— О государстве? — невольно переспросил Кайгородов.

Князев пропустил мимо ушей его удивление.

— Мне нужно полтора часа вашего времени... — тут Князев уловил чутким слухом нечто такое, что встревожило и рассердило его. Он вскочил с места и скорым шагом, почти бегом, устремился к двери. Открыл ее одной рукой и сказал громко: — Я прошу! Я очень пр-рошу!.. Не надо нам твоего чая, только не грохай, пожалуйста, и не психуй!

Из той комнаты ему что-то негромко ответили, на что Князев еще раз четко, раздельно, с некоторым отчаянием, но и зло сказал:

— Я очень тебя прошу! О-чень! — и захлопнул дверь. Вернулся к столу, взял опять тетради в обе руки и, недовольный, сказал: — Психуем.

Кайгородов во все глаза смотрел на необычного человека. Князев положил тетради на стол, а одну взял, раскрыл на коленях... Погладил рукой исписанные страницы. Рука его чуть дрожала.

— Государство, — начал он, но еще не читать начал, а так пока говорил, готовясь читать, — очень сложный организм, чтобы извлечь из него пользу, надо... он требует осмысления в целом. Не в такой, конечно, обстановке... — он показал глазами на дверь. — Но... тут уж ничего не сделаешь. Тут моя ошибка: не надо было жениться. Пожалел дуру... А себя не пожалел. Но это все — так, прелюдия. Вот тут и есть, собственно, осмысление государства, — Князев погладил опять страницы, кашлянул и стал читать: — «Глава первая: схема построения целесообразного государства. Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем...» Мобилизуйте вашу фантазию, и пойдем нанизывать явления, которые нельзя пощупать руками, — Князев поднял глаза от тетради, посмотрел на Кайгородова, счел нужным добавить еще: — Русский человек любит все потрогать руками — тогда он поймет, что к чему. Мыслить категориями он еще не привык. Вам смысл ясен, о чем я читаю?

Кайгородов засмотрелся в глаза Князева, не сразу ответил.

— Вам ясно?

— Ясно, — сказал Кайгородов.

— «Представим себе, — продолжал читать Князев, — это огромное здание — в разрезе. А население этажей — в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже — «х» — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку, закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия — на пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи... Люди доброй воли плюс современная техника — установлено: провисло на этаже «у». С пульта управления...»

— Вы это серьезно все? — спросил Кайгородов.

— То есть? — не понял Князев.

— Вы серьезно этим занимаетесь?

Князев захлопнул тетрадь, положил ее на стопку других... Чуть подумал и спрятал все тетради в ящик стола. Встал и бесцветным, тусклым голосом сказал:

— До свиданья.

Кайгородову стало вдруг жалко Князева, он почувствовал всю его беззащитность, беспомощность в этом железном мире.

— Слушай, — сказал он добро и участливо, — ну что ты дурака-то валяешь? Неужели тебе никто не говорил...

— Я понимаю, понимаю, — негромко перебил его Князев, — двигатель мотоцикла — это конкретно, предметно... Я понимаю. Центробежную силу тоже, в конце концов, можно... представить. Так ведь? Здесь — другое, — Князев, не оборачиваясь, тронул ящик стола. Смотрел на Кайгородова грустно и насмешливо. — До свиданья.

Кайгородов качнул головой, встал.

— Ну и ну, — сказал он. И пошел к выходу.

— Там не ударьтесь в сенях, — напомнил Князев. И голос его был такой обиженный, такая в нем чувствовалась боль и грусть, что Кайгородов невольно остановился.

— Пойдем ко мне? — предложил он. — У нас там буфет до двенадцати работает... Выпьем по маленькой.

Князев удивился, но грусть его не покинула, и из нее-то, из грусти, он еще хотел улыбнуться.

— Спасибо.

— А что? Пойдем! Что одному-то сидеть? Развеемся маленько, — Кайгородов сам не знал, что способен на такую жалость, он прямо растрогался. Шагнул к Князеву... — Брось ты обижаться — пойдем! А?

Князев внимательно посмотрел на него. Видно, он не часто встречал такое к себе участие. У него даже недоверие мелькнуло в глазах. И Кайгородов уловил это недоверие.

— Как тебя зовут-то? Ты не сказал...

— Николай Николаевич.

— Николай... Меня — Григорий. Микола, пойдем ко мне. Брось ты свое государство! Там без нас разберутся...

— Вот так мы и рассуждаем все. Но вы же даже не дослушали, в чем там дело у меня. Как же так можно? — у Князева родилась слабая надежда, что его хоть раз в жизни дослушают до конца, поймут. — Вы дослушайте... хотя бы главы две. А?

Кайгородов помолчал, глядя на Князева... Почувствовал, что жалость его к этому человеку стала слабеть.

— Да нет, чего же?.. Зря ты все это, честное слово. Послушай доброго совета: не смеши людей. У тебя образование-то какое?

— Какое есть, все мое.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

«Подосвиданькались» довольно жестко. Кайгородов ушел. А Князев сел к столу и задумался, глядя в стену. Долго сидел так, барабанил пальцами по столу... Развернулся на стуле к столу, достал из ящика тетради, раскрыл одну, недописанную, склонился и стал писать.

В дверь заглянула жена. Увидела, что муж опять пишет, сказала с тихой застарелой злостью:

— Ужинать.

— Я работаю, — тоже со злостью, привычной, постоянной, негромко ответил Николай Николаевич, не отрываясь от писания. — Закрой дверь.

2. «О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ»

Летом, в июле, Князев получил отпуск и поехал с семьей отдыхать в деревню. В деревне жили его тесть и теща, молчаливые жадные люди; Князев не любил их, но больше деваться некуда, поэтому он ездил к ним. Но всякий раз предупреждал жену, что в деревне он тоже будет работать — будет писать. Жене его, Алевтине, очень хотелось летом в деревню, она не ругалась и не ехидничала.

— Пиши... Хоть запишись вовсе.

— Вот так. Чтобы потом не было: «Опять за свое!» Чтобы этого не было.

— Пиши, пиши, — говорила Алевтина грустно. Она больно переживала эту неистребимую, несгораемую страсть мужа — писать, писать и писать, чтобы навести порядок в государстве, ненавидела его за это, стыдилась, умоляла — брось! Ничего не помогало. Николай Николаевич сох над тетрадями, всюду с ними совался, ему говорили, что это глупость, бред, пытались отговорить... Много раз хотели отговорить, но все без толку.

У Князева в деревне были знакомые люди, и он, как приехали, пошел их навестить. И в первом же семействе встретил человека, какого и хотела постоянно встретить его неуемная душа. Приехал в то семейство — тоже отдохнуть — некто Сильченко, тоже зять, тоже горожанин и тоже несколько ушибленный общими вопросами. И они сразу сцепились.

Это произошло так.

Князев в хорошем, мирном расположении духа прошелся по деревне, понаблюдал, как возвращаются с работы домой «колхозники-совхозники» (он так называл сельских людей), поздоровался с двумя-тремя... Все спешили, поэтому никто с ним не остановился, только один попросил прийти глянуть телевизор.

— Включишь — снег какой-то идет...

— Ладно, потом как-нибудь, — пообещал Князев.

И вот пришел он в то семейство, где был Сильченко. Он там знал старика, с которым они говорили. То есть говорил обычно Князев, а старик слушал, он умел слушать, даже любил слушать. Слушал, кивал головой, иногда только удивлялся:

— Ишь ты!.. — негромко говорил он. — Это сурьезно.

Старик как раз был в ограде, и тот самый Сильченко тоже был в ограде, налаживали удочки.

— А-а! — весело сказал старик. — Поудить нету желания? А то мы вот налаживаемся с Юрьем Викторовичем.

— Не люблю, — сказал Князев. — Но посижу с вами на бережку.

— Рыбалку не любите? — спросил Сильченко, худощавый мужчина таких же примерно лет, что и Князев, — около сорока. — Чего так?

— Трата времени.

Сильченко посмотрел на Князева, отметил его нездешний облик — галстук, запонки с желтыми кружочками... Сказал снисходительно:

— Отдых есть отдых, не все ли равно, как тратить время.

— Существует активный отдых, — отбил Князев эту нелепую попытку учить его, — и пассивный. Активный предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие.

— От этих мероприятий и так голова кругом идет, — посмеялся Сильченко.

— Я говорю не об «этих мероприятиях», а о целесообразных, — подчеркнул Князев. И посмотрел на Сильченко твердо и спокойно. — Улавливаете разницу?

Сильченке тоже не понравилось, что с ним поучительно разговаривают... Он тоже был человек с мыслями.

— Нет, не улавливаю, объяснитесь, сделайте милость.

— Вы кто по профессии?

— Какое это имеет значение?

— Ну все же...

— Художник-гример.

Тут Князев вовсе осмелел; синие глаза его загорелись веселым насмешливым огнем; он стал нахально-снисходителен.

— Вы в курсе дела, как насыпаются могильные курганы? — спросил он. Чувствовалось удовольствие, с каким он подступает к изложению своих мыслей.

Сильченко никак не ждал этих курганов, он недоумевал.

— При чем здесь курганы?

— Вы видели когда-нибудь, как их насыпают?

— А вы видели?

— Ну, в кино-то видели же!

— Ну... допустим.

— Представление имеете. Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину: как насыпают курган. Идут люди, один за одним, каждый берет горсть земли и бросает. Сперва засыпается яма, потом начинает расти холм... Представили?

— Допустим.

Князев все больше воодушевлялся — это были дорогие минуты в его жизни: есть перед глазами слушатель, который хоть ерепенится, но внимает.

— Обрати тогда внимание вот на что: на несоответствие величины холма и горстки земли. Что же случилось? Ведь вот — горсть земли, — Князев показал ладонь, сложенную горстью, — а с другой стороны — холм. Что же случилось? Чудо? Никаких чудес: накопление количества. Так создавались государства — от Урарту до современных суперо́в. Понятно? Что может сделать слабая человеческая рука?.. — Князев огляделся, ему на глаза попалась удочка, он взял ее из рук старика и показал обоим. — Удочка. Вот тоже произведение рук человеческих — удочка. Верно? — он вернул удочку старику. — Это — когда один человек. Но когда они беспрерывно идут друг за другом и бросают по горстке земли — образуется холм. Удочка — и холм, — Князев победно смотрел на Сильченко и на старика тоже, но больше на Сильченко. — Улавливаете?

— Не улавливаю, — сказал Сильченко вызывающе. Его эта победность Князева раздражала. — При чем здесь одно и при чем другое? Мы заговорили, как провести свободное время... Я высказал мысль, что чем бы ты ни занимался, но если тебе это нравится, значит, ты отдохнул хорошо.

— Бред, галиматья, — сурово и весело сказал Князев. — Рассуждение на уровне каменного века. Как только вы начинаете так рассуждать, вы тем самым автоматически выходите из той беспрерывной цепи человечества, которая идет и накопляет количество. Я же вам дал очень наглядный пример: как насыпается холм! — Князев хоть был возбужден, но был и терпелив. — Вот представьте себе: все прошли и бросили по горстке земли... А вы — не бросили! Тогда я вас спрашиваю: в чем смысл вашей жизни?

— Чепуха какая-то. Вот уж действительно галиматья-то. Какой холм? Я вам говорю, вот я приехал отдохнуть... На

природу. Мне нравится рыбачить... вот я и буду рыбачить. В чем дело?

— И я тоже приехал отдохнуть.

— Ну?..

— Что?

— Ну и что, холм, что ли, будете насыпать здесь?

Князев посмеялся снисходительно, но уже и не очень терпеливо, зло.

— То нам непонятно, когда мыслят категориями, то не устраивает... Такой уж наглядный пример! — самому Князеву этот пример с холмом, как видно, очень нравился, он наскочил на него случайно и радовался ему, его простоте и разительной наглядности. — В чем смысл нашей жизни вообще? — спросил он прямо.

— Это — кому как, — уклонился Сильченко.

— Нет, нет, вы ответьте: в чем всеобщий смысл жизни? — Князев подождал ответа, но нетерпение уже целиком овладело им. — Во всеобщей же государственности. Процветает государство — процветаем и мы. Так? Так или не так?

Сильченко пожал плечами... Но согласился — пока, в ожидании, куда затем стрельнет мысль Князева.

— Ну, так...

— Так. Образно говоря опять же, мы все несем на своих плечах известный груз... Вот представьте себе, — еще больше заволновался Князев от нового наглядного примера, — мы втроем — я, вы, дедушка — несем бревно. Несем — нам его нужно пронести сто метров. Мы пронесли пятьдесят метров, вдруг вы бросаете нести и отходите в сторону. И говорите: «У меня отпуск, я отдыхаю».

— Так что же, отпусков не нужно, что ли? — заволновался Сильченко. — Это же тоже бред сивой кобылы.

— В данном конкретном случае отпуск возможен, когда мы это бревешко пронесем положенных сто метров и сбросим — тогда отдыхайте.

— Не понимаю, чего вы хотите сказать, — сердито заговорил Сильченко. — То холм, то бревно какое-то... Вы приехали отдыхать?

— Приехал отдыхать.

— Что же, значит, бросил бревно по дороге? Или как... по-вашему-то?

Князев некоторое время смотрел на Сильченко проникновенно и строго.

— Вы что, нарочно, что ли, не понимаете?

— Да я серьезно не понимаю! Глупость какая-то, бред!.. Бестолочь какая-то! — Сильченко чего-то нервничал и потому говорил много лишнего. — Ну полная же бестолочь!.. Ну, честное слово, ничего же понять нельзя. Ты понимаешь что-нибудь, дед?

Старик с интересом слушал эту умную перепалку. С вопросом его застали врасплох.

— А? — встрепенулся он.

— Ты понимаешь хоть что-нибудь, что этот... товарищ молотит здесь?

— Я слушаю, — сказал дед неопределенно.

— А я ничего не понимаю. Ни-чего не понимаю!

— Да вы спокойней, спокойней, — снисходительно и недобро посоветовал Князев. — Успокойтесь. Зачем же нервничать-то?

— А зачем тут чепуху-то пороть?!

— Да ведь вы даже не вошли в суть дела, а уже — чепуха. Да почему же... Когда же мы научимся рассуждать-то логически!

— Да вы сами-то...

— Раз не понял, значит, — чепуха, бред. Ве-ли-ко-лепная логика! Сколько же мы так отмахиваться-то будем!

— Хорошо, — взял себя в руки Сильченко. И даже присел на дедов верстак. — Ну-ка, ясно, просто, точно — что вы хотите сказать? Нормальным русским языком. Так?

— Вы где живете? — спросил Князев.

— В Томске.

— Нет, шире... В целом, — Князев широко показал руками.

— Не понимаю. Ну, не понимаю! — стал опять нервничать Сильченко. — В каком «в целом»? В чем это? Где?

— В государстве живете, — продолжал Князев. — В чем лежат ваши главные интересы? С чем они совпадают?

— Не знаю.

— С государственными интересами. Ваши интересы совпадают с государственными интересами. Сейчас я понятно говорю?

— Ну, ну, ну?

— В чем же тогда ваш смысл жизни?

— Ну, ну, ну?

— Да не «ну», а уже нужна черта: в чем смысл жизни каждого гражданина?

— Ну, в чем?.. Чтобы работать, быть честным, — стал перечислять Сильченко, — защищать Родину, когда потребуется...

Князев согласно кивал головой. Но ждал чего-то еще, а чего, Сильченко никак не мог опять уловить.

— Это все правильно, — сказал Князев. — Но это все — ответвления. В чем главный смысл? Где главный, так сказать, ствол?

— В чем?

— Я вас спрашиваю.

— А я не знаю. Ну, не знаю, что хошь делай! Ты просто дурак! Долбо... — и Сильченко матерно выругался. И вскочил с верстака. — Чего тебе от меня надо?! — закричал он. — Чего?! Ты можешь прямо сказать? Или я тебя попру отсюда поленом!.. Дурак ты! Дубина!..

Князеву уже приходилось попадать на таких вот нервных. Он не испугался самого этого психопата, но испугался, что сейчас сбегутся люди, будут таращить глаза, будут... Тьфу!

— Тихо, тихо, тихо, — сказал он, отступая назад. И грустно, и безнадежно смотрел на неврастеника-гримера. — Зачем же так? Зачем кричать-то?

— Чего вам от меня надо?! — все кричал Сильченко. — Чего?

Из дома на крыльцо вышли люди...

Князев повернулся и пошел вон из ограды.

Сильченко еще что-то кричал вслед ему.

Князев не оглядывался, шел скорым шагом, и в глазах его была грусть и боль.

— Хамло, — сказал он негромко. — Ну и хамло же... Разинул пасть, — помолчал и еще проговорил горько: — Мы не поймем — нам не треба. Мы лучше орать будем. Вот же хамло!

На другой день, поутру к Нехорошевым (тесть Князева) пришел здешний председатель сельсовета. Старики Нехорошевы и Князев с женой завтракали.

— Приятного аппетита, — сказал председатель. И посмотрел внимательно на Князева. — С приездом вас.

— Спасибо, — ответил Князев. У него сжалось сердце от дурного предчувствия. — С нами... не желаете?

— Нет, я позавтракал, — председатель присел на лавку. И опять посмотрел на Князева.

Князев окончательно понял: это по его душу. Вылез из-за стола и пошел на улицу. Через минуту-две за ним вышел и председатель.

— Слушаю, — сказал Князев. И усмехнулся тоскливо.

— Что там у вас случилось-то? — спросил председатель. Один раз (в прошлом году, летом тоже) председатель уже разбирал нечто подобное. Тогда на Князева тоже пожаловались, что он — «пропагандирует». — Опять мне чего-то там рассказывают...

— А что рассказывать-то?! — воскликнул Князев. — Боже мой! Что там рассказывать-то! Хотел внушить товарищу... более ясное представление...

— Товарищ Князев, — сухо, казенным голосом заговорил председатель, — мне это неловко делать, но я должен...

— Да что должен-то? Что я?.. Не понимаю, ей-богу, что я сделал? Хотел просто объяснить ему... а он заорал, как дурной. Я не знаю... Он нормальный, этот Сильченко?

— Товарищ Князев...

— Ну, хорошо, хорошо. Хорошо! — Князев нервно сплюнул. — Больше не буду Черт с ними, как хотят, так и пусть живут. Но, боже ж мой!.. — опять изумился он. — Что я такого ему сказал?! Наводил на мысль, чтобы он отчетливее понимал свои задачи в жизни!.. Что тут такого?

— Человек отдыхать приехал... Зачем его тревожить. Не надо. Не надо, товарищ Князев, прошу вас.

— Хорошо, хорошо. Пусть, как хотят... Ведь он же гример!

— Ну.

— Я хотел его подвести к мысли, чтобы он выступил в клубе, рассказал про свою работу...

— Зачем?

— Да интересно же! Я бы сам с удовольствием послушал. Он же, наверно, артистов гримирует... Про артистов бы рассказал.

— А при чем тут... жизненные задачи?

— Он бы сделал полезное дело! Я с того и начал вчера: идет вереница людей, каждый берет горсть земли и броса-

ет — образуется холм. Холм тире целесообразное государство. Если допустим, что смысл жизни каждого гражданина в том, чтобы, образно говоря...

— Товарищ Князев, — перебил председатель, — мне сейчас некогда: у меня в девять совещание... Я как-нибудь вас с удовольствием послушаю. Но еще раз хочу попросить...

— Хорошо, хорошо, — торопливо, грустно сказал Князев. — Идите на совещание. До свиданья. Я не нуждаюсь в вашем слушанье.

Председатель удивился, но ничего не сказал, пошел на совещание.

Князев глядел вслед ему... И проговорил негромко, как он имел привычку говорить про себя:

— Он с удовольствием послушает! Обрадовал... Иди заседай! Штаны протрете на ваших заседаниях, заседатели. Одолжение он сделает — послушает...

3. «О ПРОБЛЕМЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ»

Как-то Николай Николаевич Князев был в областном центре по делам своей телевизионной мастерской. И случился у него там свободный день — с утра и до позднего вечера, до поезда. Князев подумал-подумал — куда бы пойти? И пошел в зоопарк. Ему давно хотелось посмотреть удава.

Удава в зоопарке не было. Князев походил по звериному городку, постоял около льва... Потом услышал звонкие детские голоса и пошел в ту сторону. На большой площадке, огороженной проволочной сеткой, катались на пони. А около сетки толпилось много людей. Катались в основном детишки. Визг, восторги!.. Князев тоже остановился и стал смотреть. Ничего особенного, а смотреть, правда, интересно. Перед Князевым стояла какая-то шляпа и тоже выказывала большой интерес к езде на пони.

— Во, во, что делают! — говорил негромко мужчина в шляпе. — Радости-то, радости-то!

Князева подмывало сказать, что это-то и хорошо, и славно: и радость людям, и государству польза: взрослый билет — 20 копеек, детский — 10 копеек. Это как раз пример того, как можно разумно организовать отдых. Кому, скажите, жалко истратить 30 копеек на себя и на ребенка! А радо-

сти, действительно, сколько! Князеву даже жалко стало, что с ним нет его ребятишек.

— Да ведь... это — прощаются! — все говорил мужчина в шляпе. Он ни к кому не обращался, себе говорил. — Как, скажи, в кругосветное путешествие уезжают!

— Психологически — это для них кругосветное путешествие, — сказал Князев.

Мужчина в шляпе оглянулся... И Князева обдало сивушным духом. Мужчина молодой и очень приветливый.

— Да? Радости-то сколько!

— Да, да, — неохотно сказал Князев. И отошел от шляпы. Он физически не переносил пьяных, его тошнило.

Он еще немного посмотрел, как бегают запряженные пони, как радуются дети... Потом посмотрел птиц, потом обезьянок... Один дурак-обезьян (мужского пола) начал ни с того ни с сего делать нечто непотребное. Женщины застыдились и не знали, куда смотреть, а мужчины смеялись и смотрели на обезьяна. Князев похихикал тоже, украдкой поглядел на женщин и пошел из зоопарка — надоело.

Возле зоопарка, на углу, было кафе, и Князев зашел перекусить.

Он взял кофе с молоком, булочку и ел, стоя возле высокого мраморного столика. Думал о людях и обезьянах: в том смысле, что — неужели люди произошли от обезьян?

— Тут свободно? — спросили Князева.

Князев поднял голову — стоит с подносом тот самый молодой человек, который давеча так живо интересовался детской ездой на пони.

— Свободно, — сказал Князев. Ничего больше не оставалось — столик, и правда, свободный.

Молодой человек расставил на столике стаканы с кофе, тарелочки с блинчиками, тарелочку с хлебом, тарелочку с холодцом... Отнес поднос, вернулся и стал значительно и приветливо смотреть на Князева.

— Примешь?.. — спросил он. — Полстакашка.

Князев энергично закрутил головой:

— Нет, нет.

— Чего? — удивился молодой человек, доставая из внутреннего кармана нового пиджака бутылку, при этом облокотился на столик, набулькал в стакан, заткнул бутылку и опустил ее опять в карман. — Не пьешь?

— Не пью, — недружелюбно ответил Князев.

Молодой человек осадил стакан, шумно выдохнул и принялся закусывать.

— Вот и решена проблема свободного времени, — не без иронии сказал Князев, имея в виду бутылку.

— М-м? — не понял молодой человек.

— Все, оказывается, просто?

— Чего просто?

— Ну, с проблемой свободного времени-то.

Молодой человек жевал, но внимательно слушал Князева.

— Какого свободного времени?

— Ну, шумят, спорят... А тут, — Князев показал глазами на оттопыренную полу пиджака, — полная ясность.

Молодой человек был приветлив и на редкость терпелив. Он не понимал, о чем говорит Князев, но нетерпения или раздражения какого-нибудь не выказал. Он с удовольствием ел и смотрел на Князева. Больше того, ему было приятно, что с ним говорят, и он напрягался, чтобы понять, о чем говорят, — хотелось тоже поддержать разговор.

— Кто спорит? — терпеливо и вежливо спросил он.

Князев жалел уже, что заговорил.

— Ну, спорят: как проводить свободное время. А вам вот... все совершенно ясно.

Молодой человек и теперь не понял, но согласно кивнул головой. И сказал:

— Да, да.

— Зверей смотрели? — спросил Князев.

— А шел мимо — зайти, что ли, думаю? Пацаном был, помню... А ведь... это — дорого их держать-то? Это ж сколько он сожрет за сутки!

— Кто?

— Слон, хотя бы.

Князев пожал плечами:

— Черт его знает.

— Но, если б не было выгоды, их не держали бы, — тут же и заметил молодой человек. — Выгода, конечно, есть. Верно же?

Князев обиделся за государство: намекнули, что государство только и делает, что преследует голую выгоду.

— Верно... Но вы пропустили познавательный процесс. Не все же идут — от нечего делать: идут — познать что-либо для себя.

— Ну-у уж!.. — неопределенно сказал молодой человек. Прожевал, проглотил и докончил: — Чего тут познавать-то? Слона, что ли? Дерьма-то, — он огляделся, опять облокотился на стол и занялся бутылкой.

Князева обозлила спокойная уверенность, налаженность, с какой этот молодой дурак проделывал свою подлую операцию: булькал из бутылки в стакан.

— Сейчас пойду и заявлю, — сказал Князев.

Молодой человек так изумился, что даже рот приоткрыл. Он изумился, но и готов был улыбнуться — так это не походило на правду, это заявление Князева.

— Что? — спросил Князев. — Удивительно? А надо бы.

Молодой человек уловил серьезную злость в голосе Князева и поверил, что, — наверно, правда: человек готов на него донести. Он сам тоже обозлился... Но не знал пока, как поступить. Он долго и внимательно смотрел на Князева.

— Что? — опять спросил Князев.

— Ничего, — значительно сказал молодой человек. Красивое смуглое лицо его уже не было ни приветливым, ни добродушным.

Князев поскорей доел булочку, пошел из кафе. Молодой человек проводил его взглядом до самого выхода.

— Скоты, — вслух сказал Князев, выйдя из кафе. — В зоопарк, видите ли, поперся! Сиди уж у бочки где-нибудь... нагружайся.

Князев хотел перейти улицу, но машинам загорелся зеленый свет; Князев стоял на краю тротуара и тихо негодовал на пьянчуг. Потом машинам дали передохнуть. Князев вместе со всеми перешел улицу и пошел себе не спеша по той стороне улицы — просто так, от нечего делать: до поезда было еще долго. Он постепенно забыл про пьянчуг, наладился было думать про город в целом, как его кто-то тронул сзади за плечо... Князев остановился и оглянулся: стоит перед ним опять этот, в шляпе... Смотрит.

— Что такое?! — резко сказал Князев. Он испугался.

— Хотел спросить... — мирно заговорил молодой человек. — Я давеча не понял: ты правда, что ли?..

— Что «правда»?

— Заложить-то хотел.

Князев несколько помолчал...

— Ничего я не хотел... Но внушить кое-что надо бы! — вдруг осмелел он. И посмотрел прямо в глаза выпивохе. Тот, кстати, не так уж и пьян-то был, только глаза блестели и — разило.

— Ну-ка? — согласился молодой человек.

Князев оглянулся... Стояли они недалеко от скверика, где были скамейки. Он направился туда, молодой человек — за ним.

Сели на скамейку.

— Видите ли, в чем дело, — заговорил Князев серьезно, — я ничего в принципе не имею против того, что люди выпивают. Но существует разумная организация людей, в целом эта организация называется — государство. И вот представьте себе, что все в государстве начнут выпивать...

— Я же не на работе, — возразил молодой человек тоже серьезно. — Я — в свой выходной.

— Во-от! — поймал его Князев на слове. Он все больше увлекался. — Вот об этом и стоит поговорить. Выходной день... Что это такое? Допустим, мы возводим с вами некоторую... Допустим, что мы монтируем какую-то стальную конструкцию...

— Я электрик.

— Прекрасно! Представьте, мы ведем где-то очень сложную сеть. Выходной день — мы напились. Протрезвились, отработали неделю — опять напились...

— Что я, алкаш, что ли?

— Я хочу сказать: нам государство предоставляет выходной день... даже два теперь — для чего?

Молодой человек молчал. Смотрел на Князева.

— Для того, — продолжал Князев, — чтобы мы, во-первых, отдохнули, во-вторых, — не отстали в своем развитии. Вот вы: получили выходной день и не знаете, что с ним делать. Шел мимо зоопарка: «Зайти, что ли?» Ну, а если бы мимо... не знаю, мимо аптеки шел: «Зайти, что ли, касторки взять?» Так, что ли?

Молодой человек стиснул зубы и продолжал смотреть на Князева. Князев не заметил, что он стиснул зубы. Ему смешно стало от этой «касторки». Он посмеялся и уже добродушнее продолжал:

— Нельзя же... таким деревом-то плыть по реке: куда прибьет, туда и ладно. Человек получает свободное время, чтобы познать что-нибудь полезное для себя. Нужное. И чем выше его умственный уровень, тем он умнее как работник. Ну что же: так мы и будем веками дуть эту сивуху? — Князев посмотрел на молодого человека, но опять не обратил внимания, как тот изменился. — Хватит уж, хватит, мил человек, хватит ее дуть-то, пора и честь знать. Государство ускоряет ритм, это давно уже не телега, это уже — лайнер! А мы — за этим лайнером-то — все пешком, пешком... Все наклоняемся да в стакан булькаем. Тьфу! О каком же движении тут можно говорить! Куда же мы на этот лайнер — с красными-то глазами? Блевать там?..

— Сука, — с дрожью в голосе, негромко сказал молодой человек, — карьеру на мне хочешь состроить, — и он наклонился к Князеву, как давеча наклонялся к столику...

Князев сперва не понял, что он хочет сделать. И когда уже получил первый толчок в бок, то и тогда не понял еще, что его бьют. Понял это, когда получил еще пару тычков в бок и в живот, и довольно больных. Но не пугали его и эти тычки, а испугали близкие, злые, какие-то даже безумные глаза молодого человека.

— Ты!.. — взволновался Князев и хотел вскочить. Но этот, в шляпе, держал его за полу, а другой рукой насаживал в бок, насаживал успевал. И как-то у него это получалось не широко, не шумно, со стороны едва ли заметно.

— А-а!.. — закричал Князев. Вырвался, вскочил и тяжелым своим портфелем, где лежали некоторые детали телевизора, навернул сверху по шляпе. — Сюда, люди! Ко мне!.. — кричал он. И второй раз навернул по шляпе.

Молодой человек вскочил тоже и откровенно загвоздил Князеву в челюсть. Князев полетел с ног. Но когда летел, слышал, что уже к ним бегут.

...Потом в милиции выясняли их личности. Князев все порывался рассказать, как было дело, но дежурный офицер останавливал: он пока записывал.

— Где работаете? — спрашивал он молодого человека.

— В рембытконторе, — отвечал тот и успевал тоже сказать: — Он на меня начал говорить, что я блюю где попало...

— Подождите вы! — строго говорил дежурный. — Кем?

— Я про тебя, что ли, говорил?! — накинулся Князев на своего врага.

— Про кого же? Про Пушкина?

— Дурак! Я развивал общую мысль о проблеме...

— Да тихо! — приказал дежурный. — Можете вы помолчать?! Кем работаешь?

— Электриком.

— Дубина, — сказал Князев, потирая челюсть. — Тебе не электриком, а золотарем надо... В две смены. Гад подколодный! Руки еще распускает...

— А вы? — перешел к нему дежурный.

...Князева отпустили, но он заплатил штраф пятнадцать рублей. Он не стал возмущаться, потому что этого, в шляпе, при нем прямо повели куда-то по коридору — сажать, как понял Князев. Он даже сказал дежурному «до свиданья». И пошел на вокзал.

И тихо прождал на вокзале все долгое время до поезда. Ни с кем не заговаривал, а только сидел на скамейке в зале ожидания и смотрел, и смотрел на людей, как они слоняются туда-сюда по залу. Челюсть болела, Князев время от времени трогал ее и качал головой. И шептал:

— Сволота... Руки, видите ли, начал распускать! Гад какой.

4. КОНЕЦ МЫСЛЯМ

Ну, может, не конец еще, но какой-то срыв целеустремленной души — тут налицо.

Вот что случилось.

Князев закончил свой труд: мысли о государстве. Он давно понял, что здесь, в райгородке своем, он не найдет никого, кто оценил бы его большую сложную работу. Опять будут недоумевать, говорить, что «Вы знаете, товарищ Князев...» О, недоумки! Всю жизнь стоят, упершись лбами в стенку, а полагают, что идут проспектом. Что тут сделаешь?!

Князев собрал тетради (восемь общих тетрадей) и пошел на почту — отсылать в Центр. Получалось что-то вроде посылочки, что ли: Князев не знал, как это делается, склонился к окошечку узнать, что надо сделать — посылочку, что ли?

За окошечком сидела знакомая женщина, подруга его жены. Князев часто видел ее у себя дома, он поэтому вежливо поздоровался и стал объяснять, что — вот, восемь общих тетрадей, их надо послать... Пока он так объяснял, он невольно обратил внимание: женщина смотрит на него, но соображает что-то свое, далекое от тетрадей, — от того, как их послать. И еще он уловил в ее глазах то противное жалостливое участие, вполне искреннее, но какое особенно бесило Князева — опять он на него наткнулся. И именно теперь, когда труд закончен, когда позади бессонные ночи, волнения... Даже и теперь эта курица сидит и смотрит жалостливо. Но и еще стерпел бы Князев, еще раз проглотил бы обиду, не заговори она, эта... Нет, она открыла рот и заговорила!

— Николай Николаевич, дорогой... давайте подождем с посылкой? Конечно, не мое это дело, но, тем не менее, послушайте доброго совета: подождите. Ведь всегда успеете, а может быть, раздумаете... А?

Князев помнил потом, что было такое ощущение, точно его стали вдруг поднимать куда-то вверх. Но не просто поднимают, а хотят вроде перевернуть вниз головой и подержать за ноги. Все взорвалось в Князеве злым протестом, все вскипело волной гнева. Он закричал неприлично:

— Дура! Дура ты пучеглазая!.. Что ты сидишь квакаешь?! Что? Ты хоть слово «государство» напишешь правильно? Ведь ты же напишешь «гасударство»!

— Не смейте так орать! — тоже закричала женщина. — Сергей Николаич! А, Сергей Николаич!..

— Сергей Николаич! — подхватил и Князев ее зов. — Идите-ка суда — вместе глаза выпучим: тут чявой-то про гасударство! Идите, Сергей Николаич!..

Сергей Николаич и вправду появился из двери в глубине...

И стремительно пошел к Князеву.

— Что? Что это тут?!

— Тут чявой-то про гасударство, — мстительным злорадным чувством говорил Князев. — Разберись, Сергей Николаич: может, в твоей тыкве хоть полторы извилины есть...

Все, кто был на почте, с удивлением смотрели на Князева. А Сергей Николаич вышел из-за перегородки и прибли-

жался к Князеву. Вид у Сергея Николаича — впору вязать кого-нибудь.

— В чем дело?

— В шляпе, — Князев хотел собрать свои тетради, но Сергей Николаич крепко положил на них ладонь.

— Прочь! — крикнул Князев. И хотел отбросить наглую руку. Но не смог отбросить. — Прр-очь! — закричал тогда Князев громче прежнего и толкнул Сергея Николаича в грудь. — Прр-очь, хамло!..

Сергей Николаич сгреб его спереди за руки и сильно сдавил.

— Ну-ка, кто-нибудь помогите! — позвал он. — Он же пьян!

Охотники тут же нашлись. Подбежали, завели Князеву руки за спину и держали. И странно, в этом именно положении Князев заговорил более осмысленно, более подробно.

— Ура!.. — воскликнул он. — Наша взяла! Ну, вяжите. Вяжите... Эх, лягушатинка! Нет, я не пьян, этот номер у вас не пройдет... Я позволил себе записать некоторые мысли — и нечаянно уронил камень в ваше болото. Какое кваканье поднялось, боже мой! Я вас не задел по голове, Сергей Николаич? Вы тут — главная лягушка. Жаба! Все знает — знает, как связать человека. Курица ты дохлая, остолоп!

— Поговори, поговори, — спокойно молвил Сергей Николаич, связывая ремнем руки Князева. — Покричи. Вконец свихнулся?

— Кретины, — говорил Князев. — Полудурки. И ведь нравится — вот ситуация-то — нравится быть полудурками! — Хоть ты лоб тут разбей — нравится им быть полудурками, и все.

Князева подтолкнули вперед... Вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев... Князев вышагнул из круга — орал громко и вольно. И испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство.

— Пугачева ведут! — кричал он. — Не видели Пугачева? Вот он — в шляпе, в галстуке!.. — Князев смеялся. — А сзади несут чявой-то про гасударство. Удивительно, да? Вот же

еще: мы всю жизнь лаптем шти хлебаем, а он там чявой-то про гасударство! Какой еще! Ишь чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да?! Мы те попишем! Мы те подумаем!.. Да здравствуют полудурки!

Хорошо еще, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого.

В отделении он как-то стих, устал, что ли, на вопросы отвечал односложно, нисколько не пугался, а только морщился и хотел скорей уйти домой.

— Ну, шумел, шумел... Я же не пьяный. Я непьющий. Оскорбил я кого-нибудь?

Когда ему стали перечислять, как он оскорбил всех, он опять сморщился и сказал тихо:

— У меня голова болит. Ну, отвезите в больницу, отвезите. Что полудурками-то назвал? А кто же они?

С Князевым не знали, что делать. Посадили пока в камеру и вызвали из больницы врача.

Врач пришел, побыл с Князевым минут десять, вышел и сказал:

— Совершенно нормальный человек. А что?

— Да кинулся оскорблять всех, — стали объяснять врачу. — Всех подряд обзывать начал...

— Ну, это уж... что-то другое. Он в здравом уме, вполне нормальный.

— Начальник лично знал Князева. Вызвал его опять в кабинет, закрыл дверь.

— Что случилось-то, Князев?

—Да ну их к черту! — устало сказал Князев. — Взорвался просто... Глупость человеческую не мог больше вынести. Я ей одно, она мне: «Давайте пока не посылать — давайте подумаем». Она подумает!.. Курица.

— Ну, а оскорблять-то зачем было?

— Да она меня хуже оскорбила! Она же меня за идиота считает! Ведь она же ни строчки тут не прочитала, — тетради лежали у начальника на столе, — а судит! И я знаю, откуда: жена ей наговорила... Она к жене моей ходит, та ей и... охарактеризовала всю работу — что глупость, мол, бред, пустая трата... и прочее.

— А что тут вообще-то?

— Мысли о государстве. Семь лет писал.

Начальник поглядел на стопку тетрадей... Потом на Князева. И опять это проклятое удивление, изумление...

Князев поморщился.

— Только ничего не надо сейчас... Не надо.

— Оставь мне, я посмотрю.

— Посмотрите, — Князев встал. — Можно идти, что ли?

— Можно-то можно... Надо потом извиниться перед почтовскими. Надо, Князев, — начальник строго глядел на Князева. — Надо, как думаешь?

— Ладно, — сказал Князев. — Извинюсь. — Ему очень хотелось домой. Пустота была в голове оглушительная. Пусто и плохо было. Хотелось покоя. — Я извинюсь.

— Хорошо. Иди. Это я потом отдам, — начальник положил руку на тетради.

Князев пошел к двери, но на пороге остановился, оглянулся и сказал:

— Там — восемь тетрадей.

Начальник пробежал глазами стопку.

— Так... И что?

— Чтобы не случилось чего. Там восемь?

— Восемь.

— Чтобы не затерялись где-нибудь.

— Все будут в сохранности.

— Ведь тут... — Князев отшагнул от двери и показал пальцем на стопку тетрадей, — тут, может быть... — Но опять сморщился в каком-то бессильном отчаянии, махнул рукой и ушел.

Начальник взял одну тетрадь, раскрыл...

Раскрыл как раз первую тетрадь. Она так и поименована:

«ТЕТРАДЬ № 1»

Дальше было вступление, которое имело заглавие:

«КОРОТКО ОБ АВТОРЕ»

И следовала краткая «Опись жизни» Н.Н.Князева, сделанная им самим.

“Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитания тоже никакого. Нас воспитывал труд, а также улица и природа. И если я все-таки пробил эти пласты

жизни над моей головой, то я это сделал сам. Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорет на меня, то я, спустя некоторое время, вдруг задумаюсь: «А почему он на меня орет?» Мой разум еще не смог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец, не одобряя мою страсть, заставлял больше работать. Но я все же урывал время и читал. Я читал все подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал: «Сколько всего наворочено! А порядка нет». Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве. Я с грустью и удивлением стал понимать, что мы живем каждый всяк по себе — никому нет дела до интересов государства, а если кто кричит об интересах, тот притворяется. Все равно ему свое дороже, но он хочет выглядеть передовым и, тем самым, побольше урвать. Я видел, как разбазаривают государство: каждый старается на своем месте. «И тем не менее, — думал я, — государство еще все же живет. Чем же оно живет? — продолжал я размышлять. И пришел к такому выводу: — Структурой». Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. «Боже мой, — подумал я, — что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!» Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения. И я, разумеется, стал писать. Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям".

Начальник прочитал вступление и задумался. Потом отложил все тетради в сторону — решил взять их домой и почитать.

ВЫБИРАЮ ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Некто Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил. Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче. И он пошел по складскому делу — стал кладовщиком и всю жизнь был кладовщиком, даже в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию. Воровал ли он со складов? Как вам сказать... С точки зрения какого-нибудь сопляка с высшим юридическим образованием — да, воровал, с точки зрения человека рассудительного, трезвого — это не воровство: брал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не испытывать ни в чем недостатка, причем, если учесть — окинуть взором — сколько добра прошло через его руки, то сама мысль о воровстве станет смешной. Разве так воруют! Он брал, но никогда не забывался, никогда не показывал, что живет лучше других. Потому-то ни один из этих, с университетскими значками, ни разу не поймал его за руку. С совестью Николай Григорьевич был в ладах: она его не тревожила. И не потому, что он был бессовестный человек, нет, просто это так изначально повелось: при чем тут совесть! Сумей только аккуратно сделать, не психуй и не жадничай и не будь идиотом, а совесть — это... знаете... Когда есть в загашнике, можно и про совесть поговорить, но все же спится тогда спокойней, когда ты все досконально продумал, все взвесил, проверил, свел концы с концами — тогда пусть у кого-нибудь другого совесть болит. А это — сверкать голым задом да про совесть трещать, — это, знаете, неумно.

Словом, все было хорошо и нормально. Николай Григорьевич прошел свою тропку жизни почти всю. В минуту добрую, задумчивую говорил себе: «Молодец: и в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили».

Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить, наверно, если б даже захотел. Но он и не хотел объяснять и особенно не вдумывался, а подчинялся этой прихоти (надо еще понять, прихоть это или что другое), как многому в жизни подчинялся.

Вот что он делал последние лет пять-шесть.

В субботу, когда работа кончалась, когда дома, в тепле, ждала жена, когда все в порядке и на душе хорошо и мирно, он выпивал стаканчик водки и ехал в трамвае на вокзал. Вокзал в городе огромный, вечно набит людьми. И есть там место, где курят, возле туалета. Там всегда — днем и ночью — полно, дым коромыслом, и галдеж стоит непрерывный. Туда-то и шел прямиком Николай Григорьевич. И там вступал в разговоры.

— Мужики, — прямо обращался он, — кто из деревни?

Таких всегда было много. Они-то в основном и толклись там — деревенские.

— Ну?.. — спрашивали его. — А что тебе?

— Хочу деревню подобрать на жительство. Нигде, может, кто в курсе, не требуются опытные складские работники? Я тридцать четыре года проработал в этой системе... — и Николай Григорьевич доверчиво, просто, с удовольствием и подробно рассказывал, что он сам — деревенский, давно оттуда уехал, работал всю жизнь на складах, а теперь, под старость, потянуло опять в деревню... И тут-то начиналось. Его как-то сразу прекрасно понимали с его тоской, соглашались, что да, сколько по городам ни околачивайся, а если ты деревенский, то рано или поздно в деревню снова потянет. Начинали предлагать деревни на выбор. Николай Григорьевич только успевал записывать адреса. Начинали шуметь. Спорили.

— Да уж ты со своей Вязовкой!..

— А ты знаешь ее? Чего ты сразу руками-то замахал?! Ты хоть раз бывал там?

— Вязовку-то? Да я ее как облупленную знаю, вашу Вязовку! Господи, Вязовка!.. У человека — к старости, желательно, чтоб природа...

— А при чем тут природа-то? — вступали другие. — Надо не от природы отталкиваться, а от работы. Я не знаю вашей

Вязовки, но склад-то там есть? Человек же прежде всего насчет работы спрашивает.

— Нет, — говорил Николай Григорьевич, — желательно, чтоб и природа, конечно...

— Да в том-то и дело! Что он тебе, склад?! Склад, он и есть склад, теперь они везде есть. И если, например...

— Ну, вы тоже рассудили, — говорил какой-нибудь степенный, — только поорать. Ну — склад, они действительно везде теперь, а как, например, с жильем? У нас вон — и склад, и река, и озеро, а постройки страшно дорогие.

— Ну, сколь так? — вникал в подробности Николай Григорьевич.

— Это смотря что требуется.

— Ну, например, пятистенок... Добрый еще.

— С постройками?

— Ну да, баня, сарай для дров... Ну, навес какой-нибудь, завозня там — я построгать люблю в свободное время.

— Если, допустим, хороший пятистенок, — начинал соображать мужик, — банешка...

— Не развалюха, конечно, хорошая баня.

— Хорошая баня, сарай из горбыля, у нас в основном все сараи из горбыля идут, из отлета...

— Пилорама в деревне?

— Не в самой деревне, а на отделении.

— Ну, ну?

— Если все честь по чести, огород нормальный...

— Огород нам со старухой большой не надо.

— Ну, нормальный, их теперь больших-то и нету — нормальный, если все честь по чести, то будет так — три, три с половиной.

— Тыщи?! — изумлялся кто-нибудь.

— Нет, рубля, — огрызнулся степенный.

— Ну, это уж ты загнул. Таких и цен-то нету, — сомневались.

Степенный вмиг утрачивал свою степенность.

— А чего ради загибать-то перед вами? Что я, свой дом, что ли, навяливаю? Я говорю как есть. Человек же спрашивает...

— А чего так? Несусветные какие-то цены. Что у вас там такое?

— Ничего, совхоз.

— Дак а чего дорого-то? С ума, что ли, сошли там?

— Мы не сошли, сошли там, где постройки, я слыхал, на дрова пускают. Вот там-то сошли. Это уж я тоже не понимаю...

— Это я слыхал тоже. Рублей за триста, говорят, можно хороший дом взять.

— Ну, за триста не за триста...

— А как твоя деревня называется? — записывал Николай Григорьевич.

— Завалиха. Не деревня, село,

— Это где?

— А вот, если сейчас ехать... — и мужик подробно объяснял, где его село, как ехать туда.

— Райцентр, что ли?

— Был раньше райцентр, а потом, когда укрупняли районы, мы отошли к Красногорскому району, а у нас стала центральная усадьба.

— Ну, есть, наверно, перевалочная база? — допрашивал Николай Григорьевич.

Мужик послушно, очень подробно рассказывал. И был как будто рад, что его село заинтересовало человека больше, чем другие села и деревни. Со стороны наблюдали и испытывали нечто вроде ревности. И находили возможность подпортить важную минуту.

— Это ж что ж это за цены такие! Леса, наверно, нет близко?

— А у вас какие? — нервничал мужик из дорогого села. — Ну скажи, сколько у вас добрый пятистенок станет? Только не ври.

— Чего мне врать-то? Добрый пятистенок у нас... с постройками, со всем, с огородом — тыщи полторы-две.

— Где это? — поворачивался в ту сторону Николай Григорьевич.

И тогда тот, что перехватил интерес, начинал тоже подробно, долго объяснять, где его село, как называется река, почем у них мясо осенью...

— У меня вот свояк риезжал... как раз осенью тоже... Посмотрел. «Ну-у, — говорит, — у вас-то жить можно! Это, — говорит, — ты у нас иди сунься».

— А откуда он?

— За Уралом... Город Златоуст.

— Что ж ты город-то суешь? Мы про сельскую жизнь говорим.

— Он не из самого города, а близко к этому городу.

— Да зачем же там где-то брать, человек про наши места интересуется! Это я тебе могу насказать: у меня свояк в Магадане вон...

— Ну, едрена мать! Ты еще скажи — в Америке.

— А при чем тут Америка-то?

— А при чем Магадан?

— Да при том, что — речь идет про сельскую местность, а ты куда-то в Златоуст полез! Чего ты в Златоуст-то полез?!

— Тихо, тихо, — успокаивал Николай Григорьевич горячих селян. Странно, он становился здесь неким хозяином — на манер какого-нибудь вербовщика-работодателя в толпе ищущих. — Спокойно, мужики, — говорил Николай Григорьевич, — мы же не на базаре. Меня теперь интересует: сколько над уровнем моря твое село? — это вопрос к тому, в чьем селе дом-пятистенок стоит дешевле.

Тот не знал. И никто не знал, сколько над уровнем моря их деревни и села.

— А зачем это?

— Это очень важно, — пояснил Николай Григорьевич. — Для сердечно-сосудистой системы необходимо. Если место немного возвышенное — тоже нельзя: сразу скажется нехватка кислорода.

— Не замечали, — признавались мужики.

Но это — так, это Николай Григорьевич подпускал для пущей важности. Больше говорили про цены на постройки, на продукты, есть ли река в деревне или, может, озеро, далеко или близко лес... Потом переходили на людей — какие люди хорошие в деревне: приветливые, спокойные, не воруют, не кляузничают. И тут — незаметно для себя — начинали слегка врать друг другу. Это как-то само собой случалось, никто не преследовал никакой посторонней цели: один кто-нибудь начинал про своих людей, и уж тут другие не могли тоже умолчать, тоже рассказывали, но так, чтобы получалось, что у них— лучше.

— А у нас... обрати внимание: у нас, если баба пошла по воду, она никогда дом не запирает — зачем? Приткнет дверь

палочкой, и все: сроду никто не зайдет. Уж на что цыганы — у нас их полно — и то не зайдут: мы их так приучили.

— Да кого!.. Вы вот возьмите: у нас один вор есть...

— Вор?!

— Вор! Мы все про него знаем, что он вор, он уже раз пять сидел за это дело. А у нас одна заслуженная учительница живет, орден имеет... И этот вор натурально пришел к ней и говорит: «Пусти пожить недели две». А он у нее учился когда-то... в первом классе, что ли. Он вообще-то детдомовский, а она, видно, работала там. Да. «Пусти, — говорит, — пару недель пожить, пока не определюсь куда-нибудь».

— Пустила?

— Пустила! Ну, думаем, и обчистит же он ее!.. Жалели даже старушку.

— Дело в том, что у них такой закон есть: где живешь, там не воруй.

— Да, да.

— Не обчистил?

— Не! Ни-ни, ни волоска не взял. Сдержался.

— Нет, это уж такой закон. Вот если бы взял... если бы он ее все же обокрал, ему бы там свои за это дело...

— Ни-чего не взял!

— Это странно все же... Плевали они на эти законы! Закон. У меня прошлый год стожок сена увезли, змеи ползучие...

— Ну-у это такие, что ли! Это уж... наш брат кто-нибудь, свои. На кой ему черт сено, урке?

Смеялись. Вспоминали еще случаи... Курили и курили без конца — накурено бывало так, что глаза слезились. А время, слава богу, шло: глядишь, и подойдет час ехать. Ждать на вокзале — это не самое милое из того, что нам приходится делать.

— А я как-то еду из района, — встревал в минуту затишья какой-нибудь расторопный, — гляжу, стоит бабка... ну, лет так восемьдесят — восемьдесят пять. Подняла руку, я остановился. «До Красного, сынок». До Красного шестьдесят пять километров. «Платить-то, — говорю, — есть чем?» — «Есть, ми-лай, есть». Ну, везу... — и рассказчик заранее поблескивает глазом. — Доехали до Красного. «Все, — гово-

рю, — бабка, приехали. Плати». Она мне достает откуда-то из сумки... пять штук яиц!

Смех. Рассказчик доволен.

— «А раньше, — говорит, — брали. Мы, — говорит, — всегда яйцами расплачивались». — «Ладно, — говорю, — иди, бабка».

Рассказчик непременно еще повторял не один раз, как он ей сказал, старухе: «Иди, — говорю, — бабка, иди. Иди, чего с тебя взять». Это надо понимать, что — вот и он тоже добрый человек. Вообще добрых, простодушных, бесхитростных, бескорыстных, как выяснялось на этих собеседованиях, по деревням и селам — навалом, прохода нет от бесхитростных и бескорыстных. Да все такие, чего там! А если встречаются иногда склочные, злые, жадные, то это так — придурки.

Николай Григорьевич уже не записывал адреса, а слушал, поворачивался в разные стороны, смеялся тоже... И оттого, что он так охотно и радостно слушал, рассказывали — с радостью тоже — новые истории, где раскрывалось удивительное человеческое бескорыстие. Правда, нечаянно проскакивали случаи, где высовывалась вдруг морда какого-нибудь завистника или обманщика, но это — пропускали, это не суть дела, это чепуха. Все молча соглашались, что это — чепуха, а миром движет разум и добро.

— Я седня гляжу: пиво продают. Отстоял в очереди — она мне наливает... А наливает — вот так вот не долила. Сунула под кран — и дальше. Я отошел и думаю: «У нас бы ей за такие дела спасибо не сказали».

Тут же соглашались, что — да, конечно... Люди торопятся, людей много, она этим пользуется, бесстыдница. Но, если так-то подумать — ну сколько уж она там не долила! Конечно, ей копейка так и набегает, но ведь, правда, и не умер же ты, что не допил там глоток-другой. А у ней тоже небось — семья...

Но вот уж чего не понимали деревенские в городе — это хамства. Это уж черт знает что, этому и объяснения-то как-то нету. Кричат друг на друга, злятся. Продавщицу не спроси ни о чем, в конторах тоже, если чего не понял, лучше не переспрашивай: так глянут, так тебе ответят, что дай бог ноги. Тут, как наезжали на эту тему, мужики дружно гал-

дели — не понимали, изумлялись... И Николай Григорьевич тоже со всеми вместе не понимал и изумлялся. Прижимал кого-нибудь к стене туалета и громко втолковывал и объяснял:

— Ведь почему и уехать-то хочу!.. Вот потому и хочу-то — терпенья больше нет никакого. Ты думаешь, я плохо живу?! Я живу, дай бог каждому! У меня двухкомнатная секция, мы только двое со старухой... Но — невмоготу больше! Душу всю выворачивает такая жизнь!.. — Николай Григорьевич в эту минуту, когда кричал в лицо мужику, страдал вполне искренне, бил себя кулаком в грудь, только что не плакал... Но — и это поразительно — он вполне искренне забывал, что сам много кричит на складе, сам тоже ругается вовсю на шоферов, на грузчиков, к самому тоже не подступись с вопросом каким. Это все как-то вдруг забывалось, а жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют. И отчетливо ясно было, что это не жизнь, пропади она пропадом такая жизнь, и двухкомнатная секция, лучше купить избу в деревне и дожить спокойно свои дни, дожить их достойно, по-человечески. Не хочется же оскотинеть здесь со всеми вместе, нельзя просто, мы ж люди! И дорого это было Николаю Григорьевичу вот эти слова про достоинство человеческое и про покой, и нужно, и больно, и сладко было кричать их... Иногда даже замолкали вокруг, а он один — в дыму этом, в запахах — говорил и кричал. Ему искренне сочувствовали, хотели помочь.

Так, выговорившись, с адресами в кармане Николай Григорьевич шел домой. Шел с вокзала всегда пешком — это четыре остановки. Отходил после большого волнения. Тихонько еще ныла душа, чувствовалась усталость. К концу пути Николай Григорьевич всегда сильно хотел есть.

Никуда он не собирался ехать, ни в какую деревню, ничего подобного в голове не держал, но не ходить на вокзал он уже не мог теперь — это стало потребностью. Пристыди его кто-нибудь, ну, старший сын, например, запрети ходить туда, запрети записывать эти адреса, говорить с мужиками... Да нет, как запретишь? Он бы крадучись стал ходить. Он теперь не мог без этого.

ВЛАДИМИР СЕМЕНЫЧ ИЗ МЯГКОЙ СЕКЦИИ

Владимир Семеныч Волобцов здорово пил, так пил, что от него ушла жена. В один горький похмельный день он вдруг обнаружил, что его предали. Ужасное чувство: были слова, слезы, опять слова, и вот — один. Нет, конечно, родные в городке, знакомые есть, но мы знаем, что все эти родные и знакомые — это тоже слова, звуки: «Петр Николаич», «Анна Андреевна», «Софья Ивановна...» За этими звуками — пустота. Так, по крайней мере, было у Владимира Семеныча: никогда эти люди для него ничего не значили.

Владимир Семеныч не на шутку встревожился, очутившись в одиночестве. Что делать? Как жить? Но когда первый ошеломляющий вал прокатил над головой, муть, поднятая в душе Владимира Семеныча, осела, осталось одно едкое мстительное чувство.

«Так? — думал Владимир Семеныч. — Вы так? Хорошо! Посмотрим, как ты дальше будешь. Как говорится, посмотрим, чей козырь старше. Не прибежишь ли ты, голубушка, снова сюда да не попросишь ли Вовку-глота принять тебя».

И Владимир Семеныч бросил пить. Так бывает: вошел клин в сознание — стоп! Вся жизнь отныне сама собой подчинилась одной мысли: так поставить дело, чтобы преподобная Люсенька (жена) пришла бы и бухнулась в ноги — молить о прощении или, чтобы она там, где она обитает, с отчаяния полезла бы в петлю.

«Ты смотри! — с возмущением думал Владимир Семеныч. — Хвост дудкой — и поминай как звали! Нет, милая, так не бывает. Не тебе, крохоборке, торжествовать надо мной победу!»

Владимир Семеныч работал в мебельном магазине, в секции мягкой мебели. Когда он давал кому-нибудь рабочий телефон, он так и говорил:

— Спрашивайте Владимира Семеныча из мягкой секции.

Работать Владимир Семеныч умел: каждый месяц имел в кармане, кроме зарплаты. Люди бросились красиво жить, понадобились гарнитуры, гарнитуров не хватало — башка есть на плечах, будешь иметь в кармане. Владимир Семено-

вич имел башку на плечах, поэтому имел в кармане. Но раньше он много денег пускал побоку, теперь же стал вполне бессовестный и жадный: стал немилосердно обирать покупателей, стал сам покупать ценности, стал богато одеваться. Он знал, что Люсенька никуда из городка не уехала, живет у одной подруги. То обстоятельство, что она не подавала на развод и не делила квартиру, вселяло поначалу уверенность, что она вернется. Но проходили недели, месяцы... Два с половиной месяца прошло, а от нее ни слуху ни духу. А ведь слышала же, конечно, что Владимир Семеныч бросил пить, ходит нарядный, покупает дорогие вещи. Значит?..

«Значит, нашла любовника, — горько и зло думал Владимир Семеныч. — Зараза. Ну ладно!»

И Владимир Семеныч решил тоже показать, что он не лыком шит, решил показать, что его козырь старше. Он был человек расторопный.

Сперва появилась Валя с сырзавода, белозубая, с голубыми глазами. Она была из деревни, почтительная, это понравилось Владимиру Семенычу. Раза два они с Валей ходили в кино, потом Владимир Семеныч пригласил ее к себе домой. В воскресенье. Прибрался дома, расставил на столе шампанское (для Вали), конфеты, грецкие орехи, яблоки... И поехал за Валей.

В общежитие к ней он доехал на трамвае, а обратно пошли пешком: чтобы все видели и передали Люське.

Шли с Валей под ручку, нарядные, положительные.

— Меня тут некоторые знают, — предупредил Владимир Семеныч, — могут окликнуть... позвать куда-нибудь...

— Куда позвать? — не поняла Валя.

— В пивную. Не надо обращать внимания. Ноль внимания. Я их больше не знаю, оглоедов. Чужбинников. Злятся, что я бросил пить... А чего злиться? Нет, злятся. Могут провокацию устроить — не надо обращать внимания.

— А самого-то не тянет больше к ним? — спросила Валя.

— К ним?! Я их презираю всех до одного!

— Хорошо. Молодец! — от всего сердца похвалила Валя. — Это очень хорошо! Теперь — жить да радоваться.

— Я и так пропустил сколько времени! Я бы уж теперь завсекцией был.

— Еще пока опасаются?

— Чего опасаются? — не понял Владимир Семеныч.

— Завсекцией-то ставить. Пока опасаются?

— Я думаю, уже не опасаются. Но дело в том, что у нас завсекцией — старичок, он уже на пенсии, но еще работает, козел. Ну, вроде того, что — неудобно его трогать. Но, думаю, что внутреннее решение они уже приняли: как только тот уйдет, я занимаю его место.

Пошли через городской парк.

Там на одной из площадок соревновались городошники. И стояло немного зрителей — смотрели.

Владимир Семеныч и Валя тоже минут пять постояли.

— Делать нечего, — сказал Владимир Семеныч, трогаясь дальше в путь.

— А у вас, Владимир Семеныч, я как-то все не спрошу: родные-то здесь же живут? — поинтересовалась Валя.

— Здесь! — воскликнул не без иронии Владимир Семеныч. — Есть дяди, два, три тетки... Мать с отцом померли. Но эти... они все из себя строят, воображают, особенно когда я злоупотреблял. У нас наметилось отчуждение, — Владимир Семеныч говорил без сожаления, а как бы даже посмеивался над родными и сердился на них. — Обыватели. Они думают, окончили там... свои... Мещане! Я же не мальчик им, понимаешь, которого сперва можно не допускать к себе, потом, видите ли, допустить. У меня ведь так: я молчу-молчу, потом как покажу зубы!.. Эта моя дура тоже думает, что я за ней бегать стану. Шутить изволите! Если у меня в жизни вышел такой кикс, то я из него найду выход, — Владимир Семеныч очень гордился, что бросил пить, его прямо распирало. — Посмотрим через пару лет, как будут жить они, а как я. Крохоборы. Я через месяц себе «Роджерс» (гарнитур такой, югославский) приволоку: обещали завезти штук семь. Мы уже распределили, кому первые три пойдут... Две тысячи сто семьдесят рэ. Через месяц они у меня будут. Видела когда-нибудь «Роджерс»?

— Нет. Мебель такая?

— Гостиная такая, особенно стенка шикарная. А «Россарио» видела?

— Нет.

— У меня стоит «Россарио», счас посмотришь. Всего девять штук в городе.

— Гляди-ка! — удивилась Валя.

— Им во сне не снились такие гарнитуры. От «Роджерса» они вообще офигеют. Жить надо уметь, господа присяжные заседатели! — воскликнул Владимир Семеныч, ощутив прилив гордого чувства. — Меня почему и пить-то повело: чего ни возьмусь сделать, — все могу! Меня даже из других городов просят: «Достань холодильник «ЗИЛ», или «Достань дубленку». Ну, естественно, каждый старается угостить... У меня душа добрая: я уважительный тон хорошо чувствую. И вот это сознание — это я все могу — привело меня к злоупотреблению. Я и работал, как конь, и пил, разумеется.

Валя засмеялась.

— А? — сказал довольный Владимир Семеныч. — Что смеешься?

— Да вы прямо уж... всю правду про себя.

— А чего?! — опять воскликнул Владимир Семеныч. Ему было легко с Валей. — Я всегда так. Если я хочу Люське фитиля вставить, я не скрываю: вставлю. Она надеется, что комнату у меня оттяпает? Пусть. Я все равно себе кооперативную буду строить, но пусть она попробует разменять двухкомнатную на две однокомнатные. Я же в кооператив-то не подам, пока нас не разделят, а как разделят, сразу подаю в кооператив. Вот тогда она узнает: подселят ей каких-нибудь пенсионеров, они ей покажут тинь-тили-ли. Будь спок, милая: я все сделаю по уму.

Дома у себя Владимир Семеныч чего-то вдруг засуетился, даже как будто заволновался.

— Ну-с... вот здесь мы и обитаем! — шумно говорил он. — Не хоромы, конечно, но, как говорит один мой коллега, я под этой работой подписываюсь. Как находишь?

— Хорошо, — похвалила Валя. — Очень даже хорошо!

Владимир Семеныч снял с нее плащ-болонью, при этом почему-то не смотрел ей в глаза (может, грех затевал), усадил в креслице, к креслицу пододвинул журнальный столик... На столике было много разных журналов с картинками.

— Прошу... полистай пока. Как тебе «Россарио»?

— Какой «Россарио»?

— На чем сидишь-то! — воскликнул Владимир Семеныч со смехом. — Кресло-то из «Россарио». А вот — стенка. Гарнитур «Россарио». Финский. Тысяча двести.

— Так, а зачем же еще какой-то?

— Надо дожимать. Но «Роджерс» здесь не появится, пока нас с Люськой не разделят: нема дурных. Посиди, я пока кофе себе сготовлю, — и Владимир Семеныч поспешил на кухню готовить кофе. Но и оттуда все говорил. Громко. — У тебя родных много в деревне?

— Много, — отвечала Валя.

— Вот эти родственнички!.. — кричал из кухни Владимир Семеныч. — Да?! Как грибов!.. А коснись чего-нито — никого! Да?

Валя ничего на это не сказала, листала журнал.

— Как находишь журналы?! — опять закричал Владимир Семеныч.

— Хорошие.

— По тематике подбирал! Обрати внимание: все жмут на уют.

— А?

— Уют подчеркивают!

— Да... — сказала Валя.

— Не находишь, что в квартире, — кричал Владимир Семеныч, — не хватает заботливой женской руки?!

Валя не знала, что на это говорить.

— Да бог ее знает...

— А?!

— Не знаю!

— Явно не хватает! — Владимир Семеныч появился в комнате с подносом в руках. На подносе — медный сосудец с кофе, малые чашечки. — Жить тем не менее надо красиво, — сказал он. — Прошу: сядем рядком, потолкуем ладком.

Сели к столу, где стояла бутылка шампанского, стояли вазы с конфетами, с орехами, с печеньем. Владимир Семеныч нагнулся вбок куда-то и что-то такое включил — щелкнуло. Музыку, оказывается: в комнату полились грустные человечнейшие звуки.

— «Мост Ватерлоо», — сказал Владимир Семеныч тихо. И смело посмотрел в глаза девушке: — Как находишь?

— Хорошая, — сказала Валя. И чуть покраснела от взгляда Владимира Семеныча.

Зато Владимир Семеныч осмелел вполне. Он говорил и откупоривал шампанское, наливал шампанское в фужер и говорил...

— Я так считаю: умеешь жить — живи, не умеешь — пеняй на себя. Но, кроме всего прочего, должен быть вкус, потому что... если держать, например, две коровы и семнадцать свиней — это тоже считается хорошо. Должен быть современный уровень — во всем. Держи, но пока не пей: мы на брудершафт выпьем. Я себе кофе налью.

— Как это? — спросила Валя.

— На брудершафт-то? А вот так вот берутся... Дай руку. Вот так берут, просовывают... — Владимир Семеныч показал. — Так? И — выпивают. Одновременно. Мм? — Владимир Семеныч близко заглянул опять в глаза Вале. — Мм? — губы его чуть дрожали от волнения.

— Господи!.. — сказала Валя. — Для чего так-то?

— Ну, происходит... тесное знакомство. Уже тут... сознаются друг другу. Некоторый союз. Мм?

— Да что-то мне... как-то... Давайте уж прямо выпьем.

— Да нет, зачем же прямо-то? — Владимир Семеныч хотел улыбнуться, но губы его свело от волнения, он только покривился. И глотнул. — Мм? Зачем прямо-то? Дело же в том, что тут образуется некоторый союз... И скрепляется поцелуем. Я же не в Карачарове это узнал, — Владимир Семеныч опять глотнул. — Мм?

— Да ведь неспособно так пить-то!

— Да почему же неспособно?! — Владимир Семеныч придвинулся ближе, но у него это вышло неловко, он расплескал кофе из чашечки. — Вовсе даже способно. Почему неспособно-то? Поехали. Музыка такая играет... даже жалко. Неужели у тебя не волнуется сердце? Не волнуется?

— Да бог ее знает... — Вале было ужасно стыдно, но она хотела преодолеть этот стыд — чтобы наладился этот современный уровень, она хотела, чтобы уж он наладился, черт с ним совсем, ничего не поделаешь — везде его требуют. — Волнуется, вообще-то. А зачем говорить-то про это?

— Да об этом целые тома пишут! — воскликнул ободренный Владимир Семеныч. — Поэмы целые пишут! В чем дело? Ну? Ну?.. А то шампанское выдыхается.

— Да давай прямо выпьем! — сказала Валя сердито. Никак она не могла развязаться. — Какого дьявола будем кособочиться?

— Но образуется же два кольца... — Владимир Семеныч растерялся от ее сердитого голоса. — Зачем же ломать тра-

дицию? Музыка такая играет... Мы ее потом еще разок заведем. Мм?

— Да не мычи ты, ну тя к черту! — вконец чего-то обозлилась Валя. — Со своей музыкой... Не буду я так пить. Отодвинься. Трясется сидит, как... — Валя сама отодвинулась. И поставила фужер на стол.

— Выйди отсюда, — негромко, зло сказал Владимир Семеныч. — Корова. Дура.

Валя не удивилась такой чудовищной перемене. Встала и пошла надевать плащ. Когда одевалась, посмотрела на Владимира Семеныча.

— Корова, — еще сказал Владимир Семеныч.

— Ну-ка!.. — строго сказала Валя. —А то я те пообзываюсь тут! Сам-то... слюнтяй.

Владимир Семеныч резко встал... Валя поспешно вышагнула из квартиры. Да так крепко саданула дверью, что от стены над косяком отвалился кусок штукатурки и неслышно упал на красный коврик.

— Корова, — еще раз сказал Владимир Семеныч. И стал убирать со стола.

После этого Владимир Семеныч долго ни с кем не знакомился. Потом познакомился с одной... С Изольдой Викторовной. Изольда Викторовна покупала дешевенький гарнитур, и Владимир Семеныч познакомился с ней. Она тоже разошлась с мужем, и тоже из-за водки — пил мужик. Владимир Семеныч проявил к ней большое сочувствие, помог отвезти гарнитур на квартиру. И там они долго беседовали о том, что это ужасно, как теперь много пьют. Как взбесились! Семьи рушатся, судьбы ломаются... И ведь что удивительно: не с горя пьют, какое горе! Так — разболтались.

Изольда Викторовна, приятная женщина лет тридцати трех — тридцати пяти, слушала умные слова Владимира Семеныча, кивала опрятной головкой... У нее чуть шевелился кончик аккуратного носика. Она понимала Владимира Семеныча, но самой ей редко удавалось вставить слово — говорил Владимир Семеныч. А когда ей удавалось немного поговорить, кончик носа ее заметно шевелился, на щеках образовывались и исчезали, образовывались и исчезали ямочки, и зубки поблескивали белые, ровные. Владимир Семеныч под конец очень растрогался и сказал:

— У меня один родственничек диссертацию защитил — собирает банкет: пойдемте со мной? А то я тоже... один, как столб, извините за такое сравнение.

И Владимир Семеныч поведал свою горькую историю: как он злоупотреблял тоже, как от него ушла жена... И так у него это хорошо — грустно — вышло, так он откровенно все рассказал, что Изольда Викторовна посмеялась и согласилась пойти с ним на банкет. Владимир Семеныч шел домой чуть не вприпрыжку — очень ему понравилась женщина. Он все видел, как у нее шевелится носик, губки шевелятся, щечки шевелятся — все шевелится, и зубки белые поблескивают.

«Да такая умненькая! — радостно думал Владимир Семеныч. — Вот к ней-то «Роджерс» подойдет. Мы бы с ней организовали славное жилье».

Было воскресенье. Владимир Семеныч шел с Изольдой Викторовной в ресторан. Хотел было взять ее под ручку, но она освободилась и просто сказала:

— Не нужно.

Владимир Семеныч хотел обидеться, но раздумал.

— Я вот этого знаю, — сказал он. — Только не оглядывайтесь. Потом оглянетесь.

Прошли несколько.

— Теперь оглянитесь.

Изольда Викторовна оглянулась.

— В шляпе, — сказал Владимир Семеныч. — С портфелем.

— Так... И что?

— Он раньше в заготконторе работал. Мы как-то были с ним в доме отдыха вместе, ну, наклюкались... Ну, надо же что-то делать! Он говорит: «Хочешь, сейчас со второго этажа в трусах прыгну?» Струков его фамилия(. , вспомнил.

— Ну?

— Прыгнул. Разделся до трусов и прыгнул. На клумбу цветочную. Ну, конечно, сообщили на работу. Приходил потом ко мне: «Напиши как свидетель, что я случайно сорвался».

— И что вы?

— Что я, дурак, что ли? Он случайно разделся, случайно залез на подоконник, случайно закричал: «Полундра!» Я говорю: «Зачем «полундру»-то было кричать? Кто же нам

после этого поверит, что «случайно»?» По-моему, перевели куда-то. Но ничего, с портфелем ходит... Мы, когда встречаемся, делаем вид, что не знаем друг друга. А в одной комнате жили.

— Дурак какой, — сказала Изольда Викторовна. — Со второго этажа... Мог же голову свернуть.

— Не дурак, какой он дурак. Это, так называемые, духари: геройство свое показать. Я, если напивался, сразу под стол лез...

— Под стол?

— Не специально, конечно, но... так получалось. Я очень спокойный по натуре, — Владимир Семеныч, сам того не замечая, потихоньку хвалил себя, а про «Роджерс» и «Россарио» молчал — чуял, что не надо. Изольда Викторовна работала библиотекарем, Владимир Семеныч работу ее уважал, хоть понимал, что там платят гроши.

В ресторане для банкета был отведен длинный стол у стены.

Приглашенные, некоторые, уже сидели. Сидели чинно, прямо. Строго и неодобрительно поглядывали на малые столики в зале, за которыми выпивали, кушали, беседовали... Играла музыка, маленький толстый человек пел на возвышении песню не по-русски.

— Вон та, в голубом платье... — успел сообщить Владимир Семеныч, пока шли к столу через зал, — с ней опасайтесь насчет детского воспитания спорить: загрызет.

— Что такое? — испугалась Изольда Викторовна.

— Не бойтесь, но лучше не связывайтесь: она в детском садике работает, начальница там какая-то... Дура вообще-то.

Владимир Семеныч широко заулыбался, с достоинством поклонился всем и пошел здороваться и знакомить Изольду Викторовну.

На Изольду Викторовну смотрели вопросительно и строго. Некоторые даже подозрительно. Она смутилась, растерялась... Но когда сели, Владимир Семеныч горячо зашептал ей:

— Умоляю: выше голову! Это мещане, каких свет не видел. Тут одна показуха, один вид, внутри — полное убожество. Нули круглые сидят.

— Может, нам уйти лучше?

— Зачем? Посидим... Любопытно.

Получилось вообще-то, что они сидят напротив начальницы из детсадика, а по бокам от них — пожилые и тоже очень строгие, больше того — презирающие всех, кто в тот вечер оказался в ресторане. Они смотрели в зал, переговаривались. Делали замечания. Не одобряли они все это, весь этот шум, гам, бестолковые выкрики...

— А накурено-то! Неужели не проветривается?

— Дело не в этом. Здесь же специально сидят, одурманивают себя — зачем же проветривать?

— А вон, во-он — молоденькая!.. Во-он, хохочет-то. Заливается!

— С офицером-то?

— Да. Как хохочет, как хохочет!.. Будущая мать.

— Почему будущая? У них теперь это рано...

— Это вы меня спросите! — воскликнула полная женщина в голубом. — Я как раз наблюдаю... результаты этого смеха.

— А где же наш диссертант-то? — спросил Владимир Семеныч.

— За руководителем поехал.

— За генералом, так сказать?

Не поняли:

— За каким генералом?

— Ну, за руководителем-то... Я имею в виду Чехова, — Владимир Семеныч повернулся к Изольде Викторовне: — У него руководитель — известный профессор в городе, я ему «Россарио» доставал. Я его называю — генерал, в переносном смысле, разумеется. Вам не хочется поговорить с кем-нибудь? Может, пошутили бы... А то как-то неудобно молчать.

— Я не знаю, о чем тут говорить, — сказала Изольда Викторовна. — Мне все же хочется уйти.

— Да ничего! Надо побыть... Можно алкоголиков покритиковать — они это любят. Медом не корми, дай...

— Нет, не сумею. Надо уйти.

— Да почему?! — с сердцем воскликнул Владимир Семеныч. — Ну, что уж так тоже: уйти, уйти! Уйти мы всегда успеем, — Владимир Семеныч спохватился, что отчитывает милую женщину, помолчал и добавил мягко, с усмешкой: —

Не торопитесь, я же с вами. В случае чего я им тут фитиля вставлю.

Изольда Викторовна молчала.

А вокруг говорили. Подходили еще родственники и знакомые нового кандидата, здоровались, усаживались и включались в разговор.

— Кузьма Егорыч! — потянулся через стол Владимир Семеныч к пожилому, крепкому еще человеку. — А, Кузьма Егорыч!.. Не находите, что он слишком близко к микрофону поет?

— Кто? — откликнулся Кузьма Егорыч. — А, этот... Нахожу. По-моему, он его сейчас скушает.

— Кого? — не поняли со стороны.

— Микрофон.

Ближайшие, кто расслышал, засмеялись.

— Сейчас вообще мода пошла: в самый микрофон петь. Черт знает что за мода!

— Ходят с микрофоном! Ходит и поет. Так-то можно петь.

— Шаляпин без микрофона пел!

— Ну, взялись, — негромко, с ехидной радостью сказал Владимир Семеныч своей новой подруге. — Сейчас этого... с микрофоном вместе съедят.

— То — Шаляпин! Шаляпин свечи гасил своим басом, — сказал пожилой. Так сказал, как если бы он лично знавал Шаляпина и видел, как тот «гасил свечи».

— А вот и диссертант наш! — заволновались, задвигались за столом.

По залу сквозь танцующих пробирались мужчина лет сорока, гладко бритый, в черном костюме и в пышном галстуке, и с ним — старый, несколько усталый, наверно, профессор.

Встали навстречу им, захлопали в ладоши. Женщина в голубом окинула презрительным взглядом танцующих бездельников.

— Прошу садиться! — сказал кандидат.

— А фасонит-то! — тихо воскликнул Владимир Семеныч. — Фасонит-то!.. А сам небось на трояки с грехом пополам вытянул. Фраер.

— Боже мой! — изумилась Изольда Викторовна. — Откуда такие слова!.. Зачем это?

— Тю! — в свою очередь, искренне изумился Владимир Семеныч. — Да выпивать-то с кем попало приходилось — набрался. Нахватался, так сказать.

— Но зачем же их тут произносить?

Владимир Семеныч промолчал. Но, как видно, затаил досаду.

Тут захлопали бутылки шампанского.

— Салют! — весело закричал один курносый, в очках. — За новоиспеченного кандидата!

— Товарищ профессор, ну, как он там вообще-то? Здорово плавал?

Профессор неопределенно, но, в общем, вежливо пожал плечами.

— За профессора! За профессора! — зашумели.

— За обоих! И — за науку!

Кандидат стоял и нахально улыбался.

— За здоровье всех наших дам! — сказал он.

Это всем понравилось.

Выпили. Придвинулись к закуске. Разговор не прекращался.

— Грибки соленые или в маринаде?

— Саша, подай, пожалуйста, грибочки! Они соленые или в маринаде?

— В маринаде.

— А-а, тогда не надо, у меня сразу изжога будет.

— А селедку?.. Селедку дать?

— Селедочку? Селедочку можно, пожалуй.

— Вам подать в маринаде? — спросил Владимир Семеныч Изольду Викторовну

— Можно.

— Сань, подай, пожалуйста, в маринаде! Вон — в маринаде!

— А танцуют ничего. А?

— Слышите! Сергей уже оценил: «Танцуют ничего»!

Засмеялись.

— Подожди, он сам скоро пойдет. Да, Сергей?

— А что? И пойду!

— Неисправимый человек, этот Сергей!

— Дурак неисправимый, — уточнил Владимир Семеныч Изольде Викторовне. — Дочка в девятый класс ходит, а он все на танцах шустрит. Вон он, в клетчатом пиджаке.

Изольда Викторовна интеллигентно потыкала вилочкой маринованные грибочки, которые она перед тем мелко порезала ножиком... Но Владимир Семеныч не давал ей как следует поесть — все склонялся и говорил ей что-нибудь. Она слушала и кивала головой.

Поднялся во весь рост курносый Сергей.

— Позвольте!

— Тише, товарищи!..

— Дайте тост сказать! Товарищи!..

— Товарищи! За дам мы уже выпили... Это правильно. Но все же, товарищи, мы собрались здесь сегодня не из-за дам, при всем моем уважении к ним.

— Да, не из-за их прекрасных глаз!

— Да. Мы собрались... поздравить нового кандидата, нашего Вячеслава Александровича. Просто — нашего Славу. И позвольте мне тут сегодня скаламбурить: слава нашему Славе!

Засмеялись и захлопали.

Курносый сел было, но тут же вскочил опять:

— И позвольте, товарищи!.. Товарищи! И позвольте также приветствовать и поздравить руководителя, который направлял, так сказать, и всячески помогал... и является организатором и вдохновителем руководящей идеи, которая заложена в основе. За вас, товарищ профессор!

Дружно опять захлопали.

— Трепачи, — сказал Владимир Семеныч Изольде Викторовне.

Изольда Викторовна тоскливо опять покивала головой.

Со всех сторон налегали на закуски и продолжали активно разговаривать.

Пожилой человек и человек с золотыми зубами наладили через стол дружеские пререкания. А так как было шумно и гремела музыка, то и они тоже говорили очень громко.

— Что не звонишь?! — кричал пожилой.

— А?

— Не звонишь, мол, почему?!

— А ты?

— Я звонил! Тебя же на месте никогда нету!

— А-а, тут я не виноват! «Не виновата я!»

— Так взял бы да позвонил! Я-то всегда на месте!

— А я звонил вам, Кузьма Егорыч! — хотел влезть в этот разговор Владимир Семеныч, обращаясь к пожилому, к Кузьме Егорычу. — Вас тоже не было на месте.

— А? — не расслышал Кузьма Егорыч.

— Я говорю, я вам звонил!

— Ну и что? А чего звонил-то?

— Хотел... это... Нам «Роджерсы» хотят забросить...

— Кузьма! А, Кузьма!.. — кричал золотозубый. Кузьма Егорыч повернулся к нему. — Ты Протопопова встречаешь?

— Кого?

— Протопопова!

— Каждый день!

— Ну как? — спросил Владимир Семеныч Изольду Викторовну. — Скучно?

— Ничего, — сказала она.

— Видите, какой разгул мещанства! Взял бы всех и облил шампанским. Здесь живут более или менее только вот эти два, которые кричат друг другу... Остальные больше показуху разводят.

— А я уж думал, тебя перевели куда-нибудь! — кричал Кузьма Егорыч золотозубому. — Куда он, думаю, пропал-то?!

— Куда перевели?

— Может, думаю, повысили его там!

— Дожидайся — повысят! Скорей — повесят!

— Ха-ха-ха!.. — густо, гулко засмеялся Кузьма Егорыч.

— Ну что, Софья Ивановна? — обратился Владимир Семеныч к женщине в голубом. Его злило, что ни его, ни его подругу как-то не замечают, не хотят замечать. — Все воюете там, с малышами-то.

Софья Ивановна мельком глянула на него и постучала вилкой по графину.

— Товарищи!.. Товарищи, давайте предложим им нормальный вальс! Ну что они... честное слово, неприятно же смотреть!

— В чужой монастырь, Софья Ивановна, со своим уставом...

— Да почему?! Мы же в своей стране, верно же! Давайте попросим сыграть вальс. Молодежь!..

— Не надо, — остановил Кузьма Егорыч. — Не наше дело: пусть с ума сходят.

— А вот это в корне неправильное решение! — восстала Софья Ивановна.

— Да хорошо танцуют, чего вы! — сказал человек с золотыми зубами. — Был бы помоложе, сам пошел бы... подрыгался.

— Именно — подрыгался! Разве в этом смысл танца?

— Ну, еще тут смысла искать! А в чем же?

— В кра-соте! — объяснила Софья Ивановна.

— А смысл красоты в чем? — все хотел тоже поговорить Владимир Семеныч. — А, Софья Ивановна? Если вы, допустим, находите, что вот этот виноград...

— Одну минуточку, Алексей Павлыч, вы что, не согласны со мной? — требовательно спрашивала Софья Ивановна золотозубого.

— Согласен, согласен, Софья Ивановна, — сказал Алексей Павлыч недовольно. — Конечно, в красоте. В чем же еще!

— Да, но в чем смысл красоты?! — вылетел опять Владимир Семеныч.

— Так в чем же дело? — Софья Ивановна упорно не хотела замечать Владимира Семеныча. — Алексей Павлыч!

— Ау?

— В чем же дело?!

Владимир Семеныч помрачнел.

— Пойдемте домой, — предложила Изольда Викторовна.

— Подождите. А то поймут, как позу... Ну, кретины! Крохоборы.

— Саша, Саш! — громко говорили за столом. — У тебя Хламов бывает?

— Вчера был.

— Как он?

— В порядке.

— Да? Устроился?

— Да.

— Довольный?

— Ничего, говорит. А чего ты о нем?

— Пойдемте домой, — опять сказала Изольда Викторовна. Владимир Семеныч вместо ответа постучал вилкой по графину.

— Друзья! — обратился он ко всем. — Минуточку, друзья!.. Давайте организуем летку-енку! В пику этим...

— Да что они вам?! — рассердился Алексей Павлыч, золотозубый. — Танцуют люди, нет, надо помешать.

Владимир Семеныч сел.

Помолчал и сказал негромко:

— Ох, какие мы нервные! Ах ты, батюшки!.. — взял фужер с вином и выпил один.

— Что это вы? — удивленно спросила Изольда Викторовна.

— Какие ведь мы все... культурные, но слегка нервные! — не мог успокоиться Владимир Семеныч. — Да? Зубы даже из-за этого потеряли.

Никто не слышал Владимира Семеныча, только Изольда Викторовна слышала. Она со страхом смотрела на него. Владимир Семеныч еще набухал в фужер и выпил.

— Какие мы все нервные! Да, Софья Ивановна?! — повысил голос Владимир Семеныч, обращаясь к Софье Ивановне. — Культурные, но слегка нервные. Да?

Софья Ивановна внимательно посмотрела на Владимира Семеныча.

— Нервные, говорю, все! — зло сказал Владимир Семеныч, глядя в глаза строгой женщины. — Все прямо изнервничались на общественной работе! — Владимир Семеныч искусственно — недобро — посмеялся.

— Что, опять? — спросила Софья Ивановна значительно и строго.

— Да вы только это... не смотрите на меня, не смотрите таким... крокодилом-то, — сказал Владимир Семеныч. — Не смотрите — мы же не в детсадике. Верно? Имел я вас всех в виду!

К Владимиру Семенычу повернулись, кто был ближе и слышали, как он заговорил. Повернулись и смотрели.

— Имел, говорю, я вас всех в виду! — повторил для всех Владимир Семеныч. — Очень уж вы умные все, как я погляжу! Крохоборы...

— Володька! — предостерегающе сказал курносый Сергей.

— Что — «Володька»? Я тридцать четыре года Володька. Я вас всех имел в виду, — Владимир Семеныч еще налил в фужер и выпил. — Вот так, — он оглянулся — Изольды Викторовны рядом не было. Сбежала. Владимира Семеныча пу-

ще того злость взяла. — Я вам популярно объясняю: вы все крохоборы. Во главе с Софьей Ивановной. А она просто дура набитая. Мне жалко ребятишек, которыми она там командует... Вы все дураки!

Теперь все за столом молчали.

— Ду-ра-ки! — повторил Владимир Семеныч. И встал. — Мещане! Если вас всех... все ваши данные заложить в кибернетическую машину и прокрутить, то выйдет огромный нуль! Нет, вы сидите и изображаете из себя поток информации. Боже мой!.. — Владимир Семеныч скорбно всех оглядел. — Нет, — сказал он, — я под такой работой не подписываюсь. Адью! Мне грустно.

Он вышел на улицу и стал звать:

— Изольда Викторовна! Изольдушка!.. — он думал, она где-нибудь близко — ждет его. Но никто не отзывался. — Изольдушка!.. — еще покричал Владимир Семеныч. И заплакал. Выпитое вино как-то очень ослабило его. В голове было ясно, но так вдруг стало грустно, так одиноко! Он хотел даже двинуть к подруге жены, чтобы поговорить с женой... Но одумался.

— Нет, — говорил он сам с собой, — нет, только не это. Этого вы от меня не дождетесь, крохоборы. Нули. Этой радости я вам не сделаю.

Он шел по неосвещенной улице, как по темной реке плыл, — вольно загребал руками, и его куда-то несло. От горя и одиночества хотелось орать, но он знал и помнил, что это нельзя, это, как выражаются кандидаты, чревато последствиями.

Принесло его как раз к дому. Он вошел в опостылевшую квартиру и, не раздеваясь, стал ломать «Россарио». Открывал дверцы и заламывал их ногой в обратную сторону: дверцы с хрустом и треском безжизненно повисали или отваливались вовсе, И этот хруст успокаивал растревоженную душу, это как раз было то, что усладило вдруг его злое, мстительное чувство.

— Вот так вот... крохоборы несчастные, — приговаривал Владимир Семеныч. — Пр-рошу!..— хр-р-ресть — еще одна дверца отвалилась и со стуком упала на пол. — Пр-рошу!.. Мещане! — и еще одна гладкая, умело сработанная доска валяется на полу. — Нулики! Пр-рошу!..

Но что удивительно: Владимир Семеныч ломал «Россарио» и видел, как это можно восстановить. В мебельном магазине, где работал Владимир Семеныч, работал же золотой краснодеревщик, дядя Гриша, он делал чудеса с изуродованной мебелью. И опытный глаз Владимира Семеныча отмечал, где надо будет поставить латку и пустить под морилку, где, видно, придется привернуть металлические полоски, чтобы было куда крепить шарнирные устройства. Но все же дверцы Владимир Семеныч выломил все. И после этого лег спать.

ВНЕЗАПНЫЕ РАССКАЗЫ

МЕЧТЫ

Как-то зашел я в гостиничный ресторан — подкрепиться. Сел. Жду.

Подходит официант... Опрятный, курносый, с лицом, которые забываются тут же. Впрочем, у этого в глазах было некое презрение, когда он слушал. Он слушал и чуть кивал головой. И в глазах его, круглых, терпеливых, я обнаружил презрение. Это и остановило мое внимание на его скучном лице... И я без труда узнал человека.

Лет двадцать пять назад мы с ним работали на одной стройке, жили в общежитии в одной комнате. Было нам по шестнадцать лет, мы приехали из деревни, а так как город нас обоих крепко припугнул, придавил, то и стали мы вроде друзья.

Работали... А потом нас тянуло куда-нибудь, где потише. На кладбище. Это странно, что мы туда наладились, но так. Мы там мечтали. Не помню, о чем я тогда мечтал, а выдумывать теперь тогдашние мечты — лень. Тогда бы, в то время, если бы кто спросил, наверно, соврал бы — что-нибудь про летчиков бы, моряков: я был скрытный, к тому же умел врать. А теперь забыл... Всерьез захотел вспомнить — о чем же все-таки мечталось? — и не могу. Забыл. Помню, смотрел тогда фильм «Молодая гвардия», и мне очень понравился Олег Кошевой, и хотелось тоже с кем-нибудь тайно бороться. До того доходило, что иду, бывало, по улице и так с головой влезу в эту «тайную борьбу», что мне, правда каза-

лось, что за мной следят, и я оглядывался на перекрестках. И даже делал это мастерски — никто не замечал. Но едва ли я рассказывал про такую мечту. Да и не мечта это была, а игра, что ли, какая-то. Как про это расскажешь.

А он рассказывал. Он мечтал быть официантом. Я хорошо помню, как он азартно напирал и шлепал губами про то, как официанты хорошо живут, богато. Он был тогда губошлеп, а потом, как стал, видно, официантом, то губы подобрал, сдержанный стал, вежливый. Только что это за презрение у него в круглых глазах? Никакого презрения тогда не намечалось, наоборот, дурак дураком был, простодушный и до смешного доверчивый. Даже я учил его, чтоб он не был таким доверчивым.

Меня не удивляло, что он хочет быть официантом. Я, наверно, думал: «Ну и будь!» Не отговаривал. Даже, наверно, гордился потихоньку, что сам я не хочу быть официантом, даже когда голодали. Но это теперь легко сказать, что — гордился, а гордился ли — не помню. Однако хорошо помню, что он хотел быть официантом. Я только то и помню: кладбище калужское, и что он очень хотел быть официантом.

Кладбище было старое, купеческое. На нем, наверно, уже не хоронили. Во всяком случае, ни разу мы не наткнулись на похороны. Каких-то старушек видели — сидели на скамеечках старушки. Тишина... Сказать, чтоб мысли какие-нибудь грустные в голову лезли, — нет. Или думалось: вот, жили люди... Нет. Самому жить хотелось, действовать, может, бог даст, в офицеры выйти. Скулила душа, тосковала: работу свою на стройке я ненавидел. Мы были с ним разнорабочими, гоняли нас туда-сюда, обижали часто. Особенно почему-то нехорошо возбуждало всех, что мы — только что из деревни, хоть, как я теперь понимаю, сами они, многие, — в недалеком прошлом — тоже пришли из деревни. Но они никак этого не показывали, и все время шпыняли нас: «Что, мать-перемать, неохота в колхозе работать?»

Помню еще надгробия каменные, тесаные, тяжелые. Я думал тогда: как же было тащить сюда такую тяжесть? На подводах, что ли? Надписи на камнях — все больше купцы лежат. Сколько же купцов было на Руси! Или — это кладбище только купеческое? Тишина была на кладбище. Отторговали купцы, отшумели... Лежат. Долго-долго будут лежать, пока не раскурочат кладбище под какой-нибудь завод.

У нас в деревне забросили старое кладбище, стали хоронить на новом месте, на горе.

Да, так вот — официант. Странно, что я никак не встревожился, не заволновался, что встретил его, не захотел поговорить. Не знаю — почему-то не захотел. Может, потому, что был я крепко с похмелья, а он возьмет да подумает, что у меня совсем уж плохие дела. Еще пожалеет. А разубеждать — совестно. Словом, не стал я объявляться. А возьму да и пожалею... Зачем?.. Я стал наблюдать за ним. И получил какое-то жестокое удовольствие. Он совсем изменился, этот человек. Не будь у меня такая редкая память на лица, никогда бы мне не узнать его. Я сказал, что обнаружил у него в глазах презрение. Никакого презрения! Тут же подошел к соседнему столику и таким изящным полупоклоном изогнулся, да так весело, беззаботно, добро улыбнулся, что куда тебе! Помурлыкал что-то насчет закуски, посоветовал, покивал причесанным на пробор шарабанчиком, взмахнул салфеткой и отбыл в сторону кухни. Э-э, он-таки научился. Презрение — это ко мне только, потому что я с похмелья. И один. И одет — так себе. И лицо солдатское. А так бы он и мне с достоинством поклонился. Ах, славно он кланяется! Именно — с достоинством, не угодливо, нет, — красиво, спокойно, четко, ни на сантиметр ниже, ни на сантиметр выше, а как раз, чтоб подумали: «Надо потом прикинуть к счету рубль-другой». Поклонись он мне так, я бы так и подумал. А вот бережет же свой поклон, не всем подряд кланяется. Опыт. Конечно, иногда, наверно, ошибается, но, в общем, метит точно. Там, например, где он только что поклонился, сидели совсем молодые ребята с девушками, ребятки изображали бывалых людей, выдавили дома прыщи, курили заграничные сигареты. Тут-то он им — и поклончик, поводил умытым пальцем по меню — совет, что лучше заказать, покивал головкой — коньяк, шампанское... Легкое движение — переброс салфетки с руки на руку — заключительный поклон, исчезновение. Славно. И ведь, хитрец: все с понимающим видом, с видом, что — вот: молодые, беспечные — «бродят». Как там у Хемингуэя (у Хема)? Зашли в одно место — выпили, зашли в другое место — выпили... Шельма, он же знает, что для того, чтоб сюда войти с улицы, надо отстоять в очереди, где вся беспечность улетучится. Но так как молодые играли в беспечность, он умело под-

хватил игру. Он знает, что деньги у них — папины, или кто-то из них в дедовой библиотеке приделал ноги четырехтомнику Даля... Но он все принимает за чистую монету: вошли джентльмены, все будет о'кэй. Прежде всего он понимает, что ребятки форсят перед девушками, при расчете не станут пересчитывать, а еще и подкинут трояк.

Но вот уж он иноходит от кухни... Ширк-ширк, ширк-ширк — обогнул столик, другой, поднос на левой руке как щит, а на щите — всякие вкусные штуки. Сказать ему, что ли, про калужское кладбище? Помнишь, мол, как там тихо-тихо было?.. Нет, пожалеет он меня, наверняка, пожалеет в душе.

— У вас что было?

— Котлета.

— Котлета... Пожалуйста.

— По-калужски?

— Что?

— Котлета-то по-калужски?

— Почему по-калужски? Нормальная котлета.

— Я думал, по-калужски.

— Где вы видите — по-калужски?

— Да нигде не вижу... Я вот смотрю на нее, думал, она — по-калужски.

— Нет у нас никаких по-калужски!

— Ну, нет — и не надо. Я же не прошу. Я говорю: я думал, она по-калужски.

— Будете кушать?

— А как же!

— Водка... А что собой представляет по-калужски?

— Такие... на гробики похожи... Купеческие котлеты.

Он быстро, подозрительно глянул на меня, на графинчик с водкой, что мне поставил, — испугался: не развезет ли меня, если я это оглоушу, в графинчике-то? Их за это ругают, я слышал. Я интеллигентно кашлянул в ладонь, сказал как можно приветливее:

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Официант отбыл к соседнему столику.

Нет, не буду я ему ничего говорить про Калугу. А три рубля лишних дам потом. Как можно небрежней дам, и никакого презрения — дам, и все. Как будто я каждый раз вот так

по трояку отваливаю — такой я странный, щедрый человек, хоть и с солдатским лицом и неважно одет. Меня прямо нетерпение охватило — скорей дать ему три рубля. Посмотреть: какое у него сделается лицо!

...Я поел, выпил. Он мне кратким движением — сверху вниз — счет. Я заплатил по счету, встал и пошел. Трояк не дал. Ни копейки не дал. Не знаю, что-то вдруг разозлился и не дал. А чтоб самому про себя не думать, что я жадный, я отдал эти три рубля гардеробщику. Я не раздевался, так как вошел в ресторан из гостиницы, а подошел и просто дал. Он меня спросил:

— Побрызгать?

— Не надо, — сказал я. — Брызгать еще...

«Вот так вот, — думал я сердито про официанта, — гроша ломаного не дам. И так проживешь. Вон какой ловкий!.. Научился».

НА КЛАДБИЩЕ

Ах, славная, славная пора!.. Теплынь. Ясно. Июль месяц... Макушка лета. Где-то робко ударили в колокол... И звук его — медленный, чистый — поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет.

...Есть за людьми, я заметил, одна странность: любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так — тепло и покойно. Как-то, наверно, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание: я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще: как бы там ни думал, а все — как по краю обрыва идешь: под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз, на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну. Странно как раз другое: странно, что сюда доносятся гудки автомобилей, голоса людей... Странно, что в каких-нибудь двухстах метрах улица, и там продают газеты, вино, ка-

кой-нибудь амидопирин... Я один раз слышал, как по улице проскакал конный наряд милиции — вот уж странно-то!

...Сидел я вот так на кладбище в большом городе, задумался. Задумался и не услышал, как сзади подошли. Услышал голос:

— Ты чего тут, сынок? Это моя могилка-то.

Оглянулся, стоит старушка, смотрит мирно.

— Моя могилка-то, — сказала она еще.

Я вскочил со скамеечки... Смутился чего-то.

— Извините...

— Да что же?.. Садись, — она села на скамеечку и показала рядом с собой. — Садись, садись. Я думаю, может, ты перепутал могилки.

Я сел.

— Сынок у меня тут, — сказала она, глядя на ухоженную могилку. — Сынок... Спит, — она молча поплакала, молча же вытерла концом платка слезы, вздохнула. Все это она проделала привычно, деловито... Видно, горе ее — давнее, стало постоянным, и она привыкла с ним жить.

— А ты чего? — спросила старушка, повернувшись ко мне. — Тоже есть тут кто-нибудь?

— Нет... я так. Зашел просто... Зашел отдохнуть.

Старушка с любопытством и более внимательно посмотрела на меня.

— Тут рази отдыхают...

— А что? — я все боялся как-нибудь не так сказать, как-нибудь неосторожно сказать. — Тут-то и отдохнуть. Подумать.

— Оно так, — согласилась старушка. — Только дума-то тут... вишь, какая? Мне надо там лежать-то, мне, а не ему, — она повернулась опять к могилке. — Мне надо лежать там, а он бы приходил да сидел тут — мне бы и спокойней было. Куда лучше! Только... не нам это решать дадено, вот беда.

— Давно схоронили?

— Давно. Семь лет уж.

— Болел?

Старушка не ответила на это. Долго молчала, слегка покачивала головой — вверх-вниз. Когда я пригляделся потом, понял, что у нее это почти все время — покачивает головой.

— Двадцать четыре годочка всего и пожил, — сказала старушка покорно. Еще помолчала. — Только жить начинать,

а он вот... завалился туда... А тут, как хошь, так и живи, — она опять поплакала, опять вытерла слезы и вздохнула. И повернулась ко мне. — Неладно живете, молодые, ох неладно, — сказала она вдруг, глядя на меня ясными умытыми глазами. — Вот расскажу тебе одну историю, а ты уж как знаешь: хошь верь, хошь не верь. А все — послушай да подумай, раз уж ты думать любишь. Никуда не торописся?

— Нет.

— Вот тут у нас, на Мочишшах... Ты здешный ли?

— Нет.

— А-а. У нас тут, на окраинке, место зовут — Мочишши, там военный городок, военные стоят. А там тоже есть кладбище, но оно старое, там теперь не хоронют. Раньше хоронили. И вот стоял один солдат на посту... А дело ночное, темное. Ну, стоит и стоит, его дело такое. Только вдруг слышит, кто-то на кладбище плачет. По голосу — женщина плачет. Да так горько плачет, так жалко. Ну, он мог там, видно, позвонить куда-то, однако звонить он не стал, а подождал другого, кто его сменяет-то, другого солдата. Ну-ка, говорит, послушай: может, мне кажется? Тот послушал — плачет. Ну, тогда пошел тот, который сменился-то, разбудил командира. Так и так, мол, плачет какая-то женщина на кладбище. Командир сам пришел на пост, сам послушал: плачет. То затихнет, а то опять примется плакать. Тогда командир пошел в казарму, разбудил солдат и говорит: так, мол, и так, на кладбище плачет какая-то женщина, надо узнать, в чем дело — чего она там плачет. На кладбище давно никого не хоронют, подозрительно, мол... Кто хочет? Один выискался: пойду, говорит. Дали ему оружию, на случай чего, и он пошел. Приходит он на кладбище, плач затих... А темень, глаз коли. Он спрашивает: есть тут кто-нибудь живой? Ему откликнулись из темноты: есть, мол. Подходит женщина... Он ее, солдат-то, фонариком было осветил — хотел разглядеть получше. А она говорит: убери фонарик-то, убери. И оружию, говорит, зря с собой взял. Солдатик оробел... «Ты плакала-то?» — «Я плакала». «А чего ты плачешь?» — «А об вас, говорит, плачу, об молодом поколении. Я есть земная божья мать и плачу об вашей непутевой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала». «Да я же комсомолец! — это солдатик-то ей. — Кто же мне поверит, что я тебя видел? Да и я-то, — говорит, — не

верю тебе». А она вот так вот прикоснулась к ему, — и старушка легонько коснулась ладошкой моей спины, — и говорит: «Пове-ерите». И — пропала, нету ее. Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как было дело — кого он видал. Там его, знамо дело, обсмеяли. Как же!.. — старушка сказала последние слова с горечью. И помолчала обиженно. И еще сказала тихо и горестно: — Как же не обсмеют! Обсмею-ут. Вот. А когда солдатик зашел в казарму-то — на свет-то, — на гимнастерке-то образ божьей матери. Вот такой вот, — старушка показала свою ладонь, ладошку. — Да такой ясный, такой ясный!..

Так это было неожиданно — с образом-то — и так она сильно, зримо завершала свою историю, что встань она сейчас и уйди, я бы снял пиджак и посмотрел — нет ли и там чего. Но старушка сидела рядом и тихонько кивала головой. Я ничего не спросил, никак не показал, поверил я в ее историю, не поверил, охота было, чтоб она еще что-нибудь рассказала. И она точно угадала это мое желание: повернулась ко мне и заговорила. И тон ее был уже другой — наш, сегодняшний.

— А другой у меня сын, Минька, тот с женами закружился, кобель такой: меняет их без конца. Я говорю: да чего ты их меняешь-то, Минька? Чего ты все выгадываешь-то? Все они нонче одинаковые, меняй ты их, не меняй. Шило на мыло менять? Сошелся тут с одной, ребеночка нажили... Ну, думаю, будут жить. Нет, опять не пожилось. Опять, говорит, не в те ворота заехал. Ах ты, господи-то! Беда прямо. Ну, пожил один сколько-то, подвернулась образованная, лаборанка, увезла его к черту на рога, в Фергану какую-то. Пишут мне оттудова: «Приезжай, дорогая мамочка, погостить к нам». Старушка так умело и смешно передразнивала этих молодых в Фергане, что я невольно засмеялся, и, спохватившись, что мы на кладбище, прихлопнул смех ладошкой. Но старушку, кажется, даже воодушевил мой смех. Она с большей охотой продолжала рассказывать. — Ну, я и разлысила лоб-то — поехала. Приехала, погостила... Дура старая, так мне и надо — поперлась!

— Плохо приняли, что ли?

— Да сперва вроде ничего... Ведь я же не так поехала-то, я же деньжонок с собой повезла. Вот дура-то старая, ну не дура ли?! Ну и пока деньжонки-то были, она ласковая была,

потом деньжонки-то кончились, она: «Мамаша, кто же так оладьи пекет!» — «Как кто? — говорю. — Все так пекут. А чего не так-то?». Дак она набралась совести и давай меня учить, как оладушки пекчи. Ты, говорит, масла побольше в сковородку-то, масла. Да сколько же тебе, матушка, тада масла-то надо? Полкило на день? И потом, они же черные будут, когда масла-то много, не пышные, какие же это оладьи. Ну, и взялись друг дружку учить. Я ей слово, она мне — пять. Иди их переговори, молодых-то: черта с рогами замучают своими убеждениями, прости, господи, не к месту помянула рогатого. Где же мне набраться таких убеждениев? А мужа не кормит! Придет, бедный, нахватается чего попади, и все. А то и вовсе: я, говорит, в столовку забежал. Ах ты, думаю, образованная! Вертихвостки вы, а не образованные, — старушка помолчала и еще добавила с сердцем: — Проклэмации! Только подолом трясти умеют. Как же это так-то? — повернулась она ко мне. — Вот и знают много, и вроде и понимают все на свете, а жить не умеют. А?

— Да где они там знают много! — сказал я тоже со злостью. — Там насчет знаний-то... конь не валялся.

— Да вон по сколь годов учатся!

— Ну и что? Как учатся, так и знают. Для знаний, что ли, учатся-то?

— Ну да, в колхозе-то неохота работать, — согласилась старушка. — Господи, господи... Вот жизнь пошла! Лишь ба день урвать, а там хоть трава не расти.

Мы долго молчали. Старушка ушла в свои думы, они пригнули ее ниже к земле, спина сделалась совсем покатой; она не шевелилась, только голова все покачивалась и покачивалась.

Опять где-то звякнул колокол. Старушка подняла голову, посмотрела в дальний конец кладбища, где стояла в деревьях маленькая заброшенная церковка, сказала негромко:

— Сорванцы.

— Ребятишки, что ли?

— Да ну, лазиют там... Пойду палкой попру, — старушка поднялась, посмотрела на меня. — Ты один-то не сиди тут больше, а то мне как-то... все думать буду: сидит кто-то возле моей могилки. Не надо.

— Нет, я тоже пойду. Хватит.

— Ага. А то все как-то думается... — вроде извиняясь, еще сказала старушка. И пошла по дорожке, совсем маленькая, опираясь на свою палочку. А шла все же податливо, скоро. Я посмотрел ей вслед и пошел своей дорогой.

КАК МУЖИК ПЕРЕПЛАВЛЯЛ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛКА, КОЗУ И КАПУСТУ

Собрались три бледно-зеленые больничные пижамы решать вопрос: как мужику в одной лодке переплавить через реку волка, козу и капусту? Решать стали громко; скоро перешли на личности. Один, носатый, с губами, похожими на два прокуренных крестьянских пальца, сложенных вместе, попер на лобастого, терпеливого:

— А ты думай! Думай! Он поплавит капусту, а волк здесь козу съест! Думай!.. У тя ж голова на плечах, а не холодильник.

Лобастый медленно смеется.

Этот лобастый — он какой-то загадочный. Иногда этот человек мне кажется умным, глубоко, тихо умным, самостоятельным. Я учусь у него спокойствию. Сидим, например, в курилке, курим. Молчим. Глухая ночь... Город тяжело спит. В такой час, кажется, можно понять, кому и зачем надо было, чтоб завертелась, закружилась, закричала от боли и радости эта огромная махина — Жизнь. Но только — кажется. На самом деле сидишь, тупо смотришь в паркетный пол и думаешь черт знает о чем. О том, что вот — ладили этот паркет рабочие, а о чем они тогда говорили? И вдруг в эту минуту, в эту очень точную минуту из каких-то тайных своих глубин Лобастый произносит... Спокойно, верно, обдуманно:

— А денечки идут.

Пронзительная, грустная правда. Завидую ему. Я только могу запоздало вздохнуть и поддакнуть:

— Да. Не идут, а бегут, мать их!..

Но не я первый додумался, что они так вот — неповторимо, безоглядно, спокойно — идут. Ведь надо прежде много наблюдать, думать, чтобы тремя словами — верно и вовремя сказанными — поймать за руку Время. Вот же черт!

Лобастый медленно (он как-то умеет — медленно, то есть не кому-нибудь, себе) смеется.

— Эх, да не зря бы они бежали! А?

— Да.

Только и всего.

Лобастый отломал две войны — финскую и Отечественную. И, к примеру, вся финская кампания, когда я попросил его рассказать, уложилась у него в такой... компактный, так, что ли, рассказ:

— Морозы стояли!.. Мы палатку натянули, чтоб для маскировки, а там у нас была печурка самодельная. И мы от пушек бегали туда погреться — каждому пять минут, Я пришел, пристроился сбочку, задремал. А у меня шинелька — только выдали, новенькая. Уголек отскочил, и у меня от это вот место все выгорело. Она же — сукно — шает, я не учуял. Новенькая шинель.

— Убивали же там!

— Убивали. На то война. Тебе уколы делают?

— Делают.

— Какие-то слабенькие теперь уколы. Бывало, укол сделают, — так три дня до тебя не дотронься: все болит. А счас сделают — в башке не гудит, и по телу ничего не слышно.

...И вот Носатый прет на Лобастого:

— Да их же нельзя вместе-то! Их же... Во дает! Во тункель-то!

— Не ори, — советует Лобастый. — Криком ничего не возьмешь.

Носатый — это не загадка, но тоже... ничего себе человечек. Все знает. Решительно все. Везде и всем дает пояснения; и когда он кричит, что волк съест козу, я как-то по-особенному отчетливо знаю, что волк это сделает — съест. Аккуратно съест, не будет рычать, но съест. И косточками похрустит.

— Трихопол?! — кричит Носатый в столовой. — Это — для американского нежного желудка, но не для нашего. При чем тут трихопол, если я воробья с перьями могу переварить! — и таков дар у этого человека — я опять вижу и слы-

шу, как трепещется живой еще воробей и исчезает в железном его желудке.

Третья бледно-зеленая пижама — это Курносый. Тот все вспоминает сражения и обожает телевизор. Смотрит, приоткрыв рот. Смотрит с таким азартом, с такой упорной непосредственностью, что все невольно его слушаются, когда он, например, велит переключить на «Спокойной ночи, малыши». Смеется от души, потому что все там понимает. С ним говорить, что колено брить — зачем?..

Вот эти-то трое схватились решать весьма сложную проблему. Шуму, как я сказал, сразу получилось много.

Да, еще про Носатого... Его фамилия — Суворов. Он крупно написал ее на полоске плотной бумаги и прикнопил к своей клеточке в умывальнике. Мне это показалось неуместным, и я подписал с краешку карандашом: «Не Александр Васильевич». Возможно, я сострил не бог весть как, но неожиданно здорово разозлил Суворова. Он шумел в умывальнике:

— Кто это такой умный нашелся?!

— А зачем вообще надо объявлять, что эта клеточка — Суворова? Ни у кого же нет. Вы что, полагаете... — пустился было в длинные рассуждения один вежливый очкарик, но Суворов скружил на него ястребом.

— Тогда чего же мы жалуемся, что у нас в почтовом ящике газеты поджигают?! Сегодня — карандаш, завтра — нож в руки!..

— Ну, знаете, кто взял в руки карандаш, тот...

— Пожалуйста, можно и без ножа по очкам дать. По-моему я догадываюсь, кто это тут такой грамотный...

Очкарик побледнел.

— Кто?

— Сказать? Может, носом ткнуть?

Мне стало больно за очкарика, и я, как частенько я, выступил блестящим недомерком.

— А чего вы озверели-то? Ну, пошутил кто-то, и из-за этого надо шум поднимать.

— За такие шутки надо... не шум поднимать! Не шум надо поднимать, а тянуть куда следует.

Дурак он. Дурак и злой.

— ... Как же ты туда повезешь волка, когда там коза?! — кричит Суворов. — Он же ее съест!

— Связать, — предлагает Курносый.

— Кого связать?

— Волка.

— Нельзя, тункель!

— А чего ты обзываешься-то? Мы предлагаем, как выйти из положения, а ты...

— Как же тут не кричать, скажи на милость?! Если вы не понимаете элементарных вещей...

Лобастый упорно думает.

— Как все покричать любят! — изумляется Курносый. — Знаешь — объясни. Чего кричать-то?

— Полные тункели! — удивляется в свою очередь Суворов. — Какой же тогда смысл в этой задаче? Ну — объяснил я, и все? А самим-то можно подумать?

— Вот мы и думаем. И предлагаем разные варианты. А ты наберись терпения.

— Привыкли люди, чтоб за них думали! Сами — в сторонку, а за них думай!

— Волк капусту не ест, — размышляет вслух Лобастый. — Значит его можно здесь оставить...

— Ну! ну! ну! — подталкивает Суворов.

— Не понужай, не запрег.

— Давай дальше! Волк капусту не ест... Правильно начал!

Серые, глубокие глаза Лобастого тихо сияют.

— Начать — это начать, — бормочет он. По-моему, он уже сообразил, как надо делать. — Говорят: помоги, господи, подняться, а ляжем сами. Значит, козу отвезли. Так?

— Ну!

— Плывем назад, берем капусту...

— Ее же там коза сожрет! — волнуется Курносый.

— Сожрет? — спрашивает Лобастый, и в голосе его чувствуется мощь и ирония. — Тада мы ее назад оттуда, раз она такая прожорливая.

— А тут волк!

— А мы волка — туда. Пусть он у нас капустки опробует...

Суворов радостно хлопает Лобастого но спине; и так как мне все время что-нибудь кажется, когда Суворов что-нибудь делает, то на этот раз почему-то кажется, что он хлопнул по лафету тяжелой пушки, и пушка на это никак не вздрогнула.

— А-а! — догадывается Курносый. Ему тоже весело, и он смеется. — А потом уж мы туда — козу, в последнюю очередь!

— Дошло! — орет Суворов. Он просто не может не орать. Все мы тут — крепко устали, нервные,— это тебе не высоту брать.

— Сравнил телятину с... — обиделся Курносый.

Лобастый долго, терпеливо, осторожно мнет в толстых пальцах каменную «памирину», смотрит на нее... И я вдруг ужасаюсь его нечеловеческому терпению, выносливости. И понимаю, что это — не им одним нажито, такими были его отец, дед... Это — вековое.

Лобастый по привычке едва заметным движением тронул куртку, убедился, что спички в кармане, встал, пошел в курилку. Я — за ним. Посидеть с ним, помолчать.

БОРЯ

В палату привели новенького. Здоровенный парень, полный, даже с брюшком, красивый, лет двадцати семи, но с разумом двухлетнего ребенка. Он сразу с порога заулыбался и всем громко сказал:

— Пивет, пивет!

Многие, кто лежал тут уже не первый раз, знали этого парня. Боря. Живет у базара с отцом и матерью, в воскресные дни, когда народу на базаре много, открывает окно и лает на людей, не зло лает — весело. Он вообще добрый.

— Пивет, Боря, пивет! Ты зачем сюда? Чего опять натворил?

Няня, устраивая Боре постель, рассказывает:

— Матерю с отцом разогнал наш Боря.

— Ты што же это, Боря?! Мать с отцом побил?

Боря зажмуривает глаза и энергично трясет головой:

— Босе не бу, не бу, не бу!.. — больше не будет.

— За што он их?

— Розу не купили! Стал просить матерю — купи ему розу, и все.

— Босе не бу, не бу!

— Ложись теперь и лежи. «Не бу!»

— А мама пидет? — пугается Боря, когда няня уходит.

— Мама пидет, пидет, — успокаивают его больные. — Сам разогнал, а теперь — мама.

В палате стало несколько оживленнее. С дурачками, я заметил, много легче, интереснее, чем с каким-нибудь умницей, у которого из головы не идет, что он — умница. И еще: дурачки, сколько я их видел, всегда почти люди добрые, и их жалко, и неизбежно тянет пофилософствовать. Чтоб не философствовать в конце — это всегда плохо, — скажу теперь, какими примерно мыслями я закончил свои наблюдения за Борей (сказать все-таки охота). Я думал: «Что же жизнь — комедия или трагедия?» Несколько красиво написалось, но мысль по-серьезному уперлась сюда; комедия или тихая, жуткая трагедия, в которой все мы — от Наполеона до Бори — неуклюжие, тупые актеры, особенно Наполеон со скрещенными руками и треуголкой. Зря все-таки воскликнули: «Не жалеть надо человека!..» Это тоже — от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать — да. Только ведь уважение — это дело наживное, приходит с культурой. Жалость — это выше нас, мудрее наших библиотек... Мать — самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное — вся состоит из жалости. Она любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра — много всякого, но неизменно, всю жизнь — жалеет. Тут Природа распорядилась за нас. Отними-ка у нее жалость, оставь ей высшее образование, умение воспитывать, уважение... Оставь ей все, а отними жалость, и жизнь в три недели превратится во всесветный бардак. Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что всем жалко всех матерей, детей, родную землю. Жалко! Можете не соглашаться, только и я знаю — и про святой долг, и про честь, и достоинство, и т.п. Но еще — в огромной мере — жалко.

Ну, самая пора вернуться к Боре. Я не специально наблюдал за ним, но думал о нем много. Целыми днями в палате, в коридоре только и слышалось:

— Пиве-ет! А мама?.. Пидет?

— Придет, Боря, придет, куда она денется. Пусть хоть маленько отдохнет от тебя.

Боря смеется, счастливый, что мама придет.

— Атобус, атобус?.. Да?

— На автобусе, да.

Даже когда мы отходим ко сну, Боря все спрашивает:

— Мама пидет?

Он никому не надоедает. Уколы переносит стойко, только сильно жмурится и изумленно говорит:

— Больно!

И потом с восторгом всем говорит, что было больно.

Над ним не смеются, охотно отвечают, что мама «придет, придет» — больше, сложнее Боря спрашивать не умеет.

Один раз я провел, как я теперь понимаю, тоже довольно неуклюжий эксперимент. Боря сидел на скамеечке во дворе... Я подсел рядом, позвал:

— Боря.

Боря повернулся ко мне, а я стал внимательно глядеть ему в глаза. Долго глядел... Я хотел понять: есть ли там хоть искра разума или он угас давно, совсем? Боря тоже глядел на меня. И я не наткнулся — как это бывает с людьми здравыми — ни на какую мысль, которую бы я прочел в его глазах, ни на какой молчаливый вопрос, ни на какое недоумение, на что мы, смотрящие здравым в глаза, немедленно тоже молча отвечаем — недоумением, презрением, вызывающим: «Ну?» В глазах Бори всеобъемлющая, спокойная доброжелательность, какая бывает у мудрых стариков. Мне стало не по себе.

— Мама пидет, — сказал я, и стало совсем стыдно. А встать и уйти сразу — тоже стыдно.

— Мама пидет? Да? — Боря засмеялся, счастливый.

— Пидет мама, пидет, — я оглянулся — не наблюдает ли кто за мной? Это было бы ужасно. У всех как-то это легко, походя получается. «Мама пидет, Боря! Пидет». И все. И идут по своим делам — курить, умываться, пить лекарство. Я сидел на скамеечке, точно прирос к ней, не отваживался еще раз сказать: «Мама пидет». И уйти тоже не мог — мне казалось, что услышу — самое оскорбительное, самое уничтожающее, что есть в запасе у человека, — смех в спину себе.

— Атобус? Да?

— Да, да — на автобусе приедет, — говорил я и отводил глаза в сторону.

— Пивет! — воскликнул Боря и пожал мне руку. Хоть умри, мне казалось, что он издевается надо мной. Я встал и

ушел в палату. И потом незаметно следил за Борей — не смеется ли он, глядя на меня со своей кровати. Надо осторожней с этим народом.

Боря умеет подолгу неподвижно сидеть на скамеечке... Сидит, задумчиво смотрит перед собой. Я в такие минуты гляжу на него со стороны и упорно думаю: неужели он злиться умеет? Устроил же скандалевич дома из-за того, что ему не купили розу. Расплакался, начал стулья кидать, мать подвернулась — мать толканул, отца... Тогда почему же он — недоумок? Это вполне разумное решение вопроса: вымещать на близких досаду, мы все так делаем. Или он не понимает, что сделал? Досаду чувствует, а обиду как следует причинить не умеет...

В соседней палате объявился некий псих с длинными руками, узколобый. Я боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла. А они каким-то чутьем угадывают, кто их боится. Однажды один чиновник снисходительно, чуть грустно улыбаясь, часа два рассказывал мне, как ему сюда вот, в шею, угодила кулацкая пуля... «Хорошо, что рикошетом, а то бы... Так что если думают, что мы только за столами сидеть умеем, то...» И я напрягался изо всех сил, всячески показывал, что верю ему, что мне очень интересно все это.

Горилла сразу же, как пришел, заарканил меня в коридоре и долго, бурно рассказывал, как он врéзал теще, соседу, жене... Что у него паспорт в милиции. «Я пацан с веселой душой, я не люблю, когда они начинают мне...»

Как-то горилла зашел в нашу палату, хохочет.

— Этот, дурак ваш... дал ему сигарету: ешь, говорю, сладкая. Всю съел!

Мы молчали. Когда вот так вот является хам, крупный хам, и говорит со смехом, что он только что сделал гадость, то всем становится горько. И молчат. Молчат потому, что разговаривать бесполезно. Тут надо сразу бить табуреткой по голове — единственный способ сказать хаму, что он сделал нехорошо. Но возню тут, в палате, с ним никто не собирается затевать. Он бы с удовольствием затеял. Один преждевременный старичок, осведомитель по склонности души, пошел к сестре и рассказал, что «пацан с веселой душой» заставил Борю съесть сигарету. Сестра нашла «пацана» и стала отчитывать. «Пацан» обругал ее матом. Сестра — к врачу. Распоряжение врача: выписать за нарушение режима.

«Пацан» уходил из больницы, когда все были во дворе.

— До свиданья, урки с мыльного завода! — громко попрощался он. И засмеялся. Не знаю, не стану утверждать, но, по-моему, наши самые далекие предки очень много смеялись.

Больница наша — за городом, до автобуса идти километра два леском. Четверо, кто полегче на ногу и понадежней в плечах, поднялись и пошли наперерез «пацану с веселой душой».

Через минут двадцать они вернулись, слегка драные, но довольные. У одного надолго, наверно, зажмурился левый глаз.

Четверо негромко делились впечатлениями.

— Здоровый!..

— Орал?

— Матерился. Права качать начал, рубашку на себе порвал, доказывал, что он блатной.

На крыльце появляется Боря и к кому-то опять бросается с протянутой рукой.

— Пиве-ет!

— Пивет, Боря, пивет.

— А мама пидет?

— Пидет, пидет.

Жарко. Хоть бы маленький ветерок, хоть бы как-нибудь расколыхать этот душный покой... Скорей бы отсюда — куда-нибудь!

ПЕТЬКА КРАСНОВ РАССКАЗЫВАЕТ

Родные Петьки Краснова собрались послушать, как он ездил на юг лечить радикулит.

Петька вернулся как раз в субботу, пропарился в родной бане, выпил «законную» и стал рассказывать. Он, вообще, рассказывать не умеет — торопится всегда, перескакивает с пятого на десятое и вдобавок шепелявит (букву «ш» толкает куда-то в передние зубы, получается не то «с», не то «з» —

что-то среднее). А тут еще он волнуется, ему охота рассказать поярче, побольше — не так уж часто его слушают, да еще сразу столько людей. И всем, он понимает, интересно.

— Народу-у, мля!.. — у него какая-то дурацкая привычка: чуть ли не после каждого слова приговаривать «мля». К этому привыкли, не обращают внимания.

— Идёс, мля, по пляжу — тут баба голая, там голая — валяются. Идёс, переступаес через них... — Петька выговаривает: «переступас».

— Совсем, что ли, голые?

— Зачем? Есть эти, как их?.. купальники. Но это ж так — фиксия.

— А ты как? Одетый?

— Зачем? Я сперва в трусах ходил, потом мне там один посоветовал купить плавки. Ну, я стал, как все. Так они что делают, мля: по улице и то ходют вот в таких вот станисках — сор-тики. Ну, идёс, ну — смотрис же. Неловко, вообсе-то...

— Ну да: другая по харе даст.

— Мне там один посоветовал: ты, говорит, купи темные очки — ни черта, говорит, не разберес, куда смотрис.

— Как это?

— А вот они! На, надень! Ну, надень!

— Ну... Надел.

— Смотри вон на Зойку — баску не поворачивай! Ниже! Смотрис?

— Ну.

— Заметно, куда он смотрит?

— Нет, правда. Во!..

— Заходис вечером в ресторан, берес саслык, а тут наяривают, мля, тут наяривают!.. Он поет, а тут танцуют. Ну, танцуют, я те скажу!.. Сердце заходится, сто только выделывают! Так поглядис — вроде совестно, а потом подумаес: нет, красиво! Если уж им не совестно, чего мне-то совестно? Атомный век, мля, — должна быть скорость. Нет, красиво. Там один стоял: бесстыдники, говорит. Ну, его тут же побрили: не нравится — не смотри! Иди спать! А один раз как дали «Очи черные», у меня на глазах слезы навернулись. Такое оссюсение: полезь на меня пять человек — не страсно. Чуть не заплакал, мля. А полезли куда-то на гору, я чуть не на карачках дополз, мля, ну — красота! Море!.. Парохо-

ды... И, главное, на каждом пароходе своя музыка. Такое ос-сюсение: все море поет, мля. Спускаемся — опять в ресторан...

— Так это ж сколько денег просадить можно?! Если тут ресторан, там — ресторан...

— Там рестораны на каждом сагу. Дорого, конесно. Мне там один говорит: первый и последний раз. Нет, можно без ресторанов, там пельменные на каждом сагу.

— Пельмени?!

— Пельмени. Пожалуйста. Три порции — вот так хватает.

— То-то ты полторы сотни уханькал — по ресторанам-то.

— Десевле нельзя. Но сто я вам скажу: нигде ни одного грубого слова! Стобы матерное слово — боже упаси! Только су-точки, суточки... Все смеются, сутят. Смеются, прямо сердце радуется. И пьяных нету. Так, идес — видис: врезамсы, паразит! По глазам видно. Но — не сатается. Но вот хохма была! Посли домик Чехова смотреть, ну, надели какие-то тряпосные стуковины на ноги — стоб пол не портить. Ну, сагаем потихоньку, слусаем... А там под стеклом кожаное пальто висит. Ну, эта женщина, солидная такая, стояла рядом... как заорет: «Это он такой больсой был!» Да как брякнется! — Петька долго один смеется, вспомнив, как брякнулась солидная тетя. — Она на каблучках, а хотела подойти поближе — поглядеть пальто, а запуталась в этих стуках-то... Ну, мля, все за животики взялись...

— А што за пальто-то? Какое пальто?

— Пальто Чехова, писателя. Он в нем на Сахалин ездил.

— Ссылали, что ль?

— Да зачем! Сам ездил — посмотреть. От он тогда и простыл. Додуматься — в таком пальтисечке в Сибирь! Я ее спрасываю: «А от чего у него чахотка была?» — «Да, мол, от трудной жизни, от невзгод», — начала вилять. От трудной жизни... Ну-ка, протрясись в таком кожанчике через всю Сибирь...

— Ну, она и была — трудная жизнь, раз ему тулуп взять не на што было.

— Может, не знал человек, какие тут холода.

Петька молчит, потому что забыл спросить тогда у женщины-экскурсовода: зимой ездил Чехов или летом?

— Знаес, какой у него рост был?

— У кого?

— У Чехова. Метр восемьдесят семь!

Это родных не удивило — знавали и повыше. Это тогда экскурсантов почему-то очень всех удивило, и Петька удивился со всеми вместе. И сейчас хотел удивить.

— Ну а радикулит-то как? Полегчало?

— Совсем почти не чую! Во, гляди: встал, нагнулся, выпрямился... — Петька встал, нагнулся, выпрямился. — А раньше, если нагнулся, то не разогнесся.

— А говоришь, на гору чуть не на карачках заполз.

—То — на гору! На гору мне пока тяжело.

— Ну, пора и на боковую, — сказал тесть Петькин, сам тоже с трудом поднимаясь, — засиделся. — Завтра ставать рано. Пойдешь покосить со мной? Или отдохнуть охота с дороги?

— Пойду! — с удовольствием откликнулся Петька. — Я наотдыхался.

— Ему теперь — двойную норму ломать надо, — сказал сосед Петькин, дядя Родион, который тоже приходил послушать про теплые края. — Полторы тыщи по-старому за месяц — это...

— А дорога! — воскликнула теща.

— Да, кусаются они, курортики-то.

Петьке неловко стало, что из-за его проклятого радикулита пришлось истратить больше двухсот рублей.

— Виноват я теперь, если он ко мне извязался?

— Кто тебя винит! — искренне сказал тесть. — Никто не винит. Хворь — она всегда дорого стоит.

На том все и порешили.

Только теща добавила:

— Теперь уж берегись! А то ведь не берегетесь нисколь. Потные, не потные — лезете под машину на сырую землю спиной. Рази так можно! Возьми да постели куфайку хоть, руки-то не отсохнут. Зато здоровый будешь.

Мужики закурили еще по одной. Дядя Родион ушел домой.

Петька докурил папиросу, сидя за столом, аккуратно загасил окурок об край тарелки, бросил в угол и пошел в горницу — к жене Зое.

Зоя уже постелила и лежала, отвернувшись к стене. Петька, одетый еще, хотел сперва поцеловать ее... Зоя накрылась одеялом с головой. Петька опешил:

— Ты чего?

— Ничего... Не лезь. Их же там много на пляже валялось — чего ты ко мне лезешь?

— Да ты сто, Зой?!

— Ни «сто»! Не лезь, и все. Мало тебе их там было?

Петька даже осердился, хоть редко сердился.

— Дура ты, дура!.. Кому я там нужен? Там без меня хватает — специально этим делом занимаются. Их со мной, сто ли, сравнис?..

Зоя рывком скинула одеяло, села. Она была злая.

— Так какого ж ты черта весь вечер сидел только про их и говорил?! Ничего другого не нашлось рассказывать, только — бабы, бабы... Тут бабы, там голые бабы...

— Но если их там много, чего я сделаю?

— Ты лечиться поехал, а не глаза пялить на баб! Очки ему даже посоветовали купить... Страмец. Весь вечер со стыда сидела сгорала.

— Дак взяла бы и подсказала! Я ж думал, как повеселей. Не суми зря-то. Зря сумис-то,

— Сумис, сумис... Сюсюкалка чертова!

— Ну, отойди, отойди маленько, — миролюбиво сказал Петька. — Я пока на крыльце посижу, покурю, — в душе он согласился с женой: в самом деле, распустил язык, не нашел, о чем поговорить. Да еще и приврал — с ресторанами-то: за весь месяц в ресторане-то был всего два раза. И один раз там пели «Очи черные». И танцевали. — Я покурю пойду.

— Иди куда хочешь.

Петька вышел на крыльцо, сел на приступку. Нечаянная ссора с женой не расстроила — она такая, Зоя: вспыхнет, как порох, и тут же отойдет. Да и не за что зло-то копить, что она, не понимает, что ли.

Ночь... Чуть лопочут листвой березки в ограде, чуть поскрипывает ставня... И наплывает от сараев, где коровы, куры, телок, живым теплым духом. И мерно каплет из рукомойника в таз... Вспомнились те ночи — далекие, где тихо шумит огромное море и очень тепло. И Петька усмехнулся, подумал: сколь велика земля! Пальмы растут на свете; люди пляшут, смеются; большие белые дома — чего только нет!

Ночь. Поскрипывает и поскрипывает ставенка — все время она так поскрипывает. Шелестят листвой березки. То

замолчат — тихо, а то вдруг залопочут-залопочут, неразборчиво, торопливо... Опять замолчат. Знакомо все, и почему-то волнует.

Петьке хорошо.

СНЫ МАТЕРИ

Вот материны сны, несколько. Почему-то они мне запомнились, не знаю. Может, потому, что рассказывала она их не один раз; она сама помнит их всю жизнь.

Первый

— Я была ишо маленькая, годов семь так, восемь было. Может, маленько больше. Вижу сон. Вышла я вроде из дома — в тятином дому-то, — а в ограде у нас на ослике сидит святой с бородкой. Маленький такой старичок, весь белый: бородка белая, волосы белые. «Поводи, говорит, меня, девочка, по оградке-то, поводи». Я — вроде так и надо — начала его водить. Взяла ослика-то за уздечку да вожу. Осликов-то сроду не видела, а вот приснилось же. Вожу, а сама возьми да подумай: «Дай-ка я у него спрошу што мне на тем свете будет?» Да взяла да спросила. Старичок засмеялся, достал откуда-то из-под полы бумажку и подает мне. «Вот, говорит, чего тебе будет». Я взяла бумажку-то, смотрю: она вся-вся исписана. А читать-то я уж умела. Вижу, буковки все наши, а разобрать сразу как-то не могу. Ладно, думаю, я его ишо маленько покатаю, а потом пойду в избу да прочитаю ладóм. А сердце так вот волнуется!.. Шибко уж я рада, што узнаю про себя. Вожу вроде ослика-то, а сама — нет-нет да загляну в бумажку. Не читаю, а так. Радуюсь. Даже и про старичка забыла. Радовалась я, радовалась — и проснулась. Так обидно, так обидно было, даже заплакала. Маме утром рассказываю, она мне говорит: «Глупенькая ты, глупенькая, кто же тебе здесь скажет, чо на том свете будет? Никто не

скажет». А я вот все думаю: не проснись я раньше времени, можеть, и успела бы прочитать хоть словечка два. Главно, ведь торопилась же я в избу-то!.. И вот — на тебе! — проснулась. Видно, и правда: не дано нам здесь знать про это, не дано.

Второй

— А это уж когда у меня вы были... Когда уж Макара забрали.

— В тридцать третьем?

— Но. Только-только его забрали. Весной. Я боялась ночами-то, ох боялась. Залезу с вами на печку и лежу, глазею. А вы — спи-ите себе, только губенки оттопыриваются. Так я, грешным делом, нарочно будила вас да разговаривала — все не так страшно. А кого вам было-то!.. Таля, та вовсе грудная была. Ну. А тут — заснула. И слышу, вроде с улицы кто-то постучался. И вижу сама себя: вроде я на печке, с вами лежу — все как есть. Но уж будто я и не боюсь ничегошеньки, слазию, открыла избную дверь, спрашиваю: «Кто?» А там ишо сеничная дверь, в нее постучались-то. Мне оттуда: «Это мы, отроки. С того света мы». «А чего вы ко мне-то? — это я-то им. — Идите вон к Николаю Погодину, он мужик, ему не так страшно» — «Нет, нам к тебе надо. Ты нас не бойся». Я открыла... Зашли два мальчика в сутаночках. Меня всюё так и опахнуло духом каким-то. Приятным. Даже вот не могу назвать, што за дух такой, на што похожий. Сяли они на лавочку и говорят: «У тебя есть сестра, у нее померли две девочки от скарлатины...» — «Ну, есть, говорю. И девочки померли — Валя и Нюра». — «Она плачет об их, горюет?» — «Плачет, говорю. Жалко, как же». — «Вот скажи ей, штоб не плакала, а то девочкам от этого хуже. Не надо плакать». — «Ладно, мол, скажу. А почему же хуже-то от этого?» Они мне ничего не сказали, ушли. Я Авдотье-то на другой день рассказала, она заплакала: «Милые мои-то, крошечки мои родные, как же мне не плакать об вас?..» Да и наревелись обои с ей досыта. Как же не плакать — маленькие такие, говорить только начали, таких-то ишо жалчее.

Третий

— А тут вижу: хвораю лежу. А правда хворала-то. Си-ильно хворала. Но это в то же время, как Макара взяли. А вижу вроде я в тятином дому-то лежу на кровати. Я часто себя в тятином дому вижу. И вот лежу хвораю. А вот так вот вскинула глаза-то позадь себя, а они стоят две — Авдотьины девочки-ти, которые померли-то. Стоят две. В чем их положили в гробики, в том и стоят — в платьицах в таких, я их хорошо помню, эти платьица. «Ой, говорю, Валенька, Нюронька!.. Да милые вы мои-то, вы откуда же?» — «А оттуда», — говорят. «Ну и как вам там?» — «Хорошо. Ой няня Маруся, нам там хорошо!». Ну, знамо, безгрешные душеньки... А потом Валя, постарше которая, вот так вот пальчиком погрозила и говорит: «А куклы-то нам посулила, а сама не сделала». А правда: когда они хворали лежали, я им посулила куклы сделать, Тада ведь купить-то негде было, сами делали да из тряпочек разных платьица шили да играли. И так мне горько сделалось, что я заплакала. Заплакала и проснулась — лежу зареванная... «Ладно, думаю, выздоровею, сделаю вам куклы». Выздоровела, выстрогала две куколки, одела их понарядней да соседским девочкам, какие победней, отдала. Вот, играйте на здоровье.

Четвертый

— А это уж, как война началась, — тоже сон видела. Как забрали наших мужиков, то их сперва здесь держали, а потом в Бийск вон всех отвезли — в шалоны сажать. Согнали их туда — видимо-невидимо! Ну, пока их отправляли партиями, мы там с имя́ жили — прямо на площади, перед вокзалом-то, больша-ая была площадь. Дня три мы там жили. Лето было, чего же. И вот раз — днем! — прикорнула я, сижмя прямо, на мешок на какой-то голову склонила да и задремала. А он рядом сидел, отчим твой, Павел-то. И только я задремала, вижу сон. Будто бы мы с им на покосе. А покос вроде не колхозный, а свой, единоличный. Балаган такой стоит, таганок возле балагана... Сварила я похлебку да даю ему попробовать: «На-ко, мол, опробуй, а то тебе все недосол кажется». Он взял ложку-то, хлебнул да как бросит лож-

ку-то и даже заматерился, сердешный. Он редко матерился, покойничек, а тут даже заматерился — обжегся. И я сразу и проснулась. Проснулась, рассказываю ему какой сон видела. Он послушал-послушал да загрустил... Аж с лица изменился, помутнел (побледнел). Говорит печально: «Все, Маня... Неспроста этот сон: обожгусь я там». И — обжегся: полгода всего и пожил-то после этого — убило.

Пятый

— А вот сон тоже. Лежала я в больнице, а со мной вместе девушка одна лежала, сиротка. Я приголубила ее, она меня и полюбила. Да так привыкла! Ночевать потом ко мне ходила, когда мы из больницы-то выписались. А работала она на складе весовщицей. Каждый вечер, бывало, идет: «Мария Сергеевна, я опять к вам». Давай, милая, все веселей двоим-то.

— Ей что, жить, что ли, негде было?

— Да пошто же! Вот — привыкла. И я уж тоже к ей привыкла. Так мы дружно с ей жили! А потом она померла: плеврит, а от плеврита печень занялась. Померла, бедная. Я и схоронила ее. А потом вижу сон. Вышла я будто бы на речку, а на той стороне, где Гилев остров, — город будто бы. Большой-большой город! Да красивый, дома высокие... И дома высокие, и весь вроде бы он в садах, весь-то он в зелени. Цветы — я даже с этой стороны вижу — так и колышутся, так и колышутся. Ах ты, господи! Сяла я в речку-то да поплыла туда — сижмя как-то, сижу и плыву, только руками маленько подгребаюсь. И так меня к тому городу и вынесло. Вышла я на берег — никого нету. Я стою, не знаю, куда идти. А смотрю, выходит моя Ниночка, девушка-то, сиротка-то. Матушка ты моя-то!.. Увидела меня да так обрадовалась, обняла, да та-ак крепко прилюбила, я ишо подумала: «Сильная какая — не выхворалась». А она, правда, мало похворала-то, скоро убралась. «Куда же мне идти-то? — спрашиваю ее. — Пошто тут никого нет-то?» — «Есть, говорит, как нету. А тебе во-он туда, — показывает мне. — Во-он, видишь?» Я смотрю туда, а там место-то похужее, победней, и дома пониже. «А ты где же? — спрашиваю Ниночку-то. А не спрашиваю же: «Ты где живешь?» — знаю,

што она мертвая, а вишь, спрашиваю просто: «А ты где?» — «А я, говорит, вот — в центре». Конешно, сколько она и пожила-то. Она и нагрешить-то не успела, безгрешная душенька. А мне-то, вишь, на окраинке только место... Да хоть бы и на окраинке, а только там. Господи, как же там красиво! Все время у меня в глазах тот город стоит.

— Тогда телевизоры-то были уже?

— Какие телевизоры! Это когда было-то! — когда ты на действительной ишо служил. А Наташа в институте училась. Вон когда было-то. А што, думаешь, насмотрелась в телевизоре и поэтому такой город приснился?

— Но.

— Нет. Я сроду таких городов ни в телевизоре потом, ни в кино не видела. Што ты!..

ПСИХОПАТ

Живет на свете человек, его зовут Психопат. У него есть, конечно, имя — Сергей Иванович Кудряшов, но в большом селе Крутилине, бывшем райцентре, его зовут Психопат — короче и точнее. Он и правда какой-то ненормальный. Не то что вовсе с вывихом, а так — сдвинутый.

Один случай, например.

Заболел Психопат, простудился (он работает библиотекарем, работает хорошо, не было, чтоб у него в рабочее время на двери висел замок), но, помимо работы, он еще ходит по деревням — покупает по дешевке старинные книги, журналы, переписывается с какими-то учреждениями в городе, время от времени к нему из города приезжают... В один из таких походов по деревням он в дороге попал под дождь, промок и простудился. Ему назначили ходить на уколы в больницу, три раза в день.

Уколы делала сестричка, молодая, рослая, стеснительная, очень приятная на лицо, то и дело что-то все краснела. Стала она искать иголкой вену у Психопата, тыкала, тыкала в руку, покраснела... Психопат стиснул зубы и молчал, ему

хотелось как-нибудь приободрить сестричку, потому что он видел, что она сама мучается.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал он. — Вы спокойней — как вас учили-то...

— Она ускользает, — пояснила сестричка.

Психопат пошевелил свободным плечом вторую руку, левую, он напряг и изо всех сил работал кулаком, как велела сестричка. Кое-как всадили укол.

— Неужели все так будут? — спросил Психопат. Он даже вспотел.

Сестричка ничего на это не сказала, только опять смутилась, пинцетиком свихнула иголку со шприца и положила ее в металлическую блестящую вазочку, в которой кипела вода. Психопат подумал: «Как суп варится из железок, надо же».

Пришел он в другой раз делать укол. Заранее стал волноваться. Дождался своей очереди, вошел в кабинетик, оголил правую руку до локтя и стал работать кулаком. Защемили резиновой кишкой руку выше локтя, и он продолжал пока работать кулаком, а сестричка налаживала шприц. Психопат между делом отметил, какая она статная, пора вообще-то замуж — хорошая, наверно, мать будет.

Стали опять искать вену. Рука у Психопата онемела.

— Отпускайте, — велела сестричка.

Психопат стал постепенно отпускать резиновую удавку, а сестричка все искала и все попадала мимо.

— Ускользает... — сказала она.

— Да, куда она, к черту, ускользает! — вышел из терпения Психопат. Руку прямо ломило от боли. — Что вам тут, игра в прятушки, что ли? — ускользает... Уметь же, наверно, надо!

Потом, идя из больницы, Психопат сожалел, что накричал, но не мог без раздражения думать про сестричку Он думал: «Только детей и рожать — здоровые хоть будут. Мужа хоть аккуратно кормить будет... Нет, поперлась в медсестры — в люди вышла, называется».

Пошел он в третий раз делать укол. Шел и с ужасом думал, что надо ходить так целую неделю. «Как же она училась? — думал он с удивлением. — Ведь учил же ее кто-то — отметки ставили. Решил кто-то, что все, готовая медсестра». Что у него ускользает вена, он как-то не мог этого понять.

Куда ускользает? Как это?.. Бред же. Не умеет человек, и все.

Оголил он в кабинетике левую руку, стянул ее резинкой, положил на красную холодную подушечку и пошел умело работать кулаком. На медсестру не смотрел — как она готовила шприц. У него болела душа — больно же, нестерпимо больно, еще от старого укола боль не утихла, а теперь она снова начнет вену искать. Он работал кулаком и думал: «Ну на кой черт надо было в медучилище-то? Ну, бухгалтер там, счетовод, секретарь в сельсовете, если дояркой не хочется, — нет, непременно надо в медсестры!»

Сестричка подошла к нему, вытолкнула из шприца вверх тонюсенькую струйку лекарства, свободной ладошкой с силой несколько раз погладила руку Психопата от локтя книзу. На Психопата не смотрела — сама, как видно, всерьез страдала, что у нее плохо получается.

«Буду терпеть, — решил Психопат. — Неделю как-нибудь вытерплю».

Вена опять ускользала. И сестричка, и Психопат вспотели. Боль из руки стреляла куда-то под сердце. Психопат подумал, что так, наверно, можно потерять сознание.

— Да неужели вы всем так? — спросил он сквозь зубы. — Что же это такое-то?.. Мучительно же!

— Но если она у вас ускользает! — тоже осердилась сестричка.

«Она же еще и сердится!»

— Прекратите! — Психопат отвел свободной рукой руку сестры со шприцем. — Это пытка какая-то, а не лечение.

Сестричка растерялась. Покраснела.

— Ну а как же? — спросила.

— Да, как, как!.. — Психопату тут же и жаль ее стало. — Не знаю как, но так же тоже нельзя, милая. Ведь я же не железный, ну!

— Я понимаю... — сестричка стояла перед ним и при своей мощной молодой стати выглядела жалкой.

— Вы повнимательней как-нибудь, вспомните, как вас учили...

— Я все правильно делаю, — сестричка смотрела на него сверху просто, с искренним недоумением. — Всем так делаю — ничего...

— Ну, всем, всем... — сказал Психопат. И опять невольно с раздражением подумал: «В люди вышла». — Ну давайте, что теперь...

Сестричка нацелилась опять в вену, вроде нащупала, вонзила иглу и успела надавить поршенек шприца... Психопат вскрикнул от боли; боль полоснула по руке, даже в затылке стало тяжело и больно.

— Идиотство, — сказал он, чуть не плача. — Ну идиотство же полное!.. Позовите врача,

— Зачем? — спросила сестричка.

— Позовите врача! — требовал Психопат. И встал, и начал нервно ходить по кабинетику, согнув левую руку и прижав ее к боку, и раздражаясь все больше и больше. — Это идиотизм! Будем мы когда-нибудь что-нибудь уметь делать или нет?! — он кричал на сестру, и она поэтому и пошла к врачу, что он кричал: жаловаться пошла, потому что он выражается — «идиотизм».

Пришел врач: молодой, с бородкой, тоскует в деревне, невнимательный, остроумный сверх всякой меры, заметил Психопат еще в тот раз, когда врач принимал его.

— Что тут у вас? — да с этакой снисходительной усмешечкой в глазах — прямо Миклухо-Маклай, а не лекарь заштатный. Эта-то усмешечка и взбесила вконец Психопата.

— Да у вас тут, знаете, коней куют, а я укол пришел делать...

— Ну-ну, — прервал его врач и видом своим показал, что ему некогда, — поближе к делу, пожалуйста.

— Да дела-то нету! — закричал ему в бородку Психопат. — Будем мы когда-нибудь хоть уколы-то делать или шпаги будем глотать?! — Психопат, когда выходил из себя, говорил непонятно, нелепо, отчего сам потом страдал и казнился. — Ну что же, милые вы мои, как же так работать-то? Укол вот — час бьемся — сделать не можем. А мы бородки отпускаем, пенсне еще только осталось... Работать не умеем! Бородку-то легче всего отпустить, а она вон у вас уколы не умеет делать! — Психопат показал на сестричку. — Дядя доктор с бородкой... научили бы! Или сами тоже не умеем?

«Дядя доктор» сперва слушал с удивлением, потом рассердился.

— Ну-ка, прекратите кричать здесь! — сказал он строго. — Что вам здесь, базар, что ли?

— Да хуже! — не унимался Психопат. — Хуже! Базар по своим законам живет — там умеют, а у вас тут... черт знает что, конюшня.

Сестричка на это молча очень изумилась и возмутилась.

— Здание им построили!.. — все кричал Психопат. — А что толку? Все равно самодеятельность. Да что за проклятие такое, что же, вечно так и будем?! Ну, уколы-то, уколы-то — ведь уж... ну чего же проще-то! Нет, и тут через пень колоду! Да чтобы вас черт побрал с вашими бородками, с вашими гитарами!..

— Что, милицию, что ли, вызвать? — спросил доктор спокойно и презрительно.

— Давай! Давай, братец, дело простое. Проще, чем укол сделать. Эх-х... — Психопат надел пиджак и направился к выходу. Но не утерпел и еще сказал с порога: — Ду ю спик инглишь, сэр? А как насчет картошки дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова! Еще Лескова не прочитали, а уж... слюни насчет неореализма пустили. Лескова, Чехова, Короленку... Потом Толстого, Льва Николаевича. А то — гитара-то гитара, а квакаем пока. А уж думаем — соловьи, — помолчал, воспользовался, что доктор тоже молчит, еще сказал, миролюбиво, поучительно: — Работать надо учиться, сынок, работать. Потом уж — снисходительность, гитара — черт с ней, если так охота, но сперва-то работать же надо.

И Психопат ушел. Сестричка посмотрела на доктора — так посмотрела, словно хотела проверить и убедиться, что она не зря побеспокоила доктора, вызвав его.

— Работайте, — недовольно сказал доктор. И вышел из кабинетика.

Его в коридоре поджидал Психопат. Он все еще держал руку согнутой и морщился. Врач, натолкнувшись на него, даже как будто растерялся — он думал, что нервный пациент ушел уже, а он тут.

— Простите, — сказал Психопат искренне, — я накричал там... Но я не виноват — больно же.

— Пойдемте, я вам в таблетках выпишу, — сказал молодой доктор на ходу. — Температура какая сейчас?

— Я не мерил, — ответил Психопат, входя следом за доктором в его кабинет.

— Ну вот... — доктор с бородкой не горестно, а с досадой, привычно усмехнулся и присел к столу писать рецепт. — А возмущаемся... Толстой. При чем здесь Толстой-то? — спросил он и посмотрел на Психопата насмешливо. Насмешка эта задела Психопата, но он решил быть спокойным.

— При том, что он умные слова писал: не мешало бы их помнить.

— А почему вы решили, что я... что их не помнят?

— Это вы-то помните? — удивился Психопат.

— Ну а почему бы нет? — доктор не только насмешливо, а и с презрением опять, и снисходительно, как показалось Психопату, смотрел от стола — молодой, довольный, уверенный. Психопат в свои 54 года полагал, что это он должен снисходительно смотреть на такого, как этот доктор, а не наоборот.

— Да неужели?

Доктор счел, наверно, что в его положении — врача — несерьезно, даже глупо спорить с больным, да еще так... странно: читал ли он Толстого, Льва Николаевича? Кстати, он его не читал, кроме как в обязательном порядке: в школе и в институте. Но при чем здесь Толстой, господи! И он склонился и стал писать рецепт.

— Может быть, вы тогда скажете: почему мы ничего делать не умеем? — спросил Психопат, продолжая стоять у двери.

— Что мы не умеем делать? — доктор не поднял головы, продолжал писать.

— Уколы, например.

— Она не читала Льва Толстого, поэтому не умеет.

— Хорошо, вы читали, тогда скажите: почему вы ничего не умеете делать?

— О, дядя!.. — доктор перестал писать и с удивлением смотрел на Психопата. — Это уже интересно. Ничего не умею?

— Нет, — Психопат пооглядывался, не нашел близко табуретки, присел на жесткий диван, застеленный белой простынкой, на краешек. — Не умеете, молодой человек.

— В чем же это выражается? — спросил ироничный доктор.

— Да во всем, — Психопат прямо и просто смотрел на доктора. — Вы — врач, — продолжал он рассуждать спокой-

но, — ваша медсестра не умеет делать уколы, а вы... вас это ни капли не встревожило. Вы, как крючок конторский, сели выписывать мне таблетки... Да ведь мне уколы нужны-то! — Психопат протянул руку к доктору и членораздельно еще раз сказал: — У-ко-лы! Ведь вы же сами назначили уколы.

— Видите ли, — тоже терпеливо заговорил доктор, — есть такие особенные вены, которые...

— Бараны есть особенные, это я понимаю: разной породы, а вены у всех людей одинаковые. Ты не доктор, — Психопат встал. — Из тебя такой же доктор, как из меня — акушерка. Но меня удивляет вот это вот... — Психопат показал на доктора, как если бы он кому-то показывал на выставке заковыристую претенциозную картину — всей рукой, растопырив пальцы ладошкой вверх, и еще тряхнул рукой, — это вот... тупое самодовольство. Сидит душа мертвая, ни заботы, ни горюшка — пишет рецепт. Умеет писать рецепты — тоже в люди вышел.

Доктор, изумленный до чрезвычайности, смотрел на больного. Молчал.

— Как же вы так живете-то? А? Как же так можно?.. Вы простите, я на «ты» перешел — это не надо. Я не ругаюсь с вами, я, правда, хочу понять: неужели так можно жить? Ведь не знает человек ни дела своего, ни... Даже знать-то не хочет, не любит, а сидит — хмурится важно... Та хоть краснеет, а этот... важный. Господи, боже мой-то, да неужели только за кусок хлеба? Да что вы, люди! Куда же мы так пришлепаем-то? Ну? Голубчик ты мой, бородка, ведь я так-то... не знаю — архиереем сяду вон и буду сидеть: мне что черт, что дьявол, что Никола Угодник — неинтересно. Что же уж так... обнаглели, что ли? Институт кончил... Да в двадцать-то пять лет я бы по домам ходил — старух с печек стаскивал: лечись, карга, а не жди конца, как... А тут все есть, а живой труп: сидит таблетки выписывает. Тогда уж касторку лучше, что же.

— Все? — спросил доктор жестко. И встал. — Выйдите отсюда, — он еле сдерживал себя. — Выйдите, я прошу. Я требую!

— «Я требую!..» — передразнил его Психопат. — Эхх... А жить еще небось лет пятьдесят, а уж сосулька сосулькой. Он требует. Ты потребуй, чтоб тебе прожить человеком. Ниче-

го не хотят люди! Бородки хотят носить... Да ведь когда и поработать-то смолоду, ведь чего уж лучше — людей лечить — нет, к тридцати годам душа уж дохлая. Только на гитаре и остается играть.

И Психопат вышел из кабинета. А доктор сел и некоторое время ошалело смотрел на дверь. Потом посмотрел в окно...

По больничному двору шел Психопат — высокий, прямой, с лицом сильного, целеустремленного человека. Шел широким ровным шагом, видно, привык ходить много и далеко; на нем какой-то длинный нелепый плащ и кожаная шляпа.

Вечером доктор нарочно пошел к своему товарищу, школьному учителю, который жил в этом селе года два уже. Спросил про Кудряшова Сергея Ивановича — знает ли он его.

— Знаю, — сказал учитель, улыбаясь. — А что?

— А кто он такой?

— Библиотекарь.

— Но он что... Он здешний?

— Здешний. Это человек любопытный, такой, знаешь... с неистребимой энергией: кроме работы, ходит еще по деревням, книги старые скупает, к нему из областной библиотеки приезжают, с архивами переписывается...

— А какое у него образование?

— Да никакого. Я не знаю точно, может, классов восемь... Сам ходит, по собственной инициативе. А что он? Наскандалил? Он скандалист большой...

— Да нет, просто интересно.

— Его в селе Психопатом зовут.

— Но ты его хорошо знаешь-то? Что он, читает много?

— Не думаю. Иногда такой дребедени нанесет... А иногда попадает на дельное: тут раскольников было много, книги на чердаках есть. Иногда интересные приносит. Вообще любопытный мужик. Кляузник только: завалил все редакции предложениями и советами. Мешанины в человеке много. Но вот... никто же не просит ходить, по деревням — ходит, свои деньги тратит...

— Но у него же покупают... Библиотеки-то.

— Не все же покупают-то, купят одну-две, а он по полмешка привозит. Такой вот... подвижник. Раздает много книг... В школу нам дарит. С ним одна история была. Набрал как-то мешок книг и стоит голосует на дороге... А платить шоферу нечем: весь истратился. Один подвез и требует плату. Этот ему книгу какую-то: на, мол, дороже всяких денег. Тот, видно, послал его... а книжку — в грязь. Этот, Психопат-то, запомнил номер машины, нашел того шофера, в соседней деревне где-то живет, поехал к нему с братом, у него брат здесь, охотник, и побили шофера.

— Ничего себе! Ну и как? Судили?

— Шофер не подал — охотник откупился. У этого-то нет ничего, а охотник наскреб деньжат: откупились.

— А семья-то есть у него?

— У Кудряшова? Есть, двое детишек... Один в десятом классе — нормальные дети. А что он? Написал небось что-нибудь на больницу?

— Нет, так — был у меня сегодня, поговорили...

— Он поговорить любит! Пофилософствовать. Я, правда, писанину его не читал, но говорить часто приходится — любопытно.

— А печатают его? В газетах-то.

— Да ну, кто его будет печатать. Так — душу отводит. Его не трогают, привыкли... А он убежден, что делает великое дело — книги собирает. У него целая теория на этот счет.

Доктор помолчал... И спросил:

— Слушай, а как думаешь: Льва Толстого он читал?

— Ну, вряд ли, — удивился учитель. — Не думаю. Может быть, «Жилина и Костылина», и то вряд ли. Да нет, такой просто энтузиаст, как говорят. Убежден, что надо доставать книги с чердаков, — достает. Убеждение там колоссальное... Может, потому и кричит на всех. Но он безвредный. Не пьет, кстати. А может, и читал, надо спросить. Но думаю, что нет.

— А как же он библиотекарем без образования-то?

— Он тут с незапамятных времен библиотекарь, тогда не до этого было. Между прочим, хорошо работает. Не пьет, кстати... А, говорил уже, — учитель засмеялся, поискал в карманах сигареты, нашел, закурил... И опять с интересом посмотрел на товарища. И спросил: — Ведь наверняка же

что-то выкинул этот Кудряшов, а? Чего ты с таким пристрастием расспрашиваешь-то?

— Да нет, говорю же тебе... Побеседовали просто в больнице, — врач тоже закурил, посмотрел, как горит спичка, послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец и сжег всю спичку до края. И внимательно смотрел на огонек.

КЛЯУЗА

Опыт документального рассказа

Хочу попробовать написать рассказ, ничего не выдумывая. Последнее время мне нравятся такие рассказы — невыдуманные. Но вот только начал я писать, как сразу запнулся: забыл лицо женщины, про которую собрался рассказать. Забыл! Не ставь я такой задачи — написать только так, как было на самом деле, — я, не задумываясь, подробно описал бы ее внешность... Но я-то собрался иначе. И вот не знаю: как теперь? Вообще, удивительно, что я забыл ее лицо, — я думал: буду помнить его долго-долго, всю жизнь. И вот — забыл. Забыл даже: есть на этом лице бородавка или нету. Кажется, есть, но, может быть, и нету, может быть, это мне со зла кажется, что есть. Стало быть, лицо — пропускаем, не помню. Помню только: не хотелось смотреть в это лицо, неловко как-то было смотреть, стыдно, потому видно, и не запомнилось-то. Помню еще, что немного страшно было смотреть в него, хотя были мгновения, когда я, например, кричал: «Слушайте!..» Значит, смотрел же я в это лицо, а вот — не помню. Значит, не надо кричать и злиться, если хочешь что-нибудь запомнить. Но это так — на будущее. И потом: вовсе я не хотел тогда запомнить лицо этой женщины, мы в те минуты совершенно серьезно НЕНАВИДЕЛИ друг друга... Что же с ненависти спрашивать! Да и теперь, если уж говорить всю правду, не хочу я вспоминать ее лицо, не хочу. Это я за ради документальности решил было начать с

того: как выглядит женщина. Никак! Единственное, что я хотел бы сейчас вспомнить: есть на ее лице бородавка или нет, но и этого не могу вспомнить. А прошло-то всего три недели! Множество лиц помню с детского возраста, прекрасно помню, мог бы подробно описать, если бы надо было, а тут... так, отшибло память, и все.

Но — к делу.

Раз уж рассказ документальный, то и начну я с документа, который сам и написал. Написал я его по просьбе врачей той больницы, где все случилось. А случилось все вечером, а утром я позвонил врачам и извинился за самовольный уход из больницы и объяснил, что случилось. А когда позвонил, они сказали, что ТА женщина уже написала на меня ДОКУМЕНТ, и посоветовали мне тоже написать что-то вроде объяснительной записки, что ли. Я сказал дрожащим голосом: «Конечно, напишу Я напишу-у!..» Меня возмутило, что ОНА уже успела написать! Ночью писала! Я, приняв димедрол, спал, а она не спала — писала. Может, за это уважать надо, но никакого чувства, похожего на уважение (уважают же, говорят, достойных врагов!), не шевельнулось во мне. Я ходил по комнате и только мычал: «Мх ты...» Не то возмутило, что ОНА опередила меня, а то — что ОНА там написала. Я догадывался, что ОНА там наворочала. Кстати, почерк ЕЕ, не видя его ни разу, я, мне кажется, знаю. Лица не помню, не знаю, а почерк покажи — сразу сказал бы, что это ЕЕ почерк. Вот дела-то!

Я походил, помычал и сел писать.

Вот что я написал:

«Директору клиники пропедевтики 1-го мединститута им. Сеченова».

Я не знал, как надо: «главврачу» или «директору», но подумал и решил: лучше — «директору». Если там «главврач», то он или она, прочитав: «директору», подумает: «Ну уж!..» Потому что, как ни говорите, но директор — это директор.

Я писал дальше:

«Объяснительная записка. Хочу объяснить свой инцидент...»

Тут я опять остановился и с удовлетворением подумал, что в ЕЕ ДОКУМЕНТЕ наверняка нет слова «инцидент», а

у меня — вот оно, извольте: резкое, цинковое словцо, которое — и само за себя говорит, и за меня говорит: что я его знаю.

«... с работником вашей больницы...»

Тут опять вот — «вашей». Другой бы подмахнул — «Вашей», но я же понимаю, что больница-то не лично его, директора, а государственная, то есть общее достояние, поэтому, слукавь я, польсти с этим «Вашей», я бы уронил себя в глазах того же директора, он еще возьмет и подумает: «Э-э, братец, да ты сам безграмотный». Или — еще хуже — подумает: «Подхалим».

Итак:

«Хочу объяснить свой инцидент с работником вашей больницы (женщина, которая стояла на вахте 2 декабря 1973 года, фамилию она отказалась назвать, а узнавать теперь, задним числом, я как-то по-человечески не могу, ибо не считаю это свое объяснение неким «заявлением» и не жду, и не требую никаких оргвыводов по отношению к ней), который произошел у нас 2 декабря. В 11 часов утра...»

В этом абзаце мне понравилось, во-первых, что «задним числом, я как-то по-человечески не могу...» Вот это «по-человечески» мне очень понравилось. Еще понравилось, что я не требую никаких «оргвыводов». Я даже подумал: «Может, вообще не писать?» Ведь получается, что я, благородный человек, все же — пишу на кого-то что-то такое... В чем-то таком кого-то хочу обвинить... Но как подумал, что ОНА-то уже написала, так снова взялся за ручку. ОНА небось не раздумывала! И потом, что значит — обвинить? Я не обвиняю, я объясняю, и «оргвыводов» не жду, больше того, не требую никаких «оргвыводов», я же и пишу об этом.

«В 11 часов утра (в воскресенье) жена пришла ко мне с детьми (шести и семи лет), я спустился по лестнице встретить их, но женщина-вахтер не пускает их. Причем я, спускаясь по лестнице, видел посетителей с детьми, поэтому, естественно, выразил недоумение — почему она не пускает? В ответ услышал какое-то злостное — не объяснение даже — ворчание: «Ходют тут!» Мне со стороны умудренные посетители тихонько подсказали: «Да дай ты ей пятьдесят копеек, и все будет в по-

рядке». Пятидесяти копеек у меня не случилось, кроме того (я это совершенно серьезно говорю), я не умею «давать»: мне неловко. Я взял и выразил сожаление по этому поводу вслух: что у меня нет с собой пятидесяти копеек».

Я помню, что в это время там, в больнице, я стал нервничать. «Да до каких пор!..» — подумал я.

«Женщина-вахтер тогда вообще хлопнула дверью перед носом жены. Тогда стоявшие рядом люди хором стали просить ее: «Да пустите вы жену-то, пусть она к дежурному врачу сходит, может, их пропустят!»

Честное слово, так и просили все... У меня там, в больнице, слезы на глаза навернулись от любви и благодарности к людям. «Ну!..» — подумал я про вахтершу, но от всяческих оскорблений и громких возмущений я удерживался, можете поверить. Я же актер, я понимаю... Наоборот, я сделал «фигуру полной беспомощности» и выразил на лице большое огорчение.

«После этого женщина-вахтер пропустила жену, так как у нее же был пропуск, а я, воспользовавшись открытой дверью, вышел в вестибюль к детям, чтобы они не оставались одни. Женщина-вахтер стала громко требовать, чтобы я вернулся в палату...»

Тут я не смогу, пожалуй, передать, как ОНА требовала. ОНА как-то механически, не так уж громко, но на весь вестибюль повторяла, как в репродуктор: «Больной, вернитесь в палату! Больной, вернитесь в палату! Больной, я кому сказала: вернитесь сейчас же в палату!» Народу было полно; все смотрели на нас.

«При этом женщина-вахтер как-то упорно, зло, гадко не хочет понять, что я этого не могу сделать — уйти от детей, пока жена ищет дежурного врача. Наконец она нашла дежурного врача, и он разрешил нам войти. Женщине-вахтеру это очень не понравилось».

О, ЕЙ это не понравилось; да: все смотрели на нас и ждали, чем это кончится, а кончилось, что ЕЕ как бы отодвинули в сторону. Но и я, по правде сказать, радости не испытал — я чувствовал, что это еще не победа, я понимал тогда

сердцем и понимаю теперь разумом: ЕЕ победить невозможно.

«Когда я проходил мимо женщины-вахтера, я услышал ее недоброе обещание: «Я тебе это запомню». И сказано это было с такой проникновенной злобой, с такой глубокой, с такой истинной злобой!.. Тут со мной что-то случилось: меня стало мелко всего трясти...»

Это правда. Не знаю, что такое там со мной случилось, но я вдруг почувствовал: что — все, конец. Какой «конец», чему «конец» — не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое. Не смерть же, в самом деле, я почувствовал — не ее приближение, но какой-то КОНЕЦ... Я тогда повернулся к НЕЙ и сказал: «Ты же не человек». Вот — смотрел же я на НЕЕ! — а лица не помню. Мне тогда показалось, что я сказал — гулко, мощно, показалось, что я чуть не опрокинул ЕЕ этими словами. Мне на миг самому сделалось страшно, я поскорей отвернулся и побежал догонять своих на лестнице. «О-о!.. — думал я про себя. — А вот — пусть!.. А то только и знают, что грозят!» Но тревога в душе осталась, смутная какая-то жуть... И правая рука дергалась — не вся, а большой палец, у меня это бывает.

«Я никак не мог потом успокоиться в течение всего дня. Я просил жену, пока она находилась со мной, чтобы она взяла такси — и я уехал бы отсюда прямо сейчас. Страшно и противно стало жить, не могу собрать воедино мысли, не могу доказать себе, что это — мелочь. Рука трясется, душа трясется, думаю: «Да отчего же такая сознательная, такая в нас осмысленная злость-то?» При этом — не хочет видеть, что со мной маленькие дети, у них глаза распахнулись от ужаса, что «на их папу кричат», а я ничего не могу сделать. Это ужасно, я и хочу сейчас, чтобы вот эта-то мысль стала бы понятной: жить же противно, жить неохота, когда мы такие.

Вечером того же дня (в шесть часов вечера) ко мне приехали из Вологды писатель В. Белов и секретарь Вологодского отделения Союза писателей поэт В. Коротаев. Я знал об их приезде (встреча эта деловая), поэтому заранее попросил моего лечащего врача оставить пропуск на них. В шесть часов они приехали — она не пускает. Я опять вышел... Она

там зло орет на них. Я тоже зло стал говорить, что — есть же пропуск!.. Вот тут-то мы все трое получили...»

В вестибюле в то время было еще двое служителей — ОНА, видно, давала им урок «обращения», они с интересом смотрели. Это было, наверно, зрелище. Я хотел рвать на себе больничную пижаму, но почему-то не рвал, а только истерично и как-то неубедительно выкрикивал, показывая куда-то рукой: «Да есть же пропуск!.. Пропуск же!..» ОНА, подбоченившись, с удовольствием, гордо, презрительно — и все же лица не помню, а помню, что презрительно и гордо — тоже кричала: «Пропуск здесь — я!» Вот уж мы бесились-то!.. И ведь мы, все трое, — немолодые люди, повидали всякое, но как же мы суетились, господи! А она кричала: «А то — побежа-али!.. К дежурному вра-чу-у!.. — это ОНА мне. — Я побегаю! Побегаю тут!.. Марш на место! — это опять мне. — А то завтра же вылетишь отсудова!» Эх, тут мы снова, все трое, — возмущаться, показывать, что мы тоже законы знаем! «Как это — «вылетишь»?! Как это! Он больной!..» — «А вы — марш на улицу! Вон отсудова!..»

Так мы там упражнялись в пустом гулком вестибюле.

«Словом, женщина-вахтер не впустила моих товарищей ко мне, не дала и там поговорить и стала их выгонять. Я попросил, чтобы они нашли такси...»

Тут наступает особый момент в наших с НЕЙ отношениях. Когда товарищи мои ушли ловить такси, мы замолчали... И стали смотреть друг на друга: кто кого пересмотрит. И еще раз хочу сказать — боюсь, надоел уж с этим — не помню ЕЕ лица, хоть убей. Но отлично помню — до сих пор это чувствую, — с какой враждебностью, как презрительно ОНА не верила, что я вот так вот возьму и уеду. Может, у НЕЙ драма какая была в жизни, может, ЕЙ много раз заявляли вот так же: возьму и сделаю!.. А не делали, она обиделась на веки вечные, не знаю, только ОНА прямо смеялась и особо как-то ненавидела меня за это трепаческое заявление — что я уеду. Мы еще некоторое время смотрели друг на друга... И я пошел к выходу. Тут было отделился от стенки какой-то мужчина и сказал: «Э-э, куда это?» Но я нес в груди огромную силу и удовлетворенность. «Прочь с дороги!» — сказал я, как Тарас Бульба. И вышел на улицу.

Был морозец, я в тапочках, без шапки... Хорошо, что больничный костюм был темный, а без шапок многие ходят... Я боялся, что таксист, обнаружив на мне больничное, не повезет. Но было уже и темновато. Я беспечно, не торопясь, стараясь не скользить в тапочках, чтобы тот же таксист не подумал, что я пьяный, пошагал вдоль тротуара, оглядываясь назад, как это делают люди, которые хотят взять такси. Я шел и думал: «У меня же ведь еще хроническая пневмония... Я же прямо горстями нагребаю в грудь воспаление». Но и тут же с необъяснимым упорством и злым удовлетворением думал: «И пусть».

А друзья мои в другом месте тоже ловили такси. На мое счастье я скоро увидел зеленый огонек...

Все это я и рассказал в «Объяснительной записке». И когда кончил писать, подумал: «Кляуза, вообще-то...» Но тут же сам себе с дрожью в голосе сказал:

— Ну, не-ет!

И послал свой ДОКУМЕНТ в больницу.

Мне этого показалось мало: я попросил моих вологодских друзей тоже написать ДОКУМЕНТ и направить туда же. Они написали, прислали мне, так как точного адреса больницы не знали. Я этот их ДОКУМЕНТ в больницу не послал — я и про свою-то «Объяснительную записку» сожалею теперь, — а подумал: «А напишу-ка я документальный рассказ! Попробую, по крайней мере. И приложу оба ДОКУМЕНТА».

Вот — прикладываю и их ДОКУМЕНТ.

г. Москва, ул. Погодинская,
клиника пропедевтики, Главному врачу

Настоящим письмом обращаем Ваше внимание на следующий возмутительный случай, происшедший в клинике 2 декабря в период с 18 до 19 часов. Приехав из другого города по делам, связанным с писательской организацией, мы обратились к дежурной с просьбой разрешить свидание с находившимся в клинике Шукшиным В. М. Вначале дежурная разрешила свидание и порекомендовала позвонить на этаж. Но, узнав фамилию больного, вдруг переменила решение и заявила: «К нему я вас не пущу». На вопрос «почему?» — она не ответила и вновь надменно и грубо заявила, что «может сделать, но не сделает», что

«другим сделает, а нам не сделает». Такие действия для нас были совершенно непонятны, тем более что во время наших объяснений входили и выходили посетители, которым дежурная демонстративно разрешала свидания. Один из них благодарил дежурную весьма своеобразно, он сказал, уходя: «Завтра с меня шоколадка» (мы не предполагали, что в столичной клинике может существовать такая форма благодарности, и шоколадом не запаслись).

В.М.Шукшин, которому сообщили о нашем приходе другие больные, спустился с этажа и спросил дежурную, почему она не разрешает свидание, хотя у нас выписан пропуск. Она ответила грубым криком и оскорблением. Она не разрешила нам даже поговорить с В.М.Шукшиным и выгнала из вестибюля. На вопрос, каковы ее имя и фамилия, она не ответила и демагогически заявила, что мы пьяны. Разумеется, это была заведомая ложь и ничем не прикрытое оскорбление.

Считаем, что подобные люди из числа младшего медицинского персонала позорят советскую медицину, и требуем принять административные и общественные меры в отношении медработника, находившегося на дежурстве во второй половине дня 2 декабря с. г.

*Ответственный секретарь Вологодской писательской организации **В. Коротаев.***
*Писатель **В. Белов.***

И — число и подписи.

...Прочитал сейчас все это... И думаю: «Что с нами происходит?»

МУЖИК ДЕРЯБИН

Мужику Дерябину Афанасию — за шестьдесят, но он еще сам покрыл оцинкованной жестью дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке. Ловкий, жилистый мужичок, проворный и себе на уме. Раньше дру-

гих в селе смекнул, что детей надо учить, всех (у него их трое — два сына и дочь) довел до десятилетки, все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует, иногда, в страдную пору, поможет, правда, по ремонту в РТС.

Раз как-то сидели они со стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились: почему их переулок называется Николашкин. А переулок тот небольшой, от оврага, где село кончается, боком выходит на главную улицу, на Колхозную. И крайний дом у оврага как раз дерябинский. И вот разговорились... Да особо много-то и не говорили.

— А ты рази не знаешь? — удивился старик Ванин. — Да поп-то жил, отец Николай-то. Ведь его дом-то вон он стоял, за твоим огородом. Его... когда отца Николая-то сослали, дом-то разобрали да в МТС перевезли. Контора-то в МТС — это ж...

— А-а, ну, ну... верно же! — вспомнил и Дерябин. — Дом-то, правда, без меня ломали — я на курсах был...

— Ну, вот и — Николашкин.

— А я думаю: пошто Николашкин?

— Николашка... Его так-то — отец Николай, а народишко, он ить какой — все пересобачит: Николашка и Николашка. Так и переулок пошел Николашкин.

Дерябин задумался. Подумал и сказал непонятно и значительно:

— Люди из городов на конвертах пишут: «Переулок Николашкин», а Николашка — всего-навсего поп, — и посмотрел на старика Ванина.

— Какая разница, — сказал тот.

— Большая разница, — Дерябин опять задумался и прищурил глаза. Все он знал — и почему переулок Николашкин, и что Николашка — поп, знал. Только хитрил: он что-то задумáл.

Задумал же он вот что.

Вечером, поздно, сел в горнице к столу надел очки, взял ручку и стал писать:

«Красно-Холмскому райисполкому.

Довожу до вашего введения факт, который мы все проморгали. Был у нас поп Николай (по-старому отец Николай), в народе его звали Николашка, как никакого авторите-

та не имел, но дом его стоял в этом переулке. Когда попа изъяли как элемента, переулок забыли переименовать, и наш переулок в настоящее время называется в честь попа. Я имею в виду — Николашкин, как раньше. Наш сельсовет на это дело смотрит сквозь пальцы, но жителям нам — стыдно, а особенно у кого дети с высшим образованием и вынуждены писать на конвертах «переулок Николашкин». Этот Николашка давно уж, наверно, сгнил где-нибудь, а переулок, видите ли, — Николашкин. С какой стати! Нас в этом переулке 8 дворов, и всем нам очень стыдно. Диву даешься, что мы 50 лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулок? Да из тех же восьми дворов, я уверен, найдутся такие, в честь которых не стыдно будет назвать переулок. Он, переулок-то, маленький! А есть ветераны труда, которые вносили пожизненно вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации.

Активист».

Дерябин переписал написанное, остался доволен, даже подивился, как у него все складно и убедительно вышло. Он отложил это. И принялся писать другое:

«В Красно-Холмский райисполком.

Мы, пионеры, которые проживаем в переулке Николашкином, с возмущением узнали, что Николашкин был поп. Вот тебе раз! — сказали мы между собой. Мы, с одной стороны, изучаем, что попы приносили вред трудящимся, а с другой стороны — мы вынуждены жить в переулке Николашкином. Нам всем очень стыдно — мы же носим красные галстуки! Неужели в этом же переулке нет никаких заслуженных людей? Взять того же дядю Афанасия Дерябина: он ветеран труда, занимался коллективизацией и много лет был бригадиром тракторной бригады. Его дом крайний, с него начинается весь переулок. Мы, пионеры, предлагаем переиначить наш переулок, назвать — Дерябинский. Мы хочем брать пример с дяди Дерябина, как он трудился, нам полезно жить в Дерябинском переулке, так как это нас настраивает на будущее, а не назад. Прислушайтесь к нашему мнению, дяди!»

Дерябин перечитал и этот документ — все правильно. Он представил себе, как дети его узнают однажды, что отцу теперь надо писать на конверте не «переулок Николашкин», а

так: «переулок Дерябинский, Дерябину Афанасию Ильичу». Это им будет приятно.

На другой день Дерябин зазвал к себе трех соседских парнишек, рассказал, кто такой был Николашка.

— Выходит, что вы живете в поповском переулке, — сказал он напоследок. — Я вам советую вот чего... Кто по чистописанию хорошо идет?

Один выискался.

— Перепиши вот это своей рукой, а в конце все распишитесь. А я вам за это три скворешни сострою с крылечками.

Ребятишки так и сделали: один переписал своей рукой документ, все трое подписались под ним.

Дерябин заклеил письма в два конверта, один подписал сам, другой — конопатый мастер чистописания. Оба письма Дерябин отнес на почту и опустил в ящик.

Прошло с неделю, наверно...

В полдень как-то к дому Дерябина подъехал на мотоцикле председатель сельсовета Семенов Григорий, молодой парень.

— Хотел всех созвать, да никого дома нету. Нам тут из района предлагают переименовать ваш переулок... Он, оказывается, в честь попа. Хотел вот с вами посоветоваться: как нам его назвать-то?

— А чего они там советуют? — спросил Дерябин в плохом предчувствии. — Как предлагают?

— Да никак — подумайте, мол, сами. Как нам его лучше?.. Может, Овражный?

— Еще чего! — возмутился Дерябин. Он погрустнел и обозлился: — Лучше уж Кривой...

— Кривой? А что?.. Он, правда что, кривой. Так и назовем.

Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил с «Кривым»-то, что надо — в честь кого-нибудь... А председатель, который, разговаривая, так и не слез с мотоцикла, толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал... И председатель уехал.

— Сменили... шило на мыло, — зло и насмешливо сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать. — Вот дураки-то!.. Назло буду писать — «Николашкин».

И так и не написал детям, что его переулок теперь — Кривой, и они по-прежнему шлют письма, «переулок Николашкин, дом 1, Дерябину Афанасию Ильичу».

РЫЖИЙ

Давно-давно это было! Так давно, что и вспоминать неохота, когда это было. Это было давно и прекрасно. Весна была — вот что стоит в памяти, как будто это было вчера.

Ехал я по Чуйскому тракту из Онгудая домой, в Сростки. В Онгудае я жил с месяц у дяди Павла, крестного моего, бухгалтера... Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли мне на бухгалтера? Стало быть, мне лет 12—13, потому что когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль: выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться?

Насчет бухгалтера ничего не вышло: крестный отказался учить. Я этому очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой... Почему-то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился: деревня снится, дом родной, мать... Тревожно на душе, нехорошо.

И вот ехал домой. Сердце петухом поет — славно! Я знал: ругать меня не за что (бухгалтерия совершенно искренне не полезла в голову, о чем крестный и писал маме, и я это письмо вез), а скоро будет — из-за горы откроется — моя деревня.

Из Онгудая к Сросткам — это ехать с гор, вниз, в предгорье, километров триста. Крестный в Онгудае посадил меня на ЗИС-5 к рыжему шоферу, заранее отдал деньги — и я ехал себе. Путь-то вон какой!.. От одной езды сердце замирало от радости. А тут мы еще где-то останавливались на ночевку, в какой-то избе, я спал на просторных полатях, где пахло овчиной, мукой и луком, слушал всякие разговоры внизу... Люблю слушать чужие разговоры, всегда любил. Слушал-слушал и уснул. А утром, чуть свет, меня разбудил мой рыжий шофер, и мы поехали по свежачку. Я зевал, рыжий тоже позевывал... Было ему лет тридцать, крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые. В дороге он все время молчал. Только зевнет, смешно заматерится — протяжно както, нараспев — и опять молчит. А я себе смотрел во все глаза, как яснеет, летит навстречу нам огромный, распахнутый, горный день... Ах, и прекрасно же ехать! И прекрасна моя родина — Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь не-

сколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надышаться-то нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда эти горы, хоть наверху на них — голо, снег... Мне милее пашня, но не ровная долина, а с увалами, с гривами, с откосами. Но и горы, и снег этот на вершинах, когда внизу зелено, — никогда чуждыми не были, а только еще милей и теплей здесь, внизу.

Едем...

Навстречу нам такой же грузовичок ЗИС-5 (их потом, когда они уже уходили из жизни, ласково звали «Захар» или «Захарыч», они славно поработали). Рыжий чуть отклонился на тракте правее, а тот, встречный, дует посередке почти... Рыжий несколько встревожился, еще поджался правее, к самой бровке, а встречный — нахально посередке. Рыжий удивленно уставился вперед... Я от его взгляда и встревожился-то: я сперва не понял, что нам грозит опасность. А опасность летела навстречу нам... Рыжий сбавил скорость и неотступным, немигающим, оцепенелым каким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот — перед самым носом у нас — свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный, жуткий треск...

Я больше испугался этого треска, чем толчка, до сих пор помню этот треск: резкий, сухой, мгновенный... Как-то от него, от этого треска, толкнулось в сознании, что беда, может, смерть... Но тут же все пронеслось — ни смерти, ни беды большой. Рыжий остановился, вылез из кабины... И я тоже вылез. У нас — со стороны руля — отворотило угол кузова, причем угол, который у кабины. Тот, видно, задком шваркнул нас, и ему меньше досталось, потому что для него это получилось — на прощание, с потягом, а для нас удар — встречный: угла как не бывало, верхнего. Тот, видно, крюками саданул, какими борт захлестывается. Мы посмотрели вслед этому полудурку — тот себе катит как ни в чем не бывало. Рыжий быстро вскочил в кабину... Крикнул мне: «Садись!» Я мигом очутился в кабине... Рыжий развернулся и помчался вдогон тому, который ни с того ни с сего угостил нас. Вот мы летели-то!.. Рыжий опять неотступно, не мигая — вообще-то страшновато — смотрел вперед, чуть склонился к рулю. И страшновато, и красиво — я смотрел то на

рыжего, то на машину впереди. Расстояние между машинами сокращалось. Рыжий не сказал ни слова... Он только раз или два пошевелился от нетерпения. Я понял, что он хочет сделать, тоже припечатать этому, кузовом же, я слышал, так делают шоферы: за нахальство и наглость. Но когда мы догоняли, я вдруг вспомнил, что там же их в кабине двое сидело, два мужика. Я сказал рыжему:

— Их там двое...

Рыжий чуть шевельнул головой на мой голос, но как смотрел вперед, так и смотрел, скорости не сбавил... Он, конечно, услышал мои слова, но я не увидел, чтобы он о чем-нибудь таком подумал, кроме как: во что бы то ни стало догнать. Это и было в его взгляде, во всей его склоненной фигуре — догнать. Его нетерпение и мне передалось, я тоже вцепился в ручку дверцы и тоже весь напружинился — тоже вдруг всего целиком охватило одно единое желание: скорей догнать и шваркнуть.

Тот по-прежнему чухал серединой тракта... Мы повисли у него на задке, рыжий стал гудеть, прося дороги. Он еще раз пошевелился, последний раз, глотнул... И гудел, и гудел беспрерывно. Синие глаза его прямо полыхали нетерпением, кричали прямо... Горели ясным синим огнем. Он слился с рулем, правым локтем придавил этот большой черный пупок сигнала — и гудел, и гудел.

Долго тот не давал нам дороги... Наконец, видим, пошел уклоняться вправо. Рыжий прямо лег на руль... И мы стали медленно их обходить. Рядом со мной — близко, рукой можно достать — прыгал враждебный нам кузов... И он, качаясь и подпрыгивая, тихонько отставал и отставал... Я уже стал видеть лицо того нахала: молодой тоже, моложе рыжего, скуластый, в серой фуражке... Покосился на нас, несколько назад... Потом мы с ним сравнялись, я-то вовсе рядом оказался. Сердце мое как будто кто в кулаке сжал... Тот, в фуражке, посмотрел на нас, скорей так: через меня на рыжего... И я понял, что он не узнал, что именно нам он сделал такую бяку. Я поразительно близко видел его лицо: широкое, в скулах, никакое не злое, несколько даже курносое... Он, по-моему, досадовал и несколько был удивлен, что его обгоняют — и только. Никак уж, наверно, не ждал он, что его догнала расплата за его хулиганство.

Мы стали уже обходить ЗИС, этот, в кепке, уже остался чуть сзади. Их, правда, двое было в кабине, но второго я

совершенно не помню — я его, наверно, не видел: до того интересно было смотреть на скуластого.

Мы почти обогнали, ехали серединой... И тут рыжий сделал так: дал вправо, потом резко влево и тормознул. Нас кинуло вперед... Опять этот ужасный треск... Опять мимо пронеслось нечто темное, жуткое, обдав грохотом беды и смерти... И мы стали вовсе: рыжий подрулил вправо к обочине, как и положено, взял длинную заводную ручку и вылез из кабины. Но тот, с висячим уже бортом, не остановился. Рыжий подождал-подождал, залез опять в кабину, развернулся, и мы поехали своей дорогой. Рыжий был спокоен, ничего не сказал по поводу того, что... Он ехал и ехал. Пару раз выглядывал из кабины и смотрел коротко на искореженный угол борта.

Я же почему-то принялся думать так: нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить — серьезно. Я очень уважал рыжего.

С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к рыжим: какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе... Очень они мне нравятся. Не все, конечно, но вот такие вот — молчаливые, спокойные, настырные... Такого не враз сшибешь. И зубы ему не заговоришь — он свое сделает.

ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫЙ ЯКОВЛЕВ

Приехал в отпуск в село Борис Яковлев... Ему — под сорок, но семьи в городе нету, была семья, но чего-то разладилось, теперь — никого. Вообще-то догадывались, почему у него — ни семьи, никого: у Яковлева скверный характер. Еще по тем временам, когда он жил в селе и работал в колхозе, помнили: вечно он с каким-то насмешливым огоньком в глазах, вечно подоспеет с ехидным словом... Все присматривается к людям, но не идет с вопросом или просто с открытым словом, а все как-то — со стороны норовит, сбоку: сощурит глаза и смотрит, как будто поджидает, когда чело-

век неосторожно или глупо скажет, тогда он подлетит, как ястреб, и клюнет. Он и походил на ястреба: легкий, поджарый, всегда настороженный и недобрый.

У него тут родня большая: мать с отцом еще живые... Собрались, гульнули. Гуляли Яковлевы всегда шумно, всегда с драками: то братаны сцепятся, то зять с тестем, то кумовья — по старинке — засопят друг на друга. Это все знали; что-то было и на этот раз, но не так звонко — поустали, видно, и Яковлевы.

Сам Борис Яковлев крепок на вино: может выпить много, а не качнется, не раздерет сдуру рубаху на себе. Не всегда и поймешь, что он пьян; только когда приглядишься, видно — глаза потемнели, сузились, и в них точно вызов какой, точно он хочет сказать: «Ну?»

Был он и на этот раз такой.

В доме у него еще шумели, а он, нарядный, пошел к новому клубу: там собралась молодежь, даже и постарше тоже пришли — ждали: дело воскресное, из района должна приехать бригада художественной самодеятельности, а вместе с районными хотели выступить и местные — ну, ждали, может, интересно будет.

Яковлев подошел к клубу, пооглядывался... Закурил, сунул руки в карманы брюк и продолжал с усмешечкой разглядывать народ. Может, он ждал, что к нему радостно подойдут погодки его или кто постарше — догадаются с приездом поздравить; у Яковлева деньги на этот случай были в кармане: пошли бы выпили. Но что-то никто не подходил; Яковлев тискал в кулаке в кармане деньги и, похоже, злился и презирал всех. Наверно, он чувствовал, что торчит он тут весьма нелепо: один, чужой всем, стоит, перекидывает из угла в угол рта папиросину и ждет чего-то, непонятно чего. Самодеятельность эту он глубоко имел в виду, он хотел показать всем, какой он — нарядный, даже шикарный, сколько (немало!) заколачивает в городе, может запросто угостить водкой... Еще он хотел бы рассказать, что имеет в городе — один! — однокомнатную квартиру в новом доме, что бригадира своего на стройке он тоже имеет в виду, сам себе хозяин (он сварщик), что тишина эта сельская ему как-то... не того, не очень — по ушам бьет, он привык к шуму и к высоте. Наверно, он хотел вскользь как-нибудь, между прочим, между стопками в чайной, хотел бы все это рас-

сказать, это вообще-то понятно... Но никто не подходил. Погодков что-то не видно, постарше которые... Черт их знает, может, ждали, что он сам подойдет; некоторых Яковлев узнавал, но тоже не шел к ним. А чего бы не подойти-то? Нет, он лучше будет стоять презирать всех, но не подойдет — это уж... такого мама родила. В его сторону взглядывали, может, даже говорили о нем... Яковлев все это болезненно чувствовал, но не двигался с места. Сплюнул одну «казбечину», полез за другой. Он смотрел и смотрел на людишек, особенно на молодых ребят и девушек... Сколько их расплодилось! Конечно, все образованные, начитанные, остроумные... а хоть бы у кого трояк лишний в кармане! Нет же ни шиша, а стоя-ат, разговоры ведут разные, басят, сопляки, похохатывают... Яковлев жалел, что пришел сюда, лучше бы опять к своим горлопанам домой, но не мог уж теперь сдвинуться: слишком долго мозолил глаза тут всем. И он упорно стоял, ненавидел всех... и видом своим показывал, как ему смешно и дико видеть, что они собрались тут, как бараны, и ждут, когда приедет самодеятельность. Вся радость — самодеятельность! Одни дураки ногами дрыгают, другие — радуются. «Ну и житуха! — вполне отчетливо, ясно, с брезгливостью думал Яковлев. — Всякой дешевизне рады... Как была деревня, так и осталась, чуть одеваться только стали получше. Да клуб отгрохали!.. Ну и клуб! — Яковлев и клуб новый оглядел с презрением. — Сарай длинный, в душу мать-то... Они тут тоже строят! Как же!.. Они тоже от жизни не отстают, клуб замастырили!»

Так стоял и точил злость Яковлев. И тут увидел, идут: его дружок детства Серега Коноплев с супругой. Идут под ручку, честь по чести...

«Ой, ой, — стал смотреть на них Яковлев, — пара гнедых. Как добрые!»

Сергей тоже увидел Яковлева и пошел к нему, улыбаясь издали. И супругу вел с собой; супругу Яковлев не знал, из другой деревни, наверно.

— Борис?.. — воскликнул Сергей; он был простодушный, мягкий человек, смолоду даже робкий, Яковлев частенько его бывало колачивал.

— Борис, Борис... — снисходительно сказал Яковлев, подавая руку давнему дружку и его жене, толстой женщине с серыми, несколько выпученными глазами.

— Это Галя, жена, — все улыбался Сергей. — А это друг детства... А я слышал, что приехал, а зайти... как-то все время...

— Зря церкву-то сломали, — сказал вдруг Яковлев ни с того ни с сего.

— Как это? — не понял Сергей.

— Некуда народишку приткнуться, смотрю... То бы хоть молились.

— Почему? — удивился Сергей. И Галя тоже с изумлением и интересом посмотрела на шикарного электросварщика. — Вот... самодеятельность сегодня... — продолжал Сергей. — Поглядим.

— Чего глядеть-то?

— Как же? Спляшут, споют. Ну, как жизнь?

Яковлева вконец обозлило, что этот унылый меринок стоит дыбится... И его же еще и спрашивает: «Как жизнь?»

— А ваша как? — спросил он ехидно. — Под ручку, смотрю, ходите... Любовь, да?

Это уж вовсе было нетактично. Галя даже смутилась, огляделась кругом и отошла.

— Пойдем выпьем, чем эту муть-то смотреть, — предложил Яковлев, не сомневаясь нисколько, что Серега сразу и двинется за ним.

Но Серега не двинулся.

— Я же не один, — сказал он.

— Ну, зови ее тоже...

— Куда?

— Ну, в чайную...

— Как, в чайную? Пошли в клуб, а пришли в чайную? — Сергей все улыбался.

— Не пойдешь, что ли? — Яковлев все больше и больше злился на этого чухонца.

— Да нет уж... другой раз как-нибудь.

— Другого раза не будет.

— Нет, счас не пойду. Был бы один — другое дело, а так... нет.

— Ну пусть она смотрит, а мы... Да мы успеем, пока ваша самодеятельность приедет. Пойдем! — Яковлеву очень не хотелось сейчас отваливать отсюда одному, невмоготу. Но и стоять здесь тоже тяжко. — Пошли! По стакашку дернем... и пойдешь смотреть свою самодеятельность. А мне на нее... и на всю вашу житуху глядеть тошно.

Сергей уловил недоброе в голосе бывшего друга.

— Чего так? — спросил он.

— А тебе нравится эта жизнь? — Яковлев кивнул на клуб и на людей возле клуба.

— Жизнь... как жизнь, — сказал он. — А тебе что, кажется, скучно?

— Да не скучно, а... глаза не глядят, в душу мать-то, — накалялся Яковлев. — Стоя-ат... бараны и бараны, курва. И вся радость вот так вот стоять? — Яковлев прямо, ехидно и насмешливо посмотрел на Серегу: то есть он и его, Сергея, спрашивал — вся радость, что ли, в этом?

Сергей выправился с годами в хорошего мужика: крепкий, спокойный, добрый... Он не понимал, что происходит с Яковлевым, но помнил он этого ястреба: или здесь кто-нибудь поперек шерсти погладил — сказал что-нибудь не так, или дома подрались. Он и спросил прямо:

— Чего ты такой?.. Дома что-нибудь?

— Приехал отдохнуть!.. — Яковлев уж по своему адресу съехидничал. И сплюнул «казбечину». — Звали же на поезд «Дружбу» — нет, домой, видите ли, надо! А тут... как на кладбище: только еще за упокой не гнусят. Неужели так и живут?

Сергей перестал улыбаться; эта ехидная остервенелость бывшего его дружка тоже стала ему поперек горла. Но он пока молчал.

— У тя дети-то есть? — спросил Яковлев.

— Есть.

— От этой? — Яковлев кивнул в сторону толстой, сероглазой жены Сергея.

— От этой...

— Вся радость, наверно, — допрашивал дальше Яковлев, — попыхтишь с ней на коровьем реву, и все?

— Ну а там как?.. — Сергей, видно было, глубоко и горько обиделся, но еще терпел, еще не хотел показать это. — Лучше?

— Там-то?.. — Яковлев не сразу ответил. Зло и задумчиво сощурился, закурил новую, протянул коробку «Казбека» Сергею, но тот отказался. — Там своя вонь... но уж хоть — в нос ширяет. Хоть этой вот мертвечины нет. Пошли выпьем!

— Нет, — Сергей, в свою очередь, с усмешкой смотрел на Яковлева.

Тот уловил эту усмешку, удивился.

— Чего ты? — спросил он.

— Ты все такой же, — сказал Сергей, откровенно и нехорошо улыбаясь. Он терял терпение. — Сам воняешь ездишь по свету, а на других сваливаешь. Нигде не нравится, да?

— А тебе правится?

— Мне нравится.

— Ну и радуйся... со своей пучеглазой. Сколько уже настрогали?

— Сколько настрогали — все наши. Но если ты еще раз, падали кусок, так скажешь, я... могу измять твой дорогой костюм, — глаза Сергея смотрели зло и серьезно.

Яковлев не то что встревожился, а как-то встрепенулся; ему враз интересно сделалось.

— О-о, — сказал он с облегчением. — По-человечески хоть заговорил. А то — под ру-учку идут... Дурак, смотреть же стыдно. Кто счас под ручку ходит!

— Ходил и буду ходить. Ты мне, что ли, указчик?

— Вам укажешь!.. — Яковлев весело, снисходительно, но с любопытством смотрел на Сергея. — На тракторе работаешь?

— Не твое поганое дело.

— Дурачок... я же с тобой беседую. Чего ты осердился-то? Бабу обидел? Их надо живьем закапывать, этих подруг жизни. Гляди!.. обиделся. Любишь, что ли?

С Яковлевым трудно говорить: как ты с ним ни заговори, он все равно будет сверху — вскрылит вверх и оттуда разговаривает... расспрашивает с каким-то особым гадким интересом именно то, что задело за больное собеседника.

— Люблю, — сказал Сергей. — А ты свою... что, закопал, что ли?

Яковлев искренне рассмеялся; он прямо ожил на глазах. Хлопнул Сергея по плечу и сказал радостно:

— Молоток! Не совсем тут отсырел!.. — странная душа у Яковлева — витая какая-то: он, правда, возрадовался, что заговорили так... нервно, как по краешку пошли, он все бы и ходил вот так — по краешку. — Нет, не удалось закопать: их закон охраняет. А у тебя ничего объект. Где ты ее нашел-то? Глаза только... Что у ней с глазами-то? У ней не эта?.. болезнь такая с глазами есть... Чего она такая пучеглазая-то?

Сергей по-деревенски широко размахнулся — хотел в лоб угодить Яковлеву, но тот увернулся, успел, Сергей ударил его куда-то в плечо, не больно. Яковлев этого только и ждал: ногой сильно дал Сереге в живот, тот скорчился... Яковлев кулаком в голову сшиб его вовсе с ног. И спокойно пошел было прочь от клуба... Его догнали. Он слышал, что догоняют, но не поворачивался до последнего мгновения, шел себе беспечно, даже «казбечину» во рту пожевывал... И вдруг побежал, но тут же чуть отклонился и дал первому, кто догонял, кулаком наотмашь. Первому он попал, но догоняло несколько, молодые... Хоть и умел Яковлев драться, его скоро сшибли тоже с ног и несколько попинали, пока не подбежали пожилые мужики и не разняли.

Яковлев встал, сплюнул, оглядел всего себя — ничего существенного, никаких особых повреждений. Отряхнулся. Он был доволен.

— Ну вот... — сказал он, доставая «Казбек», — хоть делом занялись... — Яковлев насмешливо оглядел окруживших его мужиков и молодых парней. — А то стоя-ат ждут свою самодеятельность дурацкую.

— Иди отсюда, — посоветовали ему.

— Пойду, конечно... Что же мне, тоже самодеятельность, что ли, с вами стоять ждать? Кто выпить хочет? Парни...

Никто не изъявил желания пить с Яковлевым.

— Скучно живете, граждане, — сказал Яковлев, помолчав. Сказал всем, сказал довольно проникновенно, серьезно. — Тошно глядеть на вас...

— Еще, что ли, дать?

— Надо было, — сказал кто-то из пожилых мужиков. — Зря разняли.

— Не в этом дело, — сказал Яковлев. — Скучно, — еще раз сказал он, сказал четко, внятно, остервенело. Сунув руки в карманы шикарных брюк, пожевал «казбечину»... И пошел.

Еще немного постояли, глядя вслед Яковлеву... Повспоминали, какой он тогда был — всегда был такой. Они все, Яковлевы, такие: вечно недовольные, вечно кулаки на кого-нибудь сучат...

Тут как раз приехала самодеятельность. И все пошли смотреть самодеятельность.

ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ

В нервной, шумливой семье Худяковых — происшествие: народился младенец по имени Антон. То-то было волнений, крика, когда их — роженицу и младенца — привезли домой... Радовались, конечно, но и шумели, и нервничали тут же — стыдились радоваться: у Антона нет отца. То есть он, конечно, есть, но пожелал остаться неизвестным. Семья Худяковых такая: отец Николай Иванович, сухой, пятидесятилетний, подвижный, как юноша, резкий... Шофер. Как разволнуется, начинает заикаться. Мать Лариса Сергеевна, обычно крикливая, но не злая. Сын их Костя, двадцатитрехлетний, слесарь, тоже нервный, часто волнуется, но тогда не кричит и не говорит — мало говорит — старается найти слова сильные, точные, не сразу их находит и выразительно смотрит темно-серыми глазами на того, кому он хотел бы найти эти слова. И наконец дочь Алевтина, двадцатилетняя, с припухлыми, чуть вывернутыми губами, хоть тоже шумливая, но добрая и доверчивая, как овца. Она-то и родила Антона. Из-за нее-то и нервничали. Казалось бы, чего уж теперь-то нервничать: знали же, ждали же... Нет, как привезли человечка, тут они все разнервничались — на то они и Худяковы, крикуны, особенно отец.

— Ну, х-орошо, ну, л-л-л... это... ладно, — кричал отец, — если он не хочет прийти, то х-оть скажи: кто он?!

Алевтина плакала, но не говорила, упорно не говорила... Николай Иванович из себя выходил, метался по комнате. Лариса Сергеевна — это странно, но никто как-то на это не обращал внимания, что это странно, — не кричала, а спокойно налаживала кроватку, распоряжалась насчет пеленок, распашонок... Она, как видно, свое откричала раньше. Костя... У Кости, брата, было сложное чувство. Младенец взволновал его, обрадовал, но досада, стыд и злость на сестру губили радость. Он тоже хотел бы знать, кто же это такой ловкий, что и ребенка смастерил, и глаз казать не хочет?

— Подожди ты, не кричи, — сказал он отцу, — чего криком достигнешь?

— Достигали! — закричал и на него отец. — Вы всего достигаете!.. Вон вы чего достигаете — в подолах приносить. Радуйтесь теперь!..

— Ну и... все. Чего кричать-то? Чего изменишь-то криком?

— Я хочу знать: кто?! — отец резко крутнулся на месте, махнул рукой и выбежал из комнаты. На кухню. Он не мог совладать с отчаянием. — Как добрым, отдельную квартиру дали!.. — вовсе уже бессмысленно кричал он оттуда. — Нет, они начинают тут... Тьфу!

— Алька, — приступил к допросу Костя, приступил, как ему казалось, спокойно и умно. — Скажи мне, я один буду знать: кто?

— Иди ты к черту! — закричала на него заплаканная Алька, — Не скажу! Не ваше дело.

— Не наше?! — закричал и Костя. И уставился на сестру, и смолк, в поисках сильного справедливого слова. — А чье же? Не наше?.. Зануды вы!.. Дуры! — он тоже резко повернулся и ушел на кухню.

— Ну, что за дуры такие!.. — повторил он уже на кухне, при отце. И стал закуривать. — Убивать таких...

Отец, засунув руки в карманы брюк, стоял у окна, обиженно смотрел на улицу.

— Вырастили дочь, — сказал он. — Хоть беги теперь от позора... С кем она дружила-то? — опять повысил он голос. И повернулся к сыну. — Не знаешь?

— Откуда я знаю?

— «Откуда я знаю»! Черти... Засмеют теперь, людям только дай повод. Эх-х!..

Они долго молчали, курили, невольно прислушиваясь к возне там, в комнате. Маленький Антон молчал.

— Парень-то крепкий уродился, — сказал отец страдальческим голосом.

— Ну и пусть растет, — невольно поддался было Костя мирному, хоть и горькому настроению. — Что теперь сделаешь?

— Ну, нет! — взвился опять отец. И вскочил, и заходил по тесной кухне. — Это они... сильно легко жить собрались! Черта с два! Так не бывает, — он помолчал, еще походил немного, остановился перед сыном. — Ты вот что: когда успокоимся, ты как-нибудь подъехай к ней... Хитростью как-нибудь. Не может быть, чтобы нельзя узнать... Что, в чужой стране, что он? Поумней как-нибудь... Не кричи, а поспокойней. То, се, мол, может, привет передать... Да не может быть, чтобы нельзя было узнать! Я его приведу, подлеца, и —

носом в пеленки, как кота: вот теперь твое место здесь, здесь... Гады золотушные. Ишь, научились как!.. Прямо не жизнь, а малина. Ну, нет!..

— Да что нет-то? Что нет-то? — рассердился вдруг Костя на отца. — Что сделаешь-то?

— Что сделаю? Приведу и поселю здесь жить: вот тебе, друг ситный, твоя семья: жена и сын.

— А он пошлет тебя... И все. И ничего ты не сделаешь.

Отец строго уставился на сына... Но, видно, и сам тоже подумал: а что, действительно, тут сделаешь?

— Сде-елаем, — сказал он обещающе, но развивать эту мысль дальше не стал, — нечего развивать, вот и не стал. Сел, закурил опять. Курил и смотрел в пол безнадежно. Пальцы рук его чуть тряслись.

Косте стало жалко отца. Ничего он не сделает, подумал он. Что он может сделать? Покричит-покричит, а будет все как есть. Но если пожилой отец ничего не может сделать, тут же подумал Костя, то мне-то грех оставлять беззащитными сестру и племянника. Это уж... извините.

И решил Костя: не надо кричать, не надо суетиться, надо спокойно, железной рукой восстановить справедливость. Эти волосатики, правда что, собрались легко жить (почему-то он был уверен, что отец Антона — какой-нибудь из этих, каких он часто видел во дворе с гитарой)! Самого Костю как-то миновало это поветрие — трясти космами и до одури бренчать на гитаре, он спокойно презирал обтянутых парней, сторонился и следил только, чтобы у него с ними не случилось драки: волосатики ходили стадом и не стыдились бить кучей одного.

Костя решил, что он все равно узнает, кто отец Антона. А там уж видно будет, что делать.

И Костя узнал.

Дня через три, когда все малость успокоились, он потихоньку перерыл сумочки сестры, карманы ее пальто и курточек — и нашел, что искал: записную книжку. В книжке — номера телефонов. Костя стал внимательно изучать эти номера. Тут были телефоны подружек, рабочие телефоны (Алевтина работала на почте), телефоны каких-то тетей... Но того, что было нужно, не было. Тогда Костя набрал те-

лефон первой попавшейся подружки Алевтины. Светы какой-то...

— Света? — спросил он вежливо.

— Да-а, — пропел ему в ухо голосок. — Кто это?

— Света, это брат Алкин... Слушай сюда, у нас же это... прибавление...

Света молчала.

— Знаешь, да? — продолжал Костя игриво.

— Да, — сказал в ухо голосок. — Знаю.

— А чего же он не звонит? А?

— Кто, Игорь?

— Да, Игорь-то. Чего он?

— Но они же... — Света, видно как, спохватилась, помолчала и сказала: — Я не знаю.

— Что «не знаю»? Чего ты хотела сказать?

— Не знаю...

— А кто он, этот Игорь?

— Не знаю.

Все, теперь она не слезет со своего «не знаю». Ну, хватит и того, что успела сказать.

— Что же вы такие, Света? — спросил Костя как можно спокойнее. И сжал трубку, аж пальцы побелели.

— Какие? — удивилась Света.

— Да лахудры-то такие... Что, совсем, что ли, дуры полные?

Света положила трубку.

Игорек... Ну, держись, Игорек... Собака!

Костя походил возле телефона-автомата... Как умней повести дело? Надо же этого Игорька еще добыть!

«Э! — догадался Костя, — да эти же и знают, с гитарами-то. Чего я?..»

И он подошел к одному, к тоскливому... Этот тоскливый был, видно, с похмелья по воскресному делу, сидел один на скамеечке под березой, устало и одинаково смотрел перед собой — ждал, что ли, кого.

— Что такой задумчивый? — спросил Костя, присаживаясь на скамейку.

Тоскливый повернулся к нему... Глаза круглые, неглупые, несколько усталые, но тотчас засветились любопытством и неким немым ожиданием.

— А чего? — спросил он.

«Да нормальные люди! — успел подумать Костя. — Напускают только на себя...»

У этого, тоскливого, даже и волосы-то не такие уж длинные, правда, — усы...

— Ты этого... Игорька знаешь? — прямо спросил Костя. — С сеструхой-то который...

Тоскливый некоторое время с интересом смотрел на Костю — не то изучал, но и не скрывал интереса. Усмехнулся.

— А тебе что?

Костя заволновался, но прищемил свое волнение зубами... Тоже смотрел на усатого, старался усмехнуться, но не знал: усмехается или нет? Очень уж он как-то сразу взволновался.

— Пошли выпьем? — сказал Костя. И суетливо сунулся в карман, чтобы этим жестом успокоить усатого — что не трепется, что деньги есть. Но деньги не стал показывать, ибо заметил, что усатый утратил интерес к нему: видно, как поторопился он с этой выпивкой.

«Ну а как, как? — в отчаянии соображал Костя. — Как же?»

— Прикупить, что ли, хочешь? — спросил усатый. И отвернулся. Но снова повернулся. — Зачем тебе Игорька-то? — спросил.

Тут Костя взмолился:

— Слушай... прости с этой выпивкой — сам не знаю, чего я... Прости, — он даже тронул трясущейся рукой усатого по колену. — Я хочу спросить Игорька: будут они... сходиться-то?

Усатый опять смотрел на Костю, и опять глаза его круглые слабо осветились жизнью: опять ему стало интересно. Он усмехнулся.

— Не будут, — сказал он.

— Почему? — спросил Костя. Он хотел бы тоже усмехнуться, но не знал: получается у него усмешка или нет. — А зачем же тогда ребенка-то?..

— Это ты у сестры спроси, — молвил резонно усатый. И отвернулся. Интерес потух в его круглых глазах.

Мгновение Косте казалось, что он кинется на усатого, вцепится ему в горло... но он помолчал и спросил:

— Неужели ребенка-то?.. Хоть бы посмотрел. Что уж тут, съедят, что ли, вашего Игорька? Чего боитесь-то?

— Кто боится? — спросил усатый удивленно.

— Да вы боитесь, — Костя понял, что нечаянно угодил в слабое место усталой души усатого. — Чего же прячетесь, если не боитесь?

Усатый долго молча смотрел на Костю... И Костя смотрел на него, и ему удалось презрительно усмехнуться, он это почувствовал.

— Ну и поганцы же!.. — сказал он презрительно. — Чуть чего, так в кусты. Джельтмены, мать вашу... Твари.

Усатый задумался... Скосил глаза куда-то мимо Кости и даже губу покусал в раздумье.

— Мгм, — сказал он. — Я могу дать адрес Игорька... Но вечером ты выйдешь и расскажешь, как вы там поговорили. Так есть?

— Есть, — поспешно согласился Костя. — Расскажу.

— Мичурина двадцать семь, квартира восемнадцать. Но не забудь, вечером расскажешь.

...Костя летел на Мичурина и твердил в уме: «Двадцать семь, восемнадцать, двадцать семь, восемнадцать...» Почему-то взял страх, что забудет, а записать — ручки с собой нет. Ни о чем другом не думал, твердил и твердил эти цифры. Только когда пришел к дому двадцать семь и стоял уже перед дверью, на которой табличка — 18, тогда только перевел дух... И тут обнаружил, что очень волнуется, так волнуется, как никогда не волновался: даже сердце заболело. Нет, надо успокоиться, решил Костя, а то... что же я такой сделаю там? Он походил перед дверью... Не успокоился, а, сам того не желая, не сознавая даже, нажал кнопку звонка.

Дверь открыла моложавая еще женщина, очень приятная на вид... Открыла и смотрела на Костю.

— Игорь дома? — спросил Костя спокойно. Он поразился в душе своему вдруг спокойствию. Только что его чуть не трясло от волнения.

— Нету... — что-то такое было, наверно, в глазах Кости, что женщина не закрыла дверь, а смотрела на него вопросительно, даже встревоженно. — А вы... вам зачем он?

Костя пошел прямо на женщину... Она невольно посторонилась, и Костя прошел в квартиру. По коридору навстречу ему шел мужчина в спортивном костюме, лет так пятидесяти пяти, с брюшком, но с таким... аккуратным брюшком, упитанный, добродушный. Но хоть лицо его

добродушное, в эту минуту оно тоже было несколько встревоженное. Он тоже вопросительно смотрел на Костю.

— Я к вашему Игорю, — сказал Костя.

— Но нет же его, — чуть раздраженно сказала сзади женщина.

— А где он? — Костя стал в коридоре между мужчиной и женщиной — отцом и матерью Игорька, как он понял. — Мне его срочно надо.

— А что такое? — спросил мужчина.

— Он скоро придет? — в свою очередь спросил Костя. Спросил почему-то у женщины.

— А что такое? — опять спросил мужчина.

Костя повернулся к мужчине и долго, внимательно смотрел ему в глаза. Тот не выдержал, шевельнул плечом, коротко — поверх Кости — глянул на жену потом опять на Костю.

— В чем дело-то, вы можете объяснить? — потребовал он строго.

Костя стиснул зубы и смотрел на мужчину.

— У Игоря... у вашего, — заговорил он дрожащим от обиды, от горькой обиды и ярости голосом, — родился сын. Но Игорь ваш... не хочет даже... Игорь ваш прячется, как... — Костя не досказал, как кто, но он знал — чувствовал — он здесь сейчас скажет все: как на грех, стоял перед ним — сытый благополучный человек, квартира большая, шуба дорогая висит на вешалке, шляпа на вешалке, сверху...

— То-о есть? — как-то даже пропел мужчина. — Как это?

— Что, что, что?.. — несколько заполошно зачастила сзади женщина. — Что?

— У Игоря вашего родился сын. Но Игорь ваш... не на тех нарвался! — у Кости прыгали губы; все здесь — эти изумленные, сытые люди, квартира богатая — все предстало в его сознании как мир недобрый, враждебный, он весь стиснулся, скрутился в злой, крепкий комок. Он мог бы — готов был — дать ногой в аккуратный живот мужчине.

— Не на тех нарвался ваш Игорь! — повторил Костя. В этот миг ему бросилась в глаза медная ступка с пестиком, что стояла на тумбочке в коридоре, он отметил, что она стоит тут, это придало Косте уверенности. Он даже несколько успокоился.

— Ну-ка, пройдемте сюда, — сказал мужчина. И повернулся, и ушел в дверь направо из коридора. — Идите сюда! — сказал он уже из комнаты громко.

Костя повернулся к женщине и сказал:

— Идите, чтобы вы тоже знали... — и показал рукой на дверь, куда ушел мужчина.

Женщина (она была так растеряна, что покорно повиновалась) пошла в комнату.

Когда она зашагнула за порог двери, Костя прошел мимо тумбочки, неслышно вынул пестик из ступки и сунул во внутренний карман пиджака; пестик был небольшой, аккуратный, тяжеленький. Он оттянул полу пиджака, по надо специально приглядываться, чтобы это заметить.

— Ну-ка, по порядку — велел мужчина, когда Костя вошел в большую красивую комнату с рыбками на подоконнике. — Не волнуйтесь, не... Толком расскажите, в чем дело? Кто вы такой?

— Человек, — сказал Костя, опускаясь в мягкое кресло. С пестиком он себя чувствовал уверенно, как с наганом. — Ваш Игорек... Я еще раз вам говорю: ваш Игорек стал отцом, но хочет, как гад, ускользнуть в кусты. Я повторяю: у него этот номер не пройдет.

— Да кто вы такой-то?! — чуть не со слезами вскричала женщина; она поняла, что это правда: ее Игорек стал отцом, и она готова была зареветь от ужаса.

— Погоди, — остановил ее муж. — Ну-ка, — терпеливо, но уже и недобро стал он расспрашивать, — наш Игорь стал отцом... То есть, у него родился ребенок? Так?

— Так. Антон.

— А кто мать... Антона?

— Моя сестра.

— Боже мой! — воскликнула опять миловидная женщина. И уставилась на Костю с мольбой и отчаянием. Косте показалось даже, что она увидела оттянутую полу его пиджака и вот-вот взмолится, чтобы их не убивали. — Да какой же он отец?!

— А кто твоя сестра? — продолжал допрашивать мужчина; он заметно сердился. И чем больше он сердился, тем опять спокойнее становился Костя, спокойнее и ожесточенней.

— Тоже человек, — сказал он, глядя в глаза мужчине.

— Я тебя дело спрашиваю, сопляк! — взорвался мужчина. — Чего ты!.. Пришел, здесь, понимаешь!.. Чего ты ломаешься сидишь? Пришел — говори дело. Кто твоя сестра?

— Че-ло-век,— сказал Костя. Руки его ходуном ходили — охота было уже выхватить пестик, но он еще сдерживал себя.

— Молодой человек, — взмолилась мать, — да вы расскажите все, зачем же мы злимся-то? Расскажите спокойно.

— Я не знаю, почему ваш муж обзываться начал, — повернулся Костя к женщине. — За сопляка я еще... мы еще про это тоже поговорим. Моя сестра... ей двадцать лет, она работала... пока не забеременела... Теперь она туда, конечно, не пойдет. От позора. Работала на почте. Мы люди простые... Мы люди простые, — повторил с глубокой внутренней силой Костя, глядя на мужчину, — но Игорек ваш от нас не уйдет. Лично от меня не уйдет. Ясно?

— Ясно, — сказал мужчина. И встал. — Вот оттого, что ты, сопляк... я повторяю: сопляк, пришел и взял сразу такой тон, я с тобой говорить отказываюсь. Тоже ясно? Я буду говорить с твоей сестрой, с отцом, с матерью, а тебе приказываю — вон отсюда! — и показал рукой на дверь. Он был властный человек.

Костя встал... И вынул из кармана пестик. И сразу без слов пошел на мужчину. Вмиг лицо мужчины сделалось серым... Он попятился назад, к рыбкам... Нахмурился и смотрел, как зачарованный, на медный пестик в руке Кости. Женщина не сразу поняла, зачем Костя встал и пошел... Зачем вынул из кармана пестик, она это тоже как-то не поняла. Она поняла все, когда увидела лицо мужа... И закричала пронзительно, жутко. Костя оглянулся на нее... И тотчас полетел на пол от крепкого удара в челюсть. Мужчина прыгнул на него, заломил назад его правую руку и легко вырвал пестик.

— Вон ты какой!.. — сказал он, поднимаясь. — Вставай! Садись сюда.

Костя поднялся, сплюнул сукровицей на ковер... Посмотрел на мужчину. Глаза Кости горели безумием и отвагой.

— Все равно убью, — сказал он.

Мужчина толкнул его в кресло. Костя упал в кресло, ударился затылком об стенку. Но продолжал смотреть на мужчину

— Убью... из ружья. Подкараулю и убью, — повторил он.

Мужчина с пестиком в руке сел напротив, заговорил разумно и спокойно:

— Хорошо, убьешь. За что?

— За то, что породили такого бессовестного... такую тварь бессовестную. Кто так делает? — Косте хотелось заплакать и кинуться на разумного мужчину. — Кто так делает?! — закричал он.

— Что делает? Как делает?

— Как ваш сын...

— А сестра твоя как делает? — жестко и справедливо спросил мужчина. — Она же совершеннолетняя.

— Она дура!

— Что значит «дура»? Дуру не возьмут работать на почту.

— Она жизни не знает... Много надо, чтобы их обмануть! Нет, — постучал Костя худым кулаком по своей острой коленке, — пока они не распишутся и не будут жить нормально... до тех пор я вам жизни не дам. Сам погибну, но вам тоже не жить. Сам все сделаю, сам! Сам буду судить!.. За подлость.

Мужчина внимательно и тяжело смотрел на него. Долго молчал.

— Не пугай ты меня, не пугай, — сказал Костя на это тяжкое молчание. — Не испугаешь. Убить — можешь... Дай вон пестиком по голове и в багажнике вывези куда-нибудь...

— Господи, да что же это такое-то! — тихо, с ужасом воскликнула опять женщина. — Да о чем вы говорите?!

— Мне жизнь не такая дорогая, как вашему красавцу... Но ему не жить, если он не сделает по-человечески! — Костя опять с силой ударил кулаком по колену. — Не жить! Я жить не буду, отец убьет вас: он знает, куда я пошел...

— Кто твой отец? — спросил мужчина.

— Человек. Чего тебе все надо: кто? Кто? Человек, кто! Пуза у него, правда, нет вот такого... — Костя посмотрел на аккуратный арбуз мужчины, обтянутый синим спортивным свитером.

— Сейчас ты оставишь свой адрес и уйдешь, — сказал мужчина. Встал и подошел к столу — записать адрес. — Говори.

— Я не уйду отсюда, пока не дождусь вашего Игорька... Потом мы пойдем вместе, я его суну носом в пеленки — он будет знать, где теперь его дом и семья.

— Да какой он семьянин! — не то с изумлением, не то невольно со смехом, с горьким, правда, смехом сказала мать. —

Он только первый курс закончил... Ему еще четыре года учиться.

— Будет работать и учиться, — заметил на это Костя. — Ничего страшного.

— Давай адрес! — опять стал злиться отец. — Я приду говорить с твоим отцом. А ты человеческих слов, я вижу, не понимаешь.

— Ваш подонок зато понимает человеческие слова... Красивые, наверно, слова! Я не двинусь отсюда, пока его не дождусь.

— Да нету его, нету! — тоже громко и сердито воскликнула мать, оскорбленная за «подонка». — Что же, милицию, что ли, вызвать?

— Вызывайте.

— Но нет его! Нету в городе — в деревне он.

— Врете.

— Говори адрес!.. — заорал мужчина, багровея.

— Не ори, — посоветовал Костя. — А то живот лопнет...

Мужчина бросил ручку, бросил пестик, который еще держал в руке, быстро подошел к Косте, сгреб его за шиворот и повлек по коридору к входной двери. Но как ни крепок он был, мужчина, все же Костя был молодой и жилистый... Он сперва покорно пошел, повинуясь руке, а когда мужчина расслабился и уже без усилия вел Костю за шкирку, тот вдруг вывернулся, развернулся и со всей матушки-силы дал ногой мужчине в живот. Тот так и сел к стене на корточки... Женщина закричала, вылетела из коридора в какую-то еще комнату к телефону, как понял Костя, потому что услышал, как схватили трубку и крутнулся диск. Костя вернулся в красивую комнату с рыбками, взял пестик и вышел опять в коридор.

— Не надо! — хоть с трудом, но громко сказал мужчина. Костя думал, что он ему говорит, но мужчина смотрел мимо него и еще раз крикнул: — Ольга, не надо!

Женщина появилась в коридоре. Тоже закричала:

— Но это же бандитизм. Почему не надо?! Это же бандитизм!..

— Не надо, — решительно сказал мужчина. Он поднялся, держась за стенку, постоял, пережидая боль в животе... Вздохнул и качнул головой. И скрипнул зубами. На Костю с пестиком не смотрел.

— Пойдем к отцу вместе, — сказал он после долгой паузы. — Дай одеться, Оля.

Костя жалел, что пнул мужчину — он сам не ждал, что так случится, — зато теперь хоть дело стало походить на дело: с отцом-то им легче захомутать этих жеребцов — Игорька с его папашей. Впрочем, чувство враждебности к отцу Игорька у Кости поослабло — оставалось одно нетерпеливое желание: довести справедливое дело до конца.

Когда мужчина надел костюм и появился в коридоре, у него каким-то образом куда-то упряталось брюшко; стоял солидный мужчина, решительный, крупный, крепкий.

— Пошли, — сказал он Косте. — Пестик-то оставь.

Костя положил пестик на стул перед самым выходом из квартиры.

— Где ваш дом? — спросил мужчина, когда стояли у лифта, ждали кабину.

— На Советской.

— Как туда ехать?

— Да тут три квартала...

Лифт подъехал... Вошли в кабину, закрылись, мужчина нажал кнопку — мягко поехали вниз. Стояли близко друг к другу, так близко, что Косте было неловко смотреть в глаза мужчине. А тот смотрел на него. Но Костя тоже старался не утратить самостоятельности и решительного настроения. Единственное, о чем он пожалел в эту минуту, — что он не такой же крупный и солидный, как этот, который смотрит на него несколько сверху. Костя часто жалел, что он не крупный, не солидный.

— Сколько тебе лет? — спросил мужчина.

— Не в этом дело, — сказал Костя.

Тут лифт мягко остановился — точно сел на подушку — очень хороший лифт... Вышли, спустились несколько вниз по ступенькам и очутились на улице.

— А чего ты так ерепенишься-то? — спросил мужчина.

— А чего же мне на вас, молиться?

— Да не молиться, кто тебя заставляет молиться. Но так же тоже... умные-то люди не ведут себя.

— Ваш Игорек зато ведет себя... Комсомолец небось!

— Из всякого безвыходного положения всегда можно найти выход, запомни это.

— Что, деньги небось будете совать?

— Дурак, — сказал мужчина горько. — Психопат. И сестра твоя такая же?

— Что же вы умные... — Костя даже остановился от возмущения и от обиды. — Ишь, умные! — Костя сам теперь в упор смотрел на мужчину — Умники... — он стиснул зубы и клятвенно сказал: — Я вам раз и навсегда говорю: не сделаете по-человечески, я...

— Пошли, — коротко и тоже решительно сказал мужчина, повернулся и пошагал дальше. — От горшка два вершка, а сплошные угрозы. Сопляк.

Некоторое время шли молча.

— Что же это за семья будет, если мы их силой сведем? Вы об этом-то подумали? — спросил мужчина.

— А он думал?..

— Да что ты, как дятел, — «он, он»! А она?

— Она девка! А он — парень!

— Не ори... — мужчина посмотрел по сторонам. — Чего ты орешь? Я вообще могу не ходить с тобой...

— Выломлю штакетину и погоню вперед... Если не пойдешь, — вид у Кости был такой свирепый, что можно было не сомневаться — так и сделает: выломит штакетину и учинит на улице драку.

— Тьфу!.. Полудурок. Да неужели ты не можешь спокойно-то?

— Не могу. Не могу-у! Я как только погляжу на твою спокойную... на твое лицо, так у меня в голове все мутится: как ты-то можешь спокойно? Человечек же на свет родился... маленький... а вы, как... Да вы что!

— Все, не ори больше. Иди молча.

Дальше до самого дома шли молча.

Дверь открыл отец... Костя легонько подтолкнул сзади мужчину, вошел сам в квартиру закрыл дверь и сказал:

— Дедушку привел нашего Антона.

— Здравствуйте, — серьезно, с достоинством сказал мужчина, дедушка Антона. — Я — Свиридов, Павел Владимирович.

— Так, — сказал отец Кости. — А мы Худяковы, — и смотрел на Свиридова пристально, прямо, не мигая.

— Ну, приглашайте, — сказал Свиридов. — Показывайте внука.

Из кухни вышла мать Кости и смотрела на Свиридова изумленно и с интересом.

Вышла из комнатки, где теперь жил маленький Антон, мама его, Алевтина... И смотрела на крупного дядю с недоумением. Она не слышала слов брата, что тот привел «дедушку», поэтому не могла понять, почему так странно все стоят и молчат.

— Где же внук-то? — еще раз довольно бодро спросил Свиридов.

— Какой внук? — тихо спросила Алевтина.

— Мой внук...

— Это отец Игоря, — пояснил Костя.

— Какого Игоря?

— Твоего Игоря... Отца Антона.

— Во, псих-то, — сказала Алевтина. И ушла в комнатку. — Чего ты самодеятельность-то развиваешь? — сказала она из комнаты. И опять появилась на пороге. — Какой Игорь?

— Ты не темни!.. — громко сказал Костя. Он растерялся, это было видно.

— Чего «не темни»?

— Он — отец Игоря, — уже не так уверенно сказал Костя, — а Игорь — отец Антона. Что ты?

— Да откуда ты взял? — спросила Алевтина. — Чего ты людей зря беспокоишь, дурак ты такой! Ну надо же!.. При чем тут Игорь-то?

— Погодите, погодите, — сказал Свиридов. — Давайте разберемся: вы были знакомы с моим сыном? С Игорем Свиридовым.

— Была знакома... Я знала его. Но дружил он не со мной, а с моей подругой, тоже на почте работала.

— Значит, это не его сын?

— Откуда?!

— А чей же он тогда сын?! — заорал Костя.

— Костя, — сказал отец. — Не ори. Ну, выяснили? Все, значит, в порядке... Извините, что зря побеспокоили.

— Да ну что!.. — сказал Свиридов по-доброму. — Дело разве...

— Да врет она! — опять закричал Костя. — Не хочет говорить: договорились с этим Игорем!

— Не ори, Костя! — тоже повысил голос отец. — Чего орать-то? Извините, — еще раз сказал он Свиридову. — Мы, конечно, переживаем тут, поэтому и...

— Нет, — обратился Свиридов к Алевтине, — может быть, правда, вы что-то скрываете? Может быть, Игорь...

— Да ни с какого боку! — сказала Алевтина. И даже засмеялась. И пошла в комнату. — Господи!.. — сказала она там сама себе. Она, как стала матерью, сразу как-то поумнела, осмелела, часто баловалась со своим Антоном и смеялась.

— Ну что же... — Свиридов повернулся к Косте. — Я могу быть свободен?

Костя, миновав его, молча прошел на кухню. И заорал оттуда что было силы:

— Все равно дознаюсь! Доз-на-а-ю-усь!

— До свидания, — вежливо сказал Свиридов.

Отец молча кивнул.

Свиридов ушел.

— Не я буду, дознаюсь! — еще раз крикнул Костя срывающимся голосом. Он плакал. Он устал за этот день... Очень устал и изнервничался. — Други игрищ и забав нашлись мне... Паразиты.

— Ладно, Костя, — мирно сказала мать. — Не переживай. На кой он черт нужен, такой отец... если и найдется! Что, сами, что ли, не прокормим? Прокормим.

— Никто так не делает, — возразил Костя, вытирая слезы. — Кто так делает!

— Ну не делают!.. Сплошь и рядом. Садись поешь вон... а то бегаешь, как сыщик, с лица опал даже. Что ты-то переживаешь?

Костя присел к столу склонился на руку и задумчиво смотрел в окно, во двор. Еще надо выходить вечером объясняться с этим... с усатым, думал он. Возьму нож и пойду — пусть сунутся.

— Не переживай, Костя, — сказала мать, ставя ему миску со щами. — Сами вырастим.

«Не нож, а гирьку какую-нибудь на ремешке, — решил Костя. — За нож самому попадет, а с гирькой... на гирьку они тоже не очень кинутся».

— Други игрищ и забав, — еще сказал он. Он где-то услышал эти слова, они ему понравились: в его сознании все

косматые выстраивались под этой фразой, как под транспарантом, — в колонну не в колонну даже, а в кучу довольно нахальную и бессовестную.

«Нет, не гирьку, а — нож, — вернулся он к первому варианту. — Все страшней будет. На нож не полезут». Был у него такой складной охотничий нож, довольно внушительный и ловкий в руке — не сунутся. На том он и порешил и придвинул к себе тарелку со щами.

ЖИЛ ЧЕЛОВЕК...

Вот как бывает... Вчера видел человека, обедал с ним по соседству, потом курили в курилке... У него больное сердце, ему тоже не надо бы курить, но русский человек как-то странно воспринимает эти советы врачей насчет курева: слушает, соглашается, что — да, не надо бы... И спокойно курит. Мы про это курево много толкуем в курилке — иронизируем.

— Не пей, не кури, — насмешливо говорит какой-нибудь закоренелый язвенник, — а чего же тогда остается?

Тут чуть не хором все:

— По одной доске ходи — на цыпочках!

— Смоли да к стенке станови.

— А если я вот с таких вот лет втянулся в эту гадость?! Куда я теперь без этого?

Наговоримся так, накуримся всласть, и пойдут разговоры в сторону от курева, в жизнь вообще: разные случаи вспоминаются, разные смешные истории... А иногда и не смешные. Один был — сухонький, голубоглазый, все покашливал... А покашливал очень нехорошо: мелко, часто — вроде прокашляется, а в горле все посвистывает, все что-то там мешает ему, и никак он не может вздохнуть глубоко и вольно. Когда он так покашливал, на него с сочувствием поглядывали, но старались, чтобы он не заметил этого сочувствия — он не нуждался в нем. Один раз он отматерил какого-то в полосатой шелковой пижаме. Тот вылетел с сострадательным поучением:

— Вам бы не надо курить-то...

— А чего мне надо? — спросил тот, глядя серьезно на полосатого.

— Ну, как?.. Не знаю, чего надо, но курить...

— Не знаешь, тогда не вякай, — просто сказал больной человек с синими глазами. — А то много вас — с советами... — и он еще сказал полосатому несколько разных слов — выругался, но ругался беззлобно, не грязно — получилось больше, что он всю жизнь свою целиком отматерил — за все, и за то, что под конец пришлось еще сидеть и вот так «кафыркать» и терпеливо ждать. Но он же и понимал, что жизнь его, судьба, что ли, — это нечто отдельное от него, чем он управлять не может, поэтому злиться тут бессмысленно, и он не злился. Он рассказал, например:

— Пришел с войны, из госпиталя, тут — никого: мать померла в войну, так, брата убило, отец еще до войны помер. А домишко, какой был, сломали: какую-то площадку надо было оборудовать для обороны... под Москвой здесь... Так? А я на костылях — одна нога по земле волокется. Нанялся лед на реке рубить. Костыли так вот зажму под мышки, ногу эту неподвижную — назад, чтоб по ей топором не тяпнуть, упру костыли в ямки, наклонюсь — и долбаю, пока в глазах не потемнеет. А потом — сижа: костыли под зад, чтоб ко льду не примерзнуть — и тоже... А жил у сторожихи одной, у старушки. У ей у самой-то... с тамбур жилья, но уж... куда тут деваться. На полу спал, из двери — по полу — холод тянет. Маленько сосну с вечера, а часа в три просыпаюсь от холода, иду забор потихоньку тревожить: доски три оторву — и в камелек. А она, сторожиха-та — так: глянет выйдет и снова к себе. Один раз проснулся — ее нету. Я оделся и покостылял к забору... Только оторвал одну доску, слышу — бах! Аж щепки полетели от забора у меня над головой — дробью саданула... — рассказывая это, синеглазый все покашливал, и это делало рассказ его жутким. А тут он, как дошел до этого места, когда бабка шарахнула в него сослепу, тут он засмеялся — хотел, чтоб это выглядело забавно, и мы бы тоже посмеялись. Но — засмеялся и закашлялся, и так, покашливая и посмеиваясь, досказал:

— Я кричу: Глебовна, ить я это! Ну, услышала голос, узнала... Чуток бы пониже взяла, аккурат бы в голову угодила. Я, говорит, думала: лезет кто. А чего там брать! Эти... за-

воды демонтировали и свозили, и валили пока в кучу — железо...

— Ну да, у ней же инструкция!

— Конечно. Стрелять еще умела!..

— Она боевая была старуха, — продолжал синеглазый весело, довольный, что заинтересовал своим рассказом; он вовсе не жаловался. — Много мне порассказывала ночами, пока, бывало, у камелька-то сидим. А уж к весне мне общежитие дали — легче стало.

— Ну, и нога, наверно, стала подживать.

— Ногу я еще года полтора после этого... Главно, болеть не болит, а двигать ей не могу.

— Это многие тогда так, года по три с костылями ходили.

— Да...

Накануне он мне рассказал анекдот. Он любил слушать анекдоты, смеялся потихоньку, когда в курилке рассказывали, но сам, я не слышал, чтоб рассказывал всем. А тут мы ждали очередь к телефону, он меня притиснул в уголок и торопливо, неумело рассказал:

— Ворона достала сыр, так, села на ветку — и хочет уже его... это... клевать. Тут лиса: спой. А ворона ей: а ху-ху не хо-хо? Зажала сыр под крыло и говорит: теперь давай потолкуем. Тогда лиса...

Тут подошла его очередь звонить.

— Вам, — сказали ему.

Он скоренько сунул монетку в узкий ротик телефона-автомата и стал набирать номер. Он еще машинально улыбался, думая, наверно, о вороне, которая натянула нос хитрой лисе.

А потом я звонил... Я говорил, а краем глаза видел синеглазого: он ждал меня, чтобы досказать анекдот. Смотрел на меня и заранее опять улыбался своими невыразимо прекрасными, печальными глазами. Но тут его куда-то позвала сестра. Он ушел.

Этой же ночью он умер.

Я проснулся от торопливых шагов в коридоре, от тихих голосов многих людей... И почему-то сразу кольнуло в сердце: наверно, он. Выглянул из палаты в коридор — точно: стоит в коридоре такой телевизор, возле него люди в белых халатах, смотрят в телевизор, некоторые входят в палату,

выходят, опять смотрят в телевизор. А там, в синем, как кусочек неба, квадрате прыгает светлая точка... Прыгает и оставляет за собой тусклый следок, который тут же и гаснет. А точечка-светлячок все прыгает, прыгает... То высоко прыгнет, а то чуть вздрагивает, а то опять подскочит и следок за собой вытянет. Прыгала-прыгала эта точечка и остановилась. Люди вошли в палату, где лежал... теперь уж труп; телевизор выключили. Человека не стало. Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточиться на одной какой-то главной мысли, хотел — не понять, нет, понять я и раньше пытался, не мог — почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый, — чуть-чуть бы хоть высветлилась в разуме ли, в душе ли: что же это такое было — жил человек... Этот и вовсе трудно жил. Значит, нужно, что ли, чтобы мы жили? Или как? Допустим, нужно, чтобы мы жили, то тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар — вечно мучительно и бесплодно пытаться понять: «А зачем все?» Вон уж научились видеть, как сердце останавливается... А зачем все, зачем! И никуда с этим не докричишься, никто не услышит. Жить уж, не оглядываться, уходить и уходить вперед, сколько отмерено. Похоже, умирать-то — не страшно.

КАК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ КУРИНКОВ, ЮВЕЛИР, ПОЛУЧИЛ 15 СУТОК

Андрей Иванович — это такой попрыгунчик, резиновый человек, хороший ювелир, изобретатель... Правда, хороший ювелир и изобретатель, но он думает, что он единственный в своем роде ювелир и изобретатель, неповторимый, везде об этом трещит, но вечно ему чего-нибудь не хватает, чтобы сделать такое, чтобы все ахнули. То материала нет подходящего, то инструмент не тот. Чаще всего — материал не тот.

— Ты дай мне настоящий янтарь! — говорит он с вызовом и значительно. — Дай мне кусок настоящего янтаря — я тебе сделаю.

Может, он и сделает, если получит в руки «кусок настоящего янтаря», но он ужасно много говорит об этом, раздражает всех, и тогда кто-нибудь языкастый заявляет:

— Тебе, как тому танцору, — что-нибудь да мешает.

— Нет, ты дай мне кусок настоящего янтаря! — волнуется Андрей Иванович. И начинает всех разить знаниями; говорит он складно, и если бы не много, то, наверно, было бы даже интересно послушать его. Вся беда — много говорит. — Сидела мушка на веточке много-много миллионов лет назад, на нее капнула капля смолы, ее сшибло с веточки, дальше, на эту капельку упала другая... Ну, и так далее.

— Ты дай мне этот кусок, я уберу лишнее, сделаю тебе такую иголку к галстуку — все будут не на тебя смотреть, а на эту иголку с мушкой.

— У нас один карат бриллианта — это горошина со всеми накладными, со всеми налогами — тысяча рублей. Так? Но у нас — тридцать шесть характеристик бриллиантов, грубо говоря, тридцать шесть сортов. И вот ты дай мне...

Это он в пивной разглагольствует, и на это «ты дай мне» ему часто говорят: «На!»

Андрей Иванович очень не любил своего соседа по жилью, Трухалева Илью Георгиевича, закройщика ателье номер какого-то. Этот Илья Георгиевич откровенно называл Андрея Ивановича трепачом. Андрей Иванович на это выпячивал нижнюю челюсть, зло смотрел на закройщика, некоторое время молчал, потом начинал говорить:

— Чем отличается граненый бриллиант от бриллианта, который не побывал в руках мастера? Граненый играет. А тебя, когда делали, чуть-чуть только тронули — чтобы вес не потерять: ты дурак. Тяжелый, но дурак.

Опять, на беду свою, много, долго и одинаково — про бриллианты, гранения, игру... И дожидался, что Трухалев ему на все это кратко говорил:

— Трепач. Барахло, — и уходил.

И получалось, что это он говорил последние слова, слова тяжкие, обидные, а Андрей Иванович оставался со множеством точных, образных слов — не высказанных; он злился и на малейшие шумы, звуки в квартире Трухалева, сладострастно, с ожесточением садил черенком половой щетки в потолок (Трухалев жил над ним). Трухалев на это

стукнет пару раз, точно скажет: «трепач», «барахло» — и жизнь в его квартире идет так же, как и шла: ходят, постукивают, передвигают стулья.

За время, пока они жили так — друг над другом, — ювелир Куринков накопил на закройщика много зла и обиды. Тот отвечал тем же, кроме того, кажется, куда-то писал на ювелира, что он не дает соседям покоя: всем стучит в стены щеткой. Если им случалось вместе ехать в лифте или зимой выколачивать рядом ковры на снегу, они оскорбляли друг друга.

— Опять вас продернули, — начинал ювелир. — Сшили пиджак, а рукава — вот по этих пор. Не видал по телевизору?

— Мы такие специально для ювелиров шьем, чтобы бриллианты было видно. А нормальным людям мы шьем нормально.

— Но про ювелиров ни разу не было передачи, а про вас — то и дело.

— Делать-то нечего, вот и показывают. Если ты мне еще будешь стучать в пол, я спущусь и надену тебе мусорное ведро на голову. И буду тоже стучать по нему. Молотком.

— Попробуй. Я те алмазным резцом вырежу на лбу: «Дурак».

— От дурака слышу. Трепач. Барахло.

И закройщик уходил.

И вот как-то в воскресенье к ювелиру Куринкову заехал брат, военный. Брат ехал в отпуск на юг, по пути завернул на сутки к брату. Домашних Куринкова — жены и дочери-студентки — дома не было, братья взяли винца, посидели, повспоминали немного, потом брат сказал, что очень устал, и пошел соснуть. А ювелир остался один. Он задумался чего-то... Жизнь идет себе, неопределенно, с тоской думал он. Идет себе и идет. И в душе ювелира назревал какой-то тоже не вполне определенный протест, что жизнь — идет и идет. Тут, как на грех, над ним опять задвигали стульями, стали ходить... Ювелир вполне определенно обозлился опять на закройщика, вспомнил все его обидные слова... Взгляд его упал на военный мундир брата, мысль в голове вспыхнула и ясно высветила картину: вот он, военный, входит к закройщику... Дальше он даже додумывать не стал —

дальше как-то все было понятно. Почему-то он враз сообразил, что делать дальше.

Закройщик с женой собрались как раз ужинать, когда в дверь к ним резко, требовательно позвонили.

— Кто это? — удивился закройщик.

Жена пожала плечами:

— Телеграмма?..

— Ну, иди, — велел закройщик.

Хозяйка открыла дверь... В квартиру стремительно вошел ювелир Куринков в форме капитана.

— Именем уголовного кодекса, — сказал он. — Собирайтесь.

У закройщика и у его жены вытянулись лица... Они ошалели.

— А чего такое? — нерешительно спросил закройщик. — Как это?

— Ста-ать! — заорал ювелир.

Закройщик встал...

— А чего такое-то? — опять спросил он, во все глаза глядя на... на кого? Кто это? Что это?

Ювелир меж тем прошелся по комнате, бегло оглядел ее всю... Четко развернулся, подошел к закройщику, пронзительно и трезво глядя ему прямо в глаза.

— Мне надоели ваши шорохи, — сказал ювелир. — Что у вас за возня каждую ночь?

— Ты же ювелир, чего ты... — начал было закройщик.

— Молчать! — приказал ювелир. Закройщик потом рассказывал, что он потому так ошалел и растерялся, что ювелир очень все делал «натурально». — Для ВАС я был ювелир... поэтому терпел все ваши шорохи. И оскорбления — так надо было. Кстати, сколько вы на меня заявлений написали?

— Да я... это...

— Сколько?

— Два.

Ювелир посмеялся:

— Обои эти бумажки попали ко мне же — я сходил с ними в одно место. За каждое ваше заявление я получал благодарность — что хорошо притворяюсь. Ясно? Вы думали, с вами тут в бирюльки играют?

Ювелир стал опять раздражаться. Опять прошелся по комнате... Заглянул мимоходом в книжный шкаф.

— А чего я такое сделал? — вдруг осмелел закройщик. — Куда это собираться-то?

Ювелир остановился перед закройщиком, заложив руки за спину, качнулся несколько раз с носков на каблуки, с каблуков на носки, все это время в упор глядя на него, заговорил тихо, четко, значительно:

— Нам известно про всю вашу деятельность.

— Какую дея...

— Молчать! Сядьте! Сесть!

Закройщик сел.

— Нам все известно, даже чего вам неизвестно.

Ювелир тоже сел. Но тотчас встал и стал снова ходить по комнате — ему, как видно, особенно нравилось ходить в форме. Он ходил долго. Он думал.

— С арестом я, кажется, подожду, — сказал он. — Вы знаете армянина, на углу тут сидит... чистильщик. Здоровый такой.

— Знаю, — сказал закройщик.

— Каждое утро будете подходить к нему и спрашивать: «У вас продается славянский шкаф из карельской березы?» Он будет ругаться и кричать — не обращайте внимания. Даже если полезет драться — терпите. Нам его надо расколоть.

— Я с такими делами не связываюсь, — решительно заявил закройщик. — Я не умею.

— Что значит «не умею»? Научим! Никто сперва не умеет — научим. Я терпел все ваши выходки — это, думаете, легко? — расчет у ювелира, надо признать, был жестокий: вспыльчивый армянин показал бы такой «славянский шкаф», что закройщик всю жизнь потом помнил бы эту таинственную игру в разведчиков. — Спрашивать надо каждый день, но об этом ни-ко-му. Ясно?

Пока ювелир инструктировал закройщика, тому вдруг бросилось в глаза вот что: китель на ювелире явно не с его плеча. Профессиональный глаз портного не подвел.

— А попрошу документы! — сказал он. И встал.

— Молчать! — заорал ювелир и стукнул ладонью об стол.

— Нина, закрой дверь на ключ! — крикнул закройщик.

Ювелир хотел уйти со словами:

— Хорошо, мы потолкуем в другом месте, — и пошел было, но большой закройщик прыгнул на него, легко подмял под себя и заорал жене:

— Звони в милицию!

Маленький ювелир отчаянно боролся с закройщиком, но все напрасно.

...Ночь Андрей Иванович провел в вытрезвителе. Утром еще кое-как крепился, а когда их, человек двенадцать, повезли в закрытой машине в суд, сильно затосковал. Другие — хоть бы что, а он молчал. Особенно он боялся, что нарисуют его на доске «Не проходите мимо», напишут фамилию, имя... А у него дочь студентка. Хорошо ей будет смотреть на такого папашу?

Судили три женщины...

Кто был тут не первый раз, выходили из комнаты, где вершился суд, изумленные.

На вопрос: «Сколько вломили?» — только махали рукой:

— Под завязку.

— Что-то они сегодня... не в настроении, что ли, — сидели, толковали.

— Они в понедельник всегда так, — сказал один мрачный.

— Куринков! — вызвали.

— Эгей? — подскочил ювелир. — Иду.

Он вошел в большую комнату и, слегка поклонившись, вежливо сказал:

— Здравствуйте.

— Садитесь, — велели ему.

Куринков скромненько присел на краешек скамьи с высокой спинкой, устремил взор на судей — весь внимание.

— Вчера, восемнадцатого июня, вы, будучи в нетрезвом состоянии, надели не принадлежащую вам военную форму...

— Пошутил! — воскликнул ювелир. И хотел даже посмеяться, но у него вышло коротко и ненатурально. — Я вообще шутник большой. Бывает, соберемся у нас в мастерской — чего я только ни выделываю! Я в ювелирной мастерской работаю. Я вот вижу у вас колечко... — ювелир хотел встать и поближе посмотреть кольцо на руке одной из женщин.

— Сидеть, — сказал ему старшина.

— Господи, чего тут такого? — негромко сказал ювелир. — Просто смотрю: неважно сделано...

— Вы признаете факт шантажа и запугивания с вашей стороны?

— Только не шантаж! — вскочил ювелир и даже протянул руку к судье. — Только не... это... не надо разных слов. Шутка — да, юмореска...

— Вы угрожали Трухалеву Илье Георгиевичу арестом?

— Ну, шутка, шутка!.. — ювелир прижал руку к сердцу: — Ну, Трухалев шуток не понимает, но вы-то!..

— Сядьте, — опять сказал ему старшина...

Ювелир сел... И вдруг ему стало противно, что он трусит, юлит и суетится. Он как-то сразу устал и успокоился.

— Угрожал, — сказал он спокойно.

— Вы сознаете, что это... неумно по крайней мере? Что за мысль вам пришла — пойти арестовывать? Почему?

— Не знаю, — сказал ювелир. — Мне не нравится этот Трухалев. Вообще, чего тут много говорить? Давайте мне пятнадцать суток... и разойдемся, как в море корабли, — ювелир смело посмотрел на старшину и даже подмигнул ему. Что на него такое нашло, непонятно. — Чего тут долго-то?

Женщина-судья серьезно смотрела на него.

— Только не надо, — сказал ювелир.

— Что «не надо»?

— Не надо меня пугать строгим взором. Прошу дать мне пятнадцать суток. Я все понимаю, всю карикуляцию.

— Почему вы решили, что именно пятнадцать?

— Вы же всем сегодня по пятнадцать даете.

Женщины тут же, не сходя с места, негромко посовещались, и судья объявила:

— Пятнадцать суток.

— О'кей! — сказал ювелир. И вышел в коридор к другим.

— Сколько вломили? — спросили.

— Пятнадцать, — сказал ювелир.

В эту минуту ему было все равно, даже хорошо, что пятнадцать, а то перед другими было бы неудобно. Он сел в пестрый рядок тех, кто уже получил свои «сутки».

— В понедельник к ним лучше не попадать, — опять сказал мрачный человек. Он тоже получил пятнадцать суток.

НОЧЬЮ В БОЙЛЕРНОЙ

Сам Иван Максимович несколько нескромно называет себя — сантехник, а вообще он дежурит в бойлерной. Через двое суток на третьи выпадает дежурить в ночь. И как раз ночные-то смены он очень любит.

Домина, под которым бойлерная, огромный, сколько там людей разных!.. И вот — ночь: магазины закрыты, а кто-то, допустим, поругался с женой, кто-то затосковал так, что хоть криком кричи... Да мало ли! Куда человеку деваться с растревоженной душой? Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы сломя голову бежим в эти, в круглосуточные-то, где их рвут. А с душой куда? Где тебя послушают, посочувствуют? К дяде Ване, в бойлерную. Там у него уютно, тепло... Трубы, много труб, в трубах тихонько поет и потрескивает, как в печке. Огонек тусклый под потолком... Возле стены, в нише, удобный лежак, старенький тулуп раскинут, подушка.

В эту ночь Максимыч и не пробовал ложиться. Он сидел у самодельного крашеного столика и задумчиво постукивал пальцами в столешницу. Лицо у него тоже задумчивое... Лицо у него — доброе, смышленое, немного усталое, но бесконечно доброе, в глазах, в морщинках вокруг глаз — столько терпения, покоя, столько мудрости житейской, что — куда же и спускаться с больной-то душой? К нему и спускались.

Первым пришел крупный мужчина Пилипенко. Он был седовлас, сыт, колыхал запахом одеколона и дорогих сигарет. Но был он мрачен, встревожен... Ему было тяжело, грустно.

— Здорово, Максимыч, — сказал Пилипенко и сел на свободный хилый стул.

— Здорово, Николай Семеныч, — откликнулся Максимыч.

Некоторое время молчали.

— Душа? — спросил Максимыч.

Пилипенко очнулся от тяжких дум, вздохнул.

— Тут, брат... и душа, и тело, все вместе, — сказал он. — Есть что-нибудь?

— А как же, — Максимыч встал и пошел в угол куда-то. — Коньячку? — спросил оттуда. — Или водки?

— Давай коньячку, — сказал Пилипенко. И огляделся кругом. — Хорошо тут у тебя... В напарники возьмешь?

Максимыч тихо посмеялся.

— Чего смеешься?

— Да насчет напарника-то... Тут, Семеныч, оклад не тот.

— Нет больше окладов, — жестко сказал Пилипенко. — Конец окладам.

Максимыч от изумления даже остановился с коньяком в руках.

— Неужели разжаловали?

— Поперли, а не разжаловали.

— Как же это?

— Наливай, — махнул Пилипенко; ему было худо, так худо, что и говорить не хотелось.

Максимыч стал молча разливать коньяк по рюмкам; он не лез с расспросами, когда человеку худо. Захочет — сам скажет.

— Уволили, — сказал Пилипенко. — Дадут, конечно, какую-нибудь должностишку, но... Нет, ей-богу, мне у тебя нравится. Сколько ты получаешь? Хотя... чушь все это. Давай.

Они выпили по целой рюмке и заели лимончиком, который тоже случился у «сантехника» Максимыча.

— Одного не понимаю! — горестно воскликнул Пилипенко. — Не справляюсь — так и скажи! Скажи! Зачем же... предлог какой-то искать: скажи прямо, я пойму. Нет!.. — Пилипенко крепко стукнул большим кулаком себя по колену. — Надо обязательно предлог найти, — он встал было, но тут же сел. Велел: — Налей еще по одной, — когда он сел с маху, хиленький стул опасно треснул под ним; нет, этому человеку можно, конечно, прямо в глаза сказать: «Ты не справился» — в обморок не упадет. Странно, что такой огромный мужик — «не справился».

— Какой же они предлог нашли? — спросил Максимыч.

— Самый что ни на есть дурацкий: злоупотребляете служебной машиной.

— Жена куда-нибудь ездила? По базарам небось?

— Да нет, сам: вызвал в воскресенье и просто так проехал километров полтораста по северной дороге — вздохнуть пару раз свежим воздухом. Вздохнул!..

— А шофер наябедничал, — догадался умный Максимыч.

— Ну да... расписал. Писака. А если мне сосредоточиться надо? Если мне в движении лучше думается?..

— Да сел бы вон на любую электричку, — простодушно сказал Максимыч, — и сосредоточивайся сколько влезет. Вы вот, начальство... тоже какие-то дурные бываете: нет чтобы скромностью своей в нос людям тыкать: вот вам, глядите: большой человек, а со всеми маленькими здороваюсь. А где так и остановись, спроси: «Как дела?» Тебе эти его дела... сто лет снились, а ты все равно спроси, — Максимычу хотелось как-нибудь помочь большому Пилипенко, но он и досадовал на него, что тот не смог удержаться на добром месте — слетел. — Мало того, ты еще головой вот так вот покивай: так, так, мол. Но вы ведь... До вас ведь не допрыгнешь! — вовсе с досадой закончил Максимыч. И налил еще по полной рюмке. — Давай. Не горюй особо-то...

Выпили.

— Да некогда же! — тоже с досадой сказал Пилипенко. — Головой-то кивать — некогда.

— Зато теперь будет время: попрут вот на пенсию...

— Ну, это еще бабка надвое сказала! — Пилипенко твердо посмотрел прямо перед собой. — Это еще... уравнение с двумя неизвестными.

— Все равно не умеете! — решительно сказал Максимыч. Коньячок зашумел в голове, и ему тоже захотелось быть твердым и крепким. — Не умеете начальствовать! Вот сделай меня самой маленькой какой-нибудь шишкой — и ты бы поглядел, какой бы я стал вежливый... «Ну, как, товарищи? — спросил он кого-то иным голосом, вежливым. — Как настроение? Смотрите мне — не вешать нос!» Я бы такие шуточки отпускал!.. Чего же не пошутить с людьми, если тебе лучше ихнева живется. А зазевался какой-нибудь там Пилипенко Николай Семеныч — плохо работает, сукин сын, курит больше, я его вот так вот пальцем — к себе: «Пилипе-е-нко, на минуточку. Пилипенко, как ты думаешь: подойдем мы с такими работниками к коммунизму или нет? М-м? Ты, наверное, думаешь, что — подойдем. А вот я, Пилипенко, думаю, что мы с такими работниками застрянем где-нибудь по дороге. Ну-ка, давай, голубчик, давай, давай!.. Бросай-ка курить — да за дело». Вот как надо. Спокойно, с улыбочкой... Вишь, я и голоса не повысил, и работу направил. А захотел я подышать свежим воздухом, я набрал в че-

модан коньячку, икорки, балычков, сел на электричку, отъехал те же полтораста верст, слез, углубился подальше в лесок — и дыши на здоровье.

— Скучно это, Максимыч. Вообще, не то ты говоришь.

— С коньячком не будет скучно. Зато ни одна собака пальцем не покажет.

— Не то, Максимыч, не то. Еще-то есть там? Не могу никак душу унять — болит!

— Заболит... — Максимыч налил еще по рюмке. — Как же ей не болеть.

— Не то, Максимыч, дорогой, не то. Ты рассуждаешь логично, но... в масштабах прораба, не больше.

— А ты в каких масштабах? Держи.

— Я? Я малость пошире.

— Пошире... А сидим вот тут вместе — в одинаковых масштабах. Поехали.

Когда выпили, Пилипенко вдруг встал и широко заходил по бойлерной.

— Ну не-ет, — сказал он ожесточенно, громко. — Так легко вам Николая Пилипенко не свалить. Это вы зря... Пилипенко еще постоит!

Максимыч в это время закурил дорогую сигарету из пачки Пилипенки, откинулся на стуле, заложил ногу на ногу и стал следить за взволнованным гостем. Ему хотелось какнибудь успокоить его, но, вообще-то, ему стало очень хорошо.

— Украинцы — народ крепкий, — сказал он, желая сделать приятное Пилипенке. — Но ездить за сто пятьдесят километров воздухом дышать — это глупость несусветная. Ты больше бензину наглотался за триста-то верст, чем подышал там...

— Ничего-о! — все ходил и все больше возбуждался Пилипенко. — Вы еще вспомните Пилипенку, не раз вспомните. Вы еще придете к Пилипенко!.. Но Пилипенко больше к вам не пойдет.

— Нет, если позовут — чего не пойти. Только не надо больше за сто пятьдесят километров дышать ездить, а так... чего? Ты мужик с головой.

— Не пойду! — уперся Пилипенко. — Все. Хватит. У меня тоже всякого этого достаточно — и самолюбия, и...

— Да нет, Семеныч, зря ты...

— Не пой-ду! Вы плохо знаете Пилипенку. Вы думаете, это все — так, шуточки...

— Какие шуточки! При чем тут шуточки — надо идти.

— Не пойду!

— Что значит «не пойду»! — рассердился вдруг Максимыч. — Что тебя, в детсадик, что ли, уговаривают идти? Не пойдет он... Заставим!

Пилипенко остановился перед «сантехником» Максимычем, который сидел и спокойно покуривал «Кент».

— Гляди-ка, — засмеялся Пилипенко, — мы прямо отрепетировали с тобой сцену!.. Жалко, что ты не министр.

— Жалко, — согласился Максимыч. — Ты бы у меня первым делом заплатил за бензин, который спалил в воскресенье, во-вторых, я бы тебе такого нагоняя дал, что ты бы у меня за троих работал. Увольнять я бы тебя не стал. Тебя правда уволили-то?

Пилипенко не успел ответить, как в бойлерную влетел некто в шляпе, в легоньком пальтишке, с чемоданом. Бледный.

— Максимыч! Ты сегодня? Слава богу, — говорил этот бледный с веселой злой дрожью в голосе. Увидев Пилипенко, он и ему тоже кивнул. — Здравствуйте, Максимыч!..

— Давай, давай, — сказал Максимыч. И налил бледному человеку в большой фужер. И налил также в две рюмки — себе и Пилипенке.

— Подождите, — сказал бледный, — у меня, кажется, шоколад есть, — он нырнул в чемодан и извлек плитку шоколада. — Есть! Слава богу.

Пилипенко с некоторой иронией наблюдал за суетливым человеком.

— Катастрофа катастрофой, а шоколад не забыл? — сказал он.

Бледный посмотрел на него... Ничего не сказал. Подошел к столу, положил шоколад и взял свой фужер.

— Давайте, — сказал Максимыч.

Выпили... Помолчали. К шоколаду никто не притронулся.

— Ты что, обиделся, что ли? — спросил Пилипенко.

— Максимыч, — обратился бледный к «сантехнику», — пускай это постоит у тебя, — он имел в виду чемодан. — А я пока пройдусь по набережной... Потом приду.

— Валяй, пройдись, — сказал Максимыч.

Бледный ушел, ни разу больше не поглядев на Пилипенку.

— Что он, обиделся, что ли? — опять спросил Пилипенко.

— Обиделся. Нехорошо ты с насмешкой-то... Он вообще обиженный человек.

— А что такое?

— Так...

— Что «так»?

— Ну так... Хороших людей часто обижают.

— Что за ерунда! Кто их обижает?

— Люди. Ты вот — взял обидел.

— Да ну уж!.. Пошутить нельзя, что ли? А какие люди-то?

— Есть.

— Мне чего-то его жалко стало. Я, может, зря с этим шоколадом, конечно... Но я же не хотел обидеть: тоже, смотрю, переживает человек... Чего он такой? Какие люди-то?

— Всякие... Бессовестные, в основном. Приходют и обижают. Не знаешь, как можно мужика обидеть?

— Рога, что ли, баба ставит?

— Рога... или как там, а только флиртует, зараза, с кем попало.

— Ах, это его жена! — такая... патлатая. Да?

— Да.

— Так что же он не уйдет от нее?

— Да вот, вишь, не может уйти. Не все же такие... Пилипенки. Ты не пропадешь, Семеныч, не горюй.

— Кто тебе сказал, что я пропаду?

— Не пропадешь, нет. А этот — все: окочурился.

— А чего не уходит-то?

— Не может. Уходит — раз в неделю вот так вот: счас улочки две даст, придет и здесь заночует. А утром — опять к ней. Любит.

— Тьфу! — зло сказал Пилипенко. — Кого там любить-то? Патлы крашеные?

— Это я не знаю. Мне его жалко. Так жалко бывает... — Максимыч затушил «Кент» в блюдечке, помолчал, покачал головой грустно. — А что сделаешь?

— Да послать ее надо подальше!.. — стоял на своем Пилипенко.

— Да иди ты! — рассердился Максимыч. — Тебе бы все — посылать!.. Тебя вот послали — тебе как? Послать легче всего. Да и то вон... не может. Ну — послал он, ну и что? Легко ему станет?

— Ну, это уж тоже не жизнь.

— Жизнь. Это и есть жизнь. Думаешь... — вдруг Максимыч прислушался... И встал. И сказал: — Вот еще один такой же шлепает.

— Кто?

— Погоди, — Максимыч еще для верности послушал. — Да. С тросточкой.

— Кто такой?

— Пан профессор, это я его так прозвал. Тоже... с душой идет. Счас, если выпьет, с одной рюмки окосеет.

— Правда, что ли, профессор? — не поверил Пилипенко.

— Натуральный профессор, из седьмого подъезда. Мы с ним частенько беседуем. Он... этот, как там у них, ну, по русскому языку профессор...

— Филолог?

— Труды пишет. А сам, как ребенок... Ты только не надо, Семеныч... не ломи сдуру: тут уж вовсе... горе одно. А человек золотой.

Вошел «пан профессор» с тросточкой. Он — седенький, старенький, не столько даже седенький, сколько старенький.

— Не могу больше, Максимыч!.. — сразу заговорил профессор жалобно. Увидев Пилипенку, ничуть не смутился, поздоровался и продолжал: — Не могу больше, дорогой мой. Пришел к тебе опять — больше некуда, — он сел на лежак, склонил голову. — Вот штука — некуда.

Максимыч пошел в угол, достал еще бутылку коньяка, раскупорил на ходу, налил в три рюмки. Одну поднес профессору.

— На-ка, все маленько отмякнет.

Профессор машинально принял рюмку, посмотрел на нее.

— Выпей, выпей, — убежденно сказал Максимыч. — Легче станет. Вот шоколадом закусишь... Допекла?

— Допекла, — сказал профессор, принимая из рук Максимыча кусочек шоколада. — Да ведь сколько энергии! Сколько энергии!..

— Ну, давайте.

Профессор поперхнулся, но выпил всю рюмку и заел шоколадом. И вытер платочком глаза и рот.

— Днем ей позвонили из универмага: есть норковая шуба — три с половиной тысячи, — стал рассказывать профессор обоим, Максимычу и Пилипенке, — она звонит мне в университет...

— Ешь шоколад-то... и рассказывай.

— Спасибо.

— Ну, звонит?

— Звонит в университет... У-у меня что-то в жар кинуло. Или здесь вообще жарко?

Максимыч без ехидства подмигнул Пилипенке и показал глазами на профессора: уже запьянел.

— Здесь жарковато, конечно. Ты не волнуйся, Аркадий Михалыч, спокойней. Ну, звонит эта телка в универмаг?..

— В университет. «Достань полторы тысячи». Две тысячи у нее есть...

— Так, это уже легче, — с легким накалом сказал Максимыч. — Хм!

— Но где я достану полторы тысячи? — удивленно и беспомощно спросил профессор. — «У кого-нибудь из профессоров». У ко-го?

— Елкина мать-то! — взорвался терпеливый Максимыч. — «Достань полторы тыщи!» Это я могу сказать: «Достань мне... не знаю... жеребца племенного!»

— Зачем? — не понял профессор.

Пилипенко засмеялся.

— Да я так, к слову, — неохотно пояснил Максимыч. — Ну, ну?

— Ни у кого же из профессоров нет при себе таких денег, не может быть... И потом: идет ученый совет — что мне, со шляпой по кругу?..

Максимыч недобро посмеялся.

— Кричит в телефон: «Вообще она стоит четыре с половиной тысячи, это мне по знакомству, потому что шубу привезли из Дома моделей. Достань полторы тысячи!» Ну что делать? Что делать? Боялся домой ехать... Конечно — истерика. О господи! — профессор обреченно уронил голову на грудь. — Что делать?..

— Ты, Михалыч, ты прости меня, но это тебе наказание, — сказал Максимыч. — На кой тебе, пожилому человеку, надо было жениться на ней? На тридцать лет моложе!.. Ну, умная ты голова, — это нормально?

— Не знаю... Нет, ненормально. Наказание, да, наказание. Я боялся одиночества...

— Мало тебе старух? — все не унимался в своем разговоре Максимыч. Но тут уж вмешался Пилипенко:

— Ну, это ты тоже — со старухами-то... Для чего она ему?

— Обед сготовит, подметет...

— «Подметет». Ерунду говоришь какую-то.

— А эта для чего ему? — не сдавался Максимыч.

— Но что теперь делать? Что делать? — в отчаянии повторял профессор. Вытер платком слезы. — Вся жизнь... труд всей жизни — самому смешны и нелепы: куда важней — норковая шубка. По крохам, по зернышкам собирал знания, радовался, что открываю людям чистые целебные родники родной речи... И все, все поглотила норковая шубка. Любую рукопись отдам за норковую шубку! Но ведь никто же так скоро не заплатит. А завтра ее купит какой-нибудь спекулянт. Слушайте, вы, — обратился профессор к Пилипенке, — вы какой-то, кажется, начальник, за вами приезжает черная машина...

— Приезжала, — поправил Максимыч.

— Погоди, — строго остановил его Пилипенко. — Ну, так? Что вы хотели сказать?

— Я спрашиваю вас: почему у нас существует спекуляция?

— А почему у нас, — сразу без подготовки заговорил Пилипенко, — существуют университеты? Почему у нас существуют метро, театры, детсадики бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание?..

— Он про спекулянтов спрашивает! — удивился Максимыч. — Ты что?

— А я спрашиваю про университеты. Почему — одно мы видим, так сказать, крупным планом, а все другое... всего другого — как бы даже и нету.

— Да кто же говорит, что нету! Есть... Все есть. Но мне нужна норковая шубка. Дайте мне в долг полторы тысячи, я через месяц верну — у меня книга выходит.

— Если бы у меня даже были такие деньги, я бы их вам не дал, — жестоко сказал Пилипенко.

— Почему? — удивился профессор.

— Ваша жена прекрасно одета, я видел. Какого ей черта еще нужно?

— Она хочет норковую шубку...

— А больше она ничего не хочет? — взорвался Максимыч. — Дрын хороший она не хочет? По этой... по...

— Погоди, — остановил Пилипенко «сантехника». Пилипенко успокоился и даже отрезвел. — Профессор, что вы сказали: «Любую рукопись отдам за норковую шубу»?

— Любую! — вскричал пьяненький профессор в величайшем горе. — Самую древнюю рукопись!.. «Слово о полку Игореве», если бы имел, отдал бы, только бы не эта истерика, не этот визг. Все бы отдал! Только — наличными: завтра, до одиннадцати часов. Полбиблиотеки отдам — у меня уникальная библиотека. Хотите?

— Профессор, — с укоризной сказал Пилипенко.

— Душу запродам черту!.. — у профессора у самого, кажется, начиналась истерика. — Только бы не этот визг. О, господи!..

— Стоп! — сказал Максимыч. — Вы тут, конечно, все умные, а я — дурак, я не учился двадцать семь лет в...

— Кто тебе говорит, что ты...

— Ти-ха! — рявкнул добрый Максимыч. — Я лапоть...

— Я сам лапоть! — воскликнул профессор.

— Что вы, сдурели, что ли? — спросил Пилипенко. — В каком смысле — лапоть? В смысле происхождения, что ли? Тогда я тоже лапоть.

— Ти-ха! — вовсю разошелся Максимыч. — Вы — хромовые сапоги, а я — лапоть. Но я умею останавливать истерики. Я специалист по истерикам...

— Иди останови ее! — взмолился профессор. — Как ты это сделаешь? Она слышать ничего...

— Остановлю за две минуты.

— Как? — спросил и Пилипенко.

— Если бы ее кто-нибудь бы вразумил, — простонал профессор. — О-о, если бы кто-нибудь...

— Напиши мне некоторые культурные слова, — сказал Максимыч профессору, — я с их начну, чтобы она сразу дверь не закрыла. Как ее зовут? Надежда... как-то...

— Надежда Сергеевна.

— Семеныч, пиши на листе крупными буквами, — велел Максимыч Пилипенке. — А ты говори.

— Надежда Сергеевна, — стал диктовать профессор, а Пилипенко вырвал из блокнота лист и начал писать. — Надежда Сергеевна, — опять взмолился профессор, — заклинаю тебя небом...

— Ну, ерунда какая-то, — перестал писать Пилипенко. — При чем тут небо?

— Пиши, пиши, — сказал Максимыч. — Чем глупей, тем лучше.

— Хорошо, я буду проще, — согласился профессор. — А то действительно... демонизм какой-то. Надежда Сергеевна, ну неужели какая-то норковая шуба...

— Вшивая норковая шуба, — подсказал Максимыч.

Пилипенко только рукой на него махнул — чтоб помолчал.

— Неужели какая-то... норковая шуба, — продолжал профессор, — способна заменить человеку...

— Я предлагаю так, — перебил Пилипенко. — Надежда Сергеевна! Мы пока не можем всех одеть в норковые шубы, но неужели вы не видите других достижений? Неужели вы...

— Плевать она хотела на всех! — раздраженно сказал профессор. — Ей, ей нужна норковая шуба. Что ей все? Всем она не нужна... Мне она не нужна.

— И мне не нужна — у меня вон тулуп есть, — сказал Максимыч.

Пилипенко посмотрел на них.

— Вы что, намекаете, что мне, что ли, она нужна? Мне она тоже не нужна.

С грехом пополам составили они «бумагу», и Максимыч пошел с ней к Надежде Сергеевне. Пошел... и не вернулся.

...В суде Максимыч досказал эту историю так:

— Мы составили бумагу... Там были хорошие слова. И я пошел... Я честно прочитал ей через дверь, что там было написано...

— Она не открыла вам?

— Нет, я через дверь читал.

— Ну, так?

— Она вызвала милиционера... Я продолжаю говорить — думаю, она слушает, — а милиционер уже сзади стоит.

— Почему же она вызвала милиционера? Вы же говорите, там были хорошие слова.

— Я от себя стал добавлять, — с неохотой пояснил «сантехник» Максимыч. — Мне жалко этого старичка: она его загодя в гроб загонит со своими шубками. Ну, добавил малость от себя...

— Оскорблять стали?

— Ну... как? Ну, говорил, что... Наверно, оскорблял.

— Вот гражданка Сахарова пишет в своем заявлении, что вы пригрозили ей, что если вы увидите ее в норковой шубе, то снимете с нее эту шубу, а ей взамен отдадите свой тулуп. Вы говорили так?

— Да куда мне ее? — попытался было уйти от ответа Максимыч. — Зачем?

— Но вы говорили так или нет?

— Говорил.

— Это же угроза.

— Ну... как?.. Угроза.

Максимыч получил десять суток.

ПРИВЕТ СИВОМУ!

Эта история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился.

Была девушка... женщина, которая медленно, ласково называла его — Мишель. Очкарика слегка коробило, что он Мишель, он был русский умный человек, поэтому вся эта... весь этот звякающий чужой набор — «Мишель», «Базиль», «Андж» — все это его смущало, стыдно было, но он решил, что он потом, позже, подправит свою подругу, она станет проще. Пока он терпел и «Мишеля», и многое другое. Ему было хорошо с подругой, легко. Ее звали Катя, но тоже черт возьми — Кэт. Мишель познакомился с Кэт у одних мало-

знакомых людей. Что-то такое там отмечалось, день рождения, что ли, была Кэт. Мишель чуть хватил лишнего, осмелел, как-то само собой получилось, что он проводил Кэт домой, вошел с ней вместе, и они весело хихикали и болтали до утра в ее маленькой милой квартирке. Мишеля приятно удивило, что она умная женщина, остроумная, смелая... Хотя опять же — эта нарочно замедленная речь, вялость, чрезмерная томность... Не то что это очень уж глупо, но зачем? Кандидат, грешным делом, подумал, что Кэт хочет ему понравиться, и даже в душе погордился собой. Хочет казаться очень современной, интересной... Дурочка, думал Мишель, шагая утром домой, в этом ли современность! Кандидат нес в груди крепкое чувство уверенности и свободы, редкое и дорогое чувство. Жизнь его обрела вдруг важный новый смысл. «Я постепенно открою ей простую и вечную истину: интересно то, что естественно. Чего бы это ни стоило — открою!» — думал кандидат.

Дальше — больше: Мишель все ходил и ходил к Кэт, изредка начинал говорить, что не вся же литература — «Аэропорт»! Кэт тихо, медленно смеялась, они ласкались... Мишель погружался в некий зыбкий, медленный, беззаботный мир, и его уже меньше тревожило, что все время — музыка и музыка, беспрерывно, одинаково; что свет — где-то под ногами, что по-прежнему вялые жесты Кэт, медленные слова... Он их не слушал. Он решил, что, пожалуй, стоит маленько расслабиться. Все потом войдет в свои берега. Есть в природе весна, есть разливы... Мы потом славно все наладим: она неглупа, она поймет, что не вся литература — «Аэропорт», да даже дело не в том: пусть «Аэропорт», но пусть рядом будут реальные измерения вещей: например, прожит день, оглянулся — что-то сделано, такой сокровенный праздник души, не знать хоть иногда праздника — величайшая бедность. Конечно, конечно, думал Мишель, переливая в руках мягкие струи душистых волос Кэт, конечно, она знает в совершенстве искусство нежности, ласки, но мы прибавим к этому нечто трезвое, деловое. Мы обретем!

— Катя, — говорит Мишель, — что, если мы... у меня скоро отпуск, махнем-ка мы в Сибирь. На Алтай. Возьмем рюкзаки — и пешком. Там очень развита народная медицина, я бы хотел подсобрать материал...

— Найн, — нарочно сердила его Кэт чужими словами и смеялась. — Но-о, Мишель.

А смеялась она обворожительно, медленно, тихо, обещающе, зазывно... ну, черт знает как двусмысленно. Мишель бросался ее целовать, а Кэт слабо отбивалась и говорила:

— Ну, хватит, Мишель, хватит...

«А здоровый я мужчина!» — думал про себя Мишель. Ему было хорошо.

Так продолжалось с месяц.

И как-то Мишель пришел к ней опять вечером. Пришел... и оторопел: на диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый, даже какой-то светлый от сытости.

— Здравствуйте, — сказал Мишель. Он постарался сказать спокойно, но сердце у него заболело. А дальше он и вовсе ошалел: Кэт была в халатике, он сразу этого не заметил. Но ведь это при нем она ходила в халатике, почему же еще при ком-то? Что это?

Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного опрятного кандидата.

— Знакомьтесь, — спокойно, медленно сказала Кэт, — Серж, я тебе говорила...

Серж кивнул.

Мишель продолжал нелепо стоять: он не знал, как ему быть. Потом он сел.

В комнате было накурено, но не душно, а как-то сладко-приторно: звучала тихая музыка. Кандидат чувствовал себя очень скверно... Он встал и подошел к Сержу.

— Михаил Александрович, — представился он. И протянул руку. «Может, это ее родственник?» — подумал он.

Серж снисходительно подал свою руку. И кивнул снисходительно... Кандидату вовсе стало нехорошо: какой родственник! Родственники не смотрят так насмешливо, так снисходительно, это сидел наглый соперник. Кандидат опять сел.

— Кофе? — как ни в чем не бывало спросила Кэт; она была мила и спокойна. — Коньяк?

— Что вы предпочитаете? — тоже спокойно, медленно спросил бугай в тропической рубашке; как-то умели они так говорить — вяло, медленно у них получалось.

«Как в лучших домах Лондóна», — пришло на ум кандидату, он то и дело где-нибудь слышал эту до омерзения глупую фразу, а теперь сам почему-то вспомнил. Он обозлился на себя за это. И за то еще обозлился, что растерялся. И за то еще, что не может никак обрести верный тон в этой ситуации. В таком идиотском положении он еще не бывал.

— Коньяк, пожалуй, — неожиданно тоже медленно сказал кандидат, но в его медленности явно зазвучала ирония; кандидат воспрянул духом: кажется, найден верный тон, единственно возможный. — А вы?

— Да, пожалуй, — медленно сказал бугай, не услышав чужой иронии. Кэт услышала иронию и внимательно посмотрела на Мишеля... непонятно усмехнулась.

— Серж, в холодильнике, — сказала она.

Серж встал и медленно пошел на кухню.

— В чем дело? — спросил кандидат, когда Серж вышел.

Сердце его так забилось, так горько и обидно стало, что голос его дрогнул, ирония исчезла.

— Что? — Кэт стряхнула пепел с сигареты «Кент» в пепельницу. — О чем ты?

— Кто это?

— Знакомый...

— Как знакомый?

— Близко.

— Но... Не понимаю! — загорячился кандидат. — Что значит «близко»?

Кэт медленно засмеялась... В эту минуту кандидату захотелось подойти и влепить ей пощечину. Вошел Серж с коньяком и еще с какой-то бутылкой.

— Я нашел там виски, — сказал он. — Я, пожалуй, займусь виски. У тебя есть содовая?

— Там же, внизу.

Серж поставил бутылки и опять медленно отбыл на кухню.

— В чем дело? — совсем зло спросил кандидат. — Кто это?

— Мой старый знакомый, я же сказала. Друг, если угодно. А что?

— Не понимаю... — кандидат опять потерялся, и было очень больно. — У нас, кажется, были не те отношения...

— Тебе было плохо со мной?

— Но я считал, что... Не понимаю! Ничего не понимаю!

— Ты считал, что ты единственный и неповторимый?

— Значит, между нами все? — очень глупо спросил кандидат. И сам опять обозлился на свою глупость.

— Почему? — спросила Кэт. — Ты можешь приходить...

— По графику, что ли?

— Не надо хамить, — устало и медленно сказала Кэт.

«Не уйду! — решил кандидат, — Что будет, то и будь. Я вам покажу... Сан-Франциско!»

Вошел Серж с содовой. У него были покатые мощные плечи и обширная грудь.

— Вам коньяк или виски? — спросил он вежливо и снисходительно; он чувствовал себя в этой квартирке вполне хозяином.

«Чего же он-то не обижается, что еще вчера хозяином тут был я? — изумлялся кандидат. — Это ж надо так войти в роль... сверхсовременных людей. Или это уж скотство какое-то».

— Мне бы водки, — сказал кандидат; он с отчаяния пошел на рискованный шаг: решил выпить хорошенько и, может быть, сказать этим «джентльменам» всю правду о них. Но он мало пил, совсем почти не пил, и скоро пьянел. Однако нарочно потребовал водки — в этом был некий вызов, и это его устраивало. — Есть в этом доме водка?

— Есть? — спросил Серж хозяйку. При этом не скрыл снисходительной усмешки.

— Нет, — кратко сказала Кэт.

— Ну, тогда виски, — сказал кандидат. — С содовой, — он тоже пристроился играть «джентльмена», и Кэт, он видел, поняла это, а Серж не понимал пока, думал, что кандидат пыжится за ними и делает это плохо, поэтому он становился все более вежливым с Мишелем, все более ироничным и снисходительным.

— Как съездили? — спросила Кэт Сержа. Развернула цветную бумажку, взяла что-то в рот и стала жевать. И дальше она все время жевала, даже когда говорила. Жевала тоже медленно. — Интересно было?

— Было недурно.

— Кто был?

— Были Алка с Владиком, Радик... Еще двое, ты их не знаешь.

— Радик один был?

— Один. Было недурно. Погода несколько портила пейзаж...

— Почему Радик был один?

— Ты же знаешь Радика! Настроение — побыть одному. Вообще недурно было, — говоря это, Серж налил в три хрустальные рюмки; себе и Кэт умело брызнул из сифона содовой, кандидату пододвинул сифон, чтобы тот сам разбавил себе, как найдет нужным. Кандидат принципиально не стал разбавлять.

Кэт чуть отпила и опять закурила. Серж выпил половину, закурил тоже и откинулся на спинку стула, и даже стул наклонил назад. Кандидат шарахнул всю рюмку и крякнул.

Кэт и Серж продолжали беседовать.

— Что делали? — спросила Кэт.

— Ну, сама знаешь... В пасмурную погоду дулись в преферанс. Кстати, — оживился Серж, — потом, знаешь, кто приехал? Сивый!

— Да?

— Подкатывает мотор, смотрим — вылезает Сивый. В пылище!.. Выволакивает из багажника ящик шампанского... «Закуска — ваша!» — орет.

— Сивый один был? — спросил кандидат.

На него удивленно посмотрели.

— Сивый был один, — сказал Серж, несколько озадаченный.

— Что это он? — удивился кандидат Мишель. — Сдурел, что ли, один ездит.

— Вы знаете Сивого? — заинтересовался Серж.

— Ну, мерин такой... сероватый, срыжá.

— Не надо хамить, Мишель, — медленно, без всякой, впрочем, тревоги сказала Кэт.

Серж пристально посмотрел на Мишеля.

— Еще, что ли, врежем? — спросил Мишель. И взял бутылку с виски, взял другую рюмку, побольше, набухал полную. — Ну, со знакомством? — подержал рюмку, ожидая, не присоединятся ли к нему... К нему не присоединились, Мишель выпил один. — Кхух!.. — выдохнул он. — Обожаю виски. У вас «Кент»? Позвольте?..

Серж пододвинул ему пачку.

— Не фонтан сигареты, да? — сказал Мишель, неумело закуривая, — он не курил.

— У вас есть что-нибудь лучше? — спросил Серж.

— «Мальборо», дома оставил, — изо всех сил медленно и лениво сказал кандидат. Он тоже откинулся назад со стулом и стал рискованно покачиваться. — На электрооргане. Вышел уже и хватился: где же у меня «Мальборо»-то? Потом вспомнил: играл на электрооргане и там, наверно, оставил. Ну, думаю, у Кэт кто-нибудь будет, я стрельну. У вас есть электроорган? — спросил он Сержа.

— Нет, у меня есть балалайка.

— Фи-и... и вы на ней играете?

— Да, я на ней играю.

— И как на это смотрит Сивый?

— Сивый... Слушает и плачет.

— И Радик плачет? Что же вы такое играете, что они плачут?

— «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».

— Прекрасная мелодия... Чего же тут плакать? Хотя... понятно: кадры. Вообще, как сейчас обстоят дела с кадрами? По-моему, неплохо? Как Сивый на этот счет думает?

Кэт перестала жевать и с интересом смотрела на Мишеля.

Серж в упор разглядывал сухопарого кандидата... Не знал, как все это понимать.

Кандидат катастрофически пьянел. Злое мстительное чувство ослабло, ему стало весело, просто смешно.

— Ну-с, как Сивый думает о проблеме кадров? — опять спросил он Сержа.

— Сивый? — переспросил Серж. И в голосе его зазвучала угрожающая нотка. — Сивый думает, что за...

— Серж! — сказала Кэт.

— А призы Сивый берет? — продолжал расспрашивать кандидат.

— Берет. Хотите, я вам покажу парочку его призов?

— А когда же он думает? — не унимался кандидат. — Во время рысистых испытаний?

Серж требовательно посмотрел на Кэт: он больше не мог терпеть.

— Мишель, не надо хамить, — нормально, не лениво, сказала Кэт.

— А кто хамит? — удивился Мишель. — Мы просто беседуем. Скажите, пожалуйста, много было народу?

Серж молчал.

— Вы не заметили, Вороной был там или нет? Кстати, как Сивый чувствует себя в самолете? Не ржет от удовольствия? А то я с Вороным летал однажды, он как заржет!..

— Ну, хватит, — решительно сказал Серж. И встал. — Сейчас ты у меня заржешь... — и схватил кандидата короткой сильной рукой, и поволок к выходу.

— Серж, не очень там, — сказала Кэт.

Очки у кандидата слетели, хрустнули под ногами... Он хотел оглянуться на Кэт, но не успел — вылетел в коридор. За ним вышел Серж и ударил его в челюсть. Кандидат стукнулся головой об стенку, но — странно — не ощутил боли. Серж еще раз ударил его, на этот раз по зубам... И теперь больно не стало, только стало солоно во рту и тесно.

«Как же ты жесток!.. — с омерзением подумал беспомощный человек, смутно видя перед собой того, кто бил. — Как ты гадок».

— Еще? — спросил Серж.

— Давай, — сказал кандидат.

Еще некоторое время смутно маячила перед ним квадратная туша Сержа; потом она исчезла... Послышались удаляющиеся шаги.

— Привет Сивому! — сказал кандидат.

Шаги остановились... С полминуты, наверно лестница молчала в пустоте, потом открылась дверь и закрылась; щелкнул замок.

Кандидат достал платок, вытер окровавленный рот и стал ощупью спускаться вниз по лестнице. Странное у него было чувство: и горько было, и гадко, и в то же время он с облегчением думал, что теперь не надо сюда приходить. То, что оставалось там, за спиной, — ласки Кэт, сегодняшнее унижение — это как больница, было опасно, был бред, а теперь — скорей отсюда и не оглядываться.

«О-о! — подумал о себе кандидат Михаил Александрович. — Ну как, Мишель?»

ЧУЖИЕ

Попалась мне на глаза книжка, в ней рассказывается о царе Николае Втором и его родственниках.

Книжка довольно сердитая, но, по-моему, справедливая. Вот что я сделаю: я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно. Речь идет о дяде царя, великом князе Алексее.

«Алексей с детства был назначен отцом своим, императором Александром Вторым, к службе по флоту и записан в морское училище. Но в классы он не ходил, а путался по разным театрикам и трактирчикам, в веселой компании французских актрис и танцовщиц. Одна из них, по фамилии Мокур, совсем его замотала.

— Не посоветуешь ли ты, — спрашивал Александр Второй военного министра Милютина, — как заставить Алексея, чтобы посещал уроки в училище?

Милютин отвечал:

— Единственное средство, Ваше Величество: назначьте учителем госпожу Мокур. Тогда великого князя из училища и не вызвать.

Такого-то ученого моряка император Александр Третий, родной брат его, не побоялся назначить генерал-адмиралом — главою и хозяином русского флота.

Постройка броненосцев и портов — золотое дно для всякого нечестного человека, охочего погреть руки около народного имущества. Генерал-адмирал Алексей, вечно нуждаясь в деньгах на игру и женщин, двадцать лет преобразовывал русский флот. Бессовестно грабил казну сам. Не меньше грабили его любовницы и сводники, поставляющие ему любовниц.

Сам Алексей ничего не смыслил в морском деле и совершенно не занимался своим ведомством. Пример его как начальника шел по флоту сверху вниз. Воровство и невежество офицеров росли с каждым годом, оставаясь совершенно безнаказанными. Жизнь матросов сделалась невыносимою. Начальство обкрадывало их во всем: в пайке, в чарке, обмундировке. А чтобы матросы не вздумали против поголовного грабежа бунтовать, офицерство запугивало их жестоки-

ми наказаниями и грубым обращением. И продолжалось это безобразие ни много ни мало — двадцать лет с лишком.

Ни один подряд по морскому ведомству не проходил без того, чтобы Алексей с бабами своими не отщипнул (я бы тут сказал — не хапнул. — В. Ш.) половину, а то и больше. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у республики Чили. Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуи. Здесь их осмотрели русские моряки. Такие броненосцы нашему флоту и не снились. Запросили за них чилийцы дешево: почти свою цену. И что же? Из-за дешевизны и разошлось дело. Русский уполномоченный Солдатенков откровенно объяснил:

— Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже. Потому что иначе нам не из-за чего хлопотать. Шестьсот тысяч с продажной цены каждого броненосца получит великий князь. Четыреста тысяч надо отдать госпоже Балетта. А что же останется на нашу-то долю — чинам морского министерства?

Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести переговоры с посредниками, заведомо недобросовестными. Японцы же, как только русская сделка расстроилась, немедленно купили чилийские броненосцы. Потом эти самые броненосцы топили наши корабли при Цусиме.

Госпожа Балетта, для которой Солдатенков требовал с чилийцев четыреста тысяч рублей, — последняя любовница Алексея, французская актриса. Не дав крупной взятки госпоже Балетта, ни один предприниматель или подрядчик не мог надеяться, что великий князь даже хоть примет его и выслушает.

Один француз изобрел необыкновенную морскую торпеду. Она поднимает могучий водяной смерч и топит им суда. Француз предложил свое изобретение русскому правительству. Его вызвали в Петербург. Но здесь — только за то, чтобы произвести опыт в присутствии Алексея, — с него спросили для госпожи Балетта двадцать пять тысяч рублей. Француз не имел таких денег и поехал восвояси, несолоно хлебав. В Париж явился к нему японский чиновник и купил его изобретение за большие деньги.

— Видите ли, — сказал японец, — несколькими месяцами раньше мы заплатили бы вам гораздо дороже, но теперь у нас изобретена своя торпеда, сильнее вашей.

— Тогда зачем же вы покупаете мою?

— Просто затем, чтобы ее не было у русских.

Как знать, не подобная ли торпеда опрокинула «Петропавловск» и утопила экипаж его вместе с Макаровым — единственным русским адмиралом, который походил на моряка и знал толк в своем деле?

В последние десять лет жизни Алексеем вертела, как пешкою, Балетта. Раньше генерал-адмиральшею была Зинаида Дмитриевна, герцогиня Лейхтенбергская, урожденная Скобелева (сестра знаменитого «белого генерала»). К этой чины морского ведомства ходили с прямыми докладами, помимо Алексея. А он беспечно подписывал все, чего его красавица хотела.

Красным дням генерал-адмирала Алексея положила конец японская война. У японцев на Тихом океане оказались быстроходные крейсера и броненосцы, а у нас — старые калоши. Как хорошо генерал-адмирал обучал свой флот, вот свидетельство: «Цесаревич» впервые стрелял из орудий своих в том самом бою, в котором японцы издырявили его в решето. Офицеры не умели командовать. Суда не имели морских карт. Пушки не стреляли. То и дело топили своих, либо нарывались на собственные мины. Тихоокеанская эскадра засела в Порт-Артуре, как рак на мели. Послали на выручку балтийскую эскадру адмирала Рождественского. Тот, когда дело дошло до собственной шкуры, доложил царю, что идти не с чем: брони на броненосцах — металлические лишь чуть сверху, а снизу деревянные. Уверяют, будто царь сказал тогда Алексею:

— Лучше бы ты, дядя, воровал вдвое да хоть брони-то строил бы настоящие!

После погибели «Петропавловска» Алексей имел глупость показаться в одном петербургском театре вместе со своей любовницей Балетта, обвешанною бриллиантами. Публика чуть не убила их обоих. Швыряли в них апельсинными корками, афишами, чем попало. Кричали:

— Эти бриллианты куплены на наши деньги! Отдайте! Это — наши крейсеры и броненосцы! Подайте сюда! Это — наш флот!

Алексей перестал выезжать из своего дворца, потому что на улицах ему свистели, швыряли в карету грязью. Балетта поспешила убраться за границу. Она увезла с собой несколько миллионов рублей чистыми деньгами, чуть не гору драгоценных камней и редкостное собрание русских старинных вещей. Это уж, должно быть, на память о русском народе, который они вместе с Алексеем ограбили.

Цусима докончила Алексея. Никогда с тех пор, как свет стоит, ни один флот не испытывал более глупого и жалкого поражения. Тысячи русских людей пошли на дно вместе с калошами-судами и пушками, которые не дотреливали до неприятеля. Нескольких часов японской пальбы достаточно было, чтобы от двадцатилетней воровской работы Алексея с компанией остались только щепки на волнах. Все сразу сказалось: и грабительство подлецов-строителей, и невежество бездарных офицеров, и ненависть к ним измученных матросов. Накормил царев дядя рыб Желтого моря русскими мужицкими телами в матросских рубахах и солдатских шинелях!

После отставки своей Алексей перекочевал за границу со всеми накраденными богатствами своими, под бочок к своей Балетте. Накупил дворцов в Париже и других приятных городах и сорил золото, украденное у русского народа, на девок, пьянство и азартные игры, покуда не помер от «случайной простуды».

Прочитал я это, и вспомнился мне наш пастух, дядя Емельян. Утром, еще до солнышка, издалека слышался его добрый, чуть насмешливый сильный голос:

— Бабы, коров! Бабы, коров!

Как начинал слышаться этот голос весной, в мае, так радостно билось сердце: скоро лето!

Потом, позже, он не пастушил уже, стар стал, а любил ходить удить на Катунь. Я тоже любил удить, и мы, бывало, стояли рядом в затоне, молчали, наблюдая каждый за своими лесками, У нас не принято удить с поплавками, а надо следить за леской: как зачиркает она по воде, задрожит — подсекай, есть. А лески вили из конского волоса: надо было изловчиться надергать белых волос из конского хвоста; кони не давались, иной меринок норовит задом накинуть —

лягнуть, нужна сноровка. Я добывал дяде Емельяну волос, а он учил меня сучить лесу на колене.

Я любил удить с дядей Емельяном: он не баловался в это дело, а серьезно, умно рыбачил. Хуже нет, когда взрослые начинают баловаться, гоготать, шуметь... Придут с неводом целой оравой, наорут, нашумят, в три-четыре тони огребут ведро рыбы, и — довольные — в деревню: там будут жарить и выпивать.

Мы уходили подальше куда-нибудь и там стояли босиком в воде. До того достоишь, что ноги заломит. Тогда дядя Емельян говорил:

— Перекур, Васька.

Я набирал сушняка, разводили огонек на берегу, грели ноги. Дядя Емельян курил и что-нибудь рассказывал. Тогда-то я и узнал, что он был моряком и воевал с японцами. И был даже в плену у японцев. Что он воевал, меня это не удивляло — у нас все почти старики где-нибудь когда-нибудь воевали, но что он — моряк, что был в плену у японцев — это интересно. Но как раз об этом он не любил почему-то рассказывать. Я даже не знаю, на каком корабле он служил: может, он говорил, да я забыл, а может, и не говорил. С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так, слушал, что он сказывал, и все. Он не охотник был много говорить: так, вспомнит что-нибудь, расскажет, и опять молчим. Я его как сейчас вижу: рослый, худой, широкий в кости, скулы широкие, борода пегая, спутанная... Стар он был, а все казался могучим. Один раз он смотрел-смотрел на свою руку, которой держал удилище, усмехнулся, показал мне на нее, на свою руку, глазами.

— Трясется. Дохлая... Думал, мне износу не будет. Ох, и здоровый же был! Парнем гонял плоты... От Манжурска подряжались и гнали до Верх-Кайтана, а там городские на подводах увозили к себе. А в Нуйме у меня была знакомая краля... умная женщина, вдовуха, но лучше другой девки. А нуйминские — поперек горла, што я к ей... ну, проведаю ее. Мужики в основном дулись. Но я на их плевал с колокольни, на дураков, ходил, и все. Как плыву мимо, плот причаливаю, привязываю его канатами — и, значит, к ей. Она меня привечала. Я бы и женился на ей, но вскорости на службу забрили. А мужики чего злятся? Што вот чужой какой-то повадился... Она всем глянулась, но все — женатые, а вот все

одно — не ходи. Но не на того попали. Раз как-то причалились, напарник мой к бабке одной проворной, та самогонку добрую варганила, а я — к зазнобе своей. Подхожу к дому-то, а там меня поджидают: человек восемь стоят. Ну, думаю, столько-то я раскидаю. Иду прямо на их... Двое мне навстречу: «Куда?» Я их сгреб обоих за грудки, как двинул в тех, которые сбоку-то поджидали, штук пять свалил. Они на меня кучей, у меня сердце разыгралось, я пошел их шшолкать: как достану какого, так через дорогу летит, аж глядеть радостно. Тут к им ишо подбежали, а сделать ничо не могут... Схватились за колья. Я тоже успел, жердину из прясла выдернул и воюю. Сражение целое было. У меня жердь-то длинная — они не могут меня достать. Камнями начали... Бессовестные. Они, нуйминские, сроду бессовестные. Старики, правда, унимать их стали — с камнями-то: кто же так делат! И так уж человек двенадцать на одного, да ишо с камнями. Сражались мы так до-олго, я спотел... Тут какая-то бабенка со стороны крикнула: плот-то!.. Они, собаки, канаты перерубили — плот унесло. А внизу — пороги, его там растрепет по бревнышку, весь труд даром. Я бросил жердь — и догонять плот. От Нуймы до Быстрого Исхода без передыху гнал — верст пятнадцать. Где по дороге, а где по камням прямо — боюсь пропустить-то плот-то. Обгонишь, и знать не будешь, так я уж берегом старался. От бежал!.. Никогда в жизни больше так не бегал. Как жеребец. Догнал. Подплыл, забрался на плот — слава те господи! А тут вскорости и пороги; там двоим-то — еле-еле управиться, а я один: от одного весла к другому, как тигра бегаю, рубаху скинул... Управился. Но бежал я тада!.. — дядя Емельян усмехнулся и качнул головой. — Никто не верил, што я его у Быстрого Исхода догнал: не суметь, мол. Захочешь — сумеешь.

— А потом чего не женился?

— Когда?

— Ну, со службы-то пришел...

— Да где! Тада служили-то по сколь!.. Я раньше время пришел, с пленом-то с этим, и то... лет уж тридцать пять было — ждать, что ли, она будет? Эх, и умная была! Вырастешь — бери умную. Красота бабская, она мужику на первое время только — повыхваляться, а потом... — дядя Емельян помолчал, задумчиво глядя на огонек, посипел «козьей нож-

кой». — Потом требуется другое. У меня и эта баба с умом была, чего зря грешить.

Бабку Емельяниху я помнил: добрая была старуха. Мы с ними соседи были, нашу ограду и их огород разделял плетень. Один раз она зовет меня из-за плетня:

— Иди-ка суда-то!

Я подошел.

— Ваша курица нанесла — вишь, сколь! — показывает в подоле с десяток яиц. — Вишь, подрыла лазок под плетнем и несется тут. На-ка. С пяток матри (матери) отдай, а пяток, — бабка оглянулась кругом и тихо досказала, — этим отнеси, на сашу (шоссе).

На шоссе (на тракте) работали тогда заключенные, и нас, ребятишек, к ним подпускали. Мы носили им яйца, молоко в бутылках... Какой-нибудь, в куртке в этой, тут же выпьет молоко из горлышка, оботрет горлышко рукавом, накажет:

— Отдай матери, скажи: «Дяденька велел спасибо сказать».

— Я помню бабку, — сказал я.

— Ниче... хорошая была баба. Заговоры знала.

И дядя Емельян рассказал такую историю.

— Сосватали мы ее — с братом старшим ездили, с Егором, она — вон талицкая (это через речку), — привезли... Ну, свальба (свадьба)... Гуляем. А мне только пинжак новый сшили, хороший пинжак, бобриковый... Как раз к свадьбе и сшили-то, Егорка же и дал деньжонок, я-то как сокóл пришел. И у меня прямо со свадьбы этот пинжак-то сперли. Меня аж горе взяло. А моя говорит: «Погоди-ка, не кручинься пока: не вернут ли». Где, думаю, вернут! Народу столько перебыло... Но знаю, што — не из нашенских ктото, а из талицких, наверно: наш-то куда с им денется? А шили-то тада на дому прямо: приходил портняжка с машинкой, кроил тут же и шил. Два дня, помню, шил: тут же и питался, и спал. Моя чо делат: взяла лоскут от шитья — лоскутов-то много осталось — обернула его берестой и вмазала глиной в устье печки, как раз, где дым в чувал загибает, самый густой идет. Я не понял сперва: «Чего, мол, ты?» — «А вот, говорит, его теперь каждое утро корежить будет, вора-то. Как затопим печку, так его начнет корежить, как ту бересту». И чо ты думаешь? Через три дня приходит из Талицы мужичонка, какая-то родня ее, бабе-то моей... С меш-

ком. Пришел, положил мешок в угол, а сам — бух, на коленки передо мной. «Прости, говорит, грех попутал: я пинжак-то унес. Поглянулся». Вытаскивает из мешка мой пинжак и гусиху с вином, теперь — четверть, а раньше звали — гусиха. Вот, вишь... «Не могу, говорит, жить — измаялся».

— Побил его? — спросил я.

— Да ну!.. Сам пришел... Зачем же? Выпили эту его гусиху, да я ишо одну достал, и ту выпили. Не одни, знамо дело: я Егора позвал с бабой, ишо мужики подошли — чуть не новая свадьба!.. Я рад без ума — пинжак-то добрый. Годов десять его носил. Вот какая у меня старуха была. Она тада-то не старуха была, а вот... знала. Царство небесное.

Было у них пятеро сыновей и одна дочь. Троих на этой войне убило, а эти в город уехали. Доживал дядя Емельян один. Соседи по очереди приходили, топили печку, есть давали... Он лежал на печке, не стонал, только говорил:

— Спаси вас бог... Зачтется.

Как-то утром пришли — он мертвый.

Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, — обнять две эти фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить, — поразмыслить-то сперва и хотелось, — а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой — на Катуни, с удочкой. Твержу себе, что ведь — дети одного народа, может, хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле — и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос... А что, если бы они где-нибудь ТАМ — встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русских души. Ведь и ТАМ им не о чем было бы поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие — на веки вечные. Велика матушка-Русь!

ВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

Это не рассказы, это были заготовки к рассказам. Я знал по опыту, что заготовки надо записывать подробнее, а то я сам забывал, о чем хотел написать рассказ. И я стал записывать для каждого будущего рассказа — больше. И когда этих заготовок скопилось много, и я их перечитал, я увидел, что больше мне рассказывать нечего, все, что хотелось рассказать, я рассказал.

Сказитель

Объявился некий сказитель. Да так врет складно, так складно. Кинулись его записывать, а у него ставка: четыре рубля одна поэтическая штука.

А я погляжу...

Долго человек мыкался по жизни, мучился, гоняло его... И возымел он большое желание устроиться работать куда-нибудь — так, чтоб смотреть на суетню — из окошечка. Устроился... (Где?)

Немка

Как меня выгнали из техникума (петухом пел на уроках, а рта не открывал — долго не могли понять, кто это. Узнали — особенно оскорбились и обозлились). А еще — туфли на высоком каблуке (немкины). Не в чем было ходить, она дала свои туфли.

Как сложили анекдот

Про луну... Один человек добывал какую-то бумажку (справку), измучился, устал, обозлился и «склал» анекдот: «Подлетают к луне, а там спрашивают: "А у вас справка с места жительства есть?"». Рассказал — пожали плечами — слышали много интересней.

Страшный рассказ

Человек 50 лет делал одно и то же: работал на одной фабрике, ел в одной столовой, дома спал на одной и той же кровати (с шишечками), ходил в один сортир... И под конец сошел с ума. Все.

Диалог с земляком

— Ну: заслуженный?
— Заслуженный.
— РСФСР?
— Ага.
— На народного-то не тянешь? Не хвата? Ну, ничего, ничего — не расстраивайся. А что же говорят? Мол, слабоват?
— Ну, а ты как?
— Да ничего. Мы что!.. Мы люди маленькие. Так не тянешь на народного-то, говорят? Вот собаки! Что им жалко!
— А ты... на полного-то не тянешь?
— На какого полного?
— Ну, на полного... Чтобы совсем уж. Нет? Ну, ничего, ничего — все будет в порядке.

Волчьим следом

Воспоминания из детства. Как шли из Б. зимой (Щуя, Жаренок, я) домой. Заблудились на степи, вышли к жилью волчьим следом.

Куплеты

Как я ходил к бабке Шукшихе (года 4 было) и пел матерные частушки — чтоб покормили.

Характер

Человек — полный идиот. Утром встает — ворчит, ложится спать — ворчит. Вечно всем недоволен, хрюкает, ненавидит всех. Говорят — характер.

Ищу женщину

Раз в неделю приезжает человек и рассказывает, как он «завоевывает» Москву. «И тут я говорю себе: “Слушай, Иван...”». Маленький, лобастый, начал лысеть... Научился слегка выпячивать нижнюю челюсть. Любил читать стихи.

Капрыза

Молодого человека отлично куда-то устроили. Но так бессовестно потеснили других, так при этом верещали, говорили, что «вот, теперь он — устроен», что молодой человек... взял и ушел с теплого места. Гордился собой. Но кто-то злой и умный заметил: «Было бы все тихо, никуда бы он не ушел. Они же кричали-то!»

Последние километры

Освободился, едет домой. В купе. Суетлив, угодлив. И вдруг говорит нечто ужасное — доверчиво: — Я его, гада, все одно пришью. Ночью где-нибудь стречу и пырну под бок. И никто не узнает.

Как хоронят живых

Разговорились, много случаев, когда хоронят живых. А начали вспоминать со случая: мужик, требуя денег опохмелиться, разыграл сцену самоубийства. Да так грубо, смешно. Но, оказывается, много и живых хоронят.

Не судите!

Парень, молодой, обозлился на теток и старух, кинулся их обвинять, да так убедительно — по заповеди Христовой. Напугал. Но на короткое время, потом они его принялись чихвостить.

День рождения

Сука ощенила 8 щенят. Они расползлись, пошел дождь. А она — на цепи, не может их собрать. Хозяйские мальчик и девочка собрали их, полузамерзших оттаяли на печке, они ожили. Кутерьма. А сука заходится во дворе — скулит. А куда их потом, никто не знает. Что-то грустно. Утопят ведь. Зачем же они появлялись.

Ямщик, не гони лошадей

Толстая, некрасивая тетя рассказывает, как она красиво, бурно жила в молодости. Нэпманка, что ли. Не поймешь. На вахте сидит ночью. Любит принять стакан водки и тогда-то рассказывает. Врет, наверно.

Разговоры

Случайно был убит молодой паренек Юра Неверов. Отец затосковал, разговаривал с ним в бане (с несуществующим):

— Вот, сынок, помоемся с тобой. Ты ее не жалей, воду-то, не жалей. Ее много.

А потом пришел домой, в избу, сел на кровать, заревел по-бабьи. Сыну-то, в лоб 18 дробин.

— Я просила его: Слава, сынок, расскажи, как было-то? Не сказал. Весь затрясся, побелел.

— Испужался...

— Но.

— А как было-то?

— На десять шагов... Самый злой заряд летит.

— А, может, рядом был.

— Нет, тогда спалил ба...

И тут разговор о смерти.

Потом — о жизни.

— Вот ведь три сестры, а жить... Чего бы не жить-то? Опять о смерти.

— А сама виновата, сама... Аборты делала. Бог наказывает (это женщина про себя). И в качестве божьего наказания: 1. Сына нечаянно подстрелили. 2. Второй сын, старший, с женой разошелся.

— Будет ему что за это?

А конец разговора про уток: — Вот ведь полевские-то, они где угодно парят. А эту посадила — еще не так посадила, близко к печке посадила... Барыня.

— Утки теперь четыре месяца парят. Гуси тоже четыре месяца.

Болтыши (яйца болтыши).

— Почем же мясо?

— Принимают по 2, а продают — по 2,20.

— Ну, к нам ходите.

Камни

Появился на робкой окраинке плотный, щербатый парнишка. Окраинку вечно били другие края, более сильные. Этот, щербатый, с выдвинутой челюстью, придумал план, как избить других, что били постоянно эту слабую окраинку. Продумал, осуществил (при помощи камней). Камни только свистели на всем пути отступающего неприятеля. Парнишка только покрикивал: «Камни!» (сюжет приснился).

Парнишка жестокий и талантливый. Куда потом двинет в жизни? Кто будет?

(Вошел мотивом в рассказ «Наказ» — *Ред.)*

Плохая весна

Стояла весна. То — тепло, то — сорвется ветер, упругий, сырой, плотный — дует и дует, без устали. Ставни грохочут. Дождь хоть мелкий летит, и вдавливается ветром в малые щели в окнах, на подоконниках мокро. Ворота раскрыты, чтоб не свалило. Ох, и плохая же весна. Плохая.

В загранку

Мужик (шофер) собирается в загранку. Важен. Спесив. 30 р. советских денег. Водки не пить. С бабами чужими — ни-ни...

Очень важный (дорогу едут в Монголию строить). На вопросы отвечает с паузами. Все думает, думает...

Оптимист

Калека-парень в больнице. В больнице. Студент-заочник. Оптимист, сил нет. Тошно.

Держи!

Некий таксист, злой и крикун, когда ему мало дают на чай, возвращает эти 20 коп. и начинает стыдить за то, что человек вообще дает на чай.

— Знаете... мы не такие дешевки, как вы думаете! Мало дали. Дали бы 50 коп. — молчал бы.

Поумнел

Мужик бросил пить на время, пошел по блату устраиваться на работу. Выпили в кабинете у того, кто принял...

И этот, что устраивался, начал вдруг лепить правду-матку в глаза. Все испортил (назв. «Выпрягся»).

Чекин, привет!

Одного разыграли — Чекина. Подсунули документ, а там весь набор: 10 шагов на восток, 5 на юг, 3 на запад... клад! Копал. Нашел записку «Чекин, привет!» Обиделся. А эти дни, пока тайно ходил копал, жил славно, волновался. Еще раз утвердился: люди — сволочи.

Достоевский — это не пророк

Человек купил, наконец, дубленку, долгожданную, желаннейшую дубленку... И к вечеру стал вдруг (в дубленке), стал таким умным, сведущим, начитанным, информированным, свободомыслящим, резким... И сказал, сплюнув: «Достоевский — это не пророк».

Клющи

Взял человек ключ у коридорной — сам — открыл номер и вошел. Потом вошла коридорная. И началось состязание:

— Как вы могли взять клющи?

— А что?

— Нет, как?

— А что тут такого?

— Как что такого? Это же — клющи!

— Пошли к черту!

— Как?!

— Во-первых, не клющи, а ключи! Во-вторых, идите к черту!

Выселили.

Великие

Историческая драма в 3-х действиях.

Пугачев.

Екатерина.

Радищев.

Допрос Пугачева.

Руки кровавые

Любит наш мужичок ударить в грудь себя — устал, болит все!.. Изработался (Сергей Бедарев, «Руки кровавые»). Мо-

жет даже всплакнуть — устал! Семь шурупов в день. И — за трешку — счетчик бабке.

Пиши!

Случилась с человеком некая любопытнейшая история. Он ее умело стал рассказывать. И посыпалась на него со всех сторон — «Пиши!» И уверовал человек, что мог бы, если б захотел, написать преинтереснейшую повесть, например. И стал человек чванлив и гадок.

Слезы

Жил такой странный человек — плакал от благодарности за всякую мелочь, какую ему сделают. «Шизя» — называли его. Он долго сидел в тюрьме.

Ночка

Вот ночка была! Проводил девку, пошел, чтоб сократить путь — сторож саданул из берданки. Испугал насмерть. Дальше. У низенькой избы собака из-под ворот в ноги кинулась. Только собака-то — потом, а хуже, что я заглянул в оконце — а там баба мертвая лежит — от аборта самодельного умерла. Потом уж, когда пошел — собака кинулась. Едва дошел до дому.

Мох (бальки)

Как перед войной, когда мы жили в городе, маму пригласили соседи в лес на болотину — за мхом. Оказывается, городские сушили его и стежили на нем одеяла. И продавали те одеяла на базаре деревенским дуракам. Сверху ваты положат, а внутрь — этого мха. Тоже делали и с бальками камышовыми — подушки делали. Она сперва-то мягкая, а потом сваляется — на ней хоть голову руби.

Завидки

Завидки берут русского человека — меры не знает ни в чем, потому завидует немцу, французу, американцу.

Все было бы хорошо, говорит русский человек, если б я меру знал. Меру не знаю. И зависть та тайная, в мыслях. На словах, вслух, он ругает всех и материт. И анекдоты рассказывает.

Зачем?

У нас в окраинке событие: записная проститутка, явная, недвусмысленная — окрестилась. Всех это взволновало. Но никто не думает так: поверила в бога. А все думают: зачем она? Все гадают. Один мрачноватый мужик стал рассуждать так: — Когда гасют огонь, то рядом взрыв делают! Так и эта... Взрыв. Шок.

А у вас?

Встретились два человека и давай друг перед другом исподволь выкладывать, какой он теперь стал уважаемый человек.

— Я говорю своим помощникам...

— Я тоже своим говорю: «Вы у меня смотрите!»

— А мои...

— А я вызвал своих...

Самое интересное, что всё — правда: так и работают!

Баня

Как малой мальчик (сибирячок) водил слепого деда в баню. И тот рассказывал ему про свою жизнь, учил париться.

Воскресенье

По домам ходит здоровенный, положительный, хитрый — ругает алкоголиков последними словами. Ему подают понемногу. Хвалят его, что он такой рассудительный. Он выпивает и идет дальше. И к вечеру хорошо набирается. И уже в последних домах говорит так:

— Хорошо. Ладно. Мы — пьем. Вы нас ругаете. Но почему вы дураков не ругаете? Они больше вреда приносят.

Поверили
(Икона)

Некоей одинокой старушке явилась икона. Мыла старушка пол в прихожей избе, оглянулась в горницу — на столе лежит икона. Эту икону она давала через мою тетку смотреть моей матери. Мать видела... Целовали ее все.

Кот

Как мы проспали ночью кота Ваську. Положили его в углу, у порога. Очень жалели. А утром проснулись, мама гля-

нула, а он сидит, чертяка, на долбчике. Ах, как мы обрадовались. Ругали его. — Вот дурак-то! Ты смотри что — посиживает!

Квартиранты

Как мы с мамой делали скворечник. Волновались, спорили... А ночью все думаю, как им там будет? Хорошо ли? Потом мама в письме написала: поселились. Писку, гаму!..

Телевизор

Человек повез в район телевизор ремонтировать — ближе никак нельзя было отремонтировать. С большими сложностями и трудностями отремонтировали — устал, изнервничался, изозлился... Вечером включил — идет какая-то чепуха. Человек обиделся на все на свете и дал по телевизору сапогом. Выключил.

Сон

Навязчивый сон у человека: видит, как его убили на войне. Его и друга. Просыпается и плачет: друга правда убили — жалко.

Дети болеют

Как понравились некие — мужик и баба — и дело дошло до свидания. Но... у той заболели дети, у этого заболели. Встретились — а уж не до любви. И незаметно, и невольно перешли на то, как лечить детей. И волнение прошло. И только вспомнил мужик потом, зачем он шел на свидание: для любви. Какая любовь, господи!

Как берегли дурака
(комедия)

Живет себе некто — Дурак. Графоман. Все понимают, что он дурак, графоман, но берегут его и лелеют. Дурак пухнет от глупости, произносит слова, судит обо всем, дает оценки... Всех пугает: скоро умру!

Посмотри, я к тебе пришла... какая красивая!
Приснилась любимая, которой нет на свете...

Маша сказала, когда ей было года 3. Пришла, я спал, она разбудила и говорит: — Пап, посмотри, я к тебе пришла, какая красивая.

Девочка (дочь Маша) читает стихотворение:

Поздняя осень,
Грачи улетели,
Лес **облажился,**
Поля опустели...

Рассказ таксиста

Рассказывал, как однажды вез мужика и избил его монтировкой. За «свинью». Избил и отнял 20 р. Пообедать «свинье» надо.

Спектакль у ЗАГСа

— Слушай, у тебя есть красивая-красивая девка?

— Ну, есть. А зачем?

— Понимаешь, надо устроить: я выйду из ЗАГСа после развода с женой, а она (подставная девушка), бросится мне на шею с цветами. А тут подлетят две машины, я договорюсь с ребятами, и мы сядем на глазах у жены и уедем (рассказывал милиционер).

Пустельга

И пристало же глупое словечко — пустельга. Встретил некто молодую, потасканную грузинами девушку; говорил с ней вечер — ни о чем, она умничала, намекала — «возьми меня, если сможешь», а ему — лень, не хочется. И чувство омерзения в груди, и удивление ранней пустотой девушки... И привязалось слово — пустельга.

Всё или ничего

Рассказ с таким названием — суть русского национального характера.

А?

Один мужик зазвал другого к себе и, как бы между прочим, похвастался: — Смотри, какую шубу жене купил. — То-

му (гостю) это не понравилось... Не то что позавидовал, но обозлился.

Поругались.

Жизнь моего крёстного, рассказанная им самим в один присест

Короткая и, в сущности, грустная повесть веселого человека.

В гостях хорошо...

Как один собирался в гости... Пыль поднялась в доме. Жена, теща — с ног сбились: делают, чтоб муж, зять — выглядел ПРИЛИЧНО. Зять терпел, терпел — снял шляпу, кинул ее в мусоропровод, скинул галстук, ботинки, костюм и лег на диван. «Пошли вы...» — сказал жене и теще. Они потом тихонько говорили на кухне — дочь жаловалась на мужа: сама видела, какой он. — Да, — горестно вздыхала теща из Одессы (теща из Одессы).

Высокий день

Один высокий мой день:

1. Вышел из больницы.

2. Ездил в Союз писателей РСФСР — там мне вручили «Почетную грамоту». Говорили о России — мне не удалось сказать ни слова.

3. Ездил в Комитет кинематографии отстаивать куски фильма «Печки-лавочки».

4. Договаривался о ремонте новой квартиры.

5. Пришел Иван Васильев, с которым не видался 25 лет (24). Иван был очень рад. Рассказывал, как он ночевал.

Вот он-то и составил Высокий день.

Теперь — судите
(Повесть)

Объяснение следователю причины убийства (от первого лица). Вообще же, рассказ отца дочери — почему он убил, как это случилось.

«Теперь — судите» — последняя фраза повести.

Молодец

Молодец — это я в глазах земляков. Смотрели они картину «У озера» (на второй день Троицы), половина зала спа-

ли, даже с храпом. Причем, их осторожно будили и неловко оглядывались на меня. После фильма никто ничего не говорил. Потом узнали, что мне за роль в этой картине дали государственную премию. И стали говорить: «Вот молодец! Смотри-ка... Вот это — не зря поехал в Москву!»

Кукуруза

Рассказ из хрущевских времен. Рожь уж налилась молочком... Добрая. А в колхоз пришла директива: засеять еще столько-то кукурузой (на силосную массу, не до зрелости). А свободной земли нет. Правление принимает решение: скосить рожь. Мужики не идут косить... Руки не поднимаются. Тогда им выдали по двести граммов водки. Пошли косить.

А ехал полковник какой-то (недалеко проходили учения).

— Что вы делаете?! — полковник был сам из крестьян. — Прекратите.

— Ехай, командуй своими!.. Нам велено, мы и косим.

Полковник пригнал солдат, не дал косить.

Дума

Ехал домой, намечтал и надумал прекрасное о деревне, о людях родных... Приехал, и все стало раздражать. Один такой вечер.

История человека Ивана Чечёткина

1. Как родился
2. Как женился.
3. Как умер.

Далекие вечера

Этакий спокойный врун приходил вечерами и подолгу рассказывал, как он прятался от колчаковцев в колодце.

Мужики (учились на трактористов, жили у нас на постое) внимательно слушали. Целый роман, помню, был рассказан (Мазаев-отец). Сын тоже был врунишка, мой товарищ.

Донос

Человек пишет донос. Техника доноса: социальная демагогия, зависть, злоба. Бездуховность.

Сыр

История — как в детстве ловил сыр в реке с разбитого плота. Ловил, да не поймал — не донырнул. А другие донырнули и потом ели. Но попробовать кусочек не дали — такова жизнь, и обижаться на нее не надо. НЕ ДОНЫРНУЛ.

Приятная беседа

Двое поговорили. Очень много любезничали, говорили комплименты друг другу.. Разошлись и — каждый подумал о другом: «Дурак».

Вы Платона читали?

Полуграмотный восторг перед Платоном. Прочитал... и всех пытает: «Вы Платона читали?»

Бабья тоска

Муж в войну в трудармии. Жена и свекор жили на пасеке. И потихоньку к бабе стал ходить ее муж. Ночью. И заявил ей, что сбежал из трудармии. На ночь приходит, спит с ней, а на день куда-то уходит. А раз ночью взошла луна, а она склонилась над мужем-то, а у него — туда-сюда, туда-сюда — крутится. Вертится вот так вот. Она: — Николай, да это ты? — Я. — А чего у тебя лицо крутится?

Кэ-эк он отбросит одеяло-то — а у него конские... Она как заорет!.. Его как ветром сдуло.

Письмо
Это тоже — «Бабья тоска»

Стал тоже ночами ходить муж... И тоже говорит — сбежал с фронта. И вот ночами тоже милуются с ним. А свекор со свекровкой слышат, что она там чего-то ночами разговаривает сама с собой... И догадались. И насыпали перед горницей льняного семени. И вот пришел ее Василий, а пройти к ней не может. Говорит: — Эти старые хрычи (семя льняного насыпали. На, — говорит, — тебе письмо.

Она письмо-то взяла да под подушку. Утром сунулась туда, а там — лопух.

В райцентре построили ресторан

И пришли к великолепному старику Ермолаеву — просить его быть гардеробщиком. Очень представительный ста-

рик. И ему дали форму. И старик был кончен — стал несусветно важничать, стал гордый, вежливый и нехороший. Погиб человек.

Би-Би-Си

Сельский мастер радиоузла врубил на село на 5 минут станцию Би-Би-Си. Пока, говорит, я ее свихнул в сторону, время прошло. Лишили 13-й зарплаты, дали выговор... Фронтовик, 4 класса образования, носит сталинский френч.

Состязание

Двое инстинктивно принялись состязаться в благородстве. Но когда один становился подчеркнуто вежлив, другой начинал хамить, тогда и другой повышал тон. А тогда тот, кто только что хамил, переходил в угодливость и т.д. — после разошлись.

Ехали двое

Ехали двое (трое?) и один другого избил. За что же? Вот и штука — за что? За бессовестность, за фарисейство, мелкость, пакостность... Но это все — неуловимо, недоказуемо, получилось — ни за что. Тюрьма.

Как один мужик хотел перехитрить плотников

Договорились срубить дом. Пошли в сельсовет — заключать договор и там с обоюдного согласия (чтобы меньше платить процент от сделки) занизили сумму. А мужик потом заплатил плотникам только оговоренную в сельсовете сумму. Плотники сказали: «Ну, смотри!» Мужик догнал их и отдал все.

Утечка ядохимикатов

Некто подпил и, чтоб показаться сильно умным и начитанным, навалился на тему о том, как однажды на Белом озере погубили рыбу.

Побег

Особо опасный сбежал из мест заключения. Вооружен: отнял у конвойного. Его догнали, он отстреливался, пока были патроны... Потом его ведет по тайге конвоир. Один. И — об этом повесть (сценарий, рассказ). Что будет.

Разговоры за стеной

В больнице. Мать сидит (и ночует) с больным сыном. Сын плох, помрет. Они тихо говорят.

Корсак поет

Витька Александров... пел в детстве и юности, раздражал тем деревню. А певцом не стал — спился, кажется... Но вот эти песни вечерами!.. На заре — прекрасно. А ребятня деревенская стояла и решала: «Пойти всыпать, что ли? Чего он разорался».

Разговор с интеллигентом

Разговор слесаря с интеллигентом в его квартире (во время работы слесаря).

Разговор в высшей степени поганый, так как слесарь явно хамит.

— В сантехнике — надо делать все сразу хорошо, потому что потом не исправишь, — говорит интеллигент.

— Вы лучше детей своих делайте сразу хорошо, — отвечает слесарь.

И т.п.

Письмо матери

Некто, сорокалетний, написал откровенное письмо матери в деревню — как живется ему всю жизнь — тяжко, больно, страшно.

Опять жил человек...

Жил человек в городе, помер, и схоронить некому. Рядом живет (в коммунальной квартире) моложе и здоровей, но задумался: а кто меня схоронит? Затревожился.

«Формула удачи»

$$2=\frac{8}{4}$$

$$8=\frac{16}{2}$$

Где:

8 — желаемое нами. Желаем мы всегда много — больше того, что получаем в результате.

4 — количество энергии, которую мы тратим для получения желаемого, и ровно в два раза меньше, чем нужно для получения полного объема желаемого, и в два раза больше, чем результат.

2 — результат, то что мы получаем, желая и действуя. Очень незначительный.

Отсюда:

Чем больше мы желаем, тем лучше, тем больше результат,

Чем меньше тратим энергии для получения желаемого, тем больше результат.

Повести для театра

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Повесть-сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были два молодых человека — Пессимист и Оптимист. Жили они по-соседству и все спорили. Пессимист говорил: «Все в жизни плохо, пошло, неинтересно». Оптимисту, наоборот, все чрезвычайно нравилось. «Жизнь — это сплошное устремление вперед, это как бы стометровка, — любил говорить он. И добавлял: — Я, может быть, говорю общеизвестные истины, но в том-то и дело, что я не думаю о том, как надо думать о жизни, — она переполняет меня всего, и мне остается только петь». И он часто пел. А Пессимист нехорошо как-то смеялся: «Ка-ка-ка!» — «под Мефистофеля».

— Вы, такие, не знаете, что такое жизнь! — громко кричал Оптимист. — И мы вас, таких, предупреждаем!..

— Нет, это вы не знаете, что такое жизнь! — тоже кричал Пессимист. — А мы знаем. Наша тоска оправданна!

— Ты не прав, Алик!

— Ка-ка-ка! — горько смеялся Алик, Пессимист.

Вот раз спорили они, спорили, чуть не подрались, но опять ни до чего не договорились. Тогда Оптимист говорит:

— Я знаю одного волшебного человека. Пойдем к нему, он нас рассудит.

— Я знаю, зачем вы пришли ко мне, — сказал Волшебный человек. — Я помогу вам. Но прежде вы мне — каждый — покажете жизнь такой, какой вы ее видите. Только тогда я смогу разрешить ваш спор.

— Я согласен! — звонко воскликнул Оптимист.

— С удовольствием, — сказал Пессимист. — Я вам ее покажу. О, я вам ее покажу!

— Видите этот дом? — спросил Волшебный человек, поморщившись на такую чрезвычайную уверенность Пессимиста.

— Видим!

— Там живет девушка. Вечером ее придут сватать. Я хочу, чтобы каждый из вас показал это событие в ее жизни так, как он видит. Заделаем? — и Волшебный человек негромко засмеялся.

Сказано — сделано. Вечером все трое пришли к дому девушки и сели напротив, на лавочке. Волшебный человек посмотрел на часы.

— Пора. Кто первый?

— Я! — сказал Пессимист. Ему очень уж не терпелось. Волшебный человек дал Пессимисту волшебную веточку и велел:

— Махни этой веточкой и скажи:

«Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, имярек, вижу».

Пессимист взял веточку взмахнул ею и сказал:

— Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Алик, вижу.

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском раскололась. И видно стало: грязная комната, семейство Невесты — сама Невеста, ее Мать, Отец и Дедушка сидят за столом, ужинают.

Мать Невесты наклонилась к уху свекра и сказала:

— Ну и жрать ты здоров, папаша!

Дед сморщился, переспросил:

— А?

— Кушаешь, говорю, много, куда к черту!

Старик обиделся, отодвинул тарелку.

За него вступился сын, Отец Невесты:

— Объел он тебя? — крикнул он на жену.

— А что я такое сказала? — в свою очередь обиделась Мать Невесты. — Пусть ест. Надо только меру знать.

Невеста крикнула на ухо Деду:

— Рубай, дедушка!

Старик придвинул тарелку и стал торопливо хлебать.

В это время по улице, направляясь в дом Невесты, прошла группа людей — семейство Жениха: сам Жених, его Мать, Отец. И с ними еще кто-то — Непонятно кто.

— А ту комнату я все равно перегорожу, и мы будем там жить! — кричал Жених.

— А шишок под носок хочешь? — спросил Отец.

— А я говорю: буду!

— А я говорю: нет!

— А я говорю: буду!

— А я говорю: нет!

— А где же он жить-то будет? — спросила мужа Мать Жениха. — Интересный ты тоже какой-то.

— Пусть где хочет, там и живет, — заявил Отец. — Когда я женился, мне отец тоже так сказал: «Как хошь, так и живи».

— Суд разберется, — значительно сказал Жених.

— Суд разберется, — согласился Отец.

Группа вошла в подъезд.

А в комнате между тем Мать Невесты рассказывала:

— Эта зараза сегодня и говорит мне на кухне: «Мне, — говорит, — кто-то керосину в суп подлил». А сама на меня смотрит. Я говорю: «Если ты, — говорю, — думаешь, что это я, так ты глубоко ошибаешься — не из таких. Нас, — говорю, — девять человек в семье росло, и все в люди вышли, а ты, говорю, одного...»

— Мамаша, а я видела, — сказала Невеста.

Дед тихонько засмеялся.

— Чего ты видела? — строго спросила Мать.

— Как ты керосин подливала.

Дед опять тихонько засмеялся. И все тихонько засмеялись. Мать Невесты тоже хихикнула.

— Я ей хотела туда мочалку положить, но пожалела мочалку, — призналась она.

В дверь постучали.

— Кого там еще черт несет, — проворчал Отец и пошел открывать.

В комнату вошел Жених со своим семейством. Поздоровались:

— Привет!

— Здравствуйте!

— Приятного аппетита!

— Здравствуйте.

Только двое промолчали: Дед и Непонятно кто. Непонятно кто стал осматриваться в комнате.

— Может, ужинать с нами? — спросила Мать Невесты.

— Благодарственны, — сказал Отец Жениха. — Мы по делу к вам.

— По какому такому делу? — спросил Отец Невесты, будто не понимая, в чем, собственно, это дело.

Отец Жениха с неудовольствием посмотрел на сына, вышел на середину комнаты и сказал:

— Ну вот, значит: у вас, мы слыхали, товар залежался, а у нас купец вот дурью мучается... Вопчем, надо их окрутить, и дело с концом. Как вы насчет жилплощади?

— Это вы не туда попали! — отрезала Мать Невесты.

— Как? — Отец Жениха посмотрел на сына; тот сделал ему знак рукой: «Туда. Она просто поломаться хочет». — Нет, мы туда попали. Мы «не туда» никогда не попадаем.

— Может, и туда, но товар у нас не залежался, — пояснила обиженным тоном Мать Невесты. — У нас в роду этого не было...

Тут не выдержала Невеста.

— Мама, ну чего ты? Прям-то, как эта... Это же обряд такой, — сказала она.

— А ты молчи! — прикрикнула на нее Мать. — Прижми хвост и помалкивай. Без тебя как-нибудь разберемся.

— Вы свататься, что ли, пришли? — нетерпеливо спросил Отец Невесты.

— Свататься.

— Так и говорите, а то крутют тут...

— А то ты не понимаешь! — ехидно сказал Отец Жениха.

Непонятно кто не обращал никакого внимания на сватовство. Он осмотрелся, подошел к старику, спросил:

— Шифонер не сами делали?

Дед не расслышал.

— А?

— Шифонер, говорю, не сами делали?

Дед посмотрел на шифоньер.

— Нет. Какого лешего я его сам буду делать?

— А чего эт ты к шифонеру приглядываешься? — спросил Отец Невесты, подозрительно глядя на незнакомого человека. Тот в это время внимательно разглядывал тумбочку. На вопрос не ответил.

Жених все время стоял у двери. Когда Мать Невесты сказала дочери: «Прижми хвост и помалкивай!» — он уставился на нее немигающими строгими глазами. Потом не вытерпел и сказал:

— Я дико извиняюсь, но вы, мамаша, тоже неправильно выражаетесь. Вы, например, сказали: «Прижми хвост». Я не согласен.

Мать Невесты приятно изумилась.

— Скажите, какой заступник выискался! Она еще пока моя дочь — как хочу, так и говорю с ней. Вот когда она будет твоя жена, тогда можешь мне затыкать рот.

Жених не почувствовал в словах будущей тещи доброго отношения к себе, глупо уперся.

— А я не согласен! Надо тоже выбирать выражения. Я вам тоже могу сказать: «Закройте поддувало». Вы тоже будете не согласны.

Мать Жениха и Отец Жениха засмеялись. Зато Мать Невесты и Отец Невесты нехорошо посерьезнели.

— Нет, почему, — сказал Отец Невесты, — я просто за такие слова в лоб дам разок, и все.

Жених снисходительно улыбнулся, а Невеста хихикнула.

— Папаша, — сказала она радостно, — он же перворазрядник по боксу. У него же удар — двести пятьдесят кило.

Отец Невесты прикусил язык.

— А тумбочки тоже не сами делали? — спросил Непонятно кто Деда.

— А?

— Тумбочки, говорю...

Дед посмотрел на тумбочки.

— Нет.

— Ну ладно, — сказал Отец Жениха, — это все пустые разговоры. Как у вас с жилплощадью? Только не тяните кота за хвост.

Тут неожиданно взорвался Дед.

— Это безобразие! — воскликнул он. — При чем тут жилплощадь, если они любют друг друга?

Все удивились.

— Ты что, чокнулся? — спросил Отец Невесты. — Или сорвался с одного места?

— Проснулся, — ядовито заметила Мать Невесты. — Чего ты лезешь не в свое дело? Твое место знаешь где?.. Сказать?

— Я правильно говорю. Сперва надо невесту спросить: согласна она или нет. Ты согласна, внучка, за этого дурака?

Жених опять снисходительно улыбнулся. Все, однако, посмотрели в сторону Невесты.

В этот момент как на грех вошла Соседка, стареющая дева. Зыркнула глазами туда-сюда и моментально сообразила, что здесь происходит.

— О, у вас гости? — сказала она улыбаясь. — Извините, пожалуйста, я только хотела утюга попросить. Катя, — к Невесте, — дай мне, пожалуйста, утюга.

Катя решила сыграть на Соседку, решила воздвигнуть на кухне небольшой нерукотворный памятник себе: решила убить Соседку.

— Я еще не знаю, — сказала она потупясь. — Я еще подумаю. Вообще-то мне еще рано замуж.

Все опешили. Повисла неловкая пауза.

— Да? — спросил Жених, — Может, нам лучше разойтись как в море корабли? Чтобы без трепа?..

Опять пауза. Момент тяжелый, противный.

— Катя, — заговорила Соседка. — Я насчет утюга... Извините, пожалуйста.

Никто на нее не обращал внимания. Кате и подавно было не до утюга. Дед поднялся, нашел утюг, подал Соседке. Та вышла. Непонятно кто остановил Деда и заговорил:

— Интересно, а этажерку...

— Пошел к черту! — разозлился старик. — Я не столяр! Я машинистом был — ту-ту!.. Понял?

— Что вы кричите? Я же не глухой, как некоторые тут...

— Нет, я хочу понять — в каком смысле надо понимать: «Мне еще рано замуж»? — спросил Жених.

— Да в таком самом... — Невеста поняла, что ужасно сглупила, растерялась.

— В каком «в таком самом»?

— Да в таком самом. И нечего ко мне приставать, — она чуть не плакала от отчаяния.

— Я все понял, — сказал Жених. — Пойдемте, родители.

— Посмешили людей и пошли? Так только комики делают, — сказала Мать Невесты.

— Я, может, пошутила, — попробовала выйти из положения Невеста. — Я, может, просто так сказала.

— Ничего тебе шуточки! — воскликнул Жених. — Я тоже могу сказать: «Мне еще рано жениться, я еще не нагулялся». Интересно, понравится тебе это? Не понравится, я больше чем уверен.

— Она не хотела так сказать, — сказала Мать Невесты.

— А как же она хотела сказать?! Я же не дурак, как намекает ваш глухарь, я же понимаю, как она сказала.

— Она — девушка и должна проявлять скромность, — встрял в неприятный разговор Отец Невесты. — Мало ли, что она согласна! Она должна говорить, что не согласна.

— Я только сказала: я подумаю.

— Знаете!.. — взревел Жених. — Знаем мы эти штучки! Сегодня — подумаю, а завтра — хаханьки с соседом. Знаем мы это. У меня один друг тоже женился: она ему на другой же день изменила.

— Ну и мы тоже кое-что знаем! — оживилась Невеста. — У одной моей подружки тоже муж сказал, что едет в командировку, а сам жил с нашей общей знакомой. Она их застукала. Так он набрался нахальства и говорит: «А мы, — говорит, — ничего, мы, — говорит, — письмо турецкому султану пишем...»

— Тоже — комик, — заметила Мать Невесты.

— А у меня товарищ был, — вспомнил Отец Невесты, — так что он выкинул: застукал тоже жену с хахалем и скинул его с четырнадцатого этажа.

— Разбился? — поинтересовался Непонятно кто.

— Хахаль-то? Конечно. С четырнадцатого этажа... Попробуй.

— А я этто иду вчера по улице, — заговорил Отец Жениха, — гляжу: муж колотит жену со всех сил. А у самого кулак — с детскую головку. Я ему говорю: «Что ж ты делаешь? Ты же можешь ей ребра сломать». А он мне отвечает: «Чем, — говорит, — меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Доцент какой-нибудь...

— У вас санузел объединенный? — спросил Непонятно кто у Отца Невесты.

— Объединенный, — ответил тот.

— Это плохо, — сказал Непонятно кто.

— Кому как, — Отец Невесты опять подозрительно посмотрел на незнакомца. — В тесноте, да не в обиде, говорят.

— А соседи как? Ничего?

— Ничего. Тимошка Соколов только буянит часто. Вот тут, через стенку, живет. С топором бегает, стекла бьет иногда... А вчера, например, явился домой в состоянии зеленого алкоголя. А семья, — ну, то есть, родные и знакомые, смотрели телевизор. Ну, он тоже стал смотреть. Посмотрел немного и говорит: «Таких плотников не бывает!» Его попросили привести себя в порядок. А он свое: «Таких плотников не бывает! Я, — говорит, — сам плотник — знаю! Это вранье все». Снял сапог с левой ноги и произвел удар по телевизору.

— Сколько дали? — спросил Непонятно кто.

— Пятнадцать суток. Я сам и отвел его в отделение. Критик ты, — говорю, — а не плотник.

— Какой телевизор? — спросил Непонятно кто.

— Обыкновенный телевизор.

— Они разные бывают.

— У них «Рекорд» был, — сказала Невеста.

— Самый плохой. А вот у вас, я смотрю, никакого телевизора нету.

— Телевизор — это одно беспокойство, — упрямо сказал Жених. — У одного моего друга тоже телевизор был... Смотрели как-то с соседями постановку про любовь. Свет, конечно, выключен. Ну, один сосед начал щупать жену друга. Они, значит, так сидели: она впереди, жена-то, а муж с соседями сзади. Ну, он начал ее поглаживать. Она говорит: «Это ты, Вася?» — мужа-то Васей звать. А Вася — ни сном, ни духом. «Чего?» — говорит. «Ничего», — это она-то, «Я, — говорит, — думала, это ты».

— Ая-яй! — сказала Мать Невесты.

— Ловко! — с восхищением заметил Отец Невесты.

— А, по мне, вот — хоть он есть, этот телевизор, хоть его нет — все равно, — сказала Невеста. — Я больше люблю в окно смотреть.

— Баловство одно от этих телевизоров, — согласилась Мать Невесты.

— Нет, иногда можно посмотреть, почему, — сказал Жених. — Совсем не смотреть телевизор — это тоже отсталость. Но зачем свет выключать?

— Да, это уж так, — поддакнула Мать Невесты. — Свет выключут — тут уж конечно...

— Да, тут уж только держись, это точно, — подкинул Отец Невесты.

— При свете-то, конечно, можно посмотреть, — поправилась Невеста, — я в этом смысле и сказала. Я в этом смысле ничего не имею против. У одной моей подружки тоже телевизор есть... Она, как видит меня, всегда говорит: «Почему ты никогда на телевизор не приходишь?» Я говорю: «Нет, смотрите уж сами». Она говорит: «Почему? Хоть, — говорит, — посмеемся». — «Нет, — говорю, — смотрите уж сами». А потому что я знаю, что они, когда смотрят телевизор, свет всегда выключают.

— «Посмеемся»! — возмутилась Мать Невесты. — «Приходи, хоть посмеемся»! Начнут все смеяться, так ты и не заметишь, как тебя общупают всю. И я всегда своей дочери говорила: «Никогда не смейся, доченька!» Она иной раз: «Мам, я в кино схожу». — «А чего, — говорю, — ты там не видела? Чего? Опять смеяться будете?»

— Нет, иногда можно посмеяться, почему. Если комедия какая-нибудь — пожалуйста, смейся. Для того и на афишах пишут: «Комедия», — Жених потихоньку наглел. — Я сам люблю комедии...

— В здоровом теле — здоровый дух, — согласился Отец Невесты. Чем больше наглел Жених, тем активнее заискивали перед ним Невеста, Отец Невесты, Мать: как ни крути, а замуж надо.

— А при чем тут тело? — строго спросил Жених.

— Я в том смысле, что я тоже кино уважаю.

— Надо бы выбирать выражения.

— Это правильно, конечно.

— Вообще-то, кино — это разврат, — сказал Жених. — Ты же берешь билет, ты же не знаешь, кто рядом с тобой сидеть будет. Бывает так, что сядет какая-нибудь фифочка... От нее духами и всякими... Тут не то что на экран, тут всякие мысли в голову лезут, хе-хе...

Все громко засмеялись. В дверь постучали.

— Можно! — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой скромный Гражданин с газетой в руках.

— Что случилось, соседушка? — миролюбиво спросил Отец Невесты.

— Нельзя ли потише, товарищи?

— У нас, видишь ли, ЧП — дочку замуж выдаем.

— Я понимаю, но все-таки... пожалуйста, а?

— Ладно.

Скромный Гражданин вышел.

— Кто это? — спросил Непонятно кто.

— Да бухгалтеришка один... Вредный, зараза! Мы тут на днях клопов морили керосином, ну, конечно, открыли дверь, чтобы запах в коридор выходил. Так он нарочно завязал голову полотенцем и ходит с полотенцем. «Голова, — говорит, — болит от вашего керосину».

— «От вашего керосину...» А сам, наверно, с похмелья мучился, — сердито сказала Мать Невесты.

— Закладывает? — спросил Непонятно кто.

— Да говорит, что у него желудок вырезан. А сам, наверно, пьет потихоньку. Кто нынче не пьет?

— Я сам на днях клюкнул с дружками в кафе — еле до дому добрался, — весело сказал Отец Невесты. — Спасибо, ребята-дружинники помогли.

— Если не буяните, почему не выпить? — вставила свое слово Мать Жениха. — Бывают буйные.

— Нет, он у нас спокойный, — не без одобрения сказала Мать Невесты.

Отец Невесты был явно польщен этим замечанием жены и стал хвастать:

— Я сразу — спать. Других тянет шататься где-нито, а я сразу домой — спать.

— Папа у нас, как напьется, так берет песенник и поет все песни подряд. И все на один мотив, — сказала Невеста, с любовью глядя на отца.

Довольный Отец засмеялся.

— Ну, ты уж скажешь, дочка.

— А что, неправда? Мама его ругает матом, а он себе поет.

— Хе-хе-хе... Нет, я действительно не понимаю таких: напьется — и вот начинает строить из себя! Правильно, что начали бороться с такими. Напился? — иди домой! И никто никогда тебе слова не скажет. Наоборот, будут в пример ставить.

— Если не буяните, то почему же, — опять сказала Мать Жениха и посмотрела на своего мужа.

— У меня отец-покойничек, царство ему небесное, дедушка Катин, — вспомнила Мать Невесты, — такой был. Душевный человек! Уж так пил, господи-батюшка!.. Один две поллитры усиживал. Но чтобы он кому-нибудь лишнее слово сказал или ругнулся на улице — никогда! Придет, бывало, — еле на ногах стоит, а сам все улыбается. «Вот и я», — говорит. Любили его все. Так от запоя и помер, сердешный.

— А я вот никогда не помню, что со мной бывает, — сказал Отец Жениха. — Проснешься утром и думаешь: «Что же вчерась было?»

— Это опасно, — авторитетно сказал Отец Невесты, — Так можно подзалететь. У нас на днях судили одного...

— А с моим другом тоже на днях история была, — заговорил Жених. — Пошел он с женой в гости к нашим общим знакомым, выпили тоже, завели радиолу, пошли танцевать. А он, друг-то, замечает, что у его жены что-то глаза блестят. Ну, притворился пьяным. Потом — раз на кухню: а там целует его жену наш общий знакомый. Свет, конечно, выключен.

— Ая-яй! — сказала Мать Невесты.

— Ловко! — воскликнул Отец Невесты.

— А он что? — спросил Непонятно кто. — Выкинул его?

— Кто?

— Муж-то?

— Он им ничего не сказал.

— !!!

— А когда они ушли из кухни, он взял им холодильник испортил и выпустил попугая из клетки. Совсем — в форточку.

— Ловко!

— Я вот не понимаю женщин, которые танцевать любят, — заговорила Невеста. — Что хорошего? Кружатся, кружатся — смотреть противно.

— Нет, иногда можно потанцевать, почему. Но вообще-то — это разврат, я по себе погонюсь: пойдешь с какой-нибудь фифочкой, а от нее духами всякими... Хе-хе...

Все опять громко засмеялись.

В дверь постучали.

— Можно! — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой человек с газетой.

— Товарищи, нельзя ли потише?

— Знаете что!.. — взорвалась Мать Невесты. — Идите лучше похмелитесь! Ходют тут алкоголики всякие!

Гражданин вытаращил на нее глаза.

— Вы что, спятили?

На Гражданина двинулся Отец Невесты.

— Как ты сказал? Я что-то не расслышал. Ну-ка, повтори еще...

Жених остановил его и вежливо сказал скромному Гражданину:

— Товарищ, я вас сейчас изуродую. Вот сюда достану разок... Оп!.. — он сделал выпад, пугая Гражданина.

Гражданин выбежал из комнаты. Все опять засмеялись.

— Вот так и надо с ними, — сказала Мать Невесты.

— До чего обнаглел народ! — возмутился Отец Невесты. — Это ж — не пройдешь по улице, чтобы тебе чего-нибудь не отдавили. Мне на днях все руки отдавили.

Непонятно кто вопросительно уставился на Отца Невесты.

— А я как-то иду по улице, — заговорил Отец Жениха, — ко мне подходят двое. «Давай, — говорят, — на троих?» Я говорю: «У меня денег нету». Так один мне сунул вот сюда кулаком и говорит: «Зазнался, сука».

— В таких случаях надо сразу вот сюда бить, — сказал Жених. Подошел к отцу, показал — под ложечку. — Вот так — р-раз!..

— Ой!

— У нас недавно случай был: приходим с другом в парк...

— Одну минуточку я перебью, — сказал Непонятно кто. — Я не понял, как это вам руки отдавили?

Отец Невесты оглушительно захохотал. И все, кто был в комнате, оглушительно захохотали и посмотрели на Непонятно кого, как на дурачка.

— А вот как! — воскликнул Отец Невесты, встал на четвереньки и пошел по комнате. — Идите ко мне.

Непонятно кто стоял на месте.

— Ну иди, иди, — подтолкнул его Жених.

Непонятно кто пошел к отцу Невесты.

— Вот я иду домой, — стал объяснять Отец Невесты, стоя на четвереньках. — Так? А ты — прохожий... Иди мимо меня. Иди!

— Зачем?

— Да иди, не бойся!

Непонятно кто пошел мимо него.

— Идешь, да? — спросил Отец Невесты.

— Иду.

— Теперь наступай мне на руку... Ну, наступай!

— А-а! — понял наконец Непонятно кто.

Все опять засмеялись. Отец Невесты встал, отряхнул колени.

— Вот так и отдавливают руки, молодой человек, — сказал он, снисходительно улыбаясь.

— Ну, приходите вы, значит, с другом в парк? — напомнила Невеста Жениху, заранее улыбаясь.

— Ну, приходим мы, значит, в парк, друг и говорит мне: «Тут, — говорит, — один тип есть, он у меня девушку отбил. Пойдем, — говорит, — потолкуем с ним, как жельтмены». Я ему как дал вот сюда, он двадцать семь минут в нокауте был.

— Ловко!

— Я только не поняла, кто в нокауте лежал: ваш друг или тот тип? — спросила Мать Невесты.

— Да тот тип, конечно, — воскликнула Невеста. — Мама скажет тоже...

— Тип, — подтвердил Жених. — Я ему в печень дал.

— Одну минуточку, я перебью: сколько у вас квартплата выходит? — спросил Непонятно кто.

— Пять с копейками, — ответил Отец Невесты.

— Продолжайте.

Но тут заговорил Отец Жениха.

— Ну, а как мы решим наше дело-то? — спросил он всех.

— Нет, я же ясно сказал: ничего не выйдет, — сказал Жених. — Мы разойдемся как в море корабли.

Минуты три все молчали, смотрели на Жениха.

— Я не люблю зря трепаться, — пояснил тот. — Я же сказал давеча: «Знаем мы эти штучки».

Дед тихонько засмеялся.

— Пошляк! — громко сказала Невеста и заплакала.

Отец Невесты, тоже чуть не плача от обиды и оскорбления, пошел снимать ружье.

— Ты боксер, да? Ты боксер? — снял ружье, взвел курок. — А я вас тогда дуплетом...

Первой, взвизгнув, бросилась из комнаты Мать Жениха, за ней — Отец Жениха. Потом выскочил Жених. Непонятно кто остался и, не обращая внимания на суматоху, стал мерить шагами комнату — считал метраж.

— А тебе чего тут надо?! — заорал Отец Невесты. — Ты кто такой?

— Я квартирант ихний, Лизунов Евгений Елизарович, — спокойно пояснил Непонятно кто. — Как вы насчет того, если мы поженимся с вашей дочкой?

Невеста неприлично разинула рот. Мать Невесты ущипнула себя за руку. Отец Невесты зачем-то посмотрел в дуло ружья и повесил ружье на стенку.

— Черт его знает, — сказал он. — Я что-то ничего не понимаю...

— Что ты не понимаешь?! — накинулась на него супруга. — Что тут непонятного, скажи, пожалуйста? Совсем уж одурел?..

Лизунов засмеялся.

— Это, знаете, бывает. По-научному — первая стадия.

— Закрой рот, — негромко сказала мать дочери. Потом обратилась с улыбкой к Лизунову: — Тонко же вы подъехали!.. Просто даже удивительно!

Лизунов снял пиджак, аккуратненько повесил его на спинку стула, стал закатывать рукава.

Жизнь, мамаша, сложная штука. Простите, ванночку можно принять? И мне бы махровое полотенце и детскую шампунь. Перхоть, знаете...

— Можно. Пойдемте, я покажу, — захлопотала Мать Невесты. — А ты, Катюша, собери пока на стол. А ты, отец, сбегай в магазин...

Лизунов пошел и запел:

Не брани меня, родная ..

Тут Волшебный человек взял у Пессимиста волшебную веточку и взмахнул ею. Стена дома сомкнулась.

— Ты не прав, Алик! — воскликнул Оптимист и стал взволнованно ходить возле скамейки. — И откуда в тебе это?! Откуда?

— Ка-ка-ка!.. — засмеялся Пессимист.

Волшебный человек между тем перевел свои волшебные часы назад на два часа и отдал веточку Оптимисту.

— Теперь ты. Время вернулось назад на два часа — событие то же: придут сватать Невесту. Покажи, как ты это видишь.

Оптимист махнул веточкой и сказал:

«Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи нам людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Эдуард, вижу».

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском раскололась.

Все так же, как мы уже видели, и все тем не менее не так. Люди те же, и вместе с тем совсем другие. И в комнате все как будто так же, да не так...

— Ну и любите вы покушать, папаша! — весело сказала Мать Невесты на ухо Деду.

— А?

— Аппетит, говорю, у вас отличный!

— Не жалуюсь, не жалуюсь. Бывало, в империалистическую на спор барана съедал. Зато и силенка была! Посажу бывало, трех неприятелей на штык — и через себя.

— Вы бы писали об этом, дедушка, — сказала Невеста. — У вас такая богатая жизнь.

— А я и пишу, внучка. Пишу книгу. Называться будет: «Руки вверх, неприятели!» Если хочешь, почитаю после ужина.

— С удовольствием послушаю, — согласилась Невеста.

— Кушайте, папаша, кушайте, — угощала его Мать Невесты. — Потом нам всем почитаете. Мы все с удовольствием послушаем.

По улице, направляясь в дом, проходит семейство Жениха, и с ними еще кто-то — Непонятно кто.

— Ну, рояль, холодильник, телевизор — это все забирайте, — говорил отец Жениха. — Вы — молодые, вам это нужно.

— Спасибо, отец! — с чувством сказал Жених. — Но я предпочитаю приобрести все на свои заработанные деньги.

Отец Жениха улыбнулся хорошей улыбкой.

— Понимаю — гордость! Вот таким я и хотел видеть своего сына.

Мать отвела сына в сторонку и сказала негромко:

— Отец хочет вам подержанную «Победу» купить на свои сбережения.

— «Победу»?!

— Тш!.. Только ни слова об этом. Он хочет сделать сюрприз.

Сын догнал Отца, обнял его и поцеловал в щеку.

— Что еще такое? — спросил Отец с мужской, доброй суровостью. — За что?

— За все, папа!

Мать Жениха и Непонятно кто идут сзади.

— Какой у вас замечательный сын! — сказал Непонятно кто.

Мать было всплакнула, но тут же вытерла слезы. Улыбнулась.

Вошли в подъезд.

А в комнате Мать Невесты рассказывала:

— Сегодня поссорилась с Марьей Николаевной.

— Что такое? — спросил муж. — Почему?

— Она говорит, что сегодня ее очередь оставаться с соседской девочкой, а я говорю — моя.

— Мама, но вы же вчера оставались с ней, — сказала дочь. — Марья Николаевна права.

— Да, но девочка ко мне привыкла, — стала оправдываться Мать. — Кроме того, мы с девочкой не дочитали повесть «Жилин и Костылин».

— Какая повесть! — сказал Дед. — Умел закручивать граф Толстой. А? Мастер, мастер. Биография только... того, а так — мастер.

— Мастер, — согласился Отец Невесты. — И что удивительно — все предельно просто и лапидарно!

— В том-то и штука. Я, например, в своей книге «Руки вверх, неприятели!» хочу тоже изложить события предельно простым языком. Но трудное это дело! Ох, трудное! Я пони-

маю Толстого с его «Не могу молчать!» Иной раз такое волнение охватит, думаешь: лучше бы я ему в морду дал, отрицательному герою какому-нибудь, хочется, извиняюсь, матом крыть, а приходится писать, что называется, кор-рэктно. Тьфу!.. слово-то какое-то...

— Когда вы думаете закончить книгу дедушка? — спросила Невеста.

— Думаю, что через пять лет закончу. Это будет мой скромный подарок грядущим поколениям.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Отец Невесты.

Вошло семейство Жениха.

Жених: — Добрый вечер!

Отец Жениха: — Здравствуйте!

Мать Жениха: — Добрый вечер! Приятного аппетита!

Непонятно кто: — Здравствуйте, товарищи!

Невеста: — Здравствуйте!

Отец Невесты: — Вечер добрый!

Мать Невесты: — Добро пожаловать!

Дед: — К нашему шалашу!

— Извините, что в такой поздний час, — заговорил Отец Жениха. — Но дело, как говорят, не терпит отлагательств.

— Пожалуйста! — воскликнул Отец Невесты. — Какие могут быть разговоры? Присаживайтесь с нами.

— Спасибо за приглашение: мы только что отужинали — и сразу сюда.

Жених и Невеста переглядываются. Невеста покраснела. Дед с этакой стариковской хитрецой наблюдает за молодыми.

— Так по какому же такому делу пожаловали, товарищи? — спросил Отец Невесты: он действительно не понимает, в чем дело.

— Пожаловали мы по весьма, так сказать, щекотливому делу, — заговорил Отец Жениха, заметно волнуясь. — Молодые люди — ваша дочь и мой сын, — оказывается, любят друг друга.

Отец Невесты очень удивился, а Мать Невесты не удивилась, но она тоже была заметно взволнована. А Дед улыбался хорошей стариковской улыбкой — хитрой и доброй. Невеста опустила глаза долу.

— Я со своей стороны серьезно и обстоятельно беседовал с сыном, — продолжал Отец Жениха. — Думаю, что к браку он готов.

Отец Невесты, заметно волнуясь, ходил по комнате.

— Ах, стрекоза!.. А я-то, старый дурак, живу и ничегошеньки не знаю. Я-то думаю, что она у нас все еще девчонка, а она вон что!.. Почему ты мне не сказала, что у тебя есть молодой человек и что вы хотите пожениться? Почему? Неужели я консерватор какой-нибудь?

— Папуля, мне было как-то стыдно об этом говорить. Я просто не знаю... Я знала, что вы не консерватор, и все равно... Мне и сейчас ужасно стыдно, товарищи... Просто не знаю, — Невеста тоже заметно взволнована.

— Как же так, дочка? Я удивлен, я тебе честно говорю. я удивлен. Не сказать отцу...

— Ну что ты к ней пристал, Микола, — вступился за внучку Дед. — Молодость диктует свои законы, которые нам не всегда дано понять. Ты тоже в свое время не сказал мне...

— Тогда было другое время, отец.

— Я бы хотел только обратить внимание молодых людей на тот факт, что женитьба — это очень и очень ответственный шаг, дети мои, — сказала Мать Невесты. — Я не против того, чтобы вы поженились. Я знала о том, что вы дружите... Мне обо всем рассказывали соседи и ваши учителя. Но вы не представляете, дети мои, насколько это серьезный и ответственный шаг, — она всплакнула.

— Успокойся, мать, — сказал Отец Невесты. — Жизнь есть жизнь: молодое растет, старое старится. А давно ли, кажется, мы с тобой стояли на перроне вокзала... Я уезжал тогда на Крайний Север... Ах, время, время! — Отец смахнул скупую слезу.

— Да, да... И мы тоже стояли когда-то на перроне вокзала, — Отец Жениха тоже смахнул скупую слезу.

Непонятно кто подошел к Деду и спросил:

— Я слышал, вы книжку пишете, дедушка?

— Пишу, молодой человек, пишу.

— «Воспоминания пожилого человека»?

— Ась?

— Я говорю, называться будет: «Воспоминания пожилого человека»?

— Плохо вы о нас думаете, молодой человек! — обиделся Дед. — Какие же мы пожилые?! Разве годы могут старить человека?

Непонятно кто смутился.

— Нет, я не в том смысле сказал... Я понимаю, что годы тут ни при чем.

— То-то! Я в свои семьдесят девять лет моложе иного восемнадцатилетнего. А почему? Да потому, что не отстаю от жизни. А вот некоторые... Ну-ка, молодые люди!.. — (это к отцам) — Чего захлюпали?! Выше голову! Грянем, братцы, уда-лу-ую!..

Все громко засмеялись.

Стук в дверь.

— Войдите, — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой Гражданин с энциклопедией в руках.

— Добрый вечер, товарищи!

Отец Невесты: — Здорово, сосед!

Мать Невесты: — Здравствуйте, Семен Кузьмич!

Дед: — К нашему шалашу, Кузьмич!

Невеста: — Здравствуйте, дядя Семен.

Отец Жениха: — Здравствуйте!

Мать Жениха: — Здравствуйте!

Жених: — Здравствуйте!

Непонятно кто: — Здравствуйте!

— А я слышу: у вас какое-то торжество! — дай, думаю, зайду, — сказал Гражданин.

— А вот они, виновники торжества! — сказал Отец Невесты и показал на Жениха и Невесту. — Моя дочь выходит замуж.

— Да что вы говорите! — изумился Гражданин. — Катюша, милая!.. Поздравляю тебя, дитя мое, поздравляю! — подошел, поцеловал Невесту в лоб. — А где же?.. Ага, вот он! — он строго, но вместе с тем любовно посмотрел на Жениха. — Ничего, ничего... хорош! А? Арсений Назарыч?.. Как находишь?

— Мне — лишь бы не отставал от жизни, — сказал Дед.

— Нет, хорош, хорош... Поздравляю, молодой человек, от души поздравляю! Вы, можно сказать, открыли клад.

— Э-э, что — клад, Семен Кузьмич, — упрекнул Гражданина Дед. — Что в наше время клад?

— Я просто к слову Арсений Назарыч. Нет, хорош... А ведь я Катюшу-то вот с каких лет знаю, когда она еще под стол пешком ходила, хе-хе-хе... Ах, где мои семнадцать лет!

— А вот этого я не люблю, Семен Кузьмич, — опять осадил его Дед. — Что это за вздохи?

— Я так, Арсений Назарыч, к слову. Нет, хорош! Так, молодые люди... одну минуточку. — Семен Кузьмич вышел с таинственным видом.

— Неисправимый человек! — усмехнулся Отец Невесты. — Сейчас что-нибудь принесет в подарок, уж я его знаю.

— Когда я еще была маленькой, — заговорила Невеста, — дядя Семен водил меня в планетарий, показывал на Луну и говорил: «Учтите, вы там будете». И плакал.

— Он у нас, как Циолковский, — вставил Отец Невесты. — Тоже, кстати, все чертит чего-то. Спросишь: «Чего ты изобретаешь-то все?» Он махнет рукой и скажет: «Так... мысли распирают».

— Но сдает последнее время, сдает, — заметил Дед.

Вошел Семен Кузьмич с телевизором в руках.

— Прошу принять от меня этот скромный подарок, молодые люди.

— Что вы, дядя Семен! — воскликнула Невеста.

— Что вы, Семен... э-э... Семен Кузьмич! — тоже воскликнул Жених.

— Прошу, прошу... И без церемоний — я этого не люблю. Иначе обижусь. Берите, мне тяжело держать.

Жених принял телевизор.

— Спасибо.

— На здоровье. Мне он на старости лет...

Дед погрозил Семену Кузьмичу пальцем.

— Кузьми-ич!..

— Молчу. Эх, грянем, братцы, удалу-ую!..

Дед подхватил:

— Эх, на поми-ин ее души!

Все громко засмеялись.

Семен Кузьмич посмотрел на часы.

— Хорошо с вами, дорогие мои, но дело есть дело: судим одного прохвоста товарищеским судом. Представляете, выкинул номер: обиделся, что его покритиковали на жилактиве за некультурное поведение в лифте, пришел домой,

включил везде свет — днем!.. Включил утюг, электроплитку и сидит.

— Позор! — сурово сказал Дед. — Выселить в необжитые районы.

— Мало того: он начал петь! Соседи, естественно, возмутились: попросили прекратить. И знаете, что он ответил? «Я, говорит, не знал, что в доме такая звукопроницаемость».

— А вот это уже нахальство, — сказал Отец Невесты. — Он не знал, что в доме такая звукопроницаемость! Наивный ребенок!

— В наше время многие под наив работают, — сказал Непонятно кто. — У нас в институте один парень тоже... «Я, — говорит, — не знаю, почему Ремарк — это плохо...»

— Пропесочить разок хорошенько — узнает, — посоветовал Дед.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Отец Невесты.

Вбежала Соседка, подруга Невесты.

— Боже мой!.. Катя!..

— Зина!..

Они обнялись.

— Катя!..

— Зина!..

— Катька!..

— Зинка!..

Семен Кузьмич засмеялся, махнул рукой и вышел.

— Ну, теперь разговорам конца не будет, — притворно рассердился Дед и повернулся к Непонятно кому. — А вы что, тоже пишете, молодой человек?

— Да.

— О чем, если не секрет?

— Вещь называется «Три товарища» — в пику Ремарку. Действуют три друга: Димка, Толик и Боб. Они сперва заблуждаются, потом находят себя. А потом я буду писать еще одну вещь — в пику Хемингуэю.

— Одобряю, — похвалил Дед. — Благословляю, так сказать. Нам надо раскладывать, надо бичевать, надо перетряхивать!.. Я, например, в своей книге «Руки вверх, неприятели!» перетряхиваю все на свете.

— Надо, надо.

— Итак, молодые люди, — заговорил Отец Невесты, — вы будете жить самостоятельно. Как вы себе это представляете? Я хочу спросить прежде всего вас, молодой человек.

Жених вышел на середину комнаты и заговорил, заметно волнуясь:

— Мне легко отвечать на этот вопрос, потому что я недавно отвечал на вопросы анкеты одной молодежной газеты — «Ваше мнение о семье и браке». Я подробно остановился там на духовном облике современной молодой семьи, на ее, так сказать, идейной подоплеке. Я высказал там одну, на мой взгляд, интересную мысль: современная молодая семья не может существовать без взаимопонимания и дружбы.

— Так, — Отец Невесты кивнул головой.

— Далее, я указал, что современная молодая семья не мыслится без взаимного уважения и доверия.

— Правильно.

— Вот эти четыре компонента, как три кита, составляют, на мой взгляд, основу основ современной молодой семьи.

— Так.

Жених вошел в раж.

— Я глубоко убежден, — говорил он звенящим голосом, — что, если даже только один из этих четырех компонентов перестанет соответствовать нормам современного общежития, молодая семья распадется. Я глубоко убежден также, что бракоразводный процесс в нашем законодательстве очень уж усложнен. Я могу навлечь на себя немилость леваков, могу показаться излишне тенденциозным, но я говорил и говорить буду, что объявлять в газетах о расторжении брака — это... альковное кощунство!

Все внимательно слушают расходившегося Жениха.

— Вы юрист? — спросил Отец Невесты.

— Я, так сказать, антиюрист, — Жених улыбнулся своей шутке. — Я филолог. Но дело тут, как вы сами понимаете, не в профессии. Меня глубоко волнует человеческая сторона этого вопроса. В самом деле, вы пришли с работы, приняли ванну, поужинали и ложитесь на диван. У вас отличное настроение. Вы берете газету и начинаете ее просматривать. Все хорошо. И вдруг: «Марья Иванна Загогулькина...»

Все громко засмеялись.

— «...возбуждает дело о расторжении брака с Загогулькиным».

Все опять громко засмеялись.

— Смешно? — спросил Жених. — Нет, грустно!!! Ты лежишь, тебе тепло, у тебя отличное настроение, а где-то плачет в пепел семейного счастья эта самая Загогулькина Марья Иванна...

Никто не смеется.

— Где-то пропадает хороший человек Загогулькин. Пропадает только потому, что вовремя не досмотрели, не проявили заботу! — в глазах Жениха горячие огоньки справедливого гнева. — Как же ты можешь лежать на диване, как ты можешь чувствовать себя хорошо, если где-то произошла драма! Нет, встань, найди этого самого Загогулькина, поговори с ним, узнай, в чем дело, а потом уж ложись. А до этого не смей лежать!!! Я кончил.

— Так их, молодой человек! — вскричал Дед. — И не бойтесь быть излишне тенденциозным! Слово-то какое-то тоже...

— Но ты впал в противоречие, Андж, — заметила Невеста.

— В какое?

— Если бы не было объявлений в газете, ты бы не узнал о драме.

— Ага! Ну-ка, ну-ка, — Дед от удовольствия потер ладони. — Люблю всякие пикники.

Жених снисходительно и с любовью посмотрел на Невесту.

— Я впал в противоречие только потому, что тебе этого хочется.

— Но если бы не было объявления в газете, ты не узнал бы о драме, и у тебя было бы хорошее настроение, — стояла на своем Невеста. У нее тоже загорелся в глазах огонек.

— Значит, по-твоему, не будь газеты, я бы не знал жизни? — спросил Жених.

Все с интересом наблюдают за молодыми, хорошо улыбаются.

— Я не утверждаю, что, не читая газет, ты бы не знал жизни — для этого существует кино, радио, телевидение. Я только хочу сказать, что ты бы не узнал о конкретной драме Загогулькина.

— Да я этого Загогулькина за два квартала узнаю! — воскликнул Жених. — Идет человек с грустными глазами — стоп! В чем дело, товарищ? Ну-ка выкладывай, не стесняйся — что там у вас случилось? И неважно, будет это Загогулькин или кто еще.

— Ты узнаешь, а другой не узнает. Нельзя всех мерить на свой аршин. Я знаю сколько угодно молодых людей, которые со спокойной совестью пройдут мимо Загогулькина.

— Во-от! — воскликнул Жених и показал пальцем на Невесту. — Вот мы и договорились!.. Вот с кем надо бороться — с равнодушными! Именно об этом я и хотел сказать, когда заговорил о бракоразводном процессе.

— Это все правильно, молодой человек, — сказал Дед. — Мне нравится ваша горячность, с какой вы отстаиваете свои убеждения. На мой взгляд, это несколько запальчиво, но с годами это уйдет. Вы станете спокойнее, и вам легче будет находить те единственно верные слова, которые проложат вам путь к счастливой жизни. Я хочу спросить о другом: как вы себе представляете другую сторону семейной жизни — материальную, так сказать?

Жених поморщился.

— Как-то не хочется об этом сегодня...

— Нет, уж вы скажите, — настаивал Дед. — Я понимаю, мой вопрос несколько коробит вас, но мы, люди пожилые, знаем, что над этим вопросом многие ломали головы.

— Ну, во-первых, у нас будет две комнаты, два телевизора... Кроме того — я открываю чужую тайну... — Жених радостно засмеялся и посмотрел в сторону своего отца. — Но я очень рад и потому скажу: папа покупает мне подержанную «Победу».

В комнате воцарилась зловещая тишина. Все презрительно и гневно смотрят на Жениха. Он медленно, с ужасом постигает, как низко он пал со своей ничтожной, глупой, неуместной радостью.

— Вон, — негромко сказал Дед.

— Так вот вы какой, оказывается, — тоже негромко сказал Отец Невесты. — Вас в этом мире волнует только «Победа»? Можете считать, что сегодня вы не победили. Я присоединяюсь к требованию моего отца — вон! И, думаю, моя дочь тоже к нам присоединится.

— Я присоединяюсь, папа... Я... я не знала, какой он на самом деле... — Невеста заплакала. — Когда мы с ним го-

ворили о семейной жизни, он говорил только о четырех компонентах. Он даже не заикался о «Победе». Он казался мне благородным, с превосходной подоплекой, а оказывается... оказывается, он вынашивал мысль о собственной «Победе»! Ничтожество! О, как я обманулась!

— Я сам только сегодня узнал, — вякнул было Жених.

— Не смейте! — Дед стукнул костылем в пол. — Не смейте ничего говорить! Если вы радуетесь по поводу того, что у вас будет своя «Победа», то радуйтесь еще больше, что вы в моем доме и я не могу вас отлупить вот этим костылем, потому что я бла-ародный человек! Можете идти в ресторан!

— Я потрясен, товарищи! — заговорил бледный Отец Жениха. — Мне трудно сейчас говорить... Я не узнаю своего сына... Я что-то просмотрел в нем в свое время — это несомненно. Я что-то главное не увидел в нем. Я действительно хотел купить ему «Победу». Но я никогда не думал, что вместе с «Победой» в нем подымет голову тот маленький собственник, которого он так искусно скрывал в себе. Я сам всю жизнь вот этими руками разливал газировку (показал руки), мне подчас было не до сына, я передоверил его воспитание бабушке — и вот результат.

Мать Жениха тоже заплакала.

— Андрюша, сынок... Сколько раз я тебе говорила: не водись с этими молодыми людьми, это плохая компания. Ты мне что говорил? «Мама, это хорошие люди, хоть они и артисты. Но это не вина их, а беда». Ты говорил...

Отец Жениха: — О-о!

Отец Невесты: — Все понятно.

Мать Невесты: — Ая-яй!

Дед: — ну, конечно!

Невеста: — Да-а!

Непонятно кто: — Да-а...

— А вместе с тем я знала, — продолжала Мать Жениха, — что один из этих молодых людей развелся с женой, у другого — выговор по общественной линии за грубость, с начальством... И сколько бы он ни говорил, что это несправедливый выговор, я не верила. Несправедливых выговоров не бывает...

Жених стоял белый, как бумага. Он посмотрел на Непонятно кого.

— Толик, скажи им, что это неплохие люди... Скажи хоть что-нибудь!

— Я не хочу с тобой говорить! — отрезал Толик. — Я больше тебе не друг. Ты только что говорил о борьбе с равнодушными — ты лгал! Ты не только не узнаешь Загогулькина, ты наедешь на него собственной «Победой». Ты раздавишь его! Подумай о том, что с тобой случилось сегодня, пойми, пока не поздно, что ты стоишь над пропастью во ржи! Ты говорил, что не надо объявлять расторгнутые браки в газетах, ты опять лгал: их давно не объявляют. Ты изолгался!

— Люди узнаются на крутых поворотах, — сурово сказал Дед. — Я не случайно заговорил о материальной, так сказать, стороне дела. Когда он говорил о четырех компонентах, в его словах чувствовалась какая-то неуверенность, он все время что-то недоговаривал. Меня не проведешь, молодой человек. Я раскусывал экземпляры посложнее, и мне жаль вашего отца и вашу мать: не велика радость иметь такого сына.

— Я осознал, товарищи, — жалко залепетал Жених. — Мне ужасно стыдно. Мне... я... Мне так трудно сейчас... — он сморщился, сдерживая невольные слезы... Махнул рукой и быстро вышел, не попрощавшись.

— Ничего, у него есть еще время стать настоящим человеком, — все так же сурово сказал Дед. — Помогите ему, не оставляйте сегодня его одного.

— Какой ужас! — простонал Отец Жениха. — Какой ужас!.. До свиданья!

— Вот до чего доводит дурная компания, — сказала Мать Жениха. — До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья.

— Всего хорошего, — сказал Дед. — Последите сегодня за ним. Уберите из его комнаты все ножи, вилки — вообще колющие предметы. Но особенно чернила — не допускайте, чтобы он писал упадочнические стихи.

Мать Жениха и Отец Жениха ушли. Тут на середину комнаты вышел Непонятно кто (Толик).

— Николай Арсеньевич, и вы, Анна Иванна, и вы, Арсений Назарыч... — голос Толика слегка дрожал. — Одним словом, я прошу руки вашей дочери и внучки. Извините за дерзость.

Мать Невесты: — Как?

Отец Невесты: — Как?

Дед: — Как?

— Я давно люблю Катю. Но я знал, что она дружит с этим... Я не хотел мешать их счастью.

— Это бла-ародно, молодой человек!

— Я на последнем курсе филологического факультета — изучаю язык древних арабов. Защищаю диплом и еду на Крайний Север. Многим это может показаться странным — зачем, мол? Я же убежден, что мое знание древнеарабского языка пригодится в суровой тундре.

— Ничего в этом странного нет! — воскликнул Дед. — Это бла-ародно.

— А пока я живу в общежитии, гол как сокол, за душой — ни копейки. Все — в будущем. Если вас это смущает, скажите сразу — я напишу на вас фельетон.

— Что вы! — воскликнул Отец Невесты. — Кого это может смущать?

— Но учтите, дети мои, семейная жизнь, да еще в условиях тундры... — Мать Невесты опять всплакнула.

— Браво, молодой человек! — опять воскликнул Дед. — Я когда-то так же начинал.

— Толик!.. Толька... — Невеста бросилась к Толику. — Я всегда за тебя голосовала!..

Волшебный человек взял веточку у Оптимиста, махнул ею — стена дома сомкнулась.

— Я затрудняюсь, молодые люди, — сказал он. — Вот что: у меня есть заместитель по оргвопросам, я попрошу его побеседовать с вами, он дока в этих делах. Потом мы решим, — и Волшебный человек исчез.

А Пессимист и Оптимист опять заспорили.

— Ты кретин, — сказал Пессимист.

— Нет, это ты кретин, — ответил Оптимист.

— Ты — восторженный конь!

— Подонок!

— Сейчас я тебя буду бить!

Тут они стали драться. Прибежали люди, разняли их. Пришел милиционер.

— В чем дело, граждане?

Оптимист показал на Пессимиста.

— Вот этот тип исказил картину жизни!

— Нет, это ты исказил!

— Нет, ты!

— Нет, ты!

Милиционер видит, что так они ни до чего не договорятся, хотел их взять с собой, но тут подскочил Некто, хромой и бойкий, и сказал, что он разберется.

Пришли в какое-то помещение.

Пессимист струсил, Оптимист — тоже: им не понравилось помещение.

— Посидите здесь пока, никуда не уходите, — сказал Некто, а сам ушел.

— Давай заключим пока мир, — предложил Пессимист.

— Давай, — согласился Оптимист.

— Что делать?

— Не знаю.

— Эх, ту бы волшебную веточку сюда! — вздохнул Пессимист.

— У меня есть один листочек от нее, — сказал Оптимист, — Когда старик дал мне веточку, я незаметно сорвал один.

— Давай его сюда, — взревел Пессимист.

— Ишь ты какой!

— Давай так: кого первого вызовут, тот возьмет с собой листок, — предложил Пессимист. — Нужно, чтобы нас там поняли. Без листочка не поймут. Давай?

— Давай, — согласился Оптимист. Он был великодушный малый.

Первого вызвали Пессимиста.

Оптимист незаметно сунул ему листок от волшебной веточки.

Едва только Пессимист ступил на порог кабинета, как в кабинете все помрачнело и Некто в один миг из доброго, расторопного превратился в какого-то свирепого Малюту Скуратова, нервного и внимательного.

— Говори, подонок, что случилось?! — рявкнул он. — Только не путай тут.

— Я высказывал свои взгляды на жизнь. Я убежден... Я утверждал...

— Короче!

— Я высказывал взгляды... Я утверждал...

— Короче!

— Я высказывал взгляды...

— Короче! Воруешь?

— Я бы попросил...

— Я тебе сейчас попрошу! — Некто встал, подошел к Пессимисту и начал его обыскивать. — Где нож?

— Нету.

— Где нож, я тебя спрашиваю?

— Нету.

Некто дал Пессимисту в челюсть.

— Где нож?

Пессимист заплакал.

— Я не ворую, я принадлежу к философской группе...

Некто внимательно посмотрел на Пессимиста, сел, приготовился писать.

— Чем занимается группа? В каком районе действует? Кто вожак? Отвечать быстро и точно.

— Я — мыслитель.

— В чем заключаются твои обязанности?

— Я думаю. Я как бы разрезаю действительность и вскрываю...

— Где нож?

— Я мысленно разрезаю!

Некто ткнул Пессимиста в живот.

— Где нож!

Пессимист опять заплакал.

— У меня нет ножа. Я головой разрезаю...

Некто стоит в недоумении.

— Ты не темни здесь! Ты меня путаешь!

— Честное слово! Я головой разрезаю, извилинами...

Некто сел, начал писать.

— Говори дальше. Все говори.

— Я считаю, что самый верный и быстрый способ познания жизни — это заставать ее врасплох, неожиданно... Это мой метод. Я бросаюсь на нее прыжкообразно и срываю всяческие покрывала...

Некто достал из ящика стола наган, положил рядом с собой.

— Дальше.

— Меня уже ничем не удивишь. В жизни действуют одни подлецы и мошенники. Хороших людей нет. Их выдумывают писатели, чтобы заработать хорошие деньги. Честных людей тоже нет. Все воруют, лгут и оскорбляют друг друга...

Некто встал, подошел к Пессимисту и... пожал ему руку

— Спасибо. Наконец-то я встретил настоящего человека. Извини, я принял тебя за вора. Говори дальше, я буду записывать каждое слово и вечерами читать.

— Самое мое любимое занятие — смотреть в чужие окна. И что же я там вижу?! Я вижу там одни свинцовые мерзости.

— Свинцовых мерзостей не бывает, — поправил Некто. — Бывают — пьяные. В нашем волшебном мире, например, много пьют.

— Кстати, что это за волшебный мир? Что вы там делаете? — поинтересовался Пессимист.

— Мы хотим жизнь превратить в сказку!

— Да?

— Да!

— Хотел бы я знать, как вы это болото превратите в сказку. Бульдозерами, что ли? Засыплете?

— Это не ваше собачье дело! — почему-то вдруг обозлился Некто. — Ваше дело...

Но тут Пессимист показал волшебный листик.

— Вы, забываетесь...

— Да, да... Извините, увлекся. Так на чем мы остановились?

— Что жизнь — болото.

— Болото. Кстати, вы не хотели бы пойти поучиться на волшебника?

— Зачем это? — удивился Пессимист.

— Видите ли, в той сказке, которую мы хотим создать, предполагаются... как бы это выразиться... представители темных сил, что ли.

— Баба Яга, Змей Горыныч?..

— Что-то вроде этого, только без той гадкой сущности, какую привыкли нести эти твари. Так вот, для подготовки этих персонажей...

— Нет, — твердо сказал Пессимист. — Я буду продолжать копаться в грязи, я буду выдумывать все новые и новые ком-

бинации отчаяния и грусти. Я никогда не поверю ни в какое светлое будущее...

Некто перестал записывать.

— Я это не пишу. Дальше.

— Хорошо. Но я буду смеяться над теми, кто поверит в светлое будущее. Вот так: «Ка-ка-ка!»

— Прелесть! Умница! Оскар!

— Какой Оскар?

— Ну, тот... в тюрьме-то, в Рэдингской, забыл фамилию...

— Вы бросьте, слушайте! — прикрикнул опять Пессимист.

— Я уже заткнулся.

— Нам и так-то не сладко, а вы еще с намеками тут...

— Какие намеки? Бросьте вы тоже...

— Не надо. Не надо! Не надо!! — Пессимист стал нервничать и подергиваться. — Не надо!! А то я дам в лоб мраморной пепельницей...

— Довольно, — сказал Некто. — Спасибо. Я слушал ваши слова, как музыку. Это что-то невероятное!.. Пишите книгу, молодой человек, пишите стихи, делайте что-нибудь, черт вас возьми, но не зарывайте ваш талант. Подождите в коридоре, мы потом еще поговорим.

Пессимист вышел из кабинета.

— Ну что? — спросил его Оптимист.

— Ажур. Мы поняли друг друга: я ему наговорил...

— Давай листик.

— На. Только не потеряй его. Смело гни свою линию: листик работает.

В кабинет вызвали Оптимиста. И едва только он вошел туда, как все вокруг посветлело. Некто преобразился. Это уже не Малюта Скуратов, и это не бойкий, нервный зам — это спокойный проницательный добряк, веселый и жизнерадостный.

— Садитесь, молодой человек, — вежливо предложил он. — Курите.

— Спасибо.

— Так что у вас там случилось?

— Я волнуюсь и не умею говорить, но я скажу. Я все скажу! — загорячился Оптимист.

— Скажите, скажите, — Некто добродушно улыбался.

— Я не только скажу, я просто не позволю, чтобы всякие нытики глумились над жизнью. Ведь жизнь — это... это как бы стометровка!

— Почему же стометровка! — возразил Некто. — Я бы сказал: жизнь — это рысистые испытания. Или лучше: бег с препятствиями. Препятствия, в смысле — трудности, еще имеются, молодой человек. Незначительные, конечно, пустяковые, но имеются. Итак?..

— А меня лично жизнь зовет, и я устремляюсь. И я лично не понимаю, о каких трудностях вы говорите!..

— Ну, ну... я пошутил просто. Какой горячий молодой человек! Уж и пошутить нельзя!

— Нельзя! Нельзя так шутить, вы понимаете?!

— Ну, а если, скажем, молодой человек или девушка едут в необжитые районы, в Сибирь, должны же им сказать, что их там, кроме всего прочего, ждут и трудности?

— Ни в коем случае! — воскликнул Оптимист. — Мы делаем великую глупость, когда предупреждаем об этом. Вот потому-то и видишь иной раз: человек едет в необжитый район, а задумчив. Почему, спрашивается? О чем задумался? Что ты оставил здесь, что давало бы тебе основания задумываться? Квартиру с удобствами? Родных и друзей?.. А там тебя ждет палатка! Там тебя ждут бураны, медведи, волки!.. Спрашивается: что же лучше? Что лучше: удобная квартира или палатка с медведем?

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Конечно, палатка с медведем лучше. Но ведь едут-то они туда строить дома с удобными квартирами. Это тоже нельзя забывать. Значит, медведь не вечен? — Некто поднял кверху палец, хитро прищурился.

— Медведь, к сожалению, не вечен, — согласился Оптимист. — Но это не должно нас смущать: кончатся трудности — мы их выдумаем!

— Это вы точно сказали. Это не в бровь, а в глаз.

— Я всегда говорю в глаз, хотя и не умею говорить и всегда волнуюсь. Да, так о чем мы? Ага, о юноше, который едет в необжитый район и сидит в вагоне задумчив.

— Нет, мы заговорили о медведе. И я хотел спросить вас в связи с этим: вот, скажем, вышли вы утром из палатки, а в десяти шагах стоит медведь. Бурый обыкновенный медведь средних размеров. Ваши действия?

Оптимист немного подумал.

— Песня! — воскликнул он. — Я запеваю бодрую песню и иду от палатки. Медведь слушает и идет за мной. Таким образом я увожу его от палатки, в которой спят мои товарищи, и они никогда не узнают, какая опасность подстерегала их в то утро. Я иду по тайге и пою. Медведь идет за мной, Я устаю идти, устаю петь, но я иду и пою. Потом я ползу и пою. Потом я перестаю ползти и петь. Медведь подходит ко мне, и я вижу в его звериных глазах восторг и удивление...

— Так, правильно. Еще один вопрос: вы идете с товарищем по тайге. Вы заблудились. У вас на исходе продукты. Вы все делите пополам и продолжаете идти...

— Стоп! — воскликнул Оптимист. — Во-первых, я не стану делить продукты пополам — я отдам товарищу все.

— Я знал, что вы так скажете. Поэтому еще один вопрос: а если ваш товарищ поступит точно так же?

— Тогда мы бросаем пищу и идем дальше.

— Правильно. Вас не поймаешь.

— Как-нибудь!

— Последний вопрос: вы выходите из тайги?

— Не-сом-нен-но!

— Вы готовы к трудностям, молодой человек!

— Потрогайте, — Оптимист дал потрогать свои бицепсы. Некто потрогал.

— Да, вы готовы к трудностям. В этом я еще и еще раз убеждаюсь.

— Я готов ко всяким трудностям.

— Значит, вы едете в Сибирь?

— Я повторяю: я готов ко всяким трудностям и лишениям, но у нас их нету. Палатка с медведем — это, сами понимаете, не трудность. Значит?..

Некто не догадывается, что — «значит».

Оптимист улыбнулся.

— Ну?.. Я готов к трудностям, но их нет, — значит?.. Логика, логика!

— Не могу догадаться, — Некто смутился.

Оптимист терпеливо объясняет:

— К трудностям я готов. Так? Но трудностей нет. Палатка, бураны и медведи не трудности. Значит?..

— Честное слово, не могу...

— Значит, я не еду в Сибирь! — громко и весело сказал Оптимист.

Оба искренне смеются.

— Браво, молодой человек! Двадцать копеек с меня. А в волшебники к нам не хотите пойти работать? У нас есть кое-какие трудности.

— Ваши трудности — это тоже не трудности, — сказал Оптимист. — Я их, кстати, не знаю и не хочу знать. Жизнь идет вперед. И как поезд идет мимо небольшого полустанка, не останавливаясь на нем, так жизнь грохочет мимо ваших, например, трудностей, не обращая на них внимания. Значит?..

Некто опять в затруднении.

Оптимист решил объяснить предметно.

— Вот полустанок — то есть ваши трудности, — положил на стол коробок спичек. — Так? Вот — жизнь... — хотел взять наган, но Некто смущенно убрал его. Оптимист взял протокол, свернул его в трубку. — Вот — жизнь, которая стремительно проносится мимо, — показал. — Теперь: я занимаюсь вашими трудностями... — ткнул в коробок пальцем. — А жизнь — смотрите! — грохочет мимо. Значит? Логика?..

— Не понимаю, — Некто опять в затруднении.

— Значит, я не иду к вам работать!

Опять весело рассмеялись.

— Ловко вы меня, — сказал Некто.

— Если я пойду к вам работать, значит, я останусь на полустанке, и жизнь будет грохотать мимо меня. Я же хочу все время устремляться вперед. И я устремляюсь.

— Стоп! Сейчас я угадаю вашу профессию, — сказал Некто.

— Не угадать.

— Угадаю!

— Ни за что!

Некто пристально посмотрел на Оптимиста.

— Летчик.

Оптимист покачал головой.

— Вы слишком буквально поняли устремление вперед. Летчик — это механическое устремление.

— Геолог!

— Геолог — это устремление вглубь, а не вперед.

— Преподаватель истории!
— Ну-у, это совсем не то. История — это...
— Нет, нет, это действительно не то. Сейчас, сейчас...
Оптимист улыбается, ждет.
— Ну?..
— Сейчас, сейчас... Поэт?
— Близко, но не то.
— Черт возьми! Сейчас, сейчас... Сутенер! То есть... Тьфу, черт... не то хотел сказать, извините, пожалуйста, — Некто покраснел.
— Ничего, — великодушно сказал Оптимист.
— Я хотел сказать — связист!
— Не то.
— Тогда не знаю. Пас.
— Вы взялись за непосильную задачу. Мою профессию определить невозможно.
— Почему?
— Потому что у меня нет никакой профессии.
Некто так и покатился.
— Ну ловко же вы меня!.. Ха-ха-ха!.. А что вы делаете?
— Ничего, в том-то и дело.
— Как?
— Так. Обычно лежу на диване или прохаживаюсь по улице.
— Но вы же сказали, что вы все время устремляетесь вперед!
— Да, я лежу и устремляюсь. Понимаете?
— ???
— Ну, лежу и одновременно устремляюсь вперед! Неужели вы себе не можете представить такого? Это после эйнштейновской-то теории?!
— Как-то трудно, знаете... Не могу, знаете, ощутить этого явления.
— Душой! Сердцем! Помыслами устремляюсь!
— А-а, вот теперь понял...
В этот момент окна кабинета сами собой распахнулись, ворвался с улицы вихрь, выхватил из рук Оптимиста волшебный листик и унес в окно.
— Так вы, значит, нигде не работаете? — строго спросил Некто. Он сделался пожилым, усталым.
— Нет.

— И не желаете работать?

— Работать — значит не устремляться вперед. Верно? Значит?..

— Попросите другого сюда, — распорядился Некто.

Но дверь сама открылась, и вошли Волшебный человек и Пессимист. Пессимист сразу зарычал на Оптимиста:

— Сороконожка!.. Где волшебный лист?! Сейчас я тебя буду бить...

Волшебный человек остановил его твердой рукой.

— Спокойно.

— Вы видели подонков, которые никуда не устремляются?! — вскричал Оптимист. — Вот один из них. Позвольте ваш наган, на минутку: я его кокну.

— Спокойно! — опять сказал Волшебный человек. — Сядьте. Лист у меня, больше вы его не получите.

— Но он же исказил картину жизни!

— Нет, это ты ее исказил!

— Спокойно! — еще раз сказал Волшебный человек. — А то я превращу вас в баранов, и мы с замом наделаем с вас шашлыков, — Волшебному человеку самому понравилась эта шутка, и он засмеялся: — Гы-гы-гы...

Пессимист и Оптимист не засмеялись.

Волшебный человек скрестил руки и долго ходил по кабинету. Он думал.

— Вы оба исказили картину жизни, — сказал он. — Вы оба ударились в крайность. А смысл в том, чтобы... — он опять погрузился в свои думы.

— В чем смысл? — спросил Оптимист. — А то я волнуюсь.

— Смысл в том, чтобы... Заманчивая идея, черт возьми! — Волшебный человек опять погрузился в думы.

— У вас туалет где? — негромко спросил его Оптимист.

— В коридор и налево. Побыстрей там, я сейчас буду изрекать смысл — нечто новое.

— Боитесь, что убегу? Принципиально не пойду. Я лучше здесь...

— В чем смысл? — нетерпеливо спросил Пессимист.

— Смысл в том, — торжественно заговорил Волшебный человек, — чтобы соединить обе эти точки зрения и в результате напряженного философского акта породить — третью! А? Заделаем?

— Как? — спросили все.

— Так. Я перевожу свои волшебные часы... Есть. Сватовство идет. Семейство Невесты такое, каким его видит наш Оптимист. Семейство Жениха — как видит Пессимист.

— Ура! — вскричали Пессимист и Оптимист. Взялись за руки и стали танцевать.

В этом мире — тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
Жизнь не стоит ничего!

ничего!
ничего!

— Вперед, шалунишки! — скомандовал Волшебный человек. — Все идемте. Мы увидим сейчас нечто новое.

А в это время в доме Невесты творилось что-то невероятное.

Дед читал Непонятно кому свою книгу:

— ...Тут я взял винтовку и шарахнул его. Голубые мозга свистнули на парапет и ухлюпами долго содрогались. В этот момент она вышла из комнаты и подняла свою гадючью головку, стараясь произвести обратное впечатление. Я заклацал затвором, чувствуя, что меня всего обволакивает. «Получай!» — сказал я и ее тоже шарахнул. «Гук! Гук! Гук!» — разнеслось по всем комнатам.

— Сколько метров? — спросил Непонятно кто.

— Где?

— Квартира?

— Не знаю.

— А чего же пишешь? Тумбочки лучше делай.

В другом углу Жених учил Отца Невесты боксу. Обмотал кулак полотенцем и показывал приемы.

— Крюк! — кричал разгоряченный Жених. — Опп!

Отец Невесты отлетел к стенке.

Отец Жениха повел его опять к окну.

— Удар, а?..

— Отличный удар. Вот я помню, когда уезжал на Крайний Север...

— Погоди ты со своим Севером! Становись.

— Вы полегче его, — сказала Мать Невесты. — А то сотрясение будет.

— Какое сотрясение! — воскликнул Отец Невесты. — Надо — значит, надо!

— Он мне один раз как засветил, — вспомнил Отец Жениха, — я неделю на кварц ходил. Ну-ка, сынок, как ты мне тогда?.. Ну-ка, ему тоже так!

— Прямой правой? — спросил важный Жених.

— Я не видел. У меня тогда искры из глаз посыпались.

Все засмеялись.

— Как образно! — сказала Невеста. — «Искры посыпались...» Какой все-таки русский язык!..

— Это — правой в лоб, снизу, — вспомнил Жених. — Это делается так... Нагни голову!

Отец Невесты послушно нагнул голову.

— Есть.

— Ниже.

— Есть.

— Следите за моей правой ногой... Вот что она делает... Удар пойдет оттуда.

Все замерли и следили за правой ногой Жениха. Он прыгал.

— Опп! — сказал Жених, и Отец Невесты полетел в угол.

— Все, нокаут, — сказал Жених.

Действительно, Отец Невесты не поднимался. Его стали приводить в чувство.

— Ты увлекся, Андж, — сказала Невеста.

— Если бы я увлекся, здесь бы давно уже никого не было. Мы один раз пошли с дружком к одним знакомым... А дружок с женой был. А там один фраер был. Ну, мы их застукали в туалете. Вот там я увлекся! Начали фраера в унитаз толкать, он не лезет...

— Принципиально не лезет или просто не может? — спросила Мать Невесты.

— Не хочет!

— А вы?

— Мы сняли с него костюм и пустили в одной шляпе. Он в два часа ночи голый когти рвал.

— Это же неэтично, Андж.

— Э? — спросил Жених.

— Неэтично...

— Зато — голый! И скорость приличная.

— Я понимаю твое увлечение скоростью, Андж, но согласись: голый человек в два часа ночи... Ты можешь возразить: а как же Высокое Возрождение?..

— Они не успели, — сказал Жених.

— То есть?

— Мы пришли раньше.

— Я говорю о Возрождении.

— Я тоже. Они не успели. Мы пришли раньше.

— При чем тут вы?

Жених посмотрел на Невесту как на дуру. Показал пальцем на лоб.

— У тебя что, замкнуло?

— Андж!!!

В это время в комнату вошли. Волшебный человек, Оптимист, Пессимист и Некто. На них никто не обратил внимания. Дед и Непонятно кто о чем-то спорили в своем углу. Невеста тоже что-то горячо доказывала. Жених возражал. Мать Жениха и Отец Жениха тоже заспорили с Матерью Невесты и Отцом Невесты.

— Он меня хотел изуродовать! — кричал Отец Невесты. — Это членовредительство!

— Членовредительство бывает не такое! — возражал Отец Жениха. — Он куда тебя шарахнул? По башке?..

— Я бы попросила!.. — тоже горячо заговорила Мать Невесты. — Я бы попросила выбирать выражения!

— Да?! — спросила Мать Жениха. — А мне кажется, что тут кое-кому надо закрыть поддувало! А то — сквозняк!

Отец Жениха взял Отца Невесты за грудки.

— А я тебе говорю: голова — это что?

— А что же это такое, по-вашему?

— Голова-то?

— Ну.

— Голова — это орган. А членовредительство — это... Пойдем к двери, я тебе покажу членовредительство!

— Не пойду!

— Пойдешь!..

Страсти разгорались.

Все говорили сразу, ничего нельзя было разобрать.

И в этот момент раздался громкий протяжный возглас:

— Полундра!.. — это Дед вскочил с места и забегал по комнате. — Где моя сабля?! Я его сейчас развалю на две половинки! У меня еще полно пороха в пороховницах!..

Непонятно кто бегал за Дедом и повторял:

— Сундук! Сундук!

— Атас! — вскричал Жених и стал снимать пиджак.

Отец Жениха тащил Отца Невесты к двери.

— Иде-ем! Счас узнаешь, что такое членовредительство! Счас я тебе объясню...

— Полундра-а! — кричал Дед.

Тут не выдержал Волшебный человек и решил вмешаться.

— В чем дело, дедушка? Почему вы так раздухарились?

— Он на меня говорит: «Сундук»!

— Слушай, — обратился Волшебный человек к Непонятно кому. — Почему ты на него говоришь «Сундук»?

— Потому что он не хочет делать тумбочки, — сурово сказал Непонятно кто.

— Я пишу книгу!

— Он пишет книгу...

Тут подошел Пессимист и засмеялся «под Мефистофеля»:

— Ка-ка-ка!

— Что, что тут смешного? — встрял Оптимист. — Продолжайте, дедушка, писать, не слушайте разных хлюпиков.

— В том-то и дело! Поэтому-то я и хочу развалить его на две половинки!

Тут к ним подошли Отец Жениха и Отец Невесты.

— У нас спор, — сказал Отец Невесты. — Что такое голова?

— Голова? — удивился Волшебный человек. — Голова — это... — он подумал, — это чердак. Я выражаюсь образно. Вот дедушка меня поймет.

— Я в своей книге «Руки вверх, неприятели!» называю голову — кумпол.

— А вот у нас тоже был случай, — подошел Жених. — Идем мы раз с другом к нашей общей знакомой, к нам подходят двое. Я как дал одному...

— В каком районе? — спросил его Некто.

— Запутать хочешь, да? — насторожился Жених. — Не на того нарвался.

— При чем тут сразу — «запутать»! — вмешался Волшебный человек. — Он просто поинтересовался...

— А ты закрой поддувало и не вякай. Я не с тобой разговариваю.

— Сынок, дай им всем снизу вверх под сорок пять градусов, — посоветовал Отец Жениху.

— Что-то я не вижу тут ничего нового, — сказал Пессимист.

Волшебный человек нахмурился.

— Молодой человек, разве можно так выражаться?

— Они вообще расхамились тут, — сказал Отец Невесты. — Дочка, дай ружье.

— Руки! — закричал Дед.

— Кто сказал — «руки»? — озверел Жених. — Кто? Вот этот нафталин? Внимание, сейчас будет — правой снизу в челюсть! Следите за ногами. — Он запрыгал перед Дедом.

— Сейчас он его изуродует, — радостно сказал Отец Жениха.

Все остановились возле Жениха и Деда и ждали.

— Следите за ногами, — предупредил Жених, — удар начнется оттуда.

Дед растерянно ждет.

— Он же убьет его! — сказала Мать Невесты.

— Не убьет, у нас бокс любительский, — заметил Оптимист. — Но челюсть может вылететь.

— Сынок, — заговорила Мать Жениха, — лучше левой в печень, чтобы он сразу загнулся.

— Правильно, — согласился Непонятно кто, — метраж будет свободнее. Все равно он не хочет тумбочки делать.

— Нет, лучше по голове...

— По голове не надо, — предупредил Дед. — Я не допишу книгу.

— Следите за ногами! — опять крикнул Жених.

— Сейчас он его...

— Дедушка, сколько вам было лет? — спросил Оптимист. — Я завтра статью о вас буду писать.

— Семьдесят восемь.

— Кошмар! Давно надо было...

— Что давно?

— Давно надо было полное собрание написать. На чем вы остановились в вашей книге?

— Как я попал в плен и измордовал неприятельского генерала.

Жених перестал прыгать. Все тоже удивились.

— В плену?

— Конечно. Он у меня двое суток пятый угол искал. Причем, что удивительно: он мне нарисовал карту земного шара и говорит: «Все, я больше ничего не знаю». Но этот номер ему не прошел...

— Следите за моими ногами! — вскричал опять Жених.

— В печень, сынок! В печень!

— Дочка, дай ружье!

— Держись, дедушка!

Все кричат, ничего не разобрать.

Дед громко запел:

А я еду, а я еду за туманами,
За туманом и за запахом тайги!

— Слушайте, прекратите это! — потребовал Некто у Волшебного человека. — Тут ничего невиданного нет.

Волшебный человек посмотрел на руку... — часов нет.

— Кто свистнул мои волшебные часы?!

— Следите за ногами!.. — орал Жених.

— В печень, сынок! В печень!

— Снизу вверх под сорок пять! Снизу вверх под сорок пять!

— Гоп со смыком — это буду я! Ха-ха!..

— Папаша, стреляй! Огонь, папа!

— Кто свистнул часы?!

А я еду, а я еду за туманами,
За туманом и за запахом тайги!

— Кто взял часы? Какая сволочь?

В этом мире — тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
Жизнь не стоит ничего!
ничего!
ничего! —

пели Оптимист и Пессимист.

— Огонь, папа!

Некто и Волшебный человек пытаются навести порядок, но не могут. Пошли в ход подушки, стулья.

— Снизу вверх под сорок пять!

В это время вошел Сосед.

Взял за воротник Волшебного человека, подвел к двери и дал ему пинка под зад.

Потом взял Пессимиста и выпроводил его таким же образом. И Оптимиста также. И Некто пошел следом.

Все замолчали. И смотрят друг на друга с недоумением.

— Теперь давайте так, как это бывает на самом деле, — с точки зрения нормальных людей.

* * *

— Проходите, товарищи, — сказал Отец Невесты, — садитесь, пожалуйста. Чем обязаны?

Гости (семейство Жениха) расселись, где кому удобно.

— Дело такое, — заговорил Отец Жениха, — пришли мы, как говорится, по весьма щекотливому делу: сватать вашу дочь. И решили целым семейством сразу: заодно и познакомимся. Не возражаете?

— Да ведь тут... как тут возразишь? — Отец Невесты засмеялся (нормально). — Кое-кто тут, надо полагать, раньше знаком. Что ж... просим к столу Мы, правда, не готовились, но как-нибудь выйдем из положения.

— Прошу дорогие гости, прошу, — сказала Мать Невесты.

— Э-э! — воскликнул Дед. — Так я еще и на свадьбе погуляю.

Все засмеялись и стали садиться за стол.

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ

Сатирическая повесть для театра

Жил-был на свете Аристарх Петрович Кузькин, и жила-была жена его, Вера Сергеевна... Впрочем, почему — жили, они и теперь живут, а это и есть рассказ про их жизнь: какая случилась с ними и с их друзьями непредвиденная печальная история. Обоим им под сорок, конкретные, жилистые люди; у Аристарха Петровича интеллигентная плешь, маленькие, сведенные к носу глаза, он большой демагог, не лишен честолюбия. Вера Сергеевна — тоже демагог; но нет того мастерства, изящества, как у Аристарха Петровича, она из рабочей семьи, но тоже очень честолюбива и обидчива. Он и она — из торговой сети, он даже что-то вроде заведующего, что ли, она — продавщица ювелирного магазина «Сапфир». Была у них трехкомнатная квартира. Все было бы хорошо, но... Про это «но» много уже рассуждали — да: НО... Аристархушка крепко пил.

И пил, собака, изобретательно.

ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕЗАМЕТНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НОЧЬ

Аристарх назвал гостей пять человек, заставили письменный стол шампанским, коньяком, икрой в баночках... В комнате у Аристарха накурено и шумно — что-то такое, кажется, обмывали, может быть, автомобильные покрышки, потому что в коридоре лежали автомобильные покрышки, пять штук.

Вера Сергеевна много боролась с пьянством мужа, обозлилась вконец и отрешилась. Сидела в своей комнате и смотрела телевизор, нарочно запустив его на полную громкость, чтобы хоть как-то помешать этим идиотам, которые шумели в комнате Аристарха.

Гости шумели.

— Ты ль меня, я ль тебя любить буду!.. — пел один, вовсе лысый; и все одно: «ты ль меня, я ль тебя...»

— Ну, полетели?! Вы, полетели?! — приставал ко всем курносый человек в очках и смеялся, и махал руками, как птица, и все звал: — Ну, полетели?!

— Рано, рано, — говорил Аристарх. — Тут еще полно всяких мошек.

Похоже, этот курносый хотел затеять какую-то знакомую игру, в перелетных птиц, что ли, но еще не все наклюкались. А один — с большим брюхом — не знал что это такое — «полетели». И тоже приставал ко всем:

— А куда полетели-то? А? Куда это лететь-то?

— На Кудыкину гору!

— Куда, куда?

— Туда!..

— Да он же не знает, чего ты озверел-то? — остановил Аристарх одного чернявого, который обозлился на этого, с брюхом.

— Ну, полетели же! — стонал курносый.

— Ну, полетели, — сказал Аристарх.

Присели на дорожку, налили по чарочке...

— Прощай, родина, — грустно сказал Аристарх. — Березки милые...

Курносый всерьез заплакал и замотал головой.

— Полянки... Простор...

Чернявый дал кулаком по столу.

— Не распускать нюни!..

— Инстинкт, — сказал один пожилой с простым лицом.

— Выпили на дорожку! — пригласил Аристарх.

Все выпили... Аристарх первый поднялся из-за стола, пошел, открыл дверь комнаты, вернулся и стал наизготове посреди комнаты.

— Я — вожак, — сказал он.

За «вожаком» выстроились остальные пятеро...

И они «полетели»... Они замахали руками, закурлыкали и мелкими шажками потянулись за «вожаком». Сделали

прощальный круг по комнате, «вылетели» в коридор, пролетели, курлыкая, через комнату Веры Сергеевны и очутились в третьей комнате, где был тоже стол и холодильник.

Они сели, печальные, за стол... А Аристарх доставал из холодильника коньяк.

— Далеко теперь наши березки, — сказал курносый; он уже опять готов был плакать.

— А я люблю избу! — громко и враждебно сказал человек с простым лицом. — Я вырос на полатях, и они у меня до сих пор — вот где! — он стукнул себя в грудь. — Обыкновенную русскую избу! И вы мне с вашими лифтами, с вашими холодильниками...

— А коньячок-то любишь — похолодней, — вставил чернявый.

— Он и в погребе будет холодный.

— В погребе он будет плесенью отдавать, — сказал брюхатый. — Ты попробуй поставь на недельку в погреб — потом выпей: плесенью будет отдавать.

— Сам ты плесень! — свирепел человек с простым лицом. — Свесил на коленки... По какому месяцу?

— Только... знаешь... не надо, — обиделся брюхатый.

— Не надо? Не надо и вякать, про чего не знаешь!

— Хватит вам, — хотел утихомирить Аристарх. — Это вечная тема...

— Вот в деревне-то у тебя не было бы такого брюха! Ты бы там не жрал на ночь бифштексы кровавые, боров, а утром не валялся бы до двенадцати...

— Ты!.. Жлоб! — прикрикнул брюхатый. — Ты грузишь тару — грузи дальше, а язык не распускай, а то на него наступить можно!

— Да хватит вам! — встрял опять Аристарх.

— Деревню он любит!.. — тоже очень обозлился брюхатый. — Чего ж ты не едешь в свою деревню? В свою избу?..

— У меня ее нету.

— А-а... трепачи. Писатель есть один — все в деревню зовет! А сам в четырехкомнатной квартире живет, паршивец! Я... — брюхатый ударил себя в пухлую грудь. — Я в коммунальной тогда жил, а он — в такой же — один...

— Как один? — не понял чернявый.

— Ну, с семьей!.. Но я — в коммунальной и никуда не призывал...

— Ему за это деньги хорошие платят, что призывает, — вставил курносый.

— Я его один раз в лифте прижал: чего ж ты, говорю, в деревню-то не едешь? А? Давай — покажи пример! А то — понаехало тут... не пройдешь. В автобусе не проедешь...

— Брюхо надо нормальное иметь, тогда и проедешь, — сказал человек с простым лицом. — А то отрастили тут... на самом деле, не проедешь. По какому месяцу, я тебя спрашиваю?

— Грузите бочки апельсинами! — огрызнулся брюхатый. — Избу он любит... Полати он любит... А дулю с маком любишь? Ну, и катись отсюда!

— Вот: я занимаюсь погрузкой, — показал свой кулак человек с простым лицом, — поэтому он у меня тренированный: разок двину, так у тя сразу выкидыш будет.

— Ну!.. — громко огорчился Аристарх, — прилетели в жаркие страны и давай тут... Мы же в жарких странах!

Все засмеялись.

— С прие... это — с прилетом! — воскликнул чернявый.

(Мы уж теперь так и будем называть их: чернявый — это Чернявый, брюхатый — Брюхатый, курносый — Курносый, лысый, который все песенки поет, — это Лысый, а человек с простым лицом будет, для краткости, — Простой человек).

— С приехалом! — поддержали Чернявого.

— С прилете́лом! — сострил Аристарх.

— А мне здесь не нравится, — заявил Лысый. — Вообще мне вся эта история с журавлями... не того... не очень. Давайте споем?

— Выпить же надо, — сказал Простой человек.

— Да, елочки!..

— Коньяк стоит, а мы...

— С прилете́лом! — еще раз громко сострил Аристарх. Выпили.

— Споем? — предложил опять Лысый. И запел:

Из-за острова на стрежень,
На просто-ор речной волны-ы...

Его поддержали Чернявый и Курносый.

Эх, выплыва-ают расписны-ые
Стеньки Ра-азина-а челны...

Но песня не сладилась — не вышла.

— Поехали обратно! — предложил Брюхатый. — Мне здесь тоже не нравится.

— Полетели?! — выкрикнул радостно Курносый. — К березкам!

— Я больше не полечу, — наотрез отказался Брюхатый. — Я поеду поездом.

— Идея! — закричал Лысый. — Едем поездом. Прихватим с собой на дорожку, будем на станциях выходить...

— Можно всю дорогу в вагон-ресторане просидеть, — предложил Простой человек. — Я раз из Воронежа ехал...

— Нет, нет!.. — кричал Лысый. — Нет, мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку...

— Можно с собой взять...

— Не надо! — Лысый воодушевился и сильно кричал. — Не надо! Зачем? Мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку...

— Можно сразу... Слушай суда! — закричал тоже Простой человек. — Мы — сяли, поклали чемоданы — и в вагон-ресторан...

— Да иди ты со своим вагон-рестораном! — оборвал его Брюхатый. — Дай сказать человеку. Когда это ты в вагон-ресторане сидел?

— Я не сидел! — гордо сказал Простой человек. — Я там ночевал!

— Мы нормально сядем в поезд, — продолжал Лысый, — выпьем на дорожку...

— Ты только один в вагон-ресторанах сидишь, да? — Простого человека задело за живое, что Брюхатый ему не верит.

— Так, дальше? — слушал Брюхатый Лысого. — Выпили на дорожку?..

— Выпили на дорожку, малость проехали — у нас пересадка!

— Где пересадка?

— А вон в этой комнате, — показал Лысый на комнату, где сидела Вера Сергеевна. — Мы ее счас развеселим!

— По вагона-ам! — скомандовал Брюхатый. — Берите с собой на дорожку, а то пять минут осталось!

— А на посошок-то? Э-э!.. — напомнил Чернявый.

— Давайте быстрее! Быстрее, быстрее. — Брюхатый посмотрел на часы. — Четыре минуты осталось.

Тут все оживились, засмеялись, задвигались... Стали скоренько разливать коньяк по рюмкам.

— Скорей, скорей, — суетился Брюхатый. — А то опоздаем.

— Успеем. Он не точно отходит...

— На ходу запрыгнем.

— Ты-то запрыгнешь, а некоторые... могут родить на рельсах, — это Простой человек все кусал Брюхатого. Тот снисходительно посмотрел на него.

— Я предлагаю вот этого... жлоба не брать с собой, — сказал он. — Он напьется, и нас из-за него в милицию заберут.

— Ничего! — кричал Лысый. — Дернули!

Выпили.

И «побежали на поезд». На этот раз в голове строя стал Брюхатый и запыхтел, и даже ногой подстукивал.

— Пх-х, пх-х, пх-х... Ну, сели?

— Сели.

— Ту-ту-у!.. — тонко и выразительно «загудел» Брюхатый и медленно стронулся с места. И «поехали»...

«Выехали» в комнату Веры Сергеевны... Брюхатый стал «замедлять ход» и опять тонко, с какой-то даже тоской «прогудел»: — Ту-ту-у!..

Вера Сергеевна с ненавистью смотрела на «поезд».

— Пересадка! — объявил Брюхатый.

«Пассажиры» вышли из вагона... Расселись кто где смог: кто на тахту присел, кто на кресло... Простой человек сел на полу прямо.

— Много народу на вокзале, — сказал он.

— Вы давно сидите, гражданка? — любезно обратился Аристарх к Вере Сергеевне.

— Нет, я недавно. А вот вам... не знаю, сколько сидеть придется, — как-то значительно сказала Вера Сергеевна.

«Пассажиры» переглянулись.

— То есть? — не понял Аристарх.

— Я эти... путешествия с выпивками пресеку раз и навсегда, — опять зло и непонятно сказала Вера Сергеевна. — Вы у меня подудите... Подудите у меня, паразиты.

— Что, контролеры пришли? — испуганно спросил Простой человек с пола. — А у нас билеты-то есть?

Брюхатый засмеялся и хлопнул одобрительно по плечу Простого человека.

— Да это так — пугают, — сказал Чернявый. — Гражданочка, а вы что, билет не можете достать?

Вера Сергеевна больше не смотрела на «пассажиров», а смотрела телевизор.

— Ну, а почему же сразу — «паразиты»? — оскорбился Аристарх.

— А кто же вы? — повернулась Вера Сергеевна. И зло смотрела на мужа. — Ну — спекулянты, если не паразиты: еще хуже.

— Гражданочка, — опять заговорил Чернявый весело, — вы нас с кем-то спутали: мы обыкновенные пассажиры... Едем на свои денежки.

— Вот и проезжайте. А потом вас повезут бесплатно.

— Куда это? — тоже зло спросил Аристарх. — Куда это нас бесплатно повезут?.. — он двинулся было к жене, но его остановил Брюхатый.

— Стоп, Аристархушка! — сказал он разумно. — Никаких скандалов на перроне... Нам действительно пора ехать. По вагонам! — опять скомандовал он.

И все опять со смехом построились в затылок друг другу, Брюхатый опять «загудел» — и «поехали» в комнату Аристарха. А в комнате рассыпались и стали занимать места за столом.

— Хоть нормально посидим в ресторане, — пожаловался Лысый. — А то все — в дороге и в дороге... Все всухомятку как попало...

— Что будем заказывать? — обратился ко всем Чернявый.

— Лично я, — сказал Простой человек, — выпил бы простой водочки. А?

Брюхатый интеллигентно скосоротился на это.

— Пусть пьет водку. А нам, пожалуйста, шампанского...

— И коньячку, — подсказал Курносый. — На меня шампанское, как пиво работает: я то и дело бегаю.

— Итак, — подвел Аристарх, перебросив полотенце с одной руки на другую, — коньяк, шампанское... Водки, извините, не держим.

— Ну, как же так — не держите?! — возмутился Брюхатый. — А если человек на полатях вырос?.. Что ему, ваш коньяк пить?

— Ерша ему! — подсказал Курносый.

А Вера Сергеевна в это время выключила телевизор, достала бумагу, ручку... И села писать.

И дальше, — если вообразить, что это на сцене, — можно услышать, что она пишет. Причем уже слабо слышно, как там «сидят в ресторане» наши «пассажиры», а отчетливо слышен голос Веры Сергеевны:

«Уважаемый товарищ прокурор!

В то время, когда все наши люди занимаются производительностью труда, есть отдельные элементы, которые только хотят есть и пить. И занимаются этим каждый день. Вы меня спросите: на какие деньги? Я вам отвечу: они занимаются спекуляцией. Я уже не могу слушать их пьяные голоса, меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, а потом по всей ночи курлыкают или изображают из себя пассажиров...»

«Пассажиры» в это время танцевали летку-енку.

«Вот сейчас, когда я пишу Вам это заявление, они танцуют летку-енку. А в коридоре лежат покрышки для «Волги» в количестве пять штук. Вы думаете, где они их взяли? Они их сымпровизировали. Так что, я думаю, что при вашей помощи они станцуют более ответственный танец и поедут пассажирами на казенный счет, я им об этом намекнула. Они мой намек не поняли, только понял мой муж Аристарх, но он думает, что я только пугаю. А у меня уже всякое терпение мое лопнуло: мы перестали уважать друг друга, потому что, мне кажется, он импровизирует не только с покрышками, но и с чужими женщинами...»

УТРО

Утром Аристархушка проснулся с больной головой... Потянулся к стулу, где был всегда заготовлен стакан с водой. Стакан стоял на месте, а под стаканом — бумага. Аристарх взял бумагу и прочитал:

— Копия...

И побежал глазами по бумаге... И, даже еще не дочитав всего, вскочил и побежал в комнату жены.

Вера Сергеевна, одетая, заслышав его шаги, направилась к выходу... И тут ее перехватил Аристарх.

— Ты что? — спросил он.

— Что? — спросила Вера Сергеевна. Она стояла с сумочкой и сумочку держала у груди.

— Ты куда?

— Туда...

— Куда это туда? — спросил Аристарх зло, сквозь зубы. — Куда это туда?

— Ударить хочешь? — спросила Вера Сергеевна спокойно. — Ударь — получишь лишних три года.

— Вера... — Аристарх растерялся. — Сядь... Давай сядем, поговорим. В чем дело?

Вера стояла в шубке, а Аристарх в нижнем белье... Аристарх был жалок рядом с каракулевой шубкой.

— Давай сядем, — суетился Аристарх. — Сядь же ты!.. Скотина.

— Пусти!

— Вера!.. Прости — ну вылетело. Сядь, я прошу.

— От этого ничего не изменится, — Вера Сергеевна села на диван, на краешек.

— В чем дело? — спросил Аристарх. Подставил стул к двери и сел тоже. — Что случилось?

— Мне надоело! — закричала Вера Сергеевна. — Мне надоела ваша пьяная самодеятельность! Я тебе не служанка!..

— При чем тут служанка? Ну, повеселились... Что, пошутить нельзя?

— С кем ты позавчера шутил! У тебя весь пиджак был в пудре! С кем?!

— Да мало ли... в автобусе прислонился...

— В автобусе?! А вот эту записку ты тоже в автобусе нашел? — Вера Сергеевна достала из сумочки записку и прочитала: — *«Аристарх, голубь, а не пора ли нам бросить этот официоз — и мирно, полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке?..»*

— Это деловое письмо! — вскричал Аристарх. — Дай сюда!

— Да? Шиш! — Вера Сергеевна спрятала записку в сумочку. — Развратник. Спекулянт. Я те покажу — голубь!

— Да это мужчина писал, дура! Это однокурсник мой...

— Однокурсник? А почему же подпись — «Соня»?

— Псевдоним! Мы его в институте так дразнили.

— А почему «твоя Соня»?

Аристарх опять растерялся... И от растерянности больше обозлился.

— Плебейка, — сказал он зло и тихо. — Что, я тебя должен утонченному стилю обучать? Если люди шутят, то шутят — до конца. Если он подписался «Соня», то он последовательно написал «твоя». Твоя — это значит твой.

— Твой Соня?

— Что, врезать что ли? Врежу...

— Попробуй. Так тебе — лет восемь дадут, а так — одиннадцать.

— Ну, чумичка!.. — занервничал Аристарх. — В чем дело-то? Чего ты взбесилась-то?

— Я все там написала.

— Так. И куда ты сейчас?

— К прокурору.

— Сегодня воскресенье.

— Я в почтовый ящик брошу.

Аристарх побледнел... И долго стоял над Верой Сергеевной.

— Я — спекулянт? — спросил он дрожащим голосом.

— Спекулянт, — сказала Вера Сергеевна.

— Я ворую у государства деньги?

— Воруешь у государства деньги.

— Снимай все с себя! — приказал Аристарх. — Снимай, снимай!.. Это все куплено на ворованные деньги, — Аристарх стал снимать с жены шубку, дорогой костюм. — Это все воровано — чего ты напялила? Снимай!

— Пожалуйста! На!.. На, ворюга!..

— Все снимай! Твоего тут ничего нету!

— Что я, голая к прокурору пойду?

— Голая! — Аристарх изловчился, вырвал у Веры Сергеевны сумочку заглянул — там ли заявление: заявление было там. Он достал из сумочки ключи, закрыл квартиру изнутри и ушел с сумочкой и с шубой в свою комнату. И сел к телефону. Дрожащим пальцем набрал номер. — Але? Семеныч? — и Аристарх заговорил негромко и торопливо. — Слушай, срочно ко мне... Да нет! Моя швабра накатала на

нас телегу и собралась к прокурору... — Аристарх долго молчал, слушал. — Иди ты к черту! — сказал он. — Созвонись со всеми... давайте как-нибудь все... прощения, что ли, попросим. Уговорим ее как-нибудь. Мне эта Сонька еще подлянку кинула: записку в карман подсунула, я даже не знал... А я знаю? Из-за Вальки, наверно. Давайте. Срочно.

Аристарх бросил трубку, минутку посидел, подумал, оделся, выпил фужер шампанского и пошел с шубой жены и с ее костюмом к ней в комнату.

Вера Сергеевна лежала в нижнем белье на диване.

— Одевайся, Вера, — сказал он миролюбиво. — Давай спокойно поговорим обо всем.

Вера Сергеевна стала надевать костюм, а Аристарх заходил по комнате, как преподаватель вуза.

— Во-первых, — начал он, — ты думаешь, государство наше такое глупое?

— Я об этом не писала. Нечего мне тут...

— Я тебе прочитаю курс экономики! — воскликнул Аристарх. — Чтоб ты не бегала и не смешила прокурора. И прокурор твой, и все, кто всерьез занимается экономикой, прекрасно знают, что — воруют. Больше того, какой-то процент, кажется пятнадцать процентов, государственного бюджета отводится специально — под во-ров-ство. Не удивляйся и не делай детские глаза. Всякое развитое общество живет инициативой... энергичных людей. Но так как у нас — равенство, то мне официально не могут платить зарплату в три раза больше, чем, например, этому вчерашнему жлобу, который грузит бочки. Но чем же тогда возместить за мою энергию? За мою инициативу? Чем? Ведь все же знают, что у меня в магазине всегда все есть — я умею работать! Какое же мне за это вознаграждение? Никакого. Все знают, что я — украду. То есть те деньги, которые я, грубо говоря, украл, — это и есть мои премиальные. Поняла? Это — мое, это мне дают по негласному экономическому закону...

— А сколько тебе дадут по гласному закону?

— Дура!.. — сорвался на крик Аристарх. — Ты думаешь, меня посадят? Ни-ког-да! Посадят — это, значит, я там буду канавы рыть? Но у меня же — голова, и твой прокурор это знает. Прокурор знает, что общество должно жить полнокровной жизнью, моя голова здесь нужна, я здесь нужен, а не канавы рыть. Вот они — покрышки лежат, — показал

Аристарх в коридор. — Пять штук. Лежат? Лежат — ты можешь подойти и пощупать их: они есть, — Аристарх остановил свой вузовский ход и торжественно поднял руку. — Но их нету! Их нигде нету, их не сделали на заводе. Их не су-ще-ствует. А они — лежат, пять штук, друг на друге. Это и называется: экономический феномен. Попробуй... без специальной подготовки, без головы!.. Попробуй это сделать. Да как только прокурор обнаружит, например, эти покрышки, которых никто никогда не делал, он сразу поймет, с кем он имеет дело. И ты останешься с носом. Ну, разумеется, тебя поблагодарят, наговорят слов... А мне, я так думаю, предложат какое-нибудь повышение, пошлют куда-нибудь. Ведь не хватает же умных людей-то, не хватает. Где их набраться-то? Ну, окончил он свой вузишко, ну — с дипломом... А что дальше? А дальше ничего: еле-еле будет на восемьдесят процентов тянуть. А то я не знаю таких! Так что ты... поторопилась с этим своим заявлением, Верунчик, — Аристарх подсел к жене. — У нас вчера была самодеятельность... Согласен, самодеятельность, но это от избытка... я не знаю — чувств, что ли, ну расшалились... Может же художник... артист какой-нибудь там... в бассейне в бане кильку ловить и закусывать, ну а почему мы журавлей не можем изобразить? Нет, там, видите ли, понятно, а тут... Да, самодеятельность, но у тебя с этим заявлением — это, прости меня, безграмотность, это на уровне дворничихи. Мне даже стыдно, что ты моя жена.

Вот этого Аристарху не следовало говорить. Он уж и понял это, но поздно.

— Прекрасно, — сказала Вера Сергеевна, — иди к своей Сонечке, она твою голову ценит, а мне дай сюда ключ. Дай ключ! Я сделаю свое дело... Твою голову оценит прокурор. И не пудри мне мозги своими... своей экономикой: будешь канавы рыть как миленький. Шалунишка... Энергичный? Там энергичные тоже требуются. Канавы тоже надо энергично рыть.

Аристарх свирепо уставился на супругу.

— Лахудра, — сказал он весьма грязно, не по-вузовски. — Раздевайся! Этого костюма тоже не шили на фабрике — чего ты его напялила? И шубу не смей трогать: этих баранов, — показал он на каракулевую шубу, — никогда не было на свете. Чумичка в каракуле!.. Не пойдет. Я ей мозги пудрю!.. Да

я тебе элементарно хотел объяснить, что определенная прослойка людей и должна жить... с выдумкой, более развязно, я бы сказал, не испытывать ни в чем затруднений. Нет, эта чумичка предлагает мне рыть канавы! Сэн-кью! — Аристарх забрал шубу, костюм жены и ушел в свою комнату.

ДВА ЧАСА СПУСТЯ

Все вчерашние «пассажиры» собрались у Аристарха. Нет только Простого человека — его не позвали.

Аристарх ходил в волнении по комнате, несколько театрально заламывал руки и повторял:

— Как, как эту дуру образумить? Как?

— Как ты с ней говорил-то? — спросил озабоченно Брюхатый.

— Всяко!.. Даже развивал мысль, что нация... должна иметь своих представителей... людей с повышенной энергией, надо же возбуждать фантазию всех органов государства, иначе будет застой...

— Аристофан, мать твою!.. — заругался Брюхатый. — Мысли он развивал! Оскорблял, нет?

— А что, молиться на нее, на дуру?

— На карачках!.. Вот так вот ползать будешь! — воскликнул Брюхатый. И с досады даже показал, как ползают. — Вот так будешь, а не мысли развивать. Мысли он развивал! Пока ты их будешь развивать, мы уже будем... — Брюхатый сложил пальцы решеткой. — Я тебя вижу, ты меня — нет. Пойду сам...

Брюхатый одернул пиджак, сделал губы трубочкой, подумал... И пошел.

Постучал интеллигентно казанком в дверь комнаты Веры Сергеевны и сладким голосом сказал:

— Вера Сергеевна!.. Можно ваше одиночество нарушить?

— Ну? — откликнулась Вера Сергеевна; она по-прежнему лежала на диване, но не в костюме, а в платье.

— Здравствуйте, Вера Сергеевна! — приветствовал ее, появляясь в дверях, Брюхатый. Он улыбался.

— Здравствуйте, — с неким вызовом сказала Вера Сергеевна.

— Позвольте присесть?

— Что, опять куда-нибудь едете? Пересадка?

Брюхатый снисходительно посмеялся и махнул жирной рукой.

— Ну, уж... вы прямо в обиду! Хотел как раз попросить извинения за вчерашнее. Сильно шумели?

— Шумели-то, это бы еще ничего...

— А что такое? — встревожился Брюхатый. — Выражался кто-нибудь?

— И это бы ничего... Это я слышала.

— Ну, а что же мы такое вчера сделали?

— Да вы не только вчера, вы давно этим занимаетесь.

— Чем?

— Воруете. Спекулируете.

Брюхатый долго, скорбно, но в то же время как-то мудро молчал, глядя в пол. Потом поднял голову.

— Эх, Вера Сергеевна, Вера Сергеевна... Посадить хотите?

— Хочу посадить.

— А я уж сидел! — почему-то весело сказал Брюхатый. — Сидел. Четыре года и восемь месяцев.

— Ну, еще разок посидите.

— А хотите, расскажу, как это было?.. Нет, я не про подробности дела, а про... судьбу, так сказать, человеческую. Случай-то у нас, если можно так выразиться, аналогичный: жена посадила. Не то что прямо пошла и заявила, а... когда надо было... как бы это вам... В общем, когда надо было сказать «нет», она сказала «да», — Брюхатый обрел отеческий, снисходительный, ласковый даже тон в голосе. Смотрел на Веру Сергеевну, как на дочь. — А прожили мы с ней — ни много, ни мало — четырнадцать годков. И когда я уходил, я ей внима-ательно посмотрел в глаза, внимательно, внимательно. И говорю: «Прощай, Клава. Не скучай, — говорю, — тут без меня... Даст бог, увидимся когда-нибудь, ну а если уж не приведет бог, то, — говорю, — не поминай лихом. У меня, — говорю, — зла на тебя нету, прости и ты меня, если был когда виноватый перед тобой, невнимательный там, сгрубил когда. Я, — говорю, — старался всегда сделать для тебя что-нибудь полезное, ну, может, не всегда умел». Так я ей сказал. Она, значит, в слезы... А у меня вот тут вот закаменело — смотрю на нее... Ну, в общем, отсидел я свои годки — не досидел даже, вел себя примерно — вышел. Вы-

я вас до дома подвезу, я только не знаю, где вы теперь живете». Хотел так сострить, но душа не повернулась. Сто метров не подвезу. Она, видите ли, «иначе не могла», а я тоже не могу: шлепай дальше со своей авоськой.

— Слушайте, не надо, — попросила Вера Сергеевна. — Не надо: я же знаю, к чему вы это все. Не надо, умоляю.

Брюхатый встал.

— Да я ведь... что же... я ведь так: эпизоды. Смотрите, вам виднее. Конечно, порыв к прокурору — это красиво, руку будут жать, соседи скажут: «Какая молодец!» Но в душе подумают, — поверьте моему слову, я жизнь повидал, — в душе подумают: «Вот дура-то!» Вы вот телевизор любите смотреть: вот пусть вам там про жизнь расскажут, пусть расскажут... Смотрите, конечно, телевизор, книжки поучительные читайте, но мои слова тоже не забудьте. Так, на всякий случай...

Брюхатый вышел. Он сам растрогался от своих слов.

В комнате Аристарха его молча ждали «пассажиры».

— Ну!.. — Брюхатый погрозил пальцем Аристарху. — Если она все же посадит нас... — он замолчал и слезливо заморгал глазами. И даже головой закрутил и показал на себя, и воскликнул сквозь слезы: — Куда я такой поеду? Я в воронок не влезу! Не мог с женой уладить!.. Купил бы ей... не знаю, чертика с рогами — забавляйся. Нет, он ей про государственные органы!.. Подожди, ты с имя еще будешь иметь дело, будешь. Она вон насмерть стоит, слюной исходит — посадить охота.

«Пассажиры» подавленно молчали.

Вдруг Курносый снялся с места и пошел к Вере Сергеевне.

— Вы, я вижу, оба умники! В гробу я вас видал с вашими теориями!.. С вашим опытом.

Он открыл дверь в комнату Веры Сергеевны и тут же, в дверях, опустился, на четвереньки... И пошел так к дивану, где лежала Вера Сергеевна с книжкой.

— Пусть они как хотят, а я вот так буду. Не вставайте, умоляю вас, — сказал Курносый, — так и лежите: я буду так разговаривать.

— В чем дело?! — Вера Сергеевна все же чуть привстала.

— Я человек тоже энергичный, как треплется ваш муж, — быстро заговорил Курносый не поднимаясь, — но я не та-

шел — и к своей Клаве. «Здравствуй, — говорю, — Клава! Вот — дал бог, свиделись». И так это улыбаюсь — изображаю радость. Она, значит, тоже обрадовалась, опять в слезы... И — было на шею мне. Я говорю: «Стоп, Клавдия Михайловна: семафор закрыт. Проезда нету. Извините, — говорю, — Клавдия Михайловна, дальше нам не по пути: разъезд». Она — туда-сюда — мол, я иначе не могла... Все! — Брюхатый это «все» сказал очень жестко. И прямо посмотрел на Веру Сергеевну. — Все, милая!

— К чему это вы? — спросила Вера Сергеевна.

— А просто!.. Случай-то — аналогичный. Но это не конец! Конец тут тоже немаловажную роль играет. Я ей все отдаю... Все отдал! Квартиру, тряпки — все! А за четырнадцать-то лет мы же нажили кое-чего — все отдал! Бери! У тебя будет квартира, туфли, платья... А у меня — голова. Он вот тут перед вами хвастался, что у него — голова, — показал Брюхатый на комнату Аристарха, — а не надо этим хвастаться, не надо. Есть она — есть, нет ее — ничего не сделаешь. Это ведь тоже, как деньги: или они есть, или их нету. Верно? Все бери! А со мной все мое богатство — тут! — Брюхатый ударил себя кулаком в лоб. — Хвастать не буду но... прожить сумею. И что мы имеем на сегодняшний день? Она: выскочила замуж, разошлась; тот у ней половину площади оттяпал — он для того и расписывался... Тряпочки-шляпочки потихоньку в комиссионку ушли — ша! Как у нас там говорили: кругом шешнадцать. Я: имею трехкомнатную квартиру, — Брюхатый стал загибать пальцы, — дачу, «Волгу», гараж... У меня жена, Валентина, на семнадцать лет моложе меня. Но я опять же не хвастаюсь, но таковы, как говорится, факты. От них никуда не денешься.

— Вы пугаете, что ли, меня?

— Да господь с вами! Пугаю... Просто рассказываю про... некоторые эпизоды своей жизни. Теперь спросите меня: что я потерял за эти четыре года и восемь месяцев? Что? А ничего. Даже не похудел. А особенно, когда вышел, прямо в дверь не стал пролезать. Счас веду переговоры насчет института питания — надо маленько сбросить, а то даже неудобно. А что потеряла моя Клавдия Михайловна? Все. Год назад встретил — с авоськой из магазина кондехает. А я на «Волге» еду. Думаю, подвезти, что ли? Даже остановился... Подвезу, думаю. Скажу: «Клавдия Михайловна, позвольте,

кой упорный долдон, как они: я прошу пощады. Не говорите!.. Дайте я скажу, потом — казните или милуйте. Я тоже замешан в этой... в этих... Но у меня двое маленьких детей, мать с отцом престарелые... Они не вынесут. Жена тоже не вынесет. Вы сразу уложите пятерых. Я, может быть, не такой энергичный, как эти... про себя информируют везде, но я очень конкретный, Вера Сергеевна. И я немножко внимательней их... Я же вижу Вера Сергеевна: вы скучаете. Не надо, не надо говорить! — Курносый вскочил с четверенек, побежал, закрыл дверь, подбежал и стал опять на колени перед диваном. — Но вы же — красивая! Как вы можете скучать! Это нельзя. Теперь слушайте меня внимательно: я не знаю, чего там у них было, у Аристарха с Сонькой, но он какие-то движения делал... По-моему, она тоже хотела его обаять. Но я не ручаюсь: дошло у них до этого или нет. Не знаю. Но я знаю, что он движения делал... в ресторане несколько раз сидели. Я знаю, что он вас сегодня оскорблял. Вера Сергеевна!.. — Курносый приложил умоляюще руку к сердцу. — Только не удивляйтесь и не пугайтесь фальшиво... то есть это, я хочу сказать, что я конкретный и деловой человек, и всякие деловые тайны умирают вместе со мной: давайте наставим ему рога. Не говорите, не надо — дайте я все скажу! Чего тут удивляться-то? Чего глаза-то делать? Это жизнь, Вера Сергеевна, жизнь. За Соньку, за его оскорбления!.. Как он может оскорблять!.. Он спекулянт-то не крупный, он — так: середнячишка, щипач. Как он может оскорблять? Вместо того чтобы... Нет, у меня в голове не укладывается! Давайте наставим ему рога. Хотите, я сам этим займусь, хотите... Только не надо, не говорите: дайте я все скажу. Поймите меня: говорю это, спасая свою шкуру. Мне это сто лет не надо, я коньяк больше люблю, но... Вера Сергеевна, сидеть, сидеть неохота! Хотите, сам займусь, а если не подхожу, у меня есть один артист знакомый. Красавец! Под два метра ростом, нос, как у Потемкина... Ну, все, все при нем, я, мужчина, любуюсь на него. Он даже своим режиссерам рога ставит. А ему гараж позарез нужен: я договорюсь с ним. Вера Сергеевна, можно же так жизнь украсить!.. И на него, — Курносый показал на комнату Аристарха, — на него-то злости не будет! Это уже проверено. Мир будет в доме, у кого хотите спросите. Вот спросите у своих подружек,

которые рога мужьям наставляют: ведь позавидовать можно, как они живут. Моя мне тоже, по-моему, ставит, потому что ласковая со мной... Я человек откровенный, я вам все говорю. Не обижайтесь на меня, а поймите: мне сильно сидеть неохота. Хотите, я вам завтра фотографию этого артиста покажу?.. Глаз не оторвете! Ну, Потемкин и Потемкин, собака! Он сам рассказывал, но, по-моему, малость врет: к нам одну шпионку заслали, а ее надо было расколоть — ну, то есть, разузнать у нее побольше, так, говорит, его подослали, он познакомился и... доложил начальству, что задание выполнил. А? Ведь жизнь совсем другая будет!..

— Вон! — вскричала Вера Сергеевна, как графиня. — Вон отсюда!.. Сволочи! Совсем уж?..

— Да ну, что совсем? Что совсем?.. — бормотал Курносый, поднимаясь. — Что совсем-то? Чего тут кричать-то? Я дело предлагаю, верняк же предлагаю... Вы подумайте, а мне только намекните...

— Во-он! — пуще прежнего заблажила Вера Сергеевна.

— Ну-у... орать будем, да? Что за люди!.. — Курносый пошел из комнаты. Подошел к двери, вдруг резко обернулся и, грозя Вере Сергеевне пальцем, громко, зло и уверенно сказал: — Но сидеть я не буду! Понятно? Пусть Аристарх сидит, если ему хочется, а я сидеть не буду!

— Будешь, — сказала Вера Сергеевна. — Еще как будешь-то.

Курносый с этим боевым, невесть откуда слетевшим на него настроением вошел в комнату, где сидели все «пассажиры». И им тоже всем погрозил пальцем и сказал твердо и зло:

— Сидеть я все равно не буду, учтите! Вы можете садиться, а я не хочу. Поняли?!

— Ты что, с гвоздя сорвался? — спросил Аристарх. — Чего ты?

— Ничего! Пить надо меньше! — закричал Курносый на Аристарха. — Тогда жена будет любить... и сажать не будет. Импортанто!.. Садись тут... по милости всяких... Не буду сидеть! Не буду сидеть!

— Это уже психоз начинается, — сказал Лысый. — Неужели с одной бабенкой ничего сделать не можете?

— Она нас из-за Соньки вон   его всех закатает! все нервничал Курносый. — Нашел с кем — с Сонькой...

— В том-то и дело, что — не нашел! — тоже стал нервничать Аристарх. — Она мне со злости записку в карман сунула, чтобы эта нашла.

— Ну, так и объясни ей, — сказал Лысый. — Я, мол, не захотел флиртовать, она обозлилась...

— Так она и поверила!

— Ну а что же делать-то?! — теперь уж и Лысый закричал. — Что, так и поведут всех туда, как телят?

— Почему покрышки-то до сих пор здесь?! — закричал и Чернявый на всех, но особенно на Аристарха.

— А куда их теперь?! — закричал и Аристарх на всех, но особенно на Чернявого. — Сейчас прикажешь выносить?

— Вчера надо было!

— Вчера!.. Вчера мы в жаркие страны улетали, — горько съязвил Аристарх.

«Пассажиры» явно нервничали... И не знали, что делать.

Вера Сергеевна, пристроив на коленях книгу, делала вид, что читает. Она была довольна, она догадывалась, что вчерашние нахальные «пассажиры» сейчас боятся и нервничают.

— Так, — сказал Лысый, — если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к ней... с уголовным кодексом. Посмотрим, что там за крепость. Где ее тряпки? — спросил он Аристарха.

— Зачем? — не понял тот.

— Дай-ка сюда... — он взял шубку Веры Сергеевны, костюм и пошел к ней в комнату.

— С вашего позволения! — явился он вполне официально, с шубой и костюмом на руке. — Позвольте присесть?

— Разрешаю — садитесь, — со скрытым значением сказала Вера Сергеевна, полулежа на диване.

Лысый разгадал скрытое значение в этом ее «садитесь». Он внимательно и серьезно посмотрел на женщину, помолчал... И сказал:

— Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина, — сказал он вполне бесцветным голосом.

— Как это? — не поняла Вера Сергеевна.

— Вы с уголовным кодексом знакомы? — в свою очередь спросил Лысый.

— Приблизительно... А вы что, юрист?

— Я не юрист, но с уголовным кодексом знаком, — неопределенно сказал Лысый. А дальше он спросил вполне определенно: — Это ваши вещи?

— Мои.

— Вы их купили?

— Мне их... купил муж.

— Сколько ваш муж получает?

— Какое ваше дело?

— Это не ответ, — Лысый отлично «вел дело»: спокойно, точно, корректно. — Сколько эта шуба стоит?

— Какое ваше дело?!

— Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина, — еще раз отчетливо сказал Лысый. — Вы прекрасно знали, что эти вещи — не по карману вашему мужу: он их «сымпровизировал», как вы пишете прокурору. Почему же вы про покрышки пишете, а про шубу, про костюм... — Лысый мельком оглядел довольно богато обставленную комнату — а про все остальное не пишете. Здесь все ворованное, — Лысый сделал широкий жест рукой по комнате. — И вы это прекрасно знаете. Вы пользовались ворованным... И молчали. За это по статье...

— Здесь все мое! — вскричала Вера Сергеевна гневно, но и встревоженно.

— Ваша зарплата? — вежливо осведомился Лысый.

— Не ваше дело.

— Сто десять рублей, нам это прекрасно известно. Прикиньте на глаз стоимость всего этого хрусталя, этого гарнитура, этих ковров...

— Вы меня не запугаете!

— А я вас не пугаю. Это вы нас пугаете прокурором. А я просто вношу ясность: сидеть будем вместе. Не в одной колонии, разумеется, но в одно время. Причем учтите: из всей этой гопкомпании мне корячиться меньше всех, я не с перепугу влетел к вам, а зашел, жалея вас, вы еще молодая.

Вера Сергеевна что-то соображала... И сообразила.

— Все это, — сказала она и тоже повела рукой по комнате, — мое: мне папа с мамой дали деньги. Пусть Аристарх докажет, что это он купил...

— Лапочка, — сказал Лысый почти нежно, — тут и доказывать нечего: вот эту «Рамону» (гарнитур югославский) доставал ему я: я потерял на этом триста целковых, но зато он мне достал четыре дубленки: мне, жене, дочери и зятю — по нормальной цене.

— А чего же вы говорите, что вам меньше всех корячиться? Наберем! — весело сказала Вера Сергеевна. — Всем наберем помаленьку! А вы думаете, Аристарх будет доказывать, что это он все покупал? Да вы все в рот воды наберете. Вам за покрышки-то, дай бог, поровну разделить на каждого. Пришел тут... на испуг брать. Вы вон сперва за них получите! — Вера Сергеевна показала в сторону коридора, где лежали покрышки. — Там их — пять штук: за каждую — пять лет: пятью пять — двадцать пять. Двадцать пять лет на всех. Что, мало?

Эта «арифметика» явно расстроила Лысого, хоть он изо всех сил не показывал этого.

— Примитивное решение вопроса, гражданочка. Сколько получают ваши папа с мамой?

— Мои папа с мамой всю жизнь работали... а я у них — единственная дочь.

— Неубедительно, — сказал Лысый. Но и у него это вышло тоже неубедительно. Он проиграл «процесс», это было совершенно очевидно. Но он не сдавал тона. — Аристарх, — продолжал он снисходительно, — конечно, не захочет говорить, что все это купил он, да... Но ведь там-то, — показал Лысый пальцем вверх, — тоже не дураки сидят: скажет! Там умеют... И папаша ваш, если он потомственный рабочий, — что он, врать станет? Да он на первом же допросе... гражданскую войну вспомнит, вспомнит, как он с белогвардейцами сражался. Не надо, не надо, гражданка Кузькина, строить иллюзий. Возьмите это... — Лысый встал и положил на валик дивана шубу и костюм. — Поносите пока.

И Лысый вышел.

А в комнате, где «пассажиры», о чем-то оживленно договаривались. На Лысого посмотрели... но тут же и утратили всякую надежду. Не очень-то, видно, и надеялись.

— Чего вы тут?

— Инсценируем счас ее убийство, — сказал Курносый, хихикнув. — Надо такого ей страху нагнать!.. Так ее, дуру, напугать, чтобы она... на диван сделала.

Аристарх что-то быстро писал, склонившись к столу.

— Как это? — не мог понять Лысый.

— Сделаем вид, что мы ее счас укокошим. Изрубим на куски, а вечером — по одному — всю вынесем в хозяйственных сумках.

— А он чего пишет?

— Полное ее отречение: «Ничего не видела, ничего не знаю». А? Я придумал. Или она подписывает это, или секир башка. Надо только все на полном серьезе! — предупредил Курносый. — Лично я зашиб бы ее без всякой инсценировки, — добавил он, помолчав.

— Все, — сказал Аристарх, поднимаясь. — Пошли. Вооружайтесь чем-нибудь пострашней... Все делаем, как на самом деле.

— Все на полном серьезе!

— А заорет? — спросил Лысый.

— Ори. Кругом никого нету, все на сдаче норм ГТО, она это знает, — сказал Аристарх.

Стали вооружаться: Курносый взял большой кухонный нож. Брюхатый выбрал тяжелый подсвечник...

— Я, как Юсупов, — сообщил он в связи с этим. — Они Распутина подсвечником добивали.

Аристарх взял топорик, которым рубят мясо, а Чернявый взял... подушку.

— А это-то зачем? — спросил Брюхатый.

— А я ей вроде рот буду затыкать.

— А-а.

А Лысый не взял ничего. Он пояснил так:

— А я буду бегать вокруг вас и умолять: «Братцы, может, не надо? Братцы, может, она одумается?»

Все это одобрили.

— Это хорошо.

— Правильно... А то все явимся, как в этой... мульти-пульти такой есть...

— Никакой оперетты! — еще раз предупредил Аристарх. — Она ж тоже... не совсем дура.

— Во, комедию отломаем! — воскликнул Курносый и опять хихикнул.

— А ее инфаркт не хватит раньше времени? — вдруг спросил всех Брюхатый.

Все на мгновение замерли...

— А?

— Инфаркт?

— Инфаркт... Нормальный инфаркт миокарда. Или — инсульт.

— Да ну!.. — сказал Лысый. — Она из рабочей семьи, у нее отец на гражданской...

— Как, Аристарх?

— А черт ее!.. Не знаю.

— Ну, а если хватит? Ну и что? — спросил Курносый. И посмотрел на Аристарха. — Ну, допустим, хватит?

— Пошли, — сказал Аристарх жестко. — Она всех нас переживет... Какой там инфаркт!

И они вошли в комнату Веры Сергеевны.

Вера Сергеевна вскочила с дивана и попятилась к окну...

— Вера... — дрогнувшим голосом заговорил Аристарх. — У нас положение безвыходное... Ты не догадываешься, зачем мы пришли?

Веру Сергеевну стали потихоньку окружать.

— Другого выхода у нас нет, Вера...

— Братцы, может, не надо? Может, она одумается? — засуетился Лысый.

— Вера?.. — Аристарх медленно приближался к супруге — в одной руке топорик, в другой — «отречение».

Вера Сергеевна побледнела... И все пятилась к окну.

— Да ничего она не одумается! — воскликнул Курносый. — Давайте кончать.

— У тебя два выбора: или подписываешь на наших глазах вот это вот — что ты ничего не видела и не знаешь, не собиралась к прокурору... Или мы тебя...

— Давайте кончать! Чего тут тянуть?

— Я закричу, — еле слышно пролепетала Вера Сергеевна.

— А подушечка-то! — вылетел вперед Чернявый.

— Ты же знаешь, что кругом никого нет... Все на сдаче ГТО.

— А сумки-то заготовили? — спросил Брюхатый. — Разрезать-то мы ее разрежем, а в чем выносить-то?

— Да есть сумки — полно. Помельче только разрезать... и по одному все вынесем.

— Все уже предусмотрели! — сердито обернулся на всех Аристарх. — Вы вынесите по одному, а я останусь — замою тут все. Чего тут базарить-то?

— Главное, внутренности вынести, а остальное-то...

— Внутренности! А руки, ноги?.. Куда ноги, например, денешь? Они ни в какую сумку не полезут.

— Перерубим! Я ж те говорю: помельче изрубить.

— Вы же интеллигентные люди, — негромко сказала Вера Сергеевна. — Все в шляпах... в галстуках...

— Вывеска! — воскликнул Чернявый.

— Интеллигентные!.. — Брюхатый колыхнул животом от смеха. — Я в лагере трех человек задушил... вот этими вот руками.

— Мы, значит, жестокие? — спросил Аристарх. — А ты? Ты не жестокая? — столько людей сразу посадить собралась. Подписывай!

Как-то не заметили, что, пятясь, Вера Сергеевна подошла к самому окну, которое очень легко открывалось... Она вдруг вскочила на подоконник, распахнула окно и сказала заполошно:

— Если кто только двинется, я прыгаю! Тут только два этажа: сломаю ноги, но все расскажу. Только двиньтесь!

Все так и замерли.

Первым пришел в себя Аристарх. Он засмеялся искусственно.

— Мы же шутим, Верунчик!.. Неужели ты поверила?

— Немедленно все убирайтесь отсюда! — Вера Сергеевна обрела уже спокойный и злой голос. — Шутники.

— Нет, вы... Нет, она правда поверит, что мы...

— Убирайтесь!

— Да шутим же мы! — воскликнул в отчаянии Брюхатый. И бросил подсвечник. — Какие мы убийцы! Нас сам час...

— Убирайтесь!

— Нет, она в самом деле может подумать!..

— Да думай она! — взорвался Курносый. — Что хочет, то и пускай думает! — и тоже бросил нож. И первым пошел к

выходу. В дверях остановился, обернулся, как он давеча сделал, точно так же погрозил пальцем всем и сказал остервенело: — Но сидеть я все равно не буду! Ясно?! Сидеть я там не буду! Вот пусть они вот все... они вот, они — пусть сидят, а я не буду!

Никто ему на это ничего не сказал.

Он вышел... И за ним все тоже вышли.

И собрались опять в комнате Аристарха. Долго молчали.

— Интересно, — заговорил Чернявый, обращаясь к Курносому, — как это ты сидеть не будешь? Все будут сидеть, а ты не будешь?

— Не буду! — повторил Курносый.

— А у тя что, сиделки, что ли, нету? — ядовито спросил его Брюхатый. — Она у тебя на месте: будешь сидеть, как все.

— Он там ходить будет, — подал голос Лысый.

Аристарх сидел, обхватив голову руками, и тихо покачивался.

— Не буду сидеть! — опять тупо повторил Курносый. — Вы все как хотите, а я — не буду!

— Все будем сидеть, — сказал Аристарх, не поднимая головы.

Опять некоторое время молчали.

— Конечно, — заговорил опять Курносый, — если бы ты был человек как человек, мы, может быть, и не сидели бы.

Аристарх поднял голову.

— А кто же я?

— Бабник! Шлюха в штанах!.. Да хоть бы умел, господи! А то... не выходит же ничего, нет, туда же, куда добрые люди: давай любовницу! Даже Соньку, и ту... тьфу! Рогоносец. С этой Сонькой...

— А ты подхалим, — сказал Аристарх первое, что выскочило из его оскорбленной души. — Ты перед начальством на полусогнутых ходишь.

— У меня пятеро на шее! — Курносый крепко хлопнул ладонью себя по загривку. — Пятеро!.. Ты вон с одной телкой справиться не можешь, а у меня их — пятеро. Мне не до любовниц!

— Зато тебе — до коньяка, — вставил Брюхатый.

— А ты вообще заткнись! — развернулся к нему Курносый. — Тебе-то даже полезно посидеть: может, похудеешь

маленько. В институт питания собрался!.. Вот тебе и будет институт питания, — и Курносый нервно засмеялся.

Брюхатый навел на него строгий взгляд.

— Шавка, — сказал он. Помолчал и еще сказал: — Моська.

— А ты слон, да? — вступился за Курносого Чернявый. — Это не тебя по улицам водили?

— Меня, — сказал Брюхатый. — А это не тебе я нечаянно на туфель наступил... двадцать седьмого июня тыща девятьсот семьдесят третьего года: на профсоюзном собрании? Что-то ты тогда был... зеленоватый, а сейчас, гляди-ка, кукарекает. Выговор-то кому тогда всучили?

— А кто всучил-то? Кто?

— Я, в том числе.

— Да ты сам первый лодырь! Прохиндей. Выговор он всучил!.. У меня первый раз недосмотр случился.

— Минуточку минуточку, — прервал Брюхатый, — как это ты выразился — «прохиндей»? Я одиннадцать лет после суда без единого взыскания проработал! А ты мне, обезьяна, будешь еще вякать тут! Сам в выговорах весь, как... Ни одного же собрания не обходится, чтобы тебя...

— Хватит! — взревел Аристарх. — У меня вон, — показал он на стол, — семь почетных грамот лежат!.. Я и то молчу.

— А чего ты можешь сказать? — спросил его Лысый. — Там — семь почетных грамот, а там, — в сторону коридора, — пять покрышек. Я думаю, покрышки — потяжельше, перевесят. Если уж кто самый чистый среди вас, так это я.

— Ой! — изумились.

— Глядите на этого ангела!

— Прямо невеста... в свадебной марле.

— Шариков только не хватает.

— И ленточек разноцветных...

— Да! — гордо сказал Лысый. — У меня две общественные нагрузки, а у вас... У кого хоть одна общественная нагрузка?

Все промолчали.

— А-а, нечего говорить-то. Вы думаете, это на суде не учтется? Все учтется.

— Да, я думаю, все учтется, — сказал Аристарх. — Я думаю, что тот грузовичок с пиломатериалом — тоже учтется.

Лысый подрожал в гневе и обиде губами.

— Ворюга, — сказал он. — Плюс идейный ворюга: с экономической базой. Ты знаешь, сколько тебе за эту базу накинут? Вот сколько нам всем дадут, столько тебе — отдельно — за базу.

— База — для дураков, — струсил Аристарх. — Я — нормальный спекулянт, чего вы тут?

— А-а!.. Очко-то не железное?

— Но ты тоже — не ерепенься тут, кудрявый!..

В это время в дверь позвонили.

Все оторопели на миг... Брюхатый даже за сердце взялся.

Еще резко, длинно позвонили.

— По одному... с вещами, — тихо сказал Чернявый.

— Иди, — кивнул Брюхатый Аристарху.

— Может, это макулатуру собирают... пионеры, — тихо сказал бледный Аристарх. — Подождем.

Опять звонок.

— А я нож-то там бросил! — вскричал Курносый. — Подождите, я нож-то хоть уберу, а то же!..

— Топорик мой...

— А?

— Топорик, топорик, — невнятно повторил Аристарх. И показывал пальцем на комнату Веры Сергеевны. — Топорик...

— Чего топорик?

— Топорик мой тоже возьми, а то нам попытку к изнасило... ой, это... к убийству, к убийству...

— Тьфу!.. — заругался Курносый. И побежал за ножом и за топориком.

— Мама, роди меня обратно: рубля государственного не возьму, — сказал Брюхатый.

— Не будет она тебя больше рожать, — зло и тихо сказал Чернявый. — Она и за этот-то раз раскаивается, наверно.

Курносый принес нож и топорик... И засуетился с ними. И зачем-то их оглядел еще.

— Ты что? — одними губами спросил Аристарх.

— Где они лежали-то?

— Вон...

Опять звонок, на этот раз вовсе длинный, никакой не «пионерский».

— Какая макулатура! — тихо воскликнул Лысый. — Иди.

Аристарх поднялся... И медленно, тяжело — как если бы он шел уже по этапу — пошел к двери.

— Кто? — спросил он тихо, обреченно.

Из-за двери что-то ответили...

Аристарх смело распахнул дверь и налетел на вошедшего:

— Какого черта ходишь тут?! Звони-ит!..

Вошедшим был Простой человек. Он держал ящик с коньяком и улыбался.

— А я думал, нет никого! — он не обратил никакого внимания на ругань Аристарха, он держал в руках ящик с коньяком и улыбался. — Куда, думаю, они подевались? Договаривались же вчера. Вот он!

И Простой человек пошел с тяжелым ящиком к столу.

— Ну, ребятки, седня нам... до Владивостока хватит.

На него молча смотрели.

Только Брюхатый сказал:

— Идиот... Василий Блаженный. На полатях вырос.

— А чего вы такие? — только теперь заметил Простой человек. — А? Что вы сидите-то, как вроде вас золотарь облил?

— Хочешь в свою Сибирь? В деревню? — спросил Брюхатый.

— Хочу, — сказал Простой человек. — Нынче поеду: у меня в сентябре отпуск...

— А в долгосрочный отпуск поедешь?

— Стоп! — воскликнул Чернявый. — Идея! Вот идея так идея, — и он вскочил, и обнадеживающе посмотрел на всех... — Кажется, мы спасены!

— Как? — спросили все в один голос.

— Ждите меня! — велел Чернявый и куда-то убежал — вовсе, из квартиры.

ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕ УСПЕЛ ПРЕВРАТИТЬСЯ В НОЧЬ

«Пассажиры» ждали. Сидели молча и ждали. Стоял коньяк на столе, но никто к нему не притрагивался... Нет, одна бутылка была распочата; похоже, это Простой человек пригубил. Но и он тоже сидел и ждал. Тикали часы, слабо слышалась какая-то значительная кинематографическая музыка: Вера Сергеевна опять смотрела телевизор.

Долго-долго сидели и ждали.

Наконец Простой человек не выдержал и встал...

— Пойду еще раз, — сказал он. — Хлопну для смелости — и пойду.

Он выпил коньяку... Все — от нечего делать — внимательно глядели, как он наливал, как подержал рюмку в руке, тоже глядя на нее, и как выпил. Простой человек выпил и пошел к Вере Сергеевне.

— Я еще раз, — сказал он, входя. — Сергеевна, голубушка... ведь все это — опишут, — сказал он, показывая рукой гарнитур, диван, ковры... — Все-все. Одни обои останутся.

— Пусть, — сказала Вера Сергеевна. — Зато преступники будут наказаны.

— Преступников не надо наказывать...

— А что же их надо — награждать?

— И награждать не надо. На них не надо обращать внимания. В крайнем случае, надо с имя находить общий язык.

— Спасибо за науку. А они будут продолжать воровать?

— Они так и так будут продолжать! Потом: ну какие же они преступники? Вот эти-то?.. Господи!.. Это сморчки! Они вон уже перепугались сидят... с них капает. Ведь на них глядеть жалко. Вы зайдите, гляньте — ведь это готовое Ваганьково. Там только надписи осталось сделать: был такой-то, грел руки возле гарнитуров. Пожалейте вы их, ей-богу! Ну, припугнули — и хватит. Хоть Аристарха свово пожалейте: ведь он со страху... мужиком года полтора не будет.

— Ну, что вы — он любовниц заводит! — воскликнула Вера Сергеевна с дрожью в голосе. — У него есть Соня.

— Сонька?! — удивился Простой человек. И хлопнул себя руками по штанам. — Господи, боже мой. Ну нашла же ты к кому приревновать. Да с Сонькой вся база... Я! Я!.. — постучал себя в грудь Простой человек. — Я один, можеть, только и не вошкался: потому что я тоже больше коньяк уважаю. Не коньяк даже, а простую водку. Сонька!..

— Тем более! — мстительно воскликнула Вера Сергеевна. И встала от телевизора и нервно прошлась по комнате. — Тем более!.. Скотина он такая. Мне его нисколько не жалко! Из всей этой бригады, — показала она на комнату Аристарха, — мне ни-ко-го не жалко. Вас только жалко.

— Да меня-то!.. — махнул рукой Простой человек. — Я и там грузчиком буду. Это им переквалификацию надо проходить, а мне-то... Коньячка вот только не будет, вот жалко. Ну, отдохну от него, наберусь сил — тоже полезно. Да мне много и не дадут — от силы два года: за компанию. Мне их жалко, Сергеевна: у их, у всех, почесть, детишки. Вот этого толстого!.. — почему-то вдруг обозлился Простой человек, — вот этого бы я посадил, не моргнув глазом. Ох, эт-то журавь, скажу тебе! Это самый главный воротила. Но его же отдельно не посадишь. Сажать, так уж всех.

— Вот все и будут сидеть.

— Оно, конечно... так. Знамо, что... А куда денешься? — будем сидеть.

И Простой человек вышел.

Когда он вошел в комнату, где сидели «пассажиры», на него посмотрели без всякой надежды, обреченно.

Простой человек присел к столу... И засмотрелся на бутылки с коньяком. И вдруг всплакнул.

На него удивленно посмотрели.

— Прощайте... драгоценные мои, — говорил Простой человек, глядя на бутылки. — Красавицы мои. Как я буду без вас?.. Одно страдание будет, тоска зеленая... Любимые мои. Тяжело мне с вами расставаться, ох, тяжело...

— Поплачь, поплачь, говорят легче становится, — сказал Брюхатый.

— А я и плачу. Плачу и стонаю. Сердце кровью плачет, когда на них смотрю. Но канавы рыть с тобой в одной бригаде я не буду! — Простой человек сердито посмотрел на Брюхатого. — Я твою норму там не буду выполнять. Я за тебя... Недоедать из-за тебя не буду!

— Чего это ты решил, что я там канавы рыть буду? — спросил Брюхатый.

— А что же ты там будешь делать?

— Библиотекарем пойду... Или санитаром.

Все засмеялись: это был нехороший смех, нездоровый смех, болезненный смех, если можно так сказать про смех.

— Налей-ка и мне, — подошел к столу Курносый.

Простой человек налил две рюмочки... Одну пододвинул Курносому. Они чокнулись.

— За счастливую дорогу, — сказал Простой человек.

И тут вдруг сорвался «с гвоздя» Аристарх. Он вскочил, затопал ногами и закричал:

— Хватит паясничать! Хватит паясничать!.. Комеди франсез развели тут! Вон все отсюда! Вон! Скоты!.. Говядина!

Курносый поставил свою рюмку на стол и внимательно посмотрел на Аристарха. — Слушай, — сказал он, — я умею останавливать истерики: я перворазрядник по боксу. Я хоть давно не в форме, но все равно... такую-то экономическую гниду я сделаю.

Аристархушка сел так же резко, как вскочил, обхватил опять руками голову и тихо стал покачиваться.

Простой человек промокнул губы уголком дорогой скатерти и опять пошел к Вере Сергеевне. Ему, похоже, пришла какая-то дельная мысль в голову.

— Сергеевна, — сказал он, — а на кого квартира записана?

— Как?.. — не то что не поняла, а скорей растерялась Вера Сергеевна. — Как «на кого»?

— Кто ответственный квартиросъемщик?

— Он...

— Он, — Простой человек выразительно смотрел на Веру Сергеевну.

— А что? — спросила та.

— А ты куда? — спросил в свою очередь Простой человек.

— Как куда? Никуда.

— Она кооперативная?

— Да.

— С конфискацией имущества! Он же не к Марье Иванне в карман залез, он государству в карман залез...

— Ну? И что?

— С конфискацией всего имущества, — повторил Простой человек, даже с каким-то удовлетворением повторил. — У их теория одна: с конфискацией всего имущества.

— А я куда же?

— Я вот и зашел спросить: а ты куда?

— Нет такого закона! — слабо запротестовала Вера Сергеевна.

Простой человек присел на дорогое зеленое кресло.

— Коломийцева посадили — с конфискацией, — стал он загибать пальцы, — Коренева Илью Семеныча, веселый человек был! — с конфискацией... Он, к тому же, анекдоты любил...

— При чем тут Коренев какой-то? А я что, на улицу, что ли?

Простой человек помолчал...

— Угол снимать где-нибудь.

— Здравствуйте!

— Прощайте, — жестко сказал Простой человек — откуда и нашел в себе такую жестокость, он был добрый человек — и отбыл к «пассажирам».

— Слюнтяи, — сказал он всем. И прямо прошел к столу. — Интелефу занюханные, — налил себе большой фужер коньяка и выпил один. — Энергичные люди!.. Это я... — стукнул он себя в грудь, — я энергичный! Соображать надо! Жить надо уметь! От меня три жены ушло, и ни одна, — он подчеркнул это, — ни одна не делает волны насчет алиментов! А потому что — что с меня возьмешь? С меня взять-то нечего. Я за свой труд беру, в основном, коньяком, а они не хотят коньяком. Не положено, они это прекрасно знают. Они каждый божий день видят, что я к вечеру лыка не вяжу, а сделать ничего не могут. Их мужья все изозлились... иззавидовались, а сделать ничего не могут. А вы — энергичные... Вот энергия-то! Боксер, садись, врежем. Не вешай свой курносый нос — он у тебя все равно кверху торчит. Вот ты еще более-менее, энергичный. А эти все... Тара для... сказал бы для чего, но у меня настроение улучшилось.

Раздался звонок в дверь.

Все опять замерли.

— Открывайте! — велел Простой человек. — Памятники...

Но никто не стронулся с места.

Простой человек сам пошел открывать. И на ходу изобразил, что вроде и в самом деле меж памятников идет: приостанавливался и разглядывал.

— Люблю по кладбищу ходить. Думаешь: а кто были эти люди? — рассуждал сам с собой Простой человек. Он остановился перед Брюхатым. — Вот этот, наверно, плохой был...

— Проходи, — негромко сказал Брюхатый, — а то я встану из гроба и задушу тебя.

— Да, этот был плохой, — повторил Простой человек. — Вор был, наверно.

Он подошел к двери, открыл... и воскликнул:

— Соня!..

Стояли: Соня и Чернявый. Соня всех внимательно разглядывала, а Чернявый улыбался значительно.

Никто ничего не понимал... Особенно Аристарх: он встал было, но сел снова, опять встал и опять сел — не мог встать от растерянности. Понимал что-то такое один Чернявый. Он помог снять Соне дорогую шубку... И, похоже, не собирался проходить с гостьей к «памятникам», а легонько — интеллигентно — подталкивал ее в комнату Веры Сергеевны.

И вошли.

Вера Сергеевна тоже растерялась... Встала с дивана и смотрела на женщину Соню.

А там, в комнате Аристарха, по-прежнему все сидели неподвижно. Только Простой человек, пробираясь опять меж «памятников» к столу, сказал:

— Сейчас там будет третья империалистическая, — он тихо засмеялся, набулькал из бутылки в рюмочку и качнул головой. — Клочья полетят...

А в комнате, где Вера Сергеевна, пришли в движение.

— Это — Соня, — представил Чернявый гостью хозяйке. — Моя любовница.

— Ну, — засмущалась Соня. — Прямо сразу уж... Зачем так?

— Соня, мы договорились: все начистоту. Раз тут недоразумение, мы должны...

— У вас же семья, — сказала с удивлением Вера Сергеевна. — Как же вы говорите — любовница...

— Да! — гордо сказал Чернявый. — Я — из казаков... — и он энергично показал — не то лихо дернул поводья скакуна, не то... шут его знает, что-то такое показал энергичное

руками, — густых, так сказать, кровей! Все даже удивляются. Ну, говорят, Сучков, ты даешь! Вы знаете, сколько я плачу алиментов? — Чернявый навис вопросом над Верой Сергеевной и сам заранее выпучил глаза. — Семьдесят пять процентов! Вы думаете, — горячо продолжал он, — если я связался с этими государственными ворюгами, то это от веселой жизни? Нет! Если я добуду рубль на стороне, то он хоть весь мой. С законного рубля мне положено только пять копеек. А у меня — четверо детей.

— Четверо детей!..

— Это — со мной, при мне. А так их у меня... по-моему, одиннадцать. Вместе с этими, которые со мной.

— Но как же... еще любовница? — все не могла прийти в себя Вера Сергеевна.

— А что я, хуже других? Вы думаете, этот Брюхатый, например, любовницу не имеет? Имеет. Я только не знаю, что он с ней делает, но имеет. А Лысый этот?.. С чего это он, скажите, пожалуйста, полысел в сорок три года? Думал много? Над чертежами ночью склонялся? Нет, не над чертежами... Только уж не над чертежами. Да все имеют любовниц! Вы простите, вы замужняя женщина, но откройте глаза-то, откройте: ведь это же позор считается, кто не имеет любовницы. Ведь это только один Аристарх ваш... Ведь над ним весь отдел смеется! Я уж не знаю, что у вас за любовь такая... не знаю. Значит она есть еще на земле? Я не знаю... с этим Аристархом... Он мне все представления о жизни перевернул. Любовь, что ли, у вас такая? — прямо спросил Чернявый Веру Сергеевну. — Даже интересно, честное слово.

— Слушайте, — заговорила Вера Сергеевна неуверенно, — а как же записка?.. Ваша записка, я ее нашла в кармане...

— Ва-аша запи-иска, в несколько стро-очек, — пропел беспечный Чернявый. — Она вам все расскажет про записку. Соня, только всю правду. Влюбилась, дурочка, в вашего Аристарха и... решила вас поссорить. Я когда сегодня узнал об этом, у меня глаза на лоб полезли. «Поедем, — говорю, — немедленно поедем к Вере Сергеевне, и ты ей все расскажешь». Все, Соня!.. Я выйду, чтоб не мешать вам... — уходя, Чернявый ласково, но строго погрозил Соне. — Все, решительно, все. Про нас подробности можешь тоже не

скрывать — я лишен предрассудков, — он чуть подумал. — И, по-моему, совести тоже.

«Пассажиры» никак не могли понять, что такое творит Чернявый. И когда он вошел, все вопросительно на него смотрели и ждали.

Чернявый в изнеможении опустился в кресло, прикрыл глаза, долго сидел так, вольно раскинув руки и ноги.

— Дядя Вася, налей мне граненый стакан коньяку — сказал он устало и капризно.

— Зачем же стакан? — с уважением сказал Простой человек. — Тут есть всякое хрустальное дерьмо.

— Нет, я хочу только из граненого стакана. Я сегодня спас... — Чернявый открыл глаза, огляделся, — от тюрьмы... много-много людей. Поэтому я хочу пить только из граненого — по-казачьи. Я вас всех вывел из окружения! — возгласил он, принимая стакан из рук Простого человека. Отпил, передохнул и сказал всем строго: — Соньке — книжный шкаф «Россарио», мне — золотой перстень с энблемой: казак скачет на коне.

А в комнате Веры Сергеевны в это время две женщины беседовали. Соня что-то рассказывала Вере Сергеевне, что-то показывала руками... Вера Сергеевна то изумлялась, то удивлялась, то ужасалась, то жалостливо смотрела на Соню. По всему видно, что они поняли друг друга, помирились и даже, кажется, готовы дружить, как иногда дружат порядочная женщина и величайшая распутница. Об этом много писали.

А в комнате, где «пассажиры», хотели понять, что вообще происходит? То есть, о чем-то уже догадывались, но — подробности, подробности.

— Как ты ее уговорил? — пытал Брюхатый Чернявого.

— Книжный шкаф «Россарио»...

— Для чего он ей?

— Не знаю... Сошлись на книжном шкафу.

— Как «сошлись»? — не понял Простой человек. — Неудобно же...

— Нет, все в порядке, что ли?! — закричал в нетерпении Лысый.

— Да, — сказал Чернявый.

— Ур-ра-а! — закричали Курносый и Простой человек.

— Едем седня до Владивостока! — заявил Простой человек.

Аристархушка в волнении ходил по комнате.

— А что она ей говорит? — спросил он.

— Они говорят на иностранном языке, — сказал Курносый в сильнейшем раздражении на Аристарха. — Импортанто де ла кругом и околе, — он подошел к Чернявому и крепко пожал ему руку. — Как мужчина мужчине, — сказал он уважительно и скупо.

Чернявый махнул рукой...

— Я тоже... перехватил там: наговорил на себя, что я чуть не Тарас Бульба. Еще немного — и Тарас Бульба. По-моему она меня теперь бояться будет.

— Кто, Сонька?

— Кстати, если Сонька счас войдет в роль и начнет приставать ко мне, ты...

Но тут вошли Соня и Вера Сергеевна.

— На колени! — скомандовала Соня Аристарху. — На колени перед Верой Сергеевной.

— Зачем? — спросил Аристарх.

— На колени!! — потребовали все, еще не разобравшись, зачем надо на колени.

— Оказывается, ты оскорблял ее! — продолжала с возмущением Соня. — Ты ей тут, оказывается, наговорил гадостей и грубостей! На колени!

— На колени!!! — опять закричали все. А Курносый даже двинулся к Аристарху.

— Импортанто!.. — с угрозой сказал он. — Ты знаешь, что такое нокдаун? Я не говорю уже о нокауте, я говорю о небольшом нокдауне... На колени!

Аристархушка стал на колени...

— Проси прощения у Веры Сергеевны, — велела Соня.

— Проси прощения у Веры Сергеевны! — закричали все в один голос.

Аристарх замешкался было... Но тут ему разумно посоветовал Простой человек:

— Давай, Аристархушка... да, благословясь, поедем во Владивосток.

— Вера, — дрогнувшим голосом заговорил Аристарх, — прости. Клянусь: ни одной больше покрышки, ни одного колеса...

— Не об этом речь! — прервал его Брюхатый. — Говори по существу дела! Что значит ни одного колеса! Что ты, на лыжах собрался ездить?

— Но о чем тогда говорить-то?! — взбунтовался Аристарх на коленях.

Но тут уж возмутились все.

— Ах, он не знает, о чем говори-ить! Ах ты, бедняжечка... Первоклашка.

— Тебя мама еще за ручку водит, да?

— Нет, он все же хочет получить небольшой нокдаун.

— Да не нокдаун, а нормально — по сусалам! — громко возмутился и Простой человек. — Поедем во Владивосток! Поезд же отходит, вы что?

— Вера, — опять дрогнувшим голосом заговорил Аристарх, — клянусь, после этого случая буду каждый день проверять карманы...

— Опять!.. Ему говорят стриженый, он — бритый, — вконец вышел из терпения Брюхатый. Но тут же взял себя в руки и уже продолжал говорить с Аристархом, как с полным, но безвредным дураком, не злостным дураком: — Зачем ты будешь проверять карманы?

— Не разговаривай со мной как с идиотиком...

— Нет, зачем ты будешь проверять каждый день карманы?

— Чтобы там записок не было...

— А жить так, чтобы в твоей жизни вообще никаких записок не было — так будешь жить?

— Что я, просил ее, чтобы она мне писала?! — опять было загорячился Аристарх и показал на Соню. И хотел даже встать с колен, и уж было встал, но тут встрепенулась Соня.

— На колени! — закричала она. — А что это, женщину надо обязательно просить, чтобы она писала? — спросила она надменно. — А сама женщина не имеет права написать записку? Может у нас женщина пошутить?

Вот это понравилось всем. С этим «может ли у нас женщина пошутить» она попала в самую точку. На Аристарха опять все навалились.

— Домостроевщину развел! — воскликнул Лысый.

— Нет, этот человек просит нокаута! — тоже воскликнул Курносый. — Не хочет он нокдауна, никак не хочет! Ему больше нравится нокаут! Ведь достану в печень — до утра будут считать.

— Нет, ты ответь... Ти-ха! — рявкнул Брюхатый на всех. — Ты ответь на вопрос, который тебе, подлецу, поставили: может у нас женщина пошутить?

— Может, — Аристарху надоело стоять на коленях, и он стал со всем соглашаться.

— Значит, что надо теперь сказать?

— Что? — искренне не понял Аристарх.

Брюхатый изумился; за ним некоторые тоже изумились, но так, для вида: никто, кроме Брюхатого, не понял, что надо теперь сказать Аристарху.

— Ты должон сказать, — вылез с поучением Простой человек, — ребята, мол, забудем все — и поедем во Владивосток.

— Прекрати со своим Владивостоком! — прикрикнул на него Лысый. — По-моему, ты и так уж где-то... под Хабаровском. Тут серьезное дело.

— Что ты должен сказать? — пытал Брюхатый Аристарха.

— Что?! Что?! Что?! — с Аристархом, кажется, начиналась истерика. — Не понимаю!.. — он стукнул двумя кулаками себя в грудь, и в голосе его послышались слезы. — Не понимаю: что я должен сказать?!

Брюхатый пожалел его.

— Ты должен сказать: Верунчик, я тебя люблю. И не формально сказать, а с чувством, как ты говорил... сколько лет назад? — повернулся Брюхатый к Вере Сергеевне.

— Что говорил? — не поняла Вера Сергеевна.

— Когда он вам первый раз сказал: Веру. ик, я тебя люблю? Сколько лет назад это было?

— Это было... девять лет назад, — сказала Вера Сергеевна. — Но он не так говорил... — Вера Сергеевна, вообще-то, была довольна — и этим состоянием Аристарха на коленях, и тем, что все его очень ругают. — Он сказал: «Хочешь, я сделаю тебя самой богатой женщиной микрорайона?»

— Трепло! — возмутились все.

— Про экономическую базу он ничего не говорил?

— Хвастунишка.

— Я не так говорил! — заспорил Аристарх на коленях.

— А как?

— Я сказал: «Хочешь, я МОГУ сделать тебя самой богатой женщиной микрорайона?» Еще я сказал: «Только не носи синтетическое белье».

— Почему это? — спросила Соня.

— Искры летят, — пояснил Аристарх.

— Да? — удивилась Соня. — Не замечала.

— Ну, так, — поднялся Брюхатый. — Я думаю, что он все осознал... Осознал, Аристарх?

— Осознал.

— Поднимайся, — велел Брюхатый. — Вера Сергеевна, идите сюда... Идите, идите. Я предлагаю такую детскую игру. Кто видел, как мирятся детишки?

Никто не видел. То есть, наверно, видели, но не знали, куда клонит Брюхатый.

— Они берутся вот так... — Брюхатый взял руку Аристарха и руку Веры Сергеевны, сцепил их мизинцы. — Теперь повторяйте за мной... Вот так вот махайте и повторяйте. Повторяйте: мирись, мирись — больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться.

Все засмеялись остроумной выдумке Брюхатого, даже зааплодировали. Все были рады.

— Давайте, давайте!.. — требовали от Аристарха и Веры Сергеевны.

— Мирись, мирись, — стали вместе говорить Аристарх и Вера Сергеевна, — больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться.

Опять зааплодировали... Вера Сергеевна была счастлива; Аристарх был смущен, но тоже доволен. Их окружили, поздравляли с примирением... Сделали вокруг них хоровод, пошли, взявшись за руки, и запели:

Как на Верины менины
Испекли мы каравай:
Вот тако-ой вышины!
Вот тако-ой ширины!..

Опять засмеялись, опять зааплодировали себе. Все были счастливы.

— Черт его знает!.. — воскликнул растроганный Брюхатый. — Жить да радоваться!.. Нет, мы начинаем себе сложности находить.

— Именно: можно же красиво жить! — подхватил Курносый.

— Да... со вкусом! Ведь один раз живем-то! — тоже с чувством сказал Лысый. — Вы вдумайтесь: один раз! И все, и больше нас ни-ког-да не будет.

— Поехали во Владивосток! — опять призвал Простой человек. Но на всех слетела какая-то тихая, задумчивая минута, всем как-то было не до Владивостока.

— Иной раз думаешь: люди, в чем дело? — продолжал глубоко и даже с грустинкой Брюхатый. — В чем дело, люди?

— Дело в том, что — уважения побольше друг к другу, — подхватил его мысль Лысый. — Уважения!

— Я бы сказал — и любви, — сказал Чернявый. Он даже встал. — Любовь — это... Все можно достать! — воскликнул он. — Все! А любовь не достанешь, если ее вот тут вот нету.

— Это ты, брат, верно, — похвалил Брюхатый. — Это ты — в десятку.

— Суетимся, суетимся много, — вздохнул Лысый. — Сказано же: «Не суетитесь». Нет, мы суетимся...

— Не потопаешь — не полопаешь, — вставил и свое раздумчивое слово Простой человек. — Попробуй не посуетись.

— Заговорила матушка-деревня! — горестно и насмешливо сказал Брюхатый. — А ведь на полатях-то не суетились! — вдруг решил поймать он Простого человека на слове.

— Почему это на полатях не суетились? — не понял Простой человек. — И на полатях суетились, и на печке, и в банях... А чего ты ко мне с полатями-то привязался? Если хочешь, то я на покосе родился. Но полати я любил, потому что там можно сверху наблюдать.

— И чего ты оттуда наблюдал, интересно?

— Все... Жизнь. Мы там сказки рассказывали друг дружке... Нас одиннадцать человек росло.

— А нас — двое, — вспомнила и Соня, — но я была младшая. Это хуже всего — младшей сестрой быть: все платья, все туфли, все юбки я за Зинкой донашивала. А счас — все наоборот! — она сама рассмеялась такому нелепому оборо-

ту в жизни. — Я ей говорю: а помнишь, Зин, как я за тобой все донашивала? Она говорит: не говори. А вот нечего, говорю!.. Заладила тогда: учиться, учиться! Дырки всем на боку провертела со своей учебой! Выучилась?.. Ну, давай теперь, гордись передо мной: ты же ученая! А я вот — неученая. Я — продавщица, нормальная продавщица!.. А давай, говорю, пройдем с тобой — для кспиримента — по улице: я надену все свое на себя, а ты свое на себя... Давай, говорю, пройдем? Не хочет.

Все засмеялись.

— Нет, мы едем во Владивосток или не едем?! — на исходе всякого терпения закричал Простой человек. — Во-от споминать пустились... Чего мы сидим-то?

— Это мы — перед дальней дорогой, — молвил Курносый, улыбаясь.

— Хватит вам со своим Владивостоком! — сказала Вера Сергеевна, тоже по-доброму улыбаясь. — Давайте... сядем все за столом, как нормальные люди... Представляете, — обратилась она к Соне, — выдумали какую-то... странную игру: то в жаркие страны летают в качестве журавлей, то ездят куда-то...

Соня махнула рукой.

— Делать нечего!

— Энергия! — воскликнул Чернявый. — Не зря же про нас говорят: энергичные люди.

— Ну-ка, энергичные люди, — стала распоряжаться Вера Сергеевна, — приложите свою энергию к делу: раздвиньте пока стол. Соня, а мы пойдем на кухню — вы мне поможете салат сготовить...

И пошло тут веселое, хорошее оживление, когда вроде и делом занимаются, а вроде и дела никакого нет. Мужчины умело раздвинули стол, закурили... Аристарх включил дорогой магнитофон «Сони».

— У тебя «Сони»? — спросил Брюхатый со знанием дела.

— Да.

— Прекрасная вещь. У меня тоже... Шестьсот рублей.

Курносый чему-то вдруг весело рассмеялся... Да так искренне, так неудержимо долго смеялся, что все стали смотреть на него с тревогой.

— Ты чего? — спросил Брюхатый.

Курносый хохотал и показывал пальцем на Чернявого, хотел что-то сказать и не мог сказать от смеха.

— Чеканулся, что ли? — спросил Чернявый вполне тревожно.

— Со...ня, — продохнул наконец от смеха Курносый. — У вас «Сони», а у этого — Соня...

— Смех смехом, — серьезно заговорил Чернявый, — но если кто из вас трепанет где-нибудь, что она моя любовница... Слушайте, я серьезно говорю! Не вздумайте пошутить где-нибудь! А то... их же выручил, понимаешь... Мне тогда — загодя с седьмого этажа прыгать.

— С седьмого — это высоко, — согласился Лысый. — Но со второго я прыгал. Причем не муж даже, не муж — брат застукал... Не понимаю, чего она так перепугалась! Глаза вот такие: убьет, говорит! Я маханул... Хорошо, на цветочную клумбу угодил.

— А я раз... — хотел было тоже вспомнить Брюхатый, но вошли Вера Сергеевна и Соня. Внесли всякие закуски.

— Пожалуйста, к столу! — пригласила Вера Сергеевна.

И стали садиться к столу. На душе у всех было мирно и хорошо.

— Уверяю вас: можно же прекрасно жить! — еще раз сказал Брюхатый с чувством тихой благодарности к жизни. — Мирно, спокойно...

— Главное, не суетиться перед клиентом, — согласился с ним Лысый. — Скажите, чего нет? — спросил он, приглашая всех тоже, как Брюхатый, к тихому восторгу перед жизнью, но был конкретней: он показывал на богатый стол. — Чего не хватает?

— Так-то бы жил! — сказал Простой человек. — Таксисты только хамят: не хотят везти, и все! Каждый день у меня с имя стычка.

— Хамства много, это верно, — согласился Курносый. — Но я заранее трояк показываю. Ты сразу трояк показывай, и все, и повезет.

— Хорошо, если он есть. А если его нету?

— Тогда — кулак, — сострил Брюхатый. — И скажи: «Я на покосе родился!» — сразу повезет.

Засмеялись.

— Повезет он... — проворчал Простой человек.

За разговорами сели к столу.

— Ой, я забыла эту... открывалку-то... — вспомнила Вера Сергеевна. — Сонечка, не в службу а в дружбу: у меня в ящике лежит... в «Рамоне» в левом ящике, в нижнем... такая — с ручкой, как у...

— Найду, — сказала Соня. И пошла за открывалкой.

Пока она ходила, тут опять наладились было на мирный, хороший разговор.

— Я как-то товарища своего школьного встретил... — вспомнил Брюхатый. — Ну — «Где? Как?» Оказывается, — шишка. Ну, выпили, закусили... Потом эта «шишка» спрашивает: «Слушай, — говорит, — ты не можешь мне женские сапоги «на платформе» достать? За горло, — говорит, — взяли...» — «И все? — говорю. — Вся проблема?» А сам думаю: эх...

Но тут случилось нечто, что и назвать-то... как-то... не поймешь, как и назвать: шутка? Но уж больно тупая. Соня!..

В то время, как Брюхатый говорил: «А сам думаю: эх...», вошла в комнату преподобная Сонечка... с пистолетом в руках: наставила на всех и говорит:

— Руки вверх! Я — из обэхэвса!

Да так спокойно, уверенно, так СТРАШНО это сказала, что за столом обмерли. Все застыли, кто как сидел... И тут Соня расхохоталась! Вот уж она посмеялась, дура, — до слез прямо досмеялась. Смеялась и показывала... открывалку, которая была похожа на пистолет — вылитый пистолет!

За столом не знали: то ли сердиться на эту дуру, то ли уж махнуть рукой... Но признались, что перепугались насмерть.

— Сонька!.. — с укором сказал Брюхатый, — у меня же сердце, дура ты такая, дура... Ведь так — парализует, и все. И будешь: одна половинка жить будет, а другая рядом лежать, по соседству.

— А у меня — холод: вот отсюда вот пошел, от затылка, — признался Лысый, — и по спине, по спине — куда-то в копчик уперся: чувствую — примерз к стулу! Ну, надо же так додуматься! Ну, Соня!..

Отходили от испуга; даже уж с некоторым весельем продолжали рассказывать, кто что почувствовал и подумал, когда Соня наставила «пистолет».

— А я думаю: пока тут счас всех будут обыскивать да личности проверять, я незаметно успею сунуть одну бутылку в

штанину, — поделился своими мыслями Простой человек. — Глянь, у меня штаны-то: туда полприлавка влезет. Пока, думаю, будем ехать в воронке — там же темно! — я ее из горлышка... Мы бы ее с боксером вот раздавили бы.

— Нет, тут уж не до бутылочки было бы, — признался Курносый. — У меня в глазах темно сделалось. Вот понимаю же: все же на месте, никуда же никто не успел... А — никого не вижу! Туда смотрю (в зрительный зал) — никого не вижу, сюда смотрю — никого!.. Одну Соню с этой открывалкой вижу и все. Ну, Соня... Ну, шуточки у тебя!..

— А я думаю так: прикинусь счас невменяемым!.. — поделился мыслями и Чернявый. — С ума сошел. Сошел с ума — тронулся!.. А таких не судят.

— Так тебе и поверили! — сказал Простой человек, разливая коньяк по рюмкам.

— Это — как держать себя.

— Да как ни держи!.. Пару раз промежду глаз...

— А я, — сказал Аристарх, — я вот что подумал, — и все замолкли, и смотрели на Аристарха: интересно было, что он подумал. — Я подумал — все: и Соня, и моя жена, обе — оттуда... из обэхээса.

— Ну!.. — изумилась Вера Сергеевна. — Девять лет живем, а он...

Все засмеялись такой, в самом деле, нелепости. Заговорили все сразу:

— Аристарх, ты уж...

— А что? А что?.. А знаете, случай был...

— Да ну, случай!.. Случаи в кино бывают, в театре...

— Нет, Аристарх, в самом деле?

— Клянусь! Ну, думай, это мне — пятнадцать лет!..

— Да нам бы всем!.. Мы же ее «убивать» ходили! Нам бы за одну эту комедию...

— Едем во Владивосток! — громко объявил Простой человек. — Присели!.. Присели! Помолчали перед дальней дорожкой...

Все замолчали.

В это время позвонили в дверь.

— Это соседка ко мне — за выкройками, — сказала Вера Сергеевна. И пошла открывать.

Открыла дверь... И попятилась назад.

Вошли трое, показали книжечки.

— Милиция, — сказал один. — Просьба всем оставаться на местах и предъявить документы.

Один из трех, в милицейской форме (двое были в штатском), прошел несколько в коридор и увидел покрышки.

— Вот они! — сказал он. — Даже не спрятали.

За столом сидели тихо, неподвижно.

Только Простой человек, повернувшись к зрительному залу, негромко, с искренним интересом спросил:

— А кто же тогда, граждане?.. А? Кто капнул-то?

ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ

Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума

Как-то в одной библиотеке, вечером, часов этак в шесть, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок — ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись.

— Да нет, — говорила библиотекарша, — я думаю, это пшено. Он же козел... Пойдем лучше потопчемся. А? Нет, ну он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику... Я знаю, что он баран, но у него «Грюндик» — посидим... Тюлень тоже придет, потом этот будет... филин-то... Да я знаю, что они все козлы, но надо же как-то расстрелять время! Ну, ну... слушаю...

— Ничего не понимаю, — тихо сказал некто в цилиндре — не то Онегин, не то Чацкий — своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову. Обломов улыбнулся.

— В зоопарк собираются.

— Почему все козлы-то?

— Ну... видно, ирония. Хорошенькая. А?

Господин в цилиндре поморщился.

— Вульгаритэ.

— Вам все француженок подавай, — с неодобрением сказал Обломов. — А мне глянется. С ножками — это они неплохо придумали. А?

— Очень уж... того... — встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж. — Очень уж коротко. Зачем так?

Обломов тихо засмеялся.

— А чего ты смотришь туда? Ты возьми да не смотри.

— Да мне что, в сущности?.. — смутился чеховский персонаж. — Пожалуйста. Почему только с ног начали?

— Что? — не понял Обломов.

— Возрождаться-то.

— А откуда же возрождаются? — спросил довольный Обломов. — С ног, братец, и начинают.

— Вы не меняетесь, — со скрытым презрением заметил пришибленный.

Обломов опять тихо засмеялся.

— Том!.. Том!.. Слушай сюда! — кричала в трубку библиотекарша. — Слушай сюда!.. Он же козел! У кого машина? У него? Нет, серьезно? — библиотекарша надолго умолкла — слушала. — А каких наук? — спросила она тихо. — Да? Тогда я сама козел...

Библиотекарша очень расстроилась... Положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла. И закрыла библиотеку на замок.

Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями...

— В темпе, в темпе! — покрикивал некто канцелярского облика, лысый. — Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване-дураке? Просьба: не повторяться. И — короче. Сегодня мы должны принять решение. Кто?

— Позвольте? — это спрашивала Бедная Лиза.

— Давай, Лиза, — сказал лысый.

— Я сама тоже из крестьян, — начала Бедная Лиза, — вы все знаете, какая я бедная...

— Знаем, знаем! — зашумели все. — Давай короче!

— Мне стыдно, — горячо продолжала Бедная Лиза, — что Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?

— Выгнать! — крикнули с места.

— Тихо! — строго сказал лысый конторский. — Что ты предлагаешь, Лиза?

— Пускай достанет справку, что он умный, — сказала Лиза.

Тут все одобрительно зашумели.

— Правильно!

— Пускай достанет! Или пускай убирается!..

— Какие вы, однако, прыткие, — сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке — не мог встать. — Разорались. Где он ее достанет? Легко сказать...

— У Мудреца, — лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу. — Илья, я тебе слова не давал!

— А я тебя не спрашивал. И спрашивать не собираюсь. Закрой хлебало, а то враз заставлю чернила пить. И промокашкой закусывать. Крыса конторская.

— Ну, начинается!.. — недовольно сказал Обломов. — Илья, тебе бы только лаяться. А чем плохое предложение: пускай достанет справку. Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть. От него портянками пахнет... Да и никому, я думаю, не...

— Цыть! — громыхнул Илья. — Неловко ему. А палицей по башке хошь? Достану!

Тут какой-то, явно лишний, заметил:

— Междоусобица.

— А? — не понял конторский.

— Междоусобица, — сказал Лишний. — Пропадем.

— Кто пропадет? — Илья тоже не видел опасности, о какой говорил Лишний. — Сиди тут, гусарчик! А то достану тоже разок...

— Требую удовлетворения! — вскочил Лишний.

— Да сядь! — сказал конторский. — Какое удовлетворение?

— Требую удовлетворения: этот сидень карачаровский меня оскорбил.

— Сядь, — сказал и Обломов. — Чего с Иваном-то делать?

Все задумались.

Иван-дурак сидел в углу делал что-то такое из полы своего армяка, вроде ухо.

— Думайте, думайте, — сказал он. — Умники нашлись... Доктора.

— Не груби, Иван, — сказал конторский. — О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит грубит. Как ты насчет справки? Может, сходишь возьмешь?

— Где?

— У Мудреца... Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь...

— А я не склоняюсь! — бухнул опять Илья. — Склоняется он. Ну и склоняйся сколько влезет. Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали — справку... Кто это со справкой выскочил? Лизка? Ты чего, девка?

— А ничего! — воскликнула Бедная Лиза. — Если ты сидишь, то и все должны сидеть?! Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация! Я присоединяюсь к требованию ведущего: надо что-то делать, — и она еще раз сказала звонко и убедительно: — Надо что-то делать!

Все задумались.

А Илья нахмурился.

— Какая-то сидячая агитация, — проворчал он. — Выдумывает чего ни попадя. Какая агитация?

— Да такая самая!.. — вскинулся на него Обломов. — Сидячая, тебе сказали. «Кака-ая». Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять: что делать-то?

— И все же я требую удовлетворения! — вспомнил свою обиду Лишний. — Я вызываю этого горлопана (к Илье) на дуэль.

— Сядь! — крикнул конторский на Лишнего. — Дело делать или дуэлями заниматься?! Хватит дурака валять. И так уж ухлопали сколько... Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами.

Тут все взволновались, зашумели одобрительно.

— Я бы вообще запретил эти дуэли! — крикнул бледный Ленский.

— Трус, — сказал ему Онегин.

— Кто трус?

— Ты трус.

— А ты — лодырь. Шулер. Развратник. Циник...

— А пошли на Волгу! — крикнул вдруг какой-то гулевой атаман. — Сарынь на кичку!

— Сядь! — обозлился конторский. — А то я те покажу «сарынь». Задвину за шкаф вон — поорешь там. Еще раз спрашиваю: что будем делать?

— Иди ко мне, атаман, — позвал Илья казака. — Чего-то скажу.

— Предупреждаю, — сказал конторский, — если затеете какую-нибудь свару... вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь... самородки.

— Сказать ничего нельзя! — горько возмутился Илья. — Чего вы?.. Собаки какие-то, истинный бог: как ни скажешь — все не так.

— Только не делайте, пожалуйста, вид, — с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку, — что только вы одни из народа. Мы тоже — народ.

— Счас они будут рубахи на груди рвать, — молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакиевича. — Рукава будут жевать...

— Да зачем же мне рукава жевать? — искренне спросил казачий атаман. — Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну.

— Все — междоусобица, — грустно сказал Лишний. — Ничего теперь вообще не сделаем. Вдобавок еще и пропадем.

— Айда на Волгу! — кликнул опять атаман. — Хоть погуляем.

— Сиди, — сердито сказал Обломов. — Гуляка... Все бы гулять, все бы им гулять! Дело надо делать, а не гулять.

— А-а-а, — вдруг зловеще-тихо протянул атаман, — вот кохо я искал-то всю жизнь. Вот кохо мине надоть-то... — и потащил из ножен саблю. — Вот кому я счас кровя-то пущу...

Все повскакали с мест...

Акакий Акакиевич птицей взлетел на свою полку Бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном... Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил:

— О-о, забегали?! Забегали, черти драповые?! Забегали?

Обломов загородился от казака стулом и кричал ему надрываясь:

— Да ты спроси историков литературы! Ты спроси!.. Я же хороший был! Я только лодырь беспросветный... Но я же безвредный!

— А вот похлядим, — говорил казак, — похлядим, какой ты хороший: хороших моя сабля не секеть.

Конторский сунулся было к казаку, тот замахнулся на него, и конторский отскочил.

— Бей, казаче! — гаркнул Илья. — Цеди кровь поганую!

И бог знает, что тут было бы, если бы не Акакий Акакиевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул:

— Закрыто на учет!

И все замерли... Опомнились. Казак спрятал саблю. Обломов вытер лицо платком. Лиза встала и стыдливо оправила сарафан.

— Азия, — тихо и горько сказал конторский. — Разве можно тут что-нибудь сделать? Спасибо, Акакий. Мне както и в голову не пришло — закрыть на учет.

— Илья, у тя вина нету? — спросил казак Муромца.

— Откуда? — откликнулся тот. — Я же не пью.

— Тяжко на душе, — молвил казак. — Маяться буду...

— А нечего тут... размахался, понимаешь, — сказал конторский. — Продолжим. Лиза, ты чего-то хотела сказать...

— Я предлагаю отправить Ивана-дурака к Мудрецу за справкой, — сказала Лиза звонко и убежденно. — Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай... я не знаю, пускай убирается от нас.

— Куда же ему? — спросил Илья грустно.

— Пускай идет в букинистический! — жестко отрезала Лиза.

— О-о, не крутенько ли? — усомнился кто-то.

— Не крутенько, — тоже жестко сказал конторский. — Нисколько. Только так. Иван...

— Аиньки! — откликнулся Иван. И встал.

— Иди.

Иван посмотрел на Илью.

Илья нагнул голову и промолчал.

И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе — все, видно, искал вино.

— Иди, Ванька, — тихо сказал Илья. — Ничего не сделаешь. Надо идти. Вишь, какие они все... ученые. Иди и помни: в огне тебе не гореть, в воде не тонуть... За остальное не ручаюсь.

— Хошь мою саблю? — предложил казак Ивану.

— Зачем она мне? — откликнулся тот.

— Иван, — заговорил Илья, — иди смело — я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда... Где тебя задумают погубить, я крикну: «Ванька, смотри!»

— Как ты узнаешь, шо ехо пристихла беда? — спросил казак.

— Я узнаю. Сердцем учую. А ты мой голос услышишь.

Иван вышел на середину библиотеки, поклонился всем поясным поклоном... Подтянул потуже армячишко и пошел к двери.

— Не поминайте лихом, еслив где пропаду, — сказал с порога.

— Придешь со справкой, Иван, — взволнованно сказала Лиза, — я за тебя замуж выйду.

— На кой ты мне черт нужна, — грубо сказал Иван. — Я лучше царевну какую-нибудь стрену...

— Не надо, Иван, — махнул рукой Илья, — не связывайся. Все они... не лучше этой вот, — показал на Лизу. — На кой ляд тебе эта справка? Чего ты заегозила-то? Куда вот парню... на ночь глядя! А и даст ли он ее, справку-то, ваш Мудрец? Тоже, небось, сидит там...

— Без справки нельзя, дядя Илья, — решительно сказала Лиза. — А тебе, Иван, я припомню, что ты отказался от меня. Ох, я те припомню!

— Иди, иди, Иван, — сказал конторский. — Время позднее — тебе успеть надо.

— Прощайте, — сказал Иван. И вышел.

И пошел он куда глаза глядят.

Темно было... Шел он, шел — пришел к лесу. А куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился.

— Бедная моя головушка, — сказал, — пропадешь ты. Где этот Мудрец? Хоть бы помог кто.

Но никто ему не помог. Посидел-посидел Иван, пошел дальше.

Шел-шел, видит — огонек светится. Подходит ближе — стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пиломатериалы всякие.

— Есть тут кто-нибудь?! — крикнул Иван.

Вышла на крыльцо баба Яга... Посмотрела на Ивана, спрашивает:

— Кто ты такой? И куда идешь?

— Иван-дурак, иду к Мудрецу за справкой, — ответил Иван. — А где его найти, не знаю.

— Зачем тебе справка-то?

— Тоже не знаю... Послали.

— А-а... — молвила баба Яга. — Ну, заходи, заходи... Отдохни с дороги. Есть, небось, хочешь?

— Да не отказался бы...

— Заходи.

Зашел Иван в избушку.

Избушка как избушка, ничего такого. Большая печка, стол, две кровати...

— Кто с тобой еще живет? — спросил Иван.

— Дочь. Иван, — заговорила Яга, — а ты как дурак-то — совсем, что ли, дурак?

— Как это? — не понял Иван.

— Ну, полный дурак или это тебя сгоряча так окрестили? Бывает, досада возьмет — крикнешь: у, дурак! Я вот на дочь иной раз как заору: у, дура такая! А какая же она дура? Она у меня вон какая умная. Может, и с тобой такая история; привыкли люди: дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только... бесхитростный. А?

— Не пойму ты куда клонишь-то?

— Да я же по глазам вижу: никакой ты не дурак, ты просто бесхитростный. Я, как только тебя увидела, сразу подумала: «Ох, и талантливый парень!» Или ты полностью поверил, что ты — дурак?

— Ничего я не поверил! — сердито сказал Иван. — Как это я про себя поверю, что я — дурак?

— А я тебе чего говорю? Вот люди, а?.. Ты строительством когда-нибудь занимался?

— Ну как?.. С отцом, с братьями теремки рубили... А тебе зачем?

— Понимаешь, хочу котэджик себе построить... Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?

— Мне же справку надо добывать...

— Да зачем она тебе? — воскликнула баба Яга. — Построишь котэджик... его увидят — ко мне гости всякие приезжают — увидят — сразу: кто делал? Кто делал — Иван делал... Чуешь? Слава пойдет по всему лесу

— А как же справка? — опять спросил Иван. — Меня же назад без справки-то не пустют.

— Ну и что?

— Как же? Куда же я?

— Истопником будешь при котэджике... Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале... Тепло, тихо,

никакой заботушки. Гости наверху заскучали — куда? — пошли к Ивану: истории разные слушать. А ты им ври побольше... Разные случаи рассказывай. Я об тебе заботиться буду. Я буду тебя звать — Иванушка...

— Карга старая, — сказал Иван. — Ишь ты, какой невод завела!.. Иванушкой она звать будет. А я на тебя буду горб гнуть? А ху-ху не хо-хо, бабуленька?

— А-а, — зловеще протянула баба Яга, — теперь я поняла, с кем я имею дело: симулянт, проходимец... тип. Мы таких, знаешь, что делаем — зажариваем. Ну-ка, кто там?! — и Яга трижды хлопнула в ладоши. — Стража! Взять этого дурака, связать — мы его будем немножко жарить.

Стражники, четыре здоровых лба, схватили Ивана, связали и положили на лавку.

— Последний раз спрашиваю, — еще попыталась баба Яга, — будешь котэджик строить?

— Будь ты проклята! — гордо сказал связанный Иван. — Чучело огородное... У тебя в носу растут волосы.

— В печь его! — заорала Яга. И затопала ногами. — Мерзавец! Хам!..

— От хамки слышу! — тоже заорал Иван. — Ехидна! У тебя не только в носу, у тебя на языке шерсть растет!.. Дармоедка!

— В огонь! — вовсе зашлась Яга. — В ого-онь!!

Ивана сгребли и стали толкать в печь, в огонь.

— Ох, брил я тебя на завалинке! — запел Иван. — Подарила ты мне чулки-валенки!.. Оп — тирдар-пупия! Мне в огне не гореть, карга! Так что я иду смело!

Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы, заржали кони.

— Дочка едет! — обрадовалась баба Яга и выглянула в окно. — У-у, да с женихом вместе! То-то будет им чем поужинать.

Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши.

— Змей Горыныч едет, Змей Горыныч едет! — закричали они. — Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же!

Вошла в избушку дочка бабы Яги, тоже сильно страшная, с усами.

— Фу-фу-фу, — сказала она. — Русским духом пахнет. Кто тут?

— Ужин, — сказала баба Яга. И засмеялась хрипло: — Ха-ха-ха!..

— Чего ты? — рассердилась дочка. — Ржет, как эта... Я спрашиваю: кто тут?

— Ивана жарим.

— Да ну! — приятно изумилась дочка. — Ах, какой сюрприз!

— Представляешь, не хочет, чтобы в лесу было красиво — не хочет строить котэджик, паразит.

Дочка заглянула в печку... А оттуда вдруг — не то плач, не то хохот.

— Ой, не могу-у!.. — стонал Иван. — Не от огня помру — от смеха!..

— Чего это? — зло спросила дочка бабы Яги. И Яга тоже подошла к печке. — Чего он?

— Хохочет?

— Чего ты, эй?

— Ой, помру от смеха! — орал Иван. — Ой, не выживу я!..

— Вот идиот-то, — сказала дочка. — Чего ты?

— Да усы-то!.. Усы-то... Ой, господи, ну бывает же такое в природе! Да как же ты с мужем-то будешь спать? Ты же замуж выходишь...

— Как все... А чего? — не поняла дочка. Не поняла, но встревожилась.

— Да усы-то!

— Ну и что? Они мне не мешают, наоборот, я лучше чую.

— Да тебе-то не мешают... А мужу-то? Когда замуж-то выйдешь...

— А чего мужу? Куда ты гнешь, дурак? Чего тебе мой будущий муж? — вовсе встревожилась дочка.

— Да как же? Он тебя поцелует в темноте-то, а сам подумает: «Черт те что: солдат не солдат, и баба не баба». И разлюбит. Да нешто можно бабе с усами! Ну, эти ведьмы!.. Ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить, с усатой. А то еще возьмет да голову откусит со зла, знаю я этих Горынычей.

Баба Яга и дочка призадумались.

— Ну-ка, вылазь, — велела дочь.

Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся.

— Хорошо погрелся...

— А чего ты нам советуешь? — спросила баба Яга. — С усами-то.

— Чего, чего... Свести надо усы, если хочете семейную жизнь наладить.

— Да как свести-то, как?

— Я скажу как, а вы меня опять в печь кинете.

— Не кинем, Ванюшка, — заговорила ласково дочь бабы Яги. — Отпустим тебя на все четыре стороны, скажи только, как от усов избавиться.

Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесаря-сантехники.

— Это не просто, — заговорил он, — это надо состав делать...

— Ну и делай!

— Делай, делай... А когда же я к Мудрецу-то попаду? Мне же к третьим петухам надо назад вернуться...

— Давай так, — заволновалась баба Яга, — слушай сюда! Давай так: ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у Мудреца.

Иван призадумался.

— Быстрей! — заторопилась усатая дочь. — А то Горыныч войдет.

Тут и Иван заволновался.

— Слушайте, он же войдет, так?..

— Ну?

— Войдет и с ходу сожрет меня.

— Он может, — сказала дочь. — Чего бы такое придумать?

— Я скажу, что ты мой племянник, — нашлась баба Яга. — Понял?

— Давайте, — понял Иван. — Теперь — так: мой состав-то не сразу действует.

— Как это? — насторожилась дочь.

— Мы его счас наведем и наложим на лицо маску... Так? Я лечу на метле к Мудрецу, ты пока лежишь с маской...

— А обманет? — заподозрила дочь. — Мам?

— Пусть только попробует, — сказала баба Яга, — пусть только надует: навернется с поднебесья — мокрое место останется.

— Ну, елки зеленые-то!.. — опять заволновался Иван, похоже, он и хотел надуть. — Ну что за народ! В чем дело?

Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне-то что! Им дело говорят, понимаешь, — нет, они начинают тут... Вы меня уважаете, нет?

— При чем тут «уважаете»? Ты говори толком...

— Нет, не могу, — продолжал Иван тараторить. — Не могу честное слово! Сердце лопнет. Ну что за народ! Да живи ты с усами, живи! Сколько влезет, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. Тьфу!.. А детишки народятся? Потянется сынок или дочка ручонкой: «Мама, а что это у тебя?» А подрастут? Подрастут, их на улице начнут дразнить: «Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами!» Легко будет ребенку? Легко будет слышать такие слова? Ни у кого нету мамки с усами, а у него — с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не сможет ответить, он зальется слезами и пойдет домой... к усатой мамке...

— Хватит! — закричала дочь бабы Яги. — Наводи свой состав. Что тебе надо?

— Пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины — мы накладываем на лицо такую маску...

— На все лицо? Как же я дышать-то буду?

— Ну что за народ! — опять горько затараторил Иван. — Ну ничего невозможно...

— Ладно! — рявкнула дочь. — Спросить ничего нельзя!..

— Нельзя! — тоже рявкнул Иван. — Когда мастер соображает, нельзя ничего спрашивать! Повторяю: навоз, глина, помет. Маска будет с дыркой — будешь дышать. Все.

— Слышали? — сказала Яга стражникам. — Одна нога здесь, другая в сарае! Арш!

Стражники побежали за навозом, глиной и пометом.

А в это самое время в окно просунулись три головы Змея Горыныча... Уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана. Потом спросил:

— Кто это?

— Это, Горыныч, племянник мой, Иванушка, — сказала Яга. — Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем.

— Здравствуйте, дядя Горыныч! — поздоровался Иван. Ну, как дела?

Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал.

— Да ну что, елки зеленые? Что? Ну — племянник, ты же слышал! Пришел к тете Ежке. В гости. Что, гостей будем жрать? Давай, будем гостей жрать! А семью собираемся заводить: всех детишечек пожрем, да? Папа, называется!..

Головы Горыныча посоветовались между собой.

— По-моему он хамит, — сказала одна.

Вторая подумала и сказала:

— Дурак, а нервный.

А третья выразилась и вовсе кратко:

— Лангет, — сказала она.

— Я счас такой лангет покажу!.. — взорвался от страха Иван. — Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля? — Иван вскочил с лавки и забегал по избушке — изображал, что ищет волшебную саблю. — Я счас такое устрою!.. Головы надоело носить?! — Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него — жутко было смотреть на эти три спокойные головы. — Такое счас устрою!..

— Он просто расхамился, — опять сказала первая голова.

— Нервничает, — заметила вторая. — Боится.

А третья не успела ничего сказать: Иван остановился перед Горынычем, и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.

— Шпана, — сказал Иван. — Я тебя сам съем.

Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца.

— Ванька, смотри! — сказал Илья.

— Да что «Ванька», что «Ванька»! — воскликнул Иван. — Чего ванькать-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя... великую тварь строить, а тут обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело! — Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько. — Жри, — сказал он, отвлекаясь от дудочки. — Жрать будешь? Жри. Гад. Потом поцелуй свою усатую невесту. Потом рожайте усатых детей и маршируйте с имя. Он меня, видите ли, пугать будет!.. Хрен тебе! — и Ванька опять засвистел в свою дудочку.

— Горыныч, — сказала дочь, — плюнь — не обращай внимания. Не обижайся.

— Но он же хамит, — возразила первая голова. — Как он разговаривает!

— Он с отчаяния. Он не ведает, что творит.

— Я все ведаю, — встрял Иван, перестав дудеть. — Все я ведаю. Я вот сейчас подберу вам марш... для будущего батальона...

— Ванюшка, — заговорила баба Яга кротко, — не хами, племяш. Зачем ты так?

— Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать! Вращай, когда у тебя батальон усатых будет — тогда вращай. А счас нечего.

— Нет, ну он же вовсю хамит! — чуть не плача сказала первая голова. — Ну как же?..

— Заплачь, заплачь, — жестко сказал Иван. — А мы посмеемся. В усы.

— Хватит тянуть, — сказала вторая голова.

— Да, хватит тянуть, — поддакнул Иван. — Чего тянуть-то? Хватит тянуть.

— О-о! — изумилась третья голова. — Ничего себе!

— Ага! — опять дурашливо поддакнул Иван. — Во даеть Ванькя! Споем? — и Ванька запел:

Эх, брил я тебя
На завалинке,
Подарила ты мене
Чулки-валенки...

— Горыныч, хором! Оп — ти-ирдарпупия! — допел Ванька. И стало тихо. И долго было тихо.

— А романсы умеешь? — спросил Горыныч.

— Какие романсы?

— Старинные.

— Сколько угодно... Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хошь. Завалю романсами. Например:

Хаз-булат удалой,
Бедна сакля твоя-а,
Золотою казной
Я осыплю тебя-а!..

— А? Романс?! — Ванька почуял некую перемену в Горыныче, подошел к нему и похлопал одну голову по щеке... — Ух ты... свирепый. Свирепунчик ты мой.

— Не ерничай, — сказал Горыныч. — А то откушу руку.

Ванька отдернул руку.

— Ну, ну, ну, — молвил он мирно, — кто же так с мастером разговаривает? Возьму вот и не буду петь.

— Будешь, — сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил. — Я тебе возьму и голову откушу.

Две другие головы громко засмеялись. И Иван тоже мелко и невесело посмеялся.

— Тогда-то уж я и вовсе не спою — нечем: чем же я петь-то буду?

— Филе, — сказала голова, которая давеча говорила «лангет». Это была самая глупая голова.

— А тебе бы все жрать! — обозлился на нее Иван. — Все бы ей жрать!.. Живоглотка какая-то.

— Ванюшка, не фордыбачь, — сказала баба Яга. — Пой.

— Пой, — сказала и дочь. — Разговорился. Есть слух — пой.

— Пой, — велела первая голова. — И вы тоже пойте...

— Кто? — не поняла баба Яга. — Мы?

— Вы. Пойте.

— Может быть, я лучше одна? — вякнула дочь; ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. — С мужиком петь... ты меня извини, но...

— Три, четыре, — спокойно сказал Горыныч. — Начали.

Дам коня, дам седло, —

запел Иван. Баба Яга с дочкой подхватили:

Дам винтовку свою-у,
А за это за все
Ты отдай мне жену-у.
Ты уж стар, ты уж се-ед,
Ей с тобой не житье:
С молодых юных ле-ет
Ты погубишь ее-о-о.

Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились: как всякий деспот, он был слезлив.

— Дальше, — тихо сказал он.

Под чинарой густой, —

пел дальше Иван, —

Мы сидели вдвое-ом;
Месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

И Иван с чувством повторил еще раз, один:

Эх, месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

— Как ты живешь, Иван? — спросил растроганный Горыныч.

— В каком смысле? — не понял тот.

— Изба хорошая?

— А-а. Я счас в библиотеке живу вместе со всеми.

— Хочешь отдельную избу?

— Нет. Зачем она мне?

— Дальше.

Она мне отдала-ась, —

повел дальше Иван, —

До последнего дня-а...

— Это не надо, — сказал Горыныч. — Пропусти.

— Как же? — не понял Иван.

— Пропусти.

— Горыныч, так нельзя, — заулыбался Иван, — из песни слова не выкинешь.

Горыныч молча смотрел на Ивана; опять воцарилась эта нехорошая тишина.

— Но ведь без этого же нет песни! — занервничал Иван. — Ну? Песни-то нету!

— Есть песня, — сказал Горыныч.

— Да как же есть? Как же есть-то?!

— Есть песня. Даже лучше — лаконичнее.

— Ну, ты смотри, что они делают! — Иван даже хлопнул в изумлении себя по ляжкам. — Что хотят, то и делают! Нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни!.. Не буду петь лаконичнее. Все.

— Ванюшка, — сказала баба Яга, — не супротивничай.

— Пошла ты!.. — вконец обозлился Иван. — Сами пойте. А я не буду. В гробу я вас всех видел! Я вас сам всех сожру! С усами вместе. А эти три тыквы... я их тоже буду немножко жарить...

— Господи, сколько надо терпения, — вздохнула первая голова Горыныча. — Сколько надо сил потратить, нервов... пока их научишь. Ни воспитания, ни образования...

— Насчет «немножко жарить» — это он хорошо сказал, — молвила вторая голова. — А?

— На какие усы ты все время намекаешь? — спросила Ивана третья голова. — Весь вечер сегодня слышу: усы, усы... У кого усы?

А па-арень улыбается
В пшеничные усы, —

шутливо спела первая голова. — Как там дальше про Хаз-булата?

— Она мне отдалась, — отчетливо сказал Иван.

Опять сделалось тихо.

— Это грубо, Иван, — сказала первая голова. — Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь... как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, Бедная Лиза... прекрасная девушка, я отца ее знал... Она — невеста твоя?

— Кто? Лизка? Еще чего!

— Как же? Она тебя ждет.

— Пусть ждет — не дождется.

— Мда-а... Фрукт, — сказала вторая голова. А голова, которая все время к жратве клонила, возразила:

— Нет, не фрукт, — сказала она серьезно. — Какой же фрукт? Уж во всяком случае — лангет. Возможно, даже шашлык.

— Как там дальше-то? — вспомнила первая голова. — С Хаз-булатом-то?

— Он его убил, — покорно сказал Иван.

— Кого?

— Хаз-булата.

— Кто убил?

— М-м... — Иван мучительно сморщился. — Молодой любовник убил Хаз-булата. Заканчивается песня так: «Голова старика покатилась на луг».

— Это тоже не надо. Это жестокость, — сказала голова.

— А как надо?

Голова подумала.

— Они помирились. Он ему отдал коня, седло — и они пошли домой. На какой полке ты там сидишь, в библиотеке-то?

— На самой верхней... Рядом с Ильей и донским атаманом.

— О-о! — удивились все в один голос.

— Понятно, — сказала самая умная голова Горыныча, первая. — От этих дураков только и наберешься... А зачем ты к Мудрецу идешь?

— За справкой.

— За какой справкой?

— Что я умный.

Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись. Баба Яга и дочь тоже подхихикнули.

— А плясать умеешь? — спросила умная голова.

— Умею, — ответил Иван. — Но не буду.

— Он, по-моему, и котэджики умеет рубить, — встряла баба Яга. — Я подняла эту тему...

— Ти-хо! — рявкнули все три головы Горыныча. — Мы никому больше слова не давали.

— Батюшки мои, — шепотом сказала баба Яга. — Сказать ничего нельзя.

— Нельзя! — тоже рявкнула дочь. И тоже на бабу Ягу: — Базар какой-то!

— Спляши, Ваня, — тихо и ласково сказала самая умная голова.

— Не буду плясать, — уперся Иван.

Голова подумала.

— Ты идешь за справкой... — сказала она. — Так?

— Ну. За справкой.

— В справке будет написано: «Дана Ивану... в том, что он — умный». Верно? И — печать.

— Ну.

— А ты не дойдешь, — умная голова спокойно смотрела на Ивана. — Справки не будет.

— Как это не дойду? Если я пошел — я дойду.

— Не, — голова все смотрела на Ивана. — Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь.

Иван постоял в тягостном раздумье... Поднял руку и печально возгласил:

— Сени!

— Три, четыре, — сказала голова. — Пошли.

Баба Яга и дочь запели:

Ох вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...

Они пели и прихлопывали в ладоши.

Сени новые-преновые,
Решетчатые...

Иван двинулся по кругу, пристукивая лапоточками... А руки его висели вдоль тела: он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.

— А почему соколом не смотришь? — спросила голова.

— Я смотрю, — ответил Иван.

— Ты в пол смотришь.

— Сокол же может задуматься?

— О чем?

— Как дальше жить... Как соколят вырастить. Пожалей ты меня, Горыныч, — взмолился Иван. — Ну, сколько уж? Хватит...

— А-а, — сказала умная голова. — Вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут... строить из себя. Шмакодявки. Свистуны. Чего ты начал строить из себя?

Иван молчал.

— Становись лицом к двери, — велел Горыныч.

Иван стал лицом к двери.

— По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука.

— Со звуком — это ты лишку хватил, Горыныч, — возразил Иван. — Я не сумею так.

— Как сумеешь. Приготовились... Три, четыре!

Иван вылетел из избушки.

Три головы Горыныча, дочь и баба Яга засмеялись.

— Иди сюда, — позвал Горыныч невесту, — я тебя ласкать буду.

А Иван шел опять темным лесом... И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лесину и закручинился.

— В душу как вроде удобрение свалили, — грустно сказал он. — Вот же как тяжко! Достанется мне эта справка...

Сзади подошел медведь и тоже присел на лесину.

— Чего такой печальный, мужичок? — спросил медведь.

— Да как же!.. — сказал Иван. — И страху натерпелся, и напелся, и наплясался... И уж так-то теперь на душе тяжко, так нехорошо — ложись и помирай.

— Где это ты так?

— А в гостях... Черт занес. У бабы Яги.

— Нашел к кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?

— Да зашел по пути...

— А куда идешь-то?

— К Мудрецу.

— Во-он куда! — удивился медведь. — Далеко.

— Не знаешь ли, как к нему идти?

— Нет. Слыхать слыхал про такого, а как идти — не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся... Иду вот тоже, а куда иду — не знаю.

— Прогнали, что ль?

— Да и прогнать не прогнали, и... Сам уйдешь. Эт-то вот — недалеко — монастырь, ну, жили себе... И я возле питался — там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти. Откуда только их нашугало! Обложили весь монастырь — их вовнутрь-то не пускают — с утра до ночи музыку заводют, пьют, безобразничают.

— А чего хотят-то?

— Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражников-то, бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают — сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу — завязывай глаза и беги. Страсть что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле их научился... — медведь достал пачку сигарет и закурил. — Нет житья никакого... Подумал, подумал — нет, думаю, надо уходить, а то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напивался уж...

— Это скверно.

— Уж куда как скверно! Медведицу избил... льва в лесу искал... Стыд головушке! Нет, думаю, надо уходить. Вот — иду.

— Не знают ли они про Мудреца? — спросил Иван.

— Кто? Черти? Чего они не знают-то? Они все знают. Только не связывайся ты с имя, пропадешь. Пропадешь, парень.

— Да ну... чего, поди?

— Пропадешь. Попытай, конечно, но... гляди. Злые они.

— Я сам злой счас... Хуже черта. Вот же как он меня исковеркал. Всего изломал.

— Кто?

— Змей Горыныч.

— Бил, что ли?

— Да и не бил, а... хуже битья. И пел перед ним, и плясал... тьфу! Лучше бы уж избил.

— Унизил?

— Унизил. Да как унизил!.. Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их. А?

— Брось, — сказал медведь, — не связывайся. Он такой, этот Горыныч... Гад, одно слово. Брось. Уйди лучше. Живой ушел, и то слава богу. Эту шайку не одолеешь: везде достанут.

Они посидели молча, медведь затянулся последний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал.

— Прощай.

— Прощай, — откликнулся Иван. И тоже поднялся.

— Аккуратней с чертями-то, — еще раз посоветовал медведь. — Эти похуже Горыныча будут... Забудешь, куда идешь. Все на свете забудешь. Ну, и охальное же племя! На ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у их — захомутали.

— Ничего, — сказал Иван. — Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь вывернусь. Надо же где-то Мудреца искать... леший-то навязался на мою голову. А время — до третьих петухов только.

— Ну, поспешай, коли так. Прощай.

— Прощай.

И они разошлись.

Из темноты еще медведь крикнул:

— Вон, слышь, музыка?

— Где?

— Да послушай!.. «Очи черные» играют.

— Слышу!

— Вон иди на музыку — они. Вишь, наяривают! О, господи! — вздохнул медведь. — Вот чесотка-то мировая! Ну, чесотка... Не хочут жить на болоте, никак не хочут, хочут в кельях.

А были — ворота и высокий забор. На воротах написано: «Чертям вход воспрещен».

В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом.

Кругом же творился некий вялый бедлам — пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты... Один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски — выпивали. А четверо — три музыканта с гитарами и девица — стояли прямо перед стражником: девица красиво пела «Очи черные». Гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах... Однако стражник спокойно смотрел на нее — почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы.

— Хлеб да соль! — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали.

Его оглядели с ног до головы... И отвернулись.

— Что же с собой не приглашаете? — жестко спросил Иван.

Его опять оглядели.

— А что ты за князь такой? — спросил один, тучный, с большими рогами.

— Я князь такой, что если счас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Стать!

Черти изумились... Смотрели на Ивана.

— Я кому сказал?! — Иван дал ногой по бутылкам. — Стать!!!

Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего роста, в очках.

— В чем дело, дружок? — заговорил он, беря Ивана под руку. — Чего мы шумим? М-м? У нас где-нибудь бобо? Или что? Или настроение испорчено? Что надо?

— Надо справку, — зло сказал Иван.

К ним еще подошли черти. Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван.

— Продолжайте, — крикнул изящный музыкантам и девице. — Ваня, какую справку надо? О чем?

— Что я — умный.

Черти переглянулись... Быстро и непонятно переговорили между собой.

— Шизо, — сказал один. — Или авантюрист.

— Не похоже, — возразил другой. — Куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо?

— Одну.

— А какую справку, Ваня? Они разные бывают... Бывает — характеристика, аттестат... Есть о наличии, есть об отсутствии, есть «в том, что», есть «так как», есть «ввиду того, что», а есть «вместе с тем, что» — разные, понимаешь? Какую именно, тебе сказали, принести?

— Что я умный.

— Не понимаю... Диплом, что ли?

— Справку.

— Но их сотни, справок! Есть «в связи с тем, что», есть «несмотря на то, что», есть...

— Понесу ведь по кочкам, — сказал Иван с угрозой. — Тошно будет. Или спою «Отче наш».

— Спокойно, Ваня, спокойно, — занервничал изящный черт. — Зачем подымать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять — какую? Мы тебе сделаем...

— Мне липовая справка не нужна, — твердо сказал Иван, — мне нужна такая, какие выдает Мудрец.

Тут черти загалдели все разом.

— Ему нужна только такая, какие выдает Мудрец.

— О-о!..

— Липовая его не устраивает... Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелико!

— Какой митрополит! — он нам споет «Отче наш». А «сухой бы я корочкой питалась» ты нам споешь?

— Ша, черти! Ша... Я хочу знать: как это он понесет нас по кочкам? Он же берет нас на арапа! То ж элементарный арапинизм! Что значит, что этот пошехонец понесет нас?

Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон. И все глядели, и размахивали руками.

— Он опрокинул коньяк!..

— Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж?

— Кубок «Большого орла» ему!

— Тумаков ему! Тумаков!..

Дело могло обернуться плохо; Ивана теснили.

— Ша, черти! Ша! — крикнул Иван. И поднял руку. — Ша, черти! Есть предложение!..

— Ша, братцы, — сказал изящный черт. — Есть предложение. Выслушаем предложение.

Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника. И другие тоже посматривали туда же.

Перед стражником по-прежнему «несли вахту» девица и музыканты: девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина!» Она пела и пританцовывала.

— Я не очень уверен, — сказал изящный черт. — Но... А?

— Это надо проверить, — заговорили и другие. — Это не лишено смысла.

— Да, это надо проверить. Это не лишено смысла.

— Мы это проверим, — сказал изящный черт своему помощнику. — Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что Мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть.

— Но без обмана! — сказал Иван. — Если Мудрец меня не принимает, я вот этими вот руками... беру вашего черта...

— Ша, Иван, — сказал изящный черт. — Не надо лишних слов. Все будет о'кей. Маэстро, что нужно? — спросил он своего помощника.

— Анкетные данные стражника, — сказал тот. — Где родился, кто родители... И еще одна консультация Ивана.

— Картотека, — кратко сказал изящный.

Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал.

Прибежали с данными. Один доложил:

— Из Сибири. Родители — крестьяне.

Изящный черт, Иван и маэстро посовещались накоротке.

— Да? — спросил изящный.

— Как штык, — ответил Иван. — Чтоб мне сдохнуть!

— Маэстро?

— Через... две с половиной минуты, — ответил маэстро, поглядев на часы.

— Приступайте, — сказал изящный.

Маэстро и с ним шестеро чертей — три мужского пола и три женского — сели неподалеку с инструментами и стали

сыгрываться. Вот они сыгрались... Маэстро кивнул головой, и шестеро грянули...

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни, негромкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко; черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми, показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином — в любви, в сострадании.

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбачью он лодку берет,
Унылую песню заводит
О родине что-то поет.

Ах, как они пели!.. Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами; он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем.

Бродяга Байкал переехал —
Навстречу родимая мать.
Ой, здравствуй, ой, здравствуй, родная,
Здоров ли отец мой и брат?

Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед.

— М-мх... — сказал он.

А в пустые ворота пошли черти.

А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни — звала на простор, на вольную волю.

А черти шли и шли в пустые ворота.

Стражнику поднесли огромную чару... Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал:

— М-мх...

Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею зарыт.
А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит.

Стражник дал кулаком по колену, поднял голову — лицо в слезах.

А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит, —

сказал он страдальческим голосом. — Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Дай «Камаринскую»!.. Пропади все пропадом, гори все синим огнем! Дай вина!

— Нельзя, мужичок, нельзя, — сказал лукавый маэстро. — Ты напьешься и все забудешь.

— Кто?! — заорал стражник. И лапнул маэстро за грудки. — Кто тут меня учить будет?! Ты, козел? Да я тебя... в три узла завяжу, вонючка! Я вас всех понесу по кочкам!..

— Что они так обожают кочки? — удивился изящный черт. — Один собирался нести по кочкам, другой... Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый? — спросил он стражника.

— Цыть! — сказал стражник. — «Камаринскую»!

— «Камаринскую», — велел изящный музыкантам.

— Вина! — рявкнул стражник.

— Вина, — покорно вторил изящный.

— Может, не надо, — заспорил притворяшка-маэстро. — Ему же плохо будет.

— Нет, надо! — повысил голос изящный черт. — Ему будет хорошо!

— Друг!.. — заревел стражник. — Дай я тебя поцелую! Иди ко мне!..

— Иду! — откликнулся изящный черт. — Счас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут!..

Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника; особенно изумил его изящный черт.

— Ты-то чего раздухарился, эй? — спросил он его.

— Цыть! — рявкнул изящный черт. — А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...

— Что, что? — угрожающе переспросил Иван. И поднялся. — Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка, повтори.

— Ты на кого это тут хвост поднимаешь? — тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана. — На моего друга?! Я из тебя лангет сделаю!

— Опять лангет, — сказал Иван, останавливаясь. — Вот дела-то!

— «Камаринскую»! — раскапризничался изящный черт. — Иван нам спляшет. «Камаринскую»! Ваня, давай!

— Пошел к дьяволу! — обозлился Иван. — Сам давай... с другом, вон.

— Тогда я не посылаю с тобой черта, — сказал изящный черт. И внимательно, и злобно посмотрел на Ивана. — Понял? Попадешь ты к Мудрецу!.. Ты к нему никог-да не попадешь.

— Ах ты, харя ты некрещеная! — задохнулся от возмущения Иван. — Да как же это? Да нешто так можно? Где же стыд-то у тебя? Мы же договорились. Я же такой грех на душу взял — научил вас, как за ворота пройти.

— Последний раз спрашиваю: будешь плясать?

— О, проклятие!.. — застонал Иван. — Да что же это такое-то? Да за что же мне муки такие?

— «Камаринскую»! — велел изящный черт. — «Пошехонские страдания».

Музыканты-черти заиграли «Камаринскую». И Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать лапоточками. Он плясал и плакал. Плакал и плясал.

— Эх, справочка!.. — воскликнул он зло и горько. — Дорого же ты мне достаешься! Уж так дорого, что и не скажешь, как дорого!..

И вот — канцелярия. О, канцелярия! Вот уж канцелярия так канцелярия. Иван бы тут вконец заблудился, если бы не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли приемную Мудреца.

— Минуточку, — сказал черт, когда вошли в приемную. — Посиди тут... Я скоро, — и куда-то убежал.

Иван огляделся.

В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекаршу, только эта — другого цвета и зовут Милка. А ту — Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и говорила сразу по двум телефонам.

— Ой, ну это ж пшено! — говорила она в одну трубку и улыбалась. — Помнишь, у Моргуновых: она напялила на себя желтое блестящее платье, копну сена, что ли, символизировала? Да о чем тут ломать голову? О чем?

И тут же — в другую, строго:

— Его нету. Не зна... А вы не интонируйте, не интонируйте, я вам пятый раз говорю: его нету. Не знаю.

— Во сколько ты там был? В одиннадцать? Один к одному? Интересно... Она одна была? Она кадрилась к тебе?

— Слушайте, я же ска... А вы не интонируйте, не интонируйте. Не знаю.

Иван вспомнил: их библиотекарша, когда хочет спросить по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, спрашивает: «Твой бугор в яме?» И он тоже спросил Милку:

— А бугор когда будет в яме? — он вдруг что-то разозлился на эту Милку.

Милка мельком глянула на него.

— Что вы хотите? — спросила она.

— Я спрашиваю: когда бу...

— По какому вопросу?

— Нужна справка, что...

— Понедельник, среда, девять тире одиннадцать.

— Мне... — Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов.

Милка опять отстукала:

— Понедельник, среда с девяти до одиннадцати. Тупой?

— Это пшено, — сказал Иван. И встал, и вольно прошелся по приемной. — Я бы даже сказал — компот. Как говорит наша Галка: «собачья радость на двух», «смесь козла с «Грюндиком». Я спрашиваю глобально: ты невеста? И сам отвечаю: невеста. Один к одному, — Иван все больше накалялся. — Но у тебя же — посмотри на себя — у тебя же нет румянца во всю щеку. Какая же ты невеста? Ты вот спроси у меня — я вечный жених — спроси: появилась у меня охота жениться? Ну-ка спроси.

— Появилась охота?

— Нет, — твердо сказал Иван.

Милка засмеялась и захлопала в ладоши.

— Ой, а еще? — попросила она. — Еще что-нибудь. Ну, пожалуйста.

Иван не понял, что «еще»?

— Еще покажите что-нибудь.

— А-а, — догадался Иван, — ты решила, что я — шут гороховый. Что я — так себе, Ванек в лапоточках... Тупой, как ты говоришь. Так вот знай: я мудрее всех вас... глубже, народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена не выражаете! Сороки. Вы пустые, как... Во мне суть есть, а в вас и этого нету. Одни танцы-шманцы на уме. А ты даже говорить толком со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину!..

Милка опять громко засмеялась.

— Ой, как интересно! А еще, а?

— Худо будет! — закричал Иван. — Ой, худо будет!.. Лучше вы меня не гневите, не гневите лучше!..

Тут в приемную влетел черт и увидел, что Иван орет на девицу.

— Тю, тю, тю, — испуганно затараторил черт и стал теснить Ивана в угол. — Чего это тут такое? Кто это нам разрешил выступать?.. А-я-я-я-яй! Отойти никуда нельзя. Предисловий начитался, — пояснил он девице «выступление» Ивана. — Сиди тихо, счас нас примут. Счас они придут... Я там договорился: нас примут в первую очередь.

Только черт сказал так, в приемную вихрем ворвался некто маленький, беленький — сам Мудрец, как понял Иван.

— Чушь, чушь, чушь, — быстро сказал он на ходу — Василиса никогда на Дону не была.

Черт почтительно склонил голову.

— Проходите, — сказал Мудрец, ни к кому отдельно не обращаясь. И исчез в кабинете.

— Пошли, — подтолкнул черт Ивана. — Не вздумай только вылететь со своими предисловиями... Поддакивай и все.

Мудрец бегал по кабинету. Он, что называется, рвал и метал.

— Откуда?! Откуда они это взяли?! — вопрошал он кого-то и поднимал руки кверху. — Откуда?!

— Чего ты расстроился, батя? — спросил Иван участливо.

Мудрец остановился перед посетителями, Иваном и чертом.

— Ну? — спросил он сурово и непонятно. — Облапошили Ивана?

— Почему вы так сразу ставите вопрос?.. — увертливо заговорил черт. — Мы, собственно, давно хотели...

— Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?

— Разрушение примитива, — твердо сказал черт.

Мудрец погрозил ему пальцем.

— Озоруете! А теоретически не готовы.

— Нет, ну серьезно... — заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу. — Ну тошно же смотреть. Одни рясы чего стоят!

— Что им, в полупендриках ваших ходить?

— Зачем в полупендриках? Никто к этому не призывает. Но, положа руку на сердце: неужели не ясно, что они безнадежно отстали? Вы скажете — мода. А я скажу: да, мода! Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают.

— Тут, очевидно, следует говорить не о моде, — заговорил старик важно и взволнованно, — а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали...

— Конечно! — воскликнул черт, глядя на Мудреца влюбленными глазами. — Конечно, о возможном положительном влиянии...

— Всякое явление, — продолжал старик, — заключает в себе две функции: моторную и тормозную. Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается: моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию — все явление подпрыгивает и продвигается вперед; если раздражитель попал на тормозную — все явление, что называется, съеживается и отползает в глубь себя, — Мудрец посмотрел на черта и на Ивана. — Обычно этого не понимают...

— Почему, это же так понятно, — сказал черт.

— Я все время твержу, — продолжал Мудрец, — что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции! Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах: одна говорит «да», другая говорит «нет».

— Я видел явление о трех головах... — вякнул было Иван, но на него не обратили внимания.

— Ударим одну голову услышим — «да», ударим другую, услышим — «нет», — старик Мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта. — Какую ударили вы?

— Мы ударили, которая сказала «да», — не колеблясь ответил черт.

Старик опустил руку.

— Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова, которая говорит «да», — крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите. И — с теорией, с теорией мне!.. — старик опять погрозил пальцем черту. — Манкируете! Смотрите! Распушу!.. Ох, распушу!

Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу... Задом открыл дверь и так, с подкупающей улыбкой на мордочке, исчез.

Иван же как стоял, так упал на колени перед Мудрецом.

— Батя, — взмолился он, — ведь на мне грех-то: я научил чертей, как пройти в монастырь...

— Ну?.. Встань-ка, встань — я не люблю этого. Встань, — велел Мудрец.

Иван встал.

— Ну? И как же ты их научил? — с улыбкой спросил старик.

— Я подсказал, чтоб они спели родную песню стражника... Они там мельтешили перед ним — он держался пока, а я говорю: «Вы родную его запойте, родную его...» Они и запели...

— Какую же они запели?

— «По диким степям Забайкалья».

Старик засмеялся.

— Ах, шельмы! — воскликнул он. — И хорошо запели?

— Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило.

— А ты петь умеешь? — быстро спросил Мудрец.

— Ну, как умею?.. Так...

— А плясать?

— А зачем? — насторожился Иван.

— Ну-ка... — заволновался старичок, — вот чего! Поедем-ка мы в одно место. Ах, Ваня!.. Устаю, дружок, так устаю — боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей.

Тут вошла секретарша Милка. С бумагой.

— Сообщают: вулкан «Дзидра» готов к извержению, — доложила она.

— Ага! — воскликнул старичок и пробежал по кабинету. — Что? Толчки?

— Толчки. Температура в кратере... Гул.

— Пойдем от аналогии с беременной женщиной, — подстегнул свои мысли старичок. — Толчки... Есть толчки? Есть. Температура в кратере... Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере. Есть? Гул, гул... — старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку. — А что такое гул?

Милка не знала.

— Что такое гул? — старичок нацелился в Ивана.

— Гул?.. — Иван засмеялся. — Это смотря какой гул... Допустим, гул сделает Илья Муромец — это одно, а сделает гул Бедная Лиза — это...

— Вульгартеория, — прервал старичок Ивана. — Гул — это сотрясение воздуха.

— А знаешь, как от Ильи сотрясается! — воскликнул Иван. — Стекла дребезжат!

— Распушу! — рявкнул старичок. Иван смолк. — Гул — это не только механическое сотрясение, это также... утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять...

— Ухо-то не может воспринять, а... — не утерпел опять Иван, но старичок вперил в него строгий взор.

— Ну что тебя — распушить?

— Не надо, — попросил Иван, — больше не буду.

— Продолжим. Все три признака великой аналогии — налицо. Резюме? Резюме: пускай извергается, — старичок выстрелил пальчиком в секретаршу. — Так и запишите.

Секретарша Милка так и записала. И ушла.

— Устаю, Ваня, дружок, — продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался. — Так устаю, что иногда кажется: все!.. больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент и опять накладываю. По семьсот, по восемьсот резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз... — старичок тонко, блудливо засмеялся. — Захочется иной раз пощипать... травки пощипать, ягодки... черт-те что!.. И, знаешь ли, принимаю решение... восемьсот первое: перекур! Есть тут одна такая... царевна Несмеяна, вот мы счас и нагрянем к ней.

Опять вошла секретарша Милка.

— Сиамский кот Тишка прыгнул с восьмого этажа.

— Разбился?

— Разбился.

Старичок подумал...

— Запишите, — велел он. — Кот Тимофей не утерпел.

— Все? — спросила секретарша.

— Все. Какая по счету резолюция на сегодня?

— Семьсот сорок восьмая.

— Перекур.

Секретарша Милка кивнула головой. И вышла.

— К царевне, дружок?! — воскликнул освобожденный Мудрец. — Сейчас мы ее рассмешим! Мы ее распотешим, Ваня. Грех, грех, конечно, грех... А?

— Я ничего. До третьих петухов-то успеем? Мне еще идти сколько.

— Успеем! Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?

— Я не про тот грех... Чертей, мол, в монастырь пустили — вот грех-то.

Старичок значительно подумал.

— Чертей-то?.. Да, — сказал он непонятно. — Все не так просто, дружок, все, милый мой, очень и очень непросто. А кот-то... а? Сиамский-то. С восьмого этажа! Поехали!

Несмеяна тихо зверела от скуки.

Сперва она лежала просто так... Лежала, лежала и взвыла.

— Повешусь! — заявила она.

Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами — загорали. И всем было страшно скучно.

— Повешу-усь! — закричала Несмеяна. — Не могу больше!

Молодые люди выключили транзисторы.

— Ну, пусть, — сказал один. — А что?

— Принеси веревку, — попросили его.

Этот, которого попросили, полежал, полежал... Сел.

— А потом — стремянку? — сказал он. — А потом — крюк искать? Я лучше пойду ей по морде дам.

— Не надо, — сказали. — Пусть вешается, — может, интересно будет.

Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра.

— Люстру сними пока, — посоветовали.

— Сам снимай! — огрызнулся парень.

Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез на стремянку — снимать люстру. Мало-помалу задвигались... Дело появилось.

— Веревку-то надо намылить.

— Да, веревку намыливают... Где мыло?

Пошли искать мыло.

— Есть мыло?

— Хозяйственное... Ничего?

— Какая разница! Держи веревку. Не оборвется?

— Сколько в тебе, Алка? — Алка — это и есть Несмеяна. — Сколько весишь?

— Восемьдесят.

— Выдержит. Намыливай.

Намылили веревку, сделали петлю, привязали конец к крюку... Слезли со стремянки...

— Давай, Алка.

Алка-Несмеяна вяло поднялась... Зевнула и полезла на стремянку. Влезла...

— Скажи последнее слово, — попросил кто-то.

— Ой, только не надо! — запротестовали все остальные.

— Не надо, Алка, не говори.

— Этого только не хватает!

— Умоляю, Алка!.. Не надо слов. Лучше спой.

— Ни петь, ни говорить я не собираюсь, — сказала Алка.

— Умница! Давай.

Алка надела на шею петлю... постояла.

— Стремянку потом ногой толкни.

Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла:

— Тоже скучно-о!.. — не то пропела она, не то заплакала. — Не смешно-о!

С ней согласились.

— Действительно...

— Ничего нового: было-перебыло.

— К тому же — патология.

— Натурализм.

И тут вошли Мудрец с Иваном.

— Вот, изволь, — бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки, — дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди!.. Разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скуки — такого средства нет. Так ведь? А, Несмеянушка?

— Ты прошлый раз обещал что-нибудь придумать, — капризно сказала Несмеяна со стремянки.

— А я и придумал! — воскликнул старичок весело. — Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе. А ведь народ не скучал! Народ смеялся!.. Умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища — и только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех... Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди... А то мы... слишком уж остроумные, интеллектуальные... а родной истории не знаем. А, Несмеянушка?

— Что ты придумал? — спросила Несмеяна.

— Что я придумал? Я взял и обратился к народу! — не без пафоса сказал старичок. — К народу, к народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?

— Да мне как-то неловко: они нагишом все... — сказал Иван. — Пусть хоть оденутся, что ли.

Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно — показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости.

— Ваня, это... ну, скажем так: не нашего ума дело. Наше дело — петь и плясать. Верно? Балалайку!

Принесли балалайку.

Иван взял ее. Потренькал, потинькал — подстроил... Вышел за дверь... И вдруг влетел в комнату — чуть не со свистом и с гиканьем — с частушкой.

Эх, милка моя,
Шевелилка моя;
Сама ходит, шевелит...

— О-о!.. — застонали молодые и Несмеяна, — не надо! Ну, пожалуйста... Не надо, Ваня.

— Так, — сказал старичок. — На языке офеней это называется — не прохонже. Двинем резерв. Перепляс!.. Ваня, пли!

— Пошел к чертовой матери! — рассердился Иван. — Что я тебе — Петрушка? Ты же видишь, им не смешно! И мне тоже не смешно!

— А справка? — зловеще спросил старичок. — А? Справка-то... Ее ведь надо заработать.

— Ну вот, сразу — в кусты. Как же так, батя?

— А как же! Мы же договорились.

— Но им же не смешно! Было бы хоть смешно, ей-богу, но так-то... Ну стыдно же, ну.

— Не мучай человека, — сказала Несмеяна старичку.

— Давай справку, — стал нервничать Иван. — И так проваландались сколько. Я же не успею. Первые петухи-то когда ишо пропели!.. Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть. А мне ишо идти да идти.

Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт — решил сделать Ивана посмешищем: так охота ему стало угодить своей «царевне», так невтерпеж сделалось старому греховоднику. К тому же и досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов.

— Справку? — спросил он с дурашливым недоумением. — Какую справку?

— Здрасте! — воскликнул Иван. — Я же говорил...

— Я забыл, повтори.

— Что я умный.

— А! — «вспомнил» старичок, все стараясь вовлечь в нехорошую игру и молодежь тоже. — Тебе нужна справка, что ты умный. Я вспомнил. Но как же я могу дать такую справку? А?

— У тебя же есть печать...

— Да печать-то есть... Но я же не знаю: умный ты или нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты — дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса, ответишь — дам тебе справку, не ответишь — не обессудь.

— Давай, — с неохотой сказал Иван. — Во всех предисловиях написано, что я вовсе не дурак.

— Предисловия пишут... Знаешь, кто предисловия пишет?

— Это что, первый вопрос?

— Нет, нет. Это еще не вопрос. Это так... Вопрос вот какой: что сказал Адам, когда бог вынул у него ребро и сотво-

рил Еву? Что сказал при этом Адам? — старичок искоса лукаво поглядел на свою «царевну» и на других молодых: поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен. — Ну?.. Что же сказал Адам?

— Не смешно, — сказала Несмеяна. — Тупо. Плоско.

— Самодеятельность какая-то, — сказали и другие.

— Идиотизм. Что он сказал? «Сам сотворил, сам и живи с ней»?

Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил.

— Очень близко!.. Очень!

— Мог бы и поостроумнее сказать.

— Минуточку! Минуточку!.. — суетился старичок. — Самое интересное, как ответит Иван! Ваня, что сказал Адам?

— А можно я тоже задам вопрос? — в свою очередь спросил Иван. — Потом...

— Нет, сначала ответь: что сказал...

— Нет, пусть он спросит, — закапризничала Несмеяна. — Спроси, Ваня.

— Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?

— Спроси, Ваня. Спроси, Ваня. Ваня, спроси. Спроси, Ва-ня!

— Ну-у, это уже ребячество, — огорчился старичок. — Хорошо, спроси, Ваня.

— Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро? — Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем.

— То есть? — опешил тот.

— Нет, нет, не «то есть», а — почему? — заинтересовалась Несмеяна. — И почему ты это скрывал?

— Это уже любопытно, — заинтересовались и другие. — Лишнее ребро? Это же из ряда вон!..

— Так вот вся мудрость-то откуда!

— Ой, как интересно-о!

— Покажите, пожалуйста... Ну, пожалуйста!..

Молодые люди стали окружать старичка.

— Ну-ну, ну, — испугался старичок, — зачем же так? Ну что за шутки? Что, так понравилась мысль дурака, что ли?

Старичка окружали все теснее. Кто-то уже тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны — Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток.

— И скрывать, действительно, такое преимущество... Зачем же?

— Подержите-ка пиджак, пиджак подержите!.. О, тут не очень-то их прощупаешь!

— Прекратите! — закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим. — Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор, это же не юмор! Дурак пошутил, а они... Иван, скажи, что ты пошутил!

— По-моему я уже нащупал!.. Рубашка мешает, — вовсю шуровал один здоровенный парень. — У него тут еще майка... Нет, теплое белье! Синтетическое! Лечебное. Подержите-ка рубашку...

С Мудреца сняли пиджак, брюки... Сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье.

— Это безобразие! — кричал он. — Здесь же нет основания для юмора! Когда смешно? Смешно, когда намерения, цель и средства — все искажено! Когда налицо отклонение от нормы!..

Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу.

— А это?.. Разве не отклонение?

— Руки прочь! — завопил старичок. — Идиоты! Придурки!.. Никакого представления, что такое смешно!.. Кретины! Лежебоки...

В это время его аккуратненько пощекотали, он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и телки стояли весьма плотно.

— Почему вы скрывали наличие лишнего ребра?

— Да какое ребро?! Ой, ха-ха-ха1..Да где? Ха-ха-ха!.. Ой, не могу!.. Это же... ха-ха-ха!.. это же... ха-ха-а!..

— Дайте ему сказать.

— Это примитив! Это юмор каменного века! Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением... Ха-ха-ха!.. О-о-о!.. — и тут старичок пукнул, так это по-старчески, негромко — дал, и сам очень испугался, весь встрепенулся и съежился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали они, но как! — взахлеб, легли. Несмеяна опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла двинуться от смеха, Иван полез и снял ее. И положил рядом с другими — хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане... И нашел. Печать. И взял ее.

— Вы пока тут занимайтесь, — сказал он, — а мне пора отправляться.

— Зачем же ты всю-то... печать-то? — жалко спросил Мудрец. — Давай, я тебе справку выдам.

— Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд, — Иван пошел к двери. — Прощайте.

— Это вероломство, Иван, — сказал Мудрец. — Насилие.

— Ничего подобного, — Иван тоже стал в позу. — Насилие — это когда по зубам бьют.

— Я ведь наложу резолюцию! — заявил Мудрец с угрозой. — Наложу ведь — запляшете!

— Слабо, батя! — крикнули из компании молодых. — Клади!

— Возлюбленный мой! — заломила руки в мольбе Несмеяна, — наложи! Колыхни атмосферу!

— Решение! — торжественно объявил Мудрец. — Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым! А также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем — смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным.

И грянула вдруг дивная стремительная музыка... И хор. Хор, похоже, поет и движется — приплясывают.

ПЕСЕНКА ЧЕРТЕЙ

Аллилуя — вот,
Три-четыре — вот,
Шуры-муры.
Шуры-муры.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!
Мы возьмем с собой в поход
На покладистый народ —
Политуру.
Политуру.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!

Наше — вам
С кистенем;
Под забором,
Под плетнем —
Покультурим.

Покультурим.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!

Это где же так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? Э-э!.. То в монастыре. Черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся.

Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь; над лесом, близко, висела луна.

На воротах стоял теперь черт-стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовский ход: черти шли процессией и пели с приплясом. И песня их далеко разносилась вокруг.

Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, он увидел: монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько — в основном пожилые — сидели в горестных позах на земле и покачивали головами... но вот диковина: хоть и грустно они покачивали, а все же — в такт. Да и сам Иван — постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил.

Но вот визг и песнопение смолкли в монастыре — видно, устали черти, передых взяли. Монахи отошли от забора... И тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место.

— Ну-ка, брысь! — сказал он черту — Ты как здесь?..

Черт-стражник снисходительно улыбался.

— Иди, иди, дядя, иди проспись. Отойди!

— Эт-то што такое?! — изумился монах. — По какому такому праву? Как ты здесь оказался?

— Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшел!

Монах полез было на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой.

— Пшел, говорят! Нальют глаза-то и лезут... Не положено подходить! Вон инструкция висит: подходить к воротам не ближе десяти метров.

— Ах ты, харя! — заругался монах. — Ах ты, аборт козлиный!.. Ну, ладно, ладно... Дай я в себя приду, я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу заместо инструкции!

— И выражаться не положено, — строго заметил черт. — А то я тебя быстро определю — там будешь выражаться,

сколько влезет. Обзываться он будет! Я те пообзываюсь!.. Иди отсюда, пока я те... Иди отсюда! Бочка пивная. Иди отсюда!

— Агафангел! — позвали монаха. — Отойди... А то наживешь беды. Отойди от греха.

Агафангел, покачиваясь, пошел восвояси. Пошел и загудел:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная...

Черт-стражник захихикал ему в спину.

— Агафангел... — сказал он, смеясь. — И назовут же! Уж скорей — Агавинус. Или просто — Вермут.

— Што же это, братцы, случилось-то с вами? — спросил Иван, подсаживаясь к монахам. — Выгнали?

— Выгнали, — вздохнул один седобородый. — Да как выгнали! — пиночьями, вот как выгнали. Взашей попросили.

— Беда, беда, — тихо молвил другой. — Вот уж беда, так беда: небывалая. Отродясь такой не видывали.

— Надо терпеть, — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. — Укрепиться и терпеть.

— Да что же терпеть-то?! — воскликнул Иван. — Что терпеть-то? Надо же что-то делать!

— Молодой ты, — урезонили его. — Потому и шумишь. Будешь постарше — не будешь шуметь. Што делать? Што тут сделаешь — вишь, сила какая!

— Это нам за грехи наши.

— За грехи, за грехи... Надо терпеть.

— Будем терпеть.

Иван с силой, зло стукнул кулаком себя по колену. И сказал горько:

— Где была моя голова дурная?! Где она была, тыква?! Я виноватый, братцы, я виноватый!.. Я подкузьмил вам. На мне грех.

— Ну, ну, ну, — стали его успокаивать. — Чего ты? Эка, как тебя сграбастало. Чего ты?

— Эх-а!.. — сокрушался Иван. И даже заплакал. — Сколько же я на душу взял... За один-то поход! Как же мне тяжко!..

— Ну, ну... Не казнись, не надо. Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милок.

— Да ну!.. Все терпеть да терпеть! Только и умеем — терпеть.

— Што же делать-то? Ничего теперь не сделаешь.

Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем.

— Мужички, — сказал он, — есть халтура! Кто хочет заработать?

— Ну? А чего такое? — зашевелились монахи. — Чего надо-то?

— У вас там портреты висят... в несколько рядов...

— Иконы.

— А?

— Святые наши, какие портреты.

— Их надо переписать: они устарели.

Монахи опешили.

— И кого же заместо их писать? — тихо спросил самый старый монах.

— Нас.

Теперь уж все смолкли. И долго молчали.

— Гром небесный, — сказал старик-монах. — Вон она, кара-то.

— Ну? — торопил изящный черт. — Есть мастера? Заплатим прилично... Все равно ведь без дела сидите.

— Бей их! — закричал вдруг один монах. И несколько человек вскочило... И кинулись на черта, но тот быстро вбежал в ворота, за стражника. А к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились.

— Какие вы все же... грубые, — сказал им изящный черт из-за частокола. — Невоспитанные. Воспитывать да воспитывать вас... Дикари. Пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся.

И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка... И послышался звонкий перестук копыт по булыжнику — черти били на площади массовую чечетку.

Иван взялся за голову и пошел прочь.

Шел он по лесу, а его все преследовала, догоняла, стегала окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал — так горько было на душе, так мерзко.

Сел он на ту же поваленную лесину, на какой сидел прошлый раз.

Сел и задумался.

Сзади подошел медведь и тоже присел.

— Ну, сходил? — спросил он.

— Сходил, — откликнулся Иван. — Лучше бы не ходил...

— Что? Не дали справку?

Иван только рукой махнул, не стал говорить — больно было говорить.

Медведь прислушался к далекой музыке... И все понял без слов.

— Эти... — сказал он. — Все пляшут?

— Где пляшут-то? В монастыре пляшут-то.

— Ох, мать честная! — изумился медведь. — Прошли?

— Прошли.

— Ну, все, — сказал медведь обреченно, — надо уходить. Я так и знал, что пройдут.

Они помолчали.

— Слушай, — заговорил медведь, — ты там ближе к городу... какие условия в цирке?

— Вроде ничего... Я, правда, не шибко знаю, но так, слышно, ничего.

— Как насчет питания, интересно... Сколькиразовое?

— Шут его знает. Хочешь в цирк?

— Ну, а что делать-то? Хочешь не хочешь — пойдешь. Куда больше?

— Да... — вздохнул Иван. — Дела.

— Сильно безобразничают? — спросил медведь, закуривая. — Эти-то.

— А что же... смотреть, что ли, будут?

— Это уж... не для того старались. Погарцуют теперь. Тьфу, в душу мать-то совсем!.. — медведь закашлялся. Долго, с храпом, кашлял. — Еще откажут вот... в цирке-то — собрался. Забракуют. Легкие, как тряпки, стали. Бывало пробку вышибал — с оглоблю толщиной вылетала, а давеча за коровой погнался... кхо, кхо, кхох... с версту пробежал и язык высунул. А там небось тяжести надо подымать.

— Там надо на задних лапах ходить, — сказал Иван.

— Зачем? — не понял медведь.

— Да что же ты, не знаешь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает...

— Да какой интерес-то?

— Это уж я не знаю.

Медведь задумался. Долго молчал.

— Ну и ну, — сказал.

— У тебя семья-то есть? — поинтересовался Иван.

— Где!.. — горько, с отчаянием воскликнул Михайло Иванович. — Разогнал. Напился, начал буянить-то — они все разбежались. Где теперь, сам не знаю, — он еще помолчал. И вдруг встал и рявкнул: — Ну, курва!.. Напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь!

— Зачем же монастырь-то?

— Они же там!..

— Нет, Михайло Иваныч, не надо. Да ты и не попадешь туда.

Михайло Иваныч сел и трясущимися лапами стал закуривать.

— Ты не пьешь? — спросил.

— Нет.

— Зря, — зло сказал Михайло Иваныч. — Легче становится. Хошь, научу?

— Нет, — решительно сказал Иван. — Я пробовал — она горькая.

— Кто?

— Водка-то.

Михайло Иваныч оглушительно захохотал... И хлопнул Ивана по плечу.

— Эх, дите ты, дите!.. Чистое дите, ей-богу. А то научу?

— Нет, — Иван поднялся с лесины. — Пойду: время осталось с гулькин нос. Прощай.

— Прощай, — сказал медведь.

И они разошлись в разные стороны.

И пришел Иван к избушке бабы Яги. И хотел уж было мимо пройти, как услышал — зовут:

— Иванушка, а Иванушка!.. Что ж мимо-то?

Оглянулся Иван — никого.

— Да здесь я, — опять голос, — в сортире!

Видит Иван — сортир, а на двери — замок пудовый. А голос-то оттуда, из сортира.

— Кто там? — спросил Иван.

— Да это я, дочка бабы Яги... усатая-то, помнишь?

— Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?

— Выручи меня отсюда, Иванушка... Открой замок. На крылечке, под половиком, ключ, возьми и открой. Потом расскажу все.

Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь бабы Яги выскочила из сортира и стала шипеть и плеваться.

— Вот как нынче с невестами-то!.. Ну, змей!.. Я тебе этого не прощу, я тебе устрою...

— Это Горыныч тебя туда законопатил?

— Горыныч... Тьфу, змей! Ладно, ладно... чердак в кубе, я тебе придумаю гауптвахту, гад.

— За что он тебя? — спросил Иван.

— Спроси у него!.. Воспитывает. Полковника из себя изображает — на гауптвахту посадил. Слова лишнего не скажи! Дубина такая, — дочка бабы Яги вдруг внимательно посмотрела на Ивана. — Слушай, — сказала она, — хочешь стать моим любовником? А?

Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту: усатая-то она усатая, но остальное-то все при ней, и даже больше — и грудь, и все такое. Да и усы-то... это ведь... что значит усы? — темная полоска на губе, какие это, в сущности, усы, это не усы, а так — признак.

— Я что-то не понял... — замялся Иван. — Как-то это до меня... не совсем... не того...

— Ванька, смотри! — раздался вдруг голос Ильи Муромца. — Смотри, Ванька!

— Начинается! — поморщился Иван. — Заванькал.

— Что начинается? — не поняла невеста; она не могла слышать голос Ильи: не положено. — Можно подумать, что тебе то и дело навязываются в любовницы.

— Да нет... — сказал Иван, — зачем? Я в том смысле, что... значит, это... дело-то такое...

— Чего ты мямлишь-то? Вот мямлит стоит, вот крутит. Да — так да, нет — нет, чего тут крутить-то? Я другого кого-нибудь позову.

— А баба Яга-то?..

— Она в гости улетела. А Горыныч на войне.

— Пошли, — решился Иван. — У меня полчаса есть еще. Побалуемся.

Вошли они в избушку...

Иван скинул лапоточки и вольготно прилег пока на кровать.

— Устал, — сказал он. — Ох, и устал же! Где только не был! И какого я только сраму не повидал и не натерпелся...

— Это тебе не на печке сидеть. Что лучше: салат или яишенку?

— Давай чего-нибудь: на скорую руку... Время-то — к свету

— Успеешь. Лучше мы яишенку с дороги-то — посытней. — Дочь бабы Яги развела на шестке огонек под таганком, поставила сковородку.

— Пусть пока разогревается... Ну-ка, поцелуй меня — как ты умеешь? — и дочь бабы Яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться. — О-о, да ты не умеешь ничего!.. А лапти снял!

— Кто не умеет? — взвился Иван соколом. — Я не умею? Да я тут счас так размахнусь, что ты... Держи руку! Руку держи!.. Да мою руку-то, мою — держи, чтоб не тряслась. Есть? Держи другую, другую держи!.. Держишь?

— Держу! Ну?

— Отпуска-ай, — заорал Иван.

— Погоди, сковородка перекалилась, наверно, — сказала дочь бабы Яги. — Ты смотри, какой ты! А ребеночка сделаешь мне?

— Чего же не сделать? — вовсю раздухарился Иван. — Хоть двух. А сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? С имя ведь возни да возни... знаешь сколько!

— Я уже пеленать умею, — похвасталась дочь бабы Яги. — Хошь, покажу? Счас яишенку поставлю... и покажу.

Иван засмеялся.

— Ну, ну... — сказал.

— Счас увидишь, — дочь бабы Яги поставила на огонь яичницу и подошла к Ивану. — Ложись.

— Зачем я-то?

— Я тебя спеленаю. Ложись.

Иван лег... И дочь бабы Яги стала пеленать его в простыни.

— Холесенький мой, — приговаривала она, — маленький мой... Сынуленька мой. Ну-ка, улыбнись мамочке. Ну-ка, как мы умеем улыбаться?.. Ну-ка?

— У-а-а, у-а-а, — поплакал Иван. — Жратеньки хочу-у, жратеньки хочу-у!..

Дочь бабы Яги засмеялась.

— А-а, жратеньки захотел? Жратеньки захотел наш сынуленька... Ну вот... мы и спеленали нашего маленького. Счас мы ему жратеньки дадим... все дадим. Ну-ка, улыбнись мамочке!

Иван улыбнулся «мамочке».

— Во-от, — дочь бабы Яги опять пошла в куть.

Когда она ушла, в окно, с улицы, — прямо над кроватью просунулись три головы Горыныча. И замерли, глядя на спеленатого Ивана... И долго молчали. Иван даже зажмурился от жути.

— Утютюсеньки, — ласково сказал Горыныч. — Маленький... Что же ты папе не улыбаешься? Мамочке улыбаешься, а папе не хочешь. Ну-ка, улыбнись... Ну-ка?

— Мне не смешно, — сказал Иван.

— А-а, мы, наверно, того!.. Да, маленький?

— По-моему, да, — признался Иван.

— Мамочка! — позвал Горыныч. — Иди, сыночек обкакался.

Дочь бабы Яги уронила на пол сковородку с яишенкой... Остолбенела. Молчала.

— Ну, что же вы?.. Чего же не радуетесь? Папочка пришел, а вы грустные, — Горыныч улыбался всеми тремя головами. — Не любите папочку? Не любят, наверно, папочку, не любят... Презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки. Хавать вас будет папочка... с косточками! — Горыныч перестал улыбаться. — С усами! С какашками! Страсти разыгрались?! — загремел он хором. — Похоть свою чесать вздумали?! Игры затеяли?! Представления?.. Я проглочу весь этот балаган за один раз!..

— Горыныч, — почти безнадежно сказал Иван, — а ведь у меня при себе печать... Я заместо справки целую печать добыл. Эт-то ведь... того... штука! Так что ты не ори тут. Не ори! — Иван от страха, что ли, стал вдруг набирать высоту и крепость в голосе. — Чего ты разорался? Делать нечего? Схавает он... Он, видите ли, жратеньки нас будет! Вон она, печать-то, — глянь! Вон, в штанах. Глянь, если не веришь! Припечатаю на три лба, будешь тогда...

Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь, опалил Ивана. Иван смолк... Только еще сказал тихо:

— Не балуйся с огнем. Шуточки у дурака.

Дочь бабы Яги упала перед Горынычем на колени.

— Возлюбленный мой, — заговорила она, — только пойми меня правильно: я же тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю: прилетит Горыныч, а у меня для него что-то есть вкусненькое... тепленькое, в простынках.

— Вот твари-то! — изумился Иван. — Сожрут и скажут: так надо, так задумано. Во, парочка собралась! Тьфу!.. Жри, прорва! Жри, не тяни время! Проклинаю вас!..

И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, только открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки.

— Доигрался, сукин сын?! — закричал он на Ивана. — Доигрался?! Спеленали!

Горыныч весь встрепенулся, вскинул головы...

— Эт-то что еще такое? — зашипел он.

— Пошли на полянку, — сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку. — Там будет способней биться, — он опять посмотрел на Ивана... Укоризненно сморщился. — Прямо подарок в кулечке. Как же ты так?

— Оплошал, атаман, — Ивану совестно было глядеть на донца. — Маху дал... Выручи, ради Христа.

— Не горюй, — молвил казак. — Не таким оглоедам кровя пускали, а этому-то... Я ему враз их смахну, все три. Пошли. Как тебя? Горыныч? Пошли цапнемся? Ну и уродина!..

— Какой у меня завтрак сегодня! — воскликнул Горыныч. — Из трех блюд. Пошли.

И они пошли биться.

Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая. Земля дрожала.

Иван и дочь бабы Яги ждали.

— А чего это он про три блюда сказал? — спросила дочь бабы Яги. — Он что, не поверил мне?

Иван молчал. Слушал звуки битвы.

— Не поверил, — решила дочь бабы Яги. — Тогда он и меня сожрет: я как десерт пойду.

Иван молчал.

Женщина тоже некоторое время молчала.

— А казак-то!.. — льстиво воскликнула она. — Храбрый какой. Как думаешь, кто одолеет?

Иван молчал.

— Я за казака, — продолжала женщина. — А ты за кого?

— О-о, — застонал Иван. — Помру. От разрыва сердца.

— Что, плохо? — участливо спросила женщина. — Давай я распеленаю тебя, — и она подошла было, чтобы распеленать Ивана, но остановилась и задумалась. — Нет, подождем пока... Черт их знает, как там у них? Подождем.

— Убей меня! — взмолился Иван. — Проткни ножом... Не вынесу я этой муки.

— Подождем, подождем, — трезво молвила женщина. — Не будем пороть горячку, тут важно не ошибиться.

В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь бабы Яги замерли в ожидании...

Вошел, пошатываясь, атаман.

— Здоровый бугай, — сказал он. — Насилу одолел... А где эта... А-а, вот она, краля! Ну, чего будем делать? Вслед за дружком отправить тебя, гадину?

— Тю, тю, тю, — замахала руками дочь бабы Яги. — О, мне эти казаки! — сразу за горло брать. Ты хоть узнай сперва, что тут было-то!

— А то я не знаю вас! — атаман распеленал Ивана и опять повернулся к женщине. — Что же тут было?

— Да ведь он чуть не изнасиловал меня! Такой охальник, такой охальник!.. Заласкаю, говорит, тебя до умопомраченья. И приплод, мол, оставлю: назло Горынычу. Такой боевитый, такой боевитый — так и обжигает!.. — и дочь бабы Яги нескромно захихикала. — Прямо огонек!

Атаман удивленно посмотрел на Ивана.

— Иван...

— Слушай ее больше! — воскликнул Иван горько. — И правда бы, убить тебя, да греха на душу брать неохота — и так уж там... невпроворот всякого. Хоть счас бы не крутилась!

— Но какой он ни боевитый, — продолжала женщина, словно не слыша Ивана, — а все же боевитее тебя, казак, я мужчин не встречала.

— А что, тебе так глянутся боевитые? — игриво спросил атаман. И поправил ус.

— Брось! — сказал Иван. — Пропадем. Не слушай ее, змею.

— Да ну, зачем пропадать... Мы ее в плен возьмем.

— Пойдем, атаман: у нас времени вовсе нету. Вот-вот петухи грянут.

— Ты иди, — велел атаман, — а я тебя догоню. Мы тут маленько...

— Нет, — твердо сказал Иван. — С места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет?

— Мх-х, — огорчился казак. — Ну ладно. Ладно... Не будем огорчать Муромца. До другого разочка, краля! Ишь ты, усатая. Ох, схлестнемся мы с тобой когда-нибудь... усы на усы! — атаман громко засмеялся. — Пошли, Ивашка. Скажи спасибо Илье — он беду-то почуял. А ведь он остерегал тебя, чего не послухал?

— Да вот... вишь мы какие боевитые... Не послухал.

Иван с атаманом ушли.

А дочка бабы Яги долго сидела на лавочке, думала.

— Ну, и кто же я теперь? — спросила она сама себя... И сама же себе ответила: — Вдова не вдова и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать.

В библиотеке Ивана и донца встретили шумно и радостно.

— Слава богу, живы-здоровы.

— Ну, Иван, напужал ты нас! Вот как напужал!..

— Ванюша! — позвала Бедная Лиза. — А, Ванюша!

— Погоди, девка, не егози, — остановил ее Илья, — дай сперва дело узнать, как сходил-то, Ванька? Добыл справку?

— Целую печать добыл — вот она, — и Иван отдал печать.

Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, этак... Передавали друг другу. Последним, к кому она попала, был Илья; он тоже долго вертел в огромных пальцах печать... Потом спросил всех:

— Ну, так... А чего с ней делать?

Этого никто не знал.

— И зачем было посылать человека в такую даль? — еще спросил Илья.

И этого тоже теперь никто не знал. Только Бедная Лиза, передовая Бедная Лиза, хотела выскочить с ответом:

— Как это ты говоришь, дядя Илья...

— Как я говорю? — жестко перебил ее Муромец. — Я говорю, зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот — печать... Что дальше?

Этого и Бедная Лиза не знала.

— Садись, Ванька, на место и сиди, — велел Илья. — А то скоро петухи грянут.

— Нам бы не сидеть, Илья! — вдруг чего-то вскипел Иван. — Не рассиживаться бы нам!..

— А чего же? — удивился Илья. — Ну, спляши тогда. Чего взвился-то? — Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана. — Эка... какой пришел.

— Какой? — все не унимался Иван. — Такой и пришел — кругом виноватый. Посиди тут!..

— Вот и посиди и подумай, — спокойно молвил Илья.

— А пошли на Волгу! — вскинулся и другой путешественник, атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол. — Чего сидеть?! Сарынь!!.

Но не успел он крикнуть свою «сарынь», раздался трубный глас петуха: то ударили третьи.

Все вскочили на свои полки и замерли.

— Шапка-то! — вскрикнул атаман. — Шапку оставил на полу.

— Тихо! — приказал Илья. — Не трогаться! Потом подберем... Счас нельзя.

В это время скрежетнул ключ в дверном замке... Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться.

— Шапка какая-то, — увидела она. И подняла шапку. — Что за шапка?.. Чудная какая-то, — она посмотрела на полки с книгами. — Чья же это?

Персонажи сидели тихо, не двигались... И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка.

Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться.

Тут и сказке нашей конец.

Будет, может быть, другая ночь... Может быть, тут что-то еще произойдет... Но это будет уже другая сказка. А этой — конец.

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...*

Повесть для театра

Рано-рано утром, во тьме, кто-то отчаянно закричал:

— Где я?! Э-эй!.. Есть тут кто-нибудь?! Где я?..

И во тьме же, рядом, заговорили недовольные голоса, сразу несколько.

— На том свете. Чего орешь-то?

— Где я? Где мы?..

— На том свете. Чего орешь-то?

— Ну чего зря пугать человека! Не на том свете, а в морге пока. У меня вон номерок на ноге... вот он — болтается, чую. Интересно, какой я по счету?

— А где мы? Чего зубоскалите-то? Где, я спрашиваю?!

— Не ори, а то я подумаю сдуру, что ты моя жена и полезу целоваться; она всегда орет с утра. Она орет, а я ей — раз — поцелуйчик: на, только не вопи.

— Ну и как? — поинтересовался хриплый басок. — Помогает?

— Слабо...

— Если б ты ей четвертным рот залепил, она бы замолкла.

— Четвертного у меня с утра... Я за четвертной-то сам зареву не хуже слона... А ты мне лепи четвертные.

— Где мы находимся, я вас спрашиваю?! — опять закричал тот, истеричный.

Тут вспыхнул свет... И видно стало, что это — вытрезвитель. И лежат в кроватках под простынями восемь голубчиков... Смотрят друг на друга — век не виделись.

---

* Повесть осталась незавершенной.

Открылась железная дверь, и в комнату вошел дежурный старшина.

— Чего кричите? — спросил он. — Кто кричал?

— Я, — сказал человек довольно интеллигентного вида. Он хотел встать с кровати, но, обнаружив, что он почти голый, запахнулся простыней и тогда только встал. И подошел к старшине... — У меня к вам вопрос: скажите, пожалуйста, где я нахожусь? — он стоял перед старшиной, как древний римлянин, довольно знатный, но крепко с похмелья. — Я что-то не могу понять — что это здесь?

— Санаторий «Светлые горы».

— Что за шуточки! — повысил голос интеллигент. — Я вас серьезно спрашиваю.

— Ложись, — показал старшина, — и жди команды. Серьезно он спрашивает... Это тебя счас будут серьезно спрашивать.

Интеллигент струсил.

— Простите... Вы в каком звании, я без очков не вижу? Где-то потерял очки, знаете...

— Генерал-майор.

Древний помятый римлянин стоял и смотрел на старшину.

— Я вас не понимаю, — сказал он. — Вы всегда с утра острите?

— Чтоб тишина была, — велел старшина. И пошел к двери.

— Товарищ старшина!.. — вежливо позвал его здоровенный детина, сосед очкарика по кровати. — У вас закурить не будет?

— Не будет, — жестко сказал старшина. И вышел. И закрыл дверь на ключ.

— Опять по пятницам, — запел детина, качая голос; он был, наверно, урка, — пойдут х-свидания-а, и слезы горькие моей... Ложись, очкарь. Что ты волну поднял? Мы находимся в медвытрезвителе... какого района, я, правда, не знаю. Кто знает, в каком мы районе?

— Районе!.. — сказал мрачный человек. — Я город-то не знаю.

Очкарик ринулся взволнованно ходить по комнате.

— Слушай, ты мне действуешь на нервы, — зло сказал урка, — сядь.

— Что значит действую на нервы? Что значит сядь?

— Значит, не мельтеши. А то я гляжу на тебя — и мне всякие покойники в башку лезут.

— Но что я мог такого сделать? — все не унимался очкарик. И все ходил и ходил, как маятник, — Почему меня... не домой, а куда-то... черт его знает куда? Что они, озверели?

— Ты понял! — воскликнул урка. — Убил человека и еще ходит удивляется!.. Во, тип-то.

Очкарик остановился... и даже рот у него открылся сам собой.

— Как это? Вы что?..

— Что?

— Человека?..

— Нет, шимпанзе. Что ты дурачка-то из себя строишь? Ты же не на следствии пока. Перед следователем потом валяй ваньку, а перед нами нечего.

— Да-а, милок, — сочувственно протянул маленький сухонький человечек, — вляпают тебе... Но ты напирай, что — неумышленно. А то... это... как бы того... не это...

— Он же выпимши был, — заспорил с сухоньким некто курносый, с женским голосом. — Чего ты намекаешь тут — «того», «не того»?.. Человек был выпимши. Вишь, он даже не помнит, как попал сюда.

— Теперь это не считается, — приподнялся на локте сухонький; видно, любитель был поспорить. — Теперь что был выпимши, что не был — один черт.

— Наоборот! — воскликнул урка. — Отягчающее мешок обстоятельство. За что ты его под трамвай-то толкнул?

Очкарик стоял белый, как простыня... И вертел головой то туда, то сюда, где говорили.

— Вы что? — сказал он трагическим голосом, тихо.

— Что?

— Какого человека?

— Это тебе лучше знать. Шли, спорили про какие-то уравнения... — стал рассказывать урка. — Как раз ехал трамвай, этот — чух его под трамвай!.. Того — пополам. Жутко смотреть было. Народу сразу сбежалось!.. Седой такой лежал... он головой к тротуару упал, а вторая половина под трамваем. И портфель так валяется...

— Ты видел, что ли? — спросил сухонький.

— Я видел!.. — повторил по-одесски урка. — А почему я здесь? А потому что я сзади шел. А когда стали свидетелей собирать, я заартачился... нагрубил милиционеру...

— Тьфу!.. Из-за какого-то уравнения — человека под трамвай! — искренне и глубоко возмутился человек с женским голосом; он был очень нервный человек, даже какой-то сосредоточенно-нервный. — Что уж в том уравнении? Сели на лавочку и решили...

— Совсем одичал народ, — негромко, сам себе, промолвил мрачный. — Убить — запросто.

Парень крестьянского облика не принимал участия в этом страшном разговоре, лежал, смотрел в потолок...

Вдруг он сел и с ужасом сказал:

— А не убил ли и я кого?

И так это у него простодушно вышло, с таким неподдельным ужасом, что некоторые невольно — через силу — засмеялись.

— Ты откуда будешь-то? — спросил его сосед, весьма потертый, весьма и весьма, видно, стреляный воробей, электрик, как он впоследствии отрекомендовался.

— Из Окладихи, — сказал парень. — Тракторист.

— Ого! — удивились. — Куда тебя занесло.

— Что, тоже кого-нибудь убил?

— Нет, он, наверно, теще всыпал, — предположил электрик. — Или соседа поджег.

— У меня теща хорошая, — сказал парень.

— Ну, соседа поджег.

Парень мучительно вспоминал:

— Неужели Мишке чего?.. Я, вообще-то, сулился его свинье глаз выбить: повадилась в огород, зараза, спасу нет. Говорю, да надень ты ей эту... крестовину, у нас такую надевают свинешкам на шею, забыл, как называется, — чтоб они в дырки в городьбе не пролезали... Надень, ты, говорю, ей эту штуку, житья же нет от твоей свиньи! Он мне: «Сам надевай». — «Тогда, — говорю, — я ей глаз выбью, она будет по кругу ходить — и в свой же огород придет».

— Это ты точно рассчитал, — похвалил электрик. Ему очень понравилась техническая мысль тракториста, он даже стал показывать пальцем на простыне схему движения свиньи. — Значит, она вышла из дома и направилась в твой огород... Так? Но у ней же косинус, поэтому она загнет та-

кой круг — от так от пойдет — пойдет — пойдет — и придет к себе же в огород. А сама будет думать, что она — в твоем огороде.

— Да она-то!.. — воскликнул тракторист. — Пусть как хочет, так и думает, зараза, меня не волнует. Главное, Мишка бы задумался. Неужели я ей все же вышиб глаз?

— Ну, особо-то не переживай: за глаз больше семи суток не дадут.

— Или заставят стеклянный вставить, — хихикнул сухонький.

Остолбеневший очкарик сдвинулся наконец с места и подсел было к урке.

— Слушайте, вы что...

— Не садись ко мне! — закричал урка испуганно. — Я тебя не знаю! Первый раз вижу!..

Очкарик вскочил, как ошпаренный... И беспомощно посмотрел на всех.

Некоторое время все молчали.

— У тя семья-то есть? — спросил его электрик.

— А? Семья? — потерянно переспросил интеллигент. — Нет, вы что, разыгрываете меня, что ли?

На него горестно и серьезно смотрели.

— Ну что, что-о?! — чуть не заплакал очкарик. — Что смотрите-то?!

— Молодой еще...

— Может, и хорошо, что молодой: не такой старый выйдет.

— Так-то оно так... если, конечно, не... это... не того... — это разговаривали между собой электрик и сухонький. — Могут ведь и... того... Как посмотрят.

— Да, это уж какое примут решение.

— Из-за какого-то уравнения!..

— Да расстреляют, — открыто ляпнул нервный с женским голосом. — Чего тут гадать-то? Ученого же толкнул...

— А? — машинально спросил очкарик.

— Кого толкнул под трамвай-то? Ученого?

Вместо ответа очкарик бросился к двери и забарабанил в нее кулаками.

— Откройте! Откройте, пожалуйста!.. Я хочу спросить!

Дверь скоро открылась... Заглянул старшина.

— Что такое?

— Что я вчера сделал? Я не помню... Что я сделал? Почему они про какое-то...

Старшина захлопнул дверь и, запирая ее снаружи на ключ, сказал:

— Скоро скажут, что сделал. Больше не стучать.

— Товарищи, — взмолился очкарик, обращаясь ко всем, к урке в частности, — да вы что? Не мог я человека под трамвай...

— Крепись, — сказал ему мрачный человек.

— Вот хуже нет этих!.. — с некоторой даже брезгливостью сказал урка. — Чего теперь психовать-то? Сделал — сделал, все. Нет, он будет окружающим кишки мотать, на нервы, падла, действовать. Ляжь — и жди.

— Ученого толкнул или нет? — все хотел понять нервный.

— Ну а как же? Раз об уравнениях шли спорили... Это Иван вон ни с кем не спорил, а взял и рассчитал, как свинья будет ходить с одним глазом. И так точно рассчитал! — электрику очень нравился расчет тракториста. — Это же надо так рассчитать. Вот же и Ванька!..

— Вспомнил! — сказал тракторист. И сел. — Никакой свиньи не было: я выехал трактором на асфальт.

— Ну? И что? — не понял электрик.

— Что... Не положено, что. Я вижу: приближаются на коляске... А у меня с собой бутылка была, я домой ехал, в баню торопился, поэтому на асфальт выехал — угол срезать...

— Ничего не понимаю: какой угол?

— Чтоб сократить маленько. Если от Игренева на Окладиху идти проселком — это семь километров, а если маленько асфальта прихватить...

— Ну, ну?

— Ну, думаю, все равно они ее счас найдут... Пока они приближались, я ее всю осадил.

— Бутылку?

— Ну.

Тут все даже привстали от удивления. Не все поверили.

— Всю бутылку?

— Всю.

— С какой же скоростью они ехали? — опять живо заинтересовался электрик. — На коляске-то.

— Ты спроси, с какой скоростью он пил? Не верю, — заявил сухонький. — Что, насос, что ли?

— А далеко ты их увидел? — поинтересовался и урка.

— За километр примерно. Оглянулся — догоняют...

— Можно успеть, — авторитетно сказал урка. — Запросто. С какой бы скоростью они ни ехали. Надо только бутылку вот так вот раскрутить...

Тут в комнату вошла — ее впустил старшина — тетя Нюра с ведром и тряпкой.

— Всем лежать, — приказала тетя Нюра. — Курева не просить, в магазин не провоцировать — не положено.

— Здравствуй, тетя Нюра, — ласково сказал электрик. — Доброе утречко! Чего это ты спозаранку не в настроении?

— О, опять тут? — не очень удивилась тетя Нюра.

— Тут, тут... Как поется: де-евушки, где вы? Тута, тута!..

— И я тут, теть Нюр, — хихикнул сухонький. — Не узнаешь?

Тетя Нюра пригляделась... И узнала.

— Опять жена привела?

Сухонький на это почему-то обиделся.

— Что значит, жена? Что я, телок, что ли, бессловесный, что она каждый раз будет приводить меня к вам на веревочке? — сухонький помолчал и сказал не без гордости: — Меня привезли.

Тетя Нюра оглянулась на дверь... И скоренько полезла рукой куда-то под фартук себе.

— По одному — у окошка вон, чтоб запаху не было... В порядке живой очереди.

Первым вскочил шустрый электрик, взял у тети Нюры сигаретку, спички и пошел к окну курить.

— Я за тобой, — застолбил сухонький.

Но тут встал урка, запахнулся простыней, подошел к электрику и отнял у него сигарету.

— После меня будете, — сказал он.

— Ты чего тут? — возмутилась добрая тетя Нюра. — Ну-ка отдай сейчас же! А то огрею вот тряпкой, будешь знать, как отбирать. Здоровый?.. Иди в цирк гири поднимать, а обижать не смей!

— Спокойно, тетя Нюра, — сказал урка, затягиваясь сигаретой. — Не поднимай волны.

— Отдай, — кратко сказал мрачный человек, дядя решительный и еще более здоровый, чем урка.

Урка значительно посмотрел на мрачного... И отдал сигаретку электрику. И лег.

— Там будешь свои порядки устанавливать, — еще сказал мрачный, — а здесь... пока рано.

Урка опять значительно посмотрел на мрачного. Всем стало как-то не по себе.

— Ну, ладно, — сказал сухонький урке, — так и быть — будешь за ним, а я за тобой.

— Чего это? — уперся мрачный. — Будешь, как занял, я за тобой, а за мной... Ты куришь? — повернулся он к нервному с тонким голосом.

— Нет, — откликнулся тот. — Бросил. У меня язва луковицы двенадцатиперстной кишки.

— А ты? Кандидат?

— Я? — очнулся очкарик. — Нет.

— А я бы курнул, — с тоской молвил Иван-тракторист.

— Ты за мной, — сказал ему мрачный. — А ты, — мрачный небрежно глянул на урку — за Иваном.

Урка лежал, закинув руки за голову... Свирепо смотрел в потолок.

— Сколько у тебя, теть Нюр? — спросил электрик.

— По одной всем хватит. Пускай дым-то повыше... а то мне опять на вид поставят. Жалеешь вас...

Электрик вчастую докурил сигарету, старательно пуская дым к высокому зарешеченному окну, рамы которого, по летнему времени, были открыты.

— Давай, — сказал он сухонькому. А сам лег опять в кровать.

Теперь сухонький пристроился к окну и с удовольствием пошел затягиваться, и даже затараторил — от удовольствия же.

— Как ты говоришь: луковица двенадцатиперстной кишки? — поинтересовался он.

— Да, — откликнулся нервный. — Ниша.

— Ниша?

— Ниша.

Сухонький покачал головой... Но все равно на лице у него было одно сплошное удовольствие.

— Ну язык выдумали! Я как-то был в поликлинике, читаю на дверх: «Исследование моторной функции желудка». Совсем зарапортовались: мотор в желудке исследуют...

— Ты не болтай, а кури, — посоветовал мрачный. — Легко, думаешь, лежать смотреть на тебя.

Очкарик сидел на своей кровати, тупо смотрел перед собой... Ничего, казалось, не видел и не слышал.

— Подними-ка ноги-то, — попросила его тетя Нюра, подлезая с тряпкой под кровать.

Очкарик поднял ноги и в этом неловком положении заговорил с ней.

— Тетя Нюра... Анна... как вас по отчеству?

— Анна Никитишна.

— Анна Никитишна, вы не слышали, кого вчера под трамвай толкнули?

— Под трамвай? — удивилась тетя Нюра. — Да кого же это? Когда?

— Вчера вечером, — очкарик все держал ноги на весу, хотя в этом не было теперь надобности. — В районе Садовой...

Было там какое-нибудь движение?

— Движение там всегда есть...

— Я имею в виду — народ сбегался?

— Да брось ты, чудак! — пожалел его мрачный. — Разыграли тебя. Вон лежит... соловей-разбойник с кондитерской, развлекается. Кого ты можешь под трамвай толкнуть? Хорошо самого не толкнули...

Очкарик опустил ноги и встал... И долго, и внимательно — очень долго, очень внимательно — смотрел на урку.

— Что, очкарь? — повеселел тот. — Перетрухал? Хох, гнида!..

— Сейчас подойду и дам пощечину, — сказал очкарик дрожащим от обиды голосом.

Урка изумленно выпучил на него глаза... Смотрел некоторое время. Потом встал, шикарным жестом запахнулся простыней и медленно — очень медленно — пошел к очкарику.

— Я вас прошу, синьор духарь, дайте мне пощечину. Умоляю... надо же держать слово. А то я обижусь и буду вас долго-долго метелить. Ну?.. Мы же с вами джельтмены, вы сказали слово, надо же держать слово.

— Совершенно верно, слово надо держать. Я плохо вижу, где ваше лицо?

— Вот мое лицо, вот... — урка показал пальцем. — Вот эта вот окружность — это моя личность, в такую луну нельзя промахнуться. Ну? Я же тебя оскорбил... Разыграл, как дуру, ты же кандидат...

Все напряженно ждали, чем закончится эта сцена между двумя «джельтменами».

— Могу еще оскорбить, вонючка ученая. Гнида. Как еще?..

— Достаточно, — молвил очкарик. Он распрямился и довольно торжественно, — то ли не чувствуя страха, то ли от театральности, свойственной ему, — произнес фразу: — От имени всех очкариков! — и залепил урке отчетливую пощечину.

— Вот как! — удивилась даже тетя Нюра; по простоте душевной она сперва не поняла, что готовится именно пощечина. — Ты што это, эй!

— Мх-х, хорошо, — как-то даже сладострастно сквозь стиснутые зубы пропел урка. — Еще раз... Умоляю, с другой стороны.

— Нет, этого вполне достаточно, — снисходительно сказал очкарик; странно, неужели он так и не почувствовал опасности, или эта театральность так въелась в человека? Он хотел величаво отбыть в сторону своей койки, но урка поймал его за простыню и подтянул к себе.

— Ну, гнидушка-а, ну умоляю — еще раз, с другой стороны. Ох, как я счас буду метелить! — урка зажмурился и покачал головой. — Как же я буду метелить, мама родимая!.. Умоляю, кинь еще одну — для напряжения, чтобы я о так от, о так — рразорвал сразу...

Но тут встал мрачный со своей койки, подошел к ним и с усилием, решительно оторвал урку от очкарика.

— Дальше будешь иметь дело со мной, — сказал он урке.

Урка опять значительно и долго — в который уже раз он пускал свой взгляд в дело! — посмотрел на мрачного... Тот спокойно — тому кажется, даже доставляло удовольствие, что на него смотрят так значительно, — выдержал этот опасный взгляд и лег на свою кровать. Урка тоже лег. Все произошло в полной тишине. И в тишине же урка вдруг рывком скорчился на своей кровати, заскрипел зубами, закрутил головой и — не то простонал, не то взмолился злорадно своему жестокому богу — поклялся:

— Ох, как же я буду метелить! Как я буду метелить!..

— Благодарю вас, — сказал очкарик мрачному. — Если бы у меня были очки, я бы схватился с этим орангутангом: я когда-то занимался боксом. Но без очков я плохо вижу.

Мрачный промолчал на это. А урка глубоко вздохнул и сказал негромко себе:

— Только бы дожить до светлых дней.

Сухонький между тем докурил свою сигарету, с кровати поднялся мрачный; тетя Нюра вынула из-под фартука сигарету и уважительно дала ему.

— Чего тут не поделили-то? — спросила она серьезного сильного человека, мрачного.

— Да так... с похмелья, — сказал тот.

— Ох, как же я буду метелить! — воскликнул опять урка, крутнулся под простыней и мучительно застонал. На него посмотрели, но никто ничего не сказал. Мрачный спокойно курил у окна, старался тоже пускать дым повыше.

— Любопытная вещь, — заговорил очкарик, — до определенного момента все отчетливо помню, дальше — полный провал: ничего не помню. Что за странный механизм памяти? По идее, я же ничего не должен помнить.

— Не-ет, — авторитетно заговорил электрик, — тут так: пока ты свою меру не взял, ты помнишь, дальше — взял меру, но в душе думаешь: мало, надо еще — все, пошел перебор. Дальше — рога в землю, и память автоматически отключается.

— Ни-че-го подобного, — тоже авторитетно и взволнованно возразил сухонький. — А как же бывает: домой пришел, а как пришел — не помнишь.

— Ну и что?

— Ну, по-твоему, я же не должен до дому дойти. А я дошел.

— Это значит, тебя развезло уже дома...

— Да где дома, где дома! — больше загорячился сухонький. — Я же утром-то вижу какой я пришел.

— Все зависит от нервной системы, — встрял в спор нервный. — У кого какая нервная система. Сколько ты можешь выпить? — спросил он электрика.

— Ну, это смотря как выпить. Я могу допустим...

— До сшибачки. Сколько потребуется, чтобы ты упал и не поднялся?

Электрик подумал:

— Бутылку белой и бутылку чернил.

— Смотря каких...

— Три семерки.

— Так. А я с двух стаканов под стол лезу — потому что нервы.

— А вот я... Слушай сюда! Вот я, — затараторил сухонький и постучал пальцем в тощую свою грудь, — несмотря, что у меня такая комплекция, засосу полторы бутылки белой и не лягу.

— Ты?

— Я.

— Карлик с оглоблей, — непонятно сказал мрачный. И сам себе посмеялся.

— Мы, бывает, соберемся на трех, — продолжал сухонький, — по пять рваных на рыло — это получается...

Тут скрежетнул ключ в двери — раз, другой... Мрачный бросил сигарету в окно и в два свободных прыжка очутился возле своей койки. И лег. Дверь открылась, вошел старшина, а за ним еще некто, молодой, длинный, стеснительный, с портфелем.

— Однако, курили? — остановился старшина.

— Откуда! — воскликнул сухонький. — Где мы возьмем-то?

Старшина подозрительно посмотрел на тетю Нюру... Тетя Нюра старательно мыла пол. Домыла последнюю половицу и вышла.

— Поговорите вот... с товарищем, — сказал старшина. — Да не врите: это для статистики надо, — и старшина ушел.

— Товарищи, — подчеркнуто миролюбиво заговорил длинный с портфелем, — я не корреспондент, не из газеты... Я — социолог. Что я вас спрошу и что вы ответите — это никуда не пойдет, никаких фельетонов никто писать не будет. Я объясню, в чем дело. Группа социологов, я в том числе, исследует... мы исследуем вопрос происхождения... ну, пьянства, грубо говоря. Так сказать, причины и следствия. Для этого — на один-единственный вопрос, который я вам задам, — надо ответить... надо сказать всю правду. Вопрос такой: как вы здесь оказались? Еще раз повторяю: ваши ответы дальше моего блокнота никуда не пойдут, в том смысле, что никак вам не повредят. Начнем? — ближе всех к нему оказался нервный. — Вот вы, например... Как вы здесь оказались? Расскажите, пожалуйста.

Вместо подробного рассказа о том, как он здесь оказался, нервный вдруг устремил на социолога внимательный и тоже не лишенный значительности, как у урки, взгляд.

— А попрошу документы, — сказал он сухо.

Никто не ждал такого оборота. Притихли.

— Зачем? — спросил социолог.

— Рассказывай ему... А кто вы такой?

— Да я же вам только что объяснил.

— Документы.

— Ну, слушайте... уж поверьте, если бы я не имел права спрашивать вас, наверно, меня бы сюда не пустили.

— Документы.

— Да нет у меня никаких документов, то есть, наверно, есть какие-то... нет, дома.

В комнате откровенно засмеялись такому наиву...

Нервный, хоть опасливо, но тут же обнаглел.

— А голову, извиняюсь, вы не того... не это... Она не дома у вас?

— Ну, дела!

Социолог встал.

— Хорошо, — сказал он, — я попрошу начальника отделения, он объяснит вам... Не обманываю же я вас! Зачем мне это надо?

— Да, да, — согласился нервный, — зачем вам это надо? Вы наденьте форму и спрашивайте.

— Да нет, товарищи!.. Да действительно же я ученый! Ну, как вам?.. Хорошо, сейчас начальник скажет то же самое.

Социолог пошел к двери, постучал... Старшина открыл дверь и выпустил его.

— Понял?! — воскликнул нервный хвастливо. — Какую штуку удумали, а? Во, деятели...

— Да нет, друзья, — сказал очкарик, — это действительно ученый. Вы думаете, переодетый следователь? Нет.

Тут с койки рывком вскочил урка и мягко прошелся меж кроватей.

— Колонулся мальчик! — урка радостно засмеялся. — Ученый... Я бы не хотел с таким ученым за одной партой сидеть, умоляю. Наоборот, я бы хотел, чтобы он сидел под партой. Ну, Петя, ну, подрулил!..

— Да чушь это! — воскликнул очкарик. — Никакой он не следователь. Я знаю эти группы социологов...

— И его знаешь? — спросил нервный.

— Его не знаю, но знаю, чем они занимаются. Занимаются изучением серьезнейших вопросов...

— В вытрезвителях?

— И в вытрезвителях. А где же еще ему расскажут, почему человек напился, какие причины побудили...

— А если их нету, причин-то? — закипятился нервный. — Чего их искать, если их нету?

— Причины всегда есть. Просто они не всегда ясны нам самим...

— Ну, это уж тоже... лишь бы с портфелями бегать — ученых из себя изображать, — недовольно сказал мрачный. — Чего вот мне рассказать? Нечего. Напился, и все.

— Что же, без всякой причины? — поинтересовался очкарик.

— Без всякой причины.

— Но какая-то же должна быть причина...

— Да никакой причины. Взял две бутылки водки и выпил.

— И часто вы так?

— Раз в месяц напьюсь обязательно.

— Но почему? Тоска, что ли, какая?

— Никакой тоски, — убежденно сказал мрачный. — Напьюсь, и все.

Очкарик был в затруднении.

— Я не понимаю, — сказал он.

— Я сам не понимаю, — искренне сказал мрачный. — Не хочу понимать.

— Ну, может, ты фронт вспомнил, боевых товарищей, — подсказал сухонький; все как-то обнаружили вдруг, что, казалось бы, пустой разговор имеет некий скрытый смысл.

— Никаких товарищей... Вообще не люблю войну вспоминать.

— А что вы читали до этого момента? Или смотрели по телевизору?

— До какого момента?

— Как пойти в магазин.

— Ничего не смотрел. Я люблю «В мире животных» смотреть, но она вечером бывает...

— Вы кто по профессии? — стал невольно входить в подробности очкарик.

— Крановщик.

— Может, тебе с высоты грустно на людей смотреть? — опять выскочил с подсказкой сухонький.

— Да ну!.. — мрачному надоело отвечать. — С высоты... Это тогда все летчики давно уже должны с круга спиться: там высота-то вон какая.

— А что ты думаешь? Ты знаешь... — кинулся было спорить электрик, но открылась дверь — вошли социолог и начальник отделения. Старшина тоже вошел и стал сзади них.

— Здравствуйте! — громко приветствовал всех начальник.

С ним поздоровались. Может быть, не так громко, но почти все.

— Кто тут самый бдительный? — начальник посмотрел на социолога. — Кто потребовал документы?

— Да нет, тут не в том дело, кто... Вы просто объясните.

— А чего тут объяснять-то? Спрашивайте, и все, — начальник сел на стул. — А я посижу пока.

— Лучше бы вы объяснили...

— Вы спрашивайте, спрашивайте.

— Итак, — обратился социолог к нервному, — что же с вами вчера получилось?

— Это ученый разговор? — уточнил нервный.

— Абсолютно ученый, никакой больше. Просто расскажите...

— Я погожу пока, — сказал нервный.

— То есть? — не понял социолог.

— Я малость подзабыл... Я пока сосредоточусь.

— Что значит «пока сосредоточусь»? — заговорил было начальник. — Что значит...

Но социолог тут же запротестовал.

— Товарищ начальник... Я боюсь, мы так не поговорим.

— Почему? — удивился начальник.

— Не поговорим. Это надо иначе.

— Да у нас же тут есть духари! — воскликнул урка. — Вон у нас... духарь номер один — ничего не боится, — урка показал на мрачного.

Мрачный внимательно посмотрел на урку... Опустив голову, подумал... И согласился.

— Я расскажу, если надо. Мне один черт, — он сел на койке, посмотрел на социолога. — Про вчерашний случай?

— Да именно: как было с вами вчера.

— Жена у меня, — сразу начал мрачный, — как бы это вам сказать... вечно у ней какие-то гости, мужики какие-то подозрительные, бабенки... Они мне надоели.

— А говоришь, причины нету, — сказал нервный.

— Это не причина, это тянется уже лет семь, — возразил мрачный. — И напился я вчера не из-за этого. Но они мне тоже сильно надоели.

— Жена где работает? — спросил социолог, поспевая писать в блокнот.

— Кассиршей в магазине. Не надо меня перебивать, я сам все расскажу Радости мне тут... от этого рассказа — не шибко. Я не знаю, чего они делают: я прихожу, они уходят. Я ее много раз предупреждал, она не вникает. Вчера прихожу — опять два мужика сидят и какая-то женщина. Коньяк на столе... Я их выкинул из квартиры. Один в трусах был. Жена где-то спряталась: все перерыл — нету. Может, раньше вышла куда, черт ее знает, не нашел. Все перерыл — нету. Я лег спать. Только заснул, пришла милиция...

Тут начальник милиции почему-то засмеялся. На него посмотрели с недоумением.

— Ничего, ничего, — сказал начальник, — продолжай. Я потом объясню.

— Вы выпивши были, когда пришли? — спросил социолог.

— Крепко.

— Это все?

— Все. Который в трусах был, сильно визжал: я его хотел в мусоропровод затолкать, он уперся...

— Плечи пролезли? — выскочил с вопросом любопытный электрик.

— Куда? — не понял мрачный.

— В мусоропровод-то. Лишь бы плечи пролезли, а там весь пройдет.

— Ну все? — спросил начальник мрачного. И спросил как-то непросто, с каким-то значением. — На этом конец?

— Все, — ответил мрачный. — А что еще?

— А то, что ты не из своей квартиры людей выкинул, вот что. Они вон у меня как раз сидят, эти люди.

Мрачного как стулом в лоб ударили, он аж назад качнулся на койке.

— Как? — спросил.

— Не знаю. В двенадцатом часу ночи заявляется вот такой верзила и начинает выкидывать людей с их собственной жилплощади... Я представляю, как люди заволновались: выселяют.

— Вот это дал, — молвил электрик. — Как же ты так? Перепутал, что ли?

Мрачный долго скорбно молчал, глядя себе под ноги... потом вдруг вскинул голову и крепко стукнул кулаком по колену.

— Не на тот троллейбус сел, — понял он. — Мне надо было на семнадцатый, а я, наверно, на девятку сел... или на четырнадцатый.

— О!.. В другой район приехал. Ничего себе! — электрик возбужденно хихикнул. — И дом, наверно, похожий попался...

— Похожий, — откликнулся мрачный. — И в квартире все так же... Даже попугай в клетке.

— Это бывает, — сказал начальник. — То и дело такие случаи.

— И что ему теперь будет, товарищ начальник? — спросил нервный. Он как-то странно притих и задумался. — Он же неумышленно...

— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно сказал начальник. И встал. — Что значит «неумышленно»? Ну и что? Вы же знаете последние постановления... Поблажек никаких никому не будет. Ну, продолжайте, — велел он. И ушел.

— Продолжим, — сказал социолог. И посмотрел на нервного. — Вы?..

— А? — очнулся тот. — Так а чего продолжать-то?.. Тоже сплошное недоразумение. Провожал, знаете, друга... У меня друг живет в Хабаровске, приезжал в командировку... ну, погуляли малость: давно не виделись, а у него на производстве со спиртом связано. Потом, знаете, эти сибиряки: наскучают там, приезжают и давай ферверки пускать. Кошмар! Я уж говорю: «Коля, тормози, я не выдюжу», он только рукой машет. Ну, пришла пора ему ехать... И тут-то мы и наскочили с ним на мину. Такое вышло недоразумение, такое недоразумение!.. Но и люди тоже, знаете... Вот кого еще изучать да изучать, просто поголовный опрос устроить: та-

кие, знаете, недотроги, такие психованные все, прямо... это... черт знает, какие мимозы. Главное, мы же... это... по-хорошему! Я уж мысленно допрашиваю себя: «Соколов, может, что не так было?» Нет, все проверил, все изучил до последнего слова — все было на высшем уровне.

ИСТОРИЯ НА ПЕРРОНЕ, РАССКАЗАННАЯ СОКОЛОВЫМ

Соколов и его друг Коля, хихикая и отпуская невинные шуточки, прошли с чемоданом в вагон поезда дальнего следования. Прошли в вагон, отыскали свое купе и, продолжая культурно хихикать, постучали в дверь. Им ответили из купе, что — «да, можно». Вошли они в купе, а там как раз четверо — все места заняты.

— Здравствуйте! — сказали Коля и Соколов. — А вы что, тоже все едете?

— Да, едем, — ответили им.

— Как это «едете»! — удивился сибиряк Коля. — А как же я? Что это еще за штучки!

— Тихо, тихо, Коля, — сказал Соколов, — только тихо. Сейчас все выясним, все проверим... Тут кто-то третий лишний. Попрошу билеты!

Четыре пассажира показали свои билеты — все правильно: они совершенно законно сидели на своих местах, они едут домой.

— Мне эти штучки сильно не нравятся! — воскликнул сибиряк Коля. — А как же я?

— Ну-ка, а ваш билет? — спросили его.

Коля показал свой билет... Один дотошный надел очки и доо крутил билет перед носом... Потом посмотрел его на просвет и сказал:

— Вы едете вчера, уважаемый, — и вернул билет.

Тут сибиряк Коля заволновался и стал показывать, что он в полном отчаянии и что необходимо срочно кого-то одного выкинуть из купе, ибо ему срочно надо ехать. Однако вежливый и корректный Соколов решил, что надо не так.

— Тихо, тихо, тихо, — сказал он, — сейчас мы установим, кто не едет. Не надо шума... Кому не так срочно? — спросил

Соколов четверых. Четверо заволновались и стали показывать, что им тоже надо срочно.

— Тихо, тихо, тихо, — сказал им Соколов, — вы что, намекаете, что Николай Иваныч пойдет пешком? Вы ошибаетесь. Предлагаю жребий...

Эти четверо как все равно взбесились.

— Какой жребий?! — стали они кричать.

— Это нахальство!..

Кто-то даже крикнул:

— Позовите кондуктора!

Тут Коля-сибиряк вконец осердился.

— Закрывай дверь! — закричал он. — Они у меня под лавкой поедут, зайцами!

Но терпеливый Соколов не терял надежды решить все миром.

— Тихо, тихо, тихо, — опять воззвал он, — не надо шума. Вот вы, — обратился он к дотошному, который проверял у Коли билет, — вы сунулись к чемодану... Почему?

— Потому что, я смотрю, какие-то бандиты пришли... — заговорил было дотошный.

— Стоп! — осадил его Соколов. — Можете брать свой чемодан и выходить, нечего с бандитами в одном купе ездить. Верно, товарищи?

Николай Иваныч его поддержал и даже изъявил желание помочь вынести чемодан.

— Где его чемодан? Где твой чемодан?.. Который? Этот? Принимай, а то он на голову кому-нибудь упадет. Это называется едет человек в командировку — целую квартиру с собой везет. Что там у тебя?

Дотошный вцепился в свой чемодан, как в мелкую собственность... И всех рассмешил. Он закричал громко:

— Грабят!

Николай Иваныч так смеялся, что нечаянно сел женщине на колени; тогда мужчина, ее муж, нажал какую-то кнопку возле двери... А Николай Иваныч посидел маленько, потом встал и выкинул чемодан этого дотошного в окно.

— Кому он нужен, ваш чемодан! — сказал он. — И не вводите людей в заблуждение, что вас, дескать, грабят.

Тут прибежали кондуктор с милиционером...

— Вот и вся история, — закончил нервный. — Такое вот... недоразумение. И что вот?.. Что теперь? — нервный сорвался

с койки и стремительно стал ходить по комнате, простыня разлеталась на нем в стороны, видны были его чрезвычайно худые ноги. — Что вот теперь?

— А где тот? — спросил электрик. — Сибиряк-то.

— А не знаю! Его куда-то в другое место повезли. Он, конечно, вообще-то неправильно сделал: взял выкинул этого гражданина тоже... с чемоданом вместе.

— В окно?

— Ну да, на перрон. А тот, по-моему, иностранец.

— О-о!.. — сказал сухонький. — Ничего себе!

— Худо дело, — сказал и электрик.

— Хорошо еще, там как раз почту везли, мешки... на этих... на тележках-то...

— На электрокаре.

— Он на них упал, а то бы...

— Только одно может спасти, — сказал сухонький.

— Что? — нервный сбавил свой стремительный шаг. — Что именно?

— Если... — сухонький опасливо глянул на социолога и вскочил тоже с койки. — Иди сюда, — позвал он нервного. И пошел в угол. — Иди сюда.

— Ну?

— Только одно может спасти, — быстро и негромко заговорил сухонький, — если этот, с чемоданом, окажется какой-нибудь шпион. Понял? Если бы его разоблачили...

— Ну, жди, когда его там разоблачат! — тоже негромко воскликнул нервный. — Пока его...

— Слушай сюда! — зашипел сухонький. — Послушай сперва, потом паникуй. Вы — так: мол, этот человек показался нам подозрительным — разглядывает, мол, все, всем интересуется... Чемодан у него какой-то... Говорил же твой друг: «Что это у тебя там?» У него фотоаппарата не было?

— Что же теперь, показался человек подозрительным — давай его из окна выкидывать?

— Ну, сидите тогда, — обиделся сухонький. И пошел на свое место. — Им хочешь, как лучше, а они... Сидите! Охота сидеть — сидите.

— Так, — сказал социолог заканчивая записывать историю нервного. — Ну, а вы? — это он к электрику.

— Да у меня тоже... с гостями связано, — стал охотно рассказывать электрик. Сперва он несколько сбивался, но скоро наладился, и все пошло гладко, и тон он обрел — снисходительно-грустный, но не безысходный. — Теща пришла и дочь ее с мужем. Мужа этого, свояка-то мово, фамилия — Назаров. Этот Назаров всячески распространяет про меня, что я часто выпиваю. Такой тоже склочный мужик, просто... это... не знаю. Я просто измучился с ним. «Назаров, — говорю, — ну что ты, ей богу? Ну что? Вот же какой ты человек, ей-богу! Вот же ведь какой ты». Морда, как на витрине, — весь... такой... только распоряжаться: долдонит и долдонит свое. «Да брось ты, — говорю, — Назаров, чего ты? Ну какой же ты, ей-богу! Не надо, Назаров, не надо. Ну чего ты?» А тут он кандидатскую диссертацию защитил... Ну, приходят вчера. А я за кефиром как раз ходил... Выпили, правда, на углу с мужиками по кружке пива. Я даже свою не допил: придет, думаю, этот Назаров, начнет опять... Мужики еще посмеялись. «Чего ты? — говорят. — Брось ты, — говорят, — Пахомов, ерунду-то говорить: свояк какой-то. Брось, Пахомов, не надо». Э, думаю, не знаете вы Назарова. Нет, думаю, не буду. И вот прихожу я домой...

ИСТОРИЯ В ДОМЕ ПАХОМОВА, РАССКАЗАННАЯ ПАХОМОВЫМ

Приходит электрик к себе домой, а у него гости: теща его с дочерью и Назаров.

— Здравствуйте, — вежливо сказал электрик. — Ну что, Назаров, тебя можно поздравить?

— Можно поздравить, — сказал Назаров. — Можно поздравить.

— Поздравляю, — сказал электрик.

— Кто же на сухую поздравляет! — удивился Назаров.

И теща тоже удивилась:

— Ты что это, Пахомов, завязал, что ли?

Электрик ничего не сказал на это.

— Завязал, что ли? — еще раз спросила теща. — А?

— Нет, почему завязал, — молвил электрик после некоторого молчания. — Наоборот, я сейчас кружку пива выпил. А больше нет настроения.

— Что значит «нет настроения»? У людей такое событие... — это вступила жена электрика. — Сядьте и выпейте.

— Ну и что же, что у людей событие? А у меня нет настроения. Если желаете, могу сыграть в шахматы с кем-нибудь. Давай, Назаров?

— Ерунда какая-то получается, — возмутился Назаров. — К нему пришли как к человеку, а он — в шахматы. Фишер нашелся. Ты что, смеешься над нами?

— Никто над вами не смеется, а пить не буду. Я уже выпил сегодня кружку пива, хватит.

— Но так же тоже нельзя, — обиделась и жена Назарова, Назариха. — Зачем же нас в смешном виде-то выставлять?

— Никто вас в смешном виде не выставляет, — спокойно, с достоинством сказал электрик. — Наоборот, будьте как дома... Предлагаю в шахматы.

— Да при чем тут шахматы?! — закричал Назаров. — Я — ученый человек теперь, я столько трудов положил, а ты не соизволишь даже за столом со мной посидеть! У меня сейчас кризис после такого напряжения, а ты мне шахматы в нос суешь. Бессовестный ты после этого! У тебя никакого уважения нету к ученым. Как был электрик, так электрик и есть.

— Я ученых уважаю, — парировал эту бестактную выходку электрик, — но я не уважаю тех ученых, которые начинают сразу зазнаваться. Вот таких ученых я не уважаю, это ты точно заметил, Назаров! Смотри, Назаров, ох, смотри... зазнайство до добра не доводит. Смотри, Назаров.

— Нахал! — закричал опять Назаров. — А еще родственник! Ну давай хоть шампанского выпьем?

— Нет, — стоял электрик. — Ни шампанского, ни сухого — ничего.

— Пахом, — обратилась к электрику жена его, — людей надо уважать. Ну чего ты? Садись за стол... у меня всего полно: водки всякой, даже твоя любимая перцовка есть. Нельзя же так, в самом деле.

— Как? — спросил ее электрик.

— Да вот так-то вот: люди тебя упрашивают, а ты не хочешь свою гордость побороть. Может, тебя обидел кто?

— Никто меня не обидел. Но только я пить не буду. Ясно? Пусть я электрик, но по принуждению пить не буду.

— Но, Пахом...

— Что «Пахом»? Что «Пахом»? Я пятьдесят лет Пахом. Я сказал — нет. Все.

— Но почему? Почему-у?!

— Не буду, и все. И хватит на эту тему. Давайте лучше в шахматы.

— Да пошел ты к чертовой матери со своими шахматами! — вышел из себя Назаров. — Чего ты привязался со своими шахматами. Я тебя последний раз спрашиваю: будешь пить?

— Нет.

Все некоторое время смотрели на упрямого электрика.

— Знаешь, кто ты после этого? — спросил Назаров.

— Не знаю, ну-ка?

— Верблюд. Те тоже подолгу не пьют в пустыне. Вот тебя тоже надо в пустыню...

— Куда, куда? — спросил электрик. — Куда меня надо?

— В пустыню, к верблюдам...

Электрик встал и дал Назарову шахматами в лоб. Фигурки разлетелись по полу... Электрик пополз их собирать.

— Извини, Назаров, — сказал он. — Я не хотел... Черт его знает, затемнение какое-то... Может, все же сыграем в шахматы? Или ты сильно обиделся?

— Обиделся? — спросил нервный электрика.

— Обиделся, — вздохнул электрик.

— Вот они все так. Ну до того обидчивые, до того обидчивые — спасу нет!

— Что же ему, спасибо говорить — в лоб засветили?.. — подал голос мрачный.

— Он же извинился.

— Я же извинился.

— Не могу! — взревел вдруг урка. — Не могу!.. Счас буду метелить обоих — за вранье. Да хоть бы врали, пала, как люди, а то врут, как... — урка сел в кровати и смотрел злыми глазами на электрика и нервного, которые сидели рядышком. — Христосики! Фишера! До того культурные, пала, до того вежливые — аж зубы ломит. Шмакодявки... шкуру спасать кинулись. Никакой гордости у людей!

— Ты! — крикнул электрик Пахомов. — Ну-ка, закрой сифон! Смелый... Смелый? Ну-ка расскажи, как ты здесь очутился? Ну-ка?

— А чего мне скрывать-то? Напугал, пала. Я те все без науки скажу: взял часы у одного... Выпить не хватило, я вышел на улицу и попросил у какой-то пьяной шляпы часы в долг.

— Вона — часы в долг! — вконец обозлился электрик. — А костюм в долг не попросил? Часы он в долг попросил. Это и есть твоя гордость? Это об этом ты шумишь?

— Это называется — ограбил, а не попросил, — поддержал электрика нервный, тоже оскорбленный выкриками урки. — Интеллигент нашелся.

— Нет, это называется — по-про-сил, — настаивал урка. — Ты мне чужую статью не шей. Поал? Не шей. Я подошел и по-про-сил: «Гражданин, одолжи мне свои бока». Я не сказал: «отдай», я сказал: «о-дол-жи». Поал?

— Как? — спросил вдруг очкарик. — Как?

— Чего «как»?

— Как вы сказали: «бока»?

— Ну, бока — часы... Некоторые называют часы — бока. Еще называют — бочата. Если часы золотые, тогда — рыжие.

Очкарик встал и подошел к социологу.

— У вас какие очки? — спросил он. — Я не в том смысле, рыжие или нет, — с какой диоптрией?

— Минус четыре.

— Разрешите? — попросил очкарик.

Социолог снял очки и подал очкарику. Тот надел их... огляделся... Сказал:

— Неплохо.

Затем он подошел к урке и внимательно всмотрелся в него.

— Да, — сказал он. — Совершенно точно! Встать!

— Ша... — заговорил было урка.

— Встать! — опять скомандовал очкарик довольно властно.

— Ша, — сказал урка, поднимаясь. — В щем дело?

Очкарик развернулся и влепил ему такую же звонкую, такую же отчетливую пощечину, как и давеча. Урка кинулся было на очкарика, но тот умело уклонился и правой в челюсть свалил урку на кровать.

— Это был я, — сказал очкарик спокойно. — Я вспомнил это идиотское «бока».

Урка хотел опять вскочить и вскочил, но очкарик спокойно стоял и ждал, так профессионально стоял и ждал, что урка... остался стоять.

— Та пьяная шляпа — это был я, — пояснил очкарик. — Я вспомнил слово «бока»... и узнал вас. Что вы отняли часы — это я готов понять: с такой рожей дарить, например, часы — нелепо. Но за что вы меня еще и ударили?

— Да що ты ко мне пришился?! — заорал урка истерично. — Какие щасы?

Открылась дверь, и вошел старшина. Он заглянул в бумажку с трудом прочитал:

— Гриши... Гриша-ков и Ковалев, к дежурному. В простынях прямо, там переоденетесь.

Урка и очкарик пошли на выход.

— Товарищ... — сказал социолог. — Очки-то.

— О! — спохватился очкарик. — Извините. Спасибо.

— Пожалуйста. Вы еще вернетесь?

Очкарик пожал плечами:

— Не знаю.

Старшина и двое в простынях вышли.

— Надавал он ему, — с восхищением сказал сухонький.

— Хилый-хилый, а двинул хорошо, правда, — Соколов нервно потер руки. — В челюсть красивый был удар.

— Сейчас вас, наверно, будут вызывать, — заговорил социолог. — Я бы хотел, чтобы еще кто-нибудь... Может быть, вы? — обратился он к сухонькому.

— Нет, — твердо сказал сухонький. — Я не буду.

— Почему?

— Не буду... Все, — у сухонького отчеканилась на лице непреклонность. Он пояснил: — Пусть наука занимается своим делом, а не бегает по вытрезвителям. Нашли тоже... Делать, что ли, больше нечего?

— Да почему вы так?

— Да потому! До сих пор на луну не высадились, а по вытрезвителям бегаете. На луну лететь надо, вот что! — сухонький чего-то осмелел и стал кричать на социолога. — Взяли моду — рису-уют, высмеивают... А на луну кто полетит?! Пушкин? Чем рисованием-то заниматься, на луну бы летели. А то на луну вас не загонишь, а по вытрезвителям бегать — это вы рады без ума. Чего тут хорошего? — бегаете... Чего тут интересного? Ничего тут интересного нет — хворают люди, и все. Тяжело людям, а вы бегаете с вопросами. На луну надо лететь!

Социолог очень изумился... Он пооглядывался кругом, — полагая, что и все тоже изумились, — все внимательно слушали сухонького, и он тоже стал слушать. Сухонький враз как-то устал, лег на кровать и закрылся простыней.

— Последние силы растратишь тут, — сказал он. — У меня никаких историй не было, — еще сказал он, помолчав. — Я ручной. Причин никаких нету... Тоски тоже. И грусти нет. Я сам по себе... Независимый.

Социолог пожал плечами, посидел, уткнувшись в блокнотик, что-то записал. Потом повернулся к Ивану-трактористу.

— Я тоже, — сразу отрубил Иван.

— Что «тоже»? — не понял социолог.

— У меня тоже тоски нет.

— А при чем здесь тоска?

— Ну, вы же причину ищите.

— Да...

— Вот. Я ее не знаю. Но тоски никакой не было. Ехал в баню... Наоборот, хорошо на душе было.

— Нет, они этого не понимают! — вскричал вдруг сухонький и сел в кровати. — Ты им дай тоску какую-то — печаль! А так просто не может человек выпить! Просто — взял и...

Тут вошел старшина и объявил:

— Собирайтесь. Поедем в суд.

— Вот, — сказал сухонький, — а мы тут причину ищем. Счас нам найдут причину... помогут.

СУД

И грянул суд.

Судили три строгие женщины. Они сидели за столом, одна, похоже, главная, — в центре, две — по бокам, пожилая и молодая.

Подсудимые сидели в коридоре. Урки среди них не было.

Первого вызвали очкарика.

— Григорьев, — позвал старшина.

Подсудимые все пошевелились... Очкарик встал и пошел к двери, которая вела в комнату судей.

— Гришаков, — поправил он старшину.

— Чего? — не понял тот.

— Моя фамилия Гришаков, а не Григорьев.

— Какая разница, — мирно сказал старшина.

— Разница большая, — заметил сухонький. — Одно дело...

— Ждите! — велел старшина. Сухонький замолк.

— Здравствуйте, — сказал очкарик женщинам-судьям. С ним тоже поздоровались. И сказали:

— Садитесь.

— Мы ознакомились с вашим делом, — заговорила главная женщина. — Здесь — показания свидетелей... Заявление заведующего магазином...

— Надо же — дело! — усмехнулся очкарик. Но он рано стал усмехаться, он это скоро понял.

— Вы пока не улыбайтесь, — сказала пожилая женщина. — Не надо пока.

— Да нет, я... но не очень ли это громко — дело? Там дела-то нет.

— Есть дело, — говорила дальше главная женщина. — И вам действительно рано улыбаться.

— А в чем дело-то?

— Мы хотим услышать это от вас.

— Я плохо помню. С утра вообще ничего не помнил... С мясником что-то? В магазине? Мне в милиции сказали сейчас...

— Вы оскорбили продавца мясного отдела Завалихина Геннадия Николаевича...

— О-о, — простонал очкарик. — Он же обвешивает покупателей! Этот лоб нахально обвешивает всех покупателей, я ему сказал это...

— Минуточку, минуточку, — прервала его главная женщина, — давайте по порядку: вы сделали замечание продавцу. И выражайтесь... точнее: фамилия продавца Завалихин, никакой он не лоб.

— Он самый настоящий лоб, лоботряс, жулик...

— Сейчас не о нем речь, мы говорим о вас.

— Хорошо. Что вас интересует?

— Как было дело?

— Я не помню.

— Напомню. Двадцать пятого сентября сего года вы пришли в продовольственный магазин номер двадцать восемь, — стала рассказывать с бумажки женщина, — и сделали замечание продавцу мясного отдела Завалихину Геннадию Николаевичу, что он обвешивает покупателей. Завалихин вышел из-за прилавка и вывел вас на улицу...

Очкарик поежился, качнул головой. Сказал негромко и горько:

— Кошмар.

— Кошмар не в этом. Кошмар дальше: вы пошли, где-то напились и пришли в таком состоянии выяснять отношения с Завалихиным. Вас попытались остановить...

— Хорошо... дальше не нужно: я что-то такое припоминаю. А где у меня часы отняли?

— Это вы должны вспомнить, здесь происшествие в магазине...

— Хорошо... черт с ним, с часами. Что я теперь должен делать?

Три женщины выразительно посмотрели на него. Очкарик занервничал.

— Я не понимаю, — сказал он. — Ну, случилось... что дальше?

— Вы должны объяснить, почему вы устроили дебош в магазине. Почему напились? Часто это у вас?

— Я напился с отчаяния. Когда этот лоб выставил меня из магазина, я решил, что наступило светопреставление, конец.

— Не надо острить, — попросила молодая женщина. — Вы не уголовник, вы научный сотрудник, не забывайте об этом.

— Я не острю, — заволновался очкарик. — И, пожалуйста, не напоминайте, кто я такой — это не имеет никакого значения.

— Это имеет значение.

— Это не имеет никакого значения, — уперся очкарик. — Это абсолютно все равно. Я решил, что дальше жить бессмысленно. У вас было когда-нибудь такое чувство?

— Здесь мы спрашиваем, Гришаков, — заметила главная женщина.

— Я и отвечаю: я отчетливо понял, что наступил конец света. Конец... — Гришаков мучительно поискал, как еще

обозначить «конец», не нашел. — Конец, понимаете? Дальше я буду притворяться, что живу, чувствую, работаю...

— Он ударил вас?

— Нет, просто выкинул из магазина... И закрыл дверь. Я думал, он будет драться... я приготовился драться, поэтому покорно шел из магазина. Это ужасно... Это катастрофа.

— В чем катастрофа? — спросила пожилая женщина. — Уточните, пожалуйста.

— В том, что меня выкинули из магазина. Даже так: катастрофа в том, что... Не знаю, — вдруг резко сказал Гришаков. — Неужели вы сами не понимаете? В магазине орудует скотина... Черт, не знаю. Противно мне об этом говорить.



«Как-то Шукшин сказал мне:

— Знаешь, я тебя в театре не видел. И театр-то плохо знаю.

— Как — «не видел в театре?»

— Не видел.

«Мещане» оказались первым спектаклем, который он потом посмотрел у нас в Большом драматическом. Посмотрел, пришел ко мне за кулисы — молчаливый, странный, словно боясь расплескать то, что было внутри. Второй пьесой была брехтовская «Карьера Артура Уи». Я видел, что оба спектакля подействовали на него сильно».

Из воспоминаний Евгения Лебедева



«Мое знакомство с Василием Шукшиным — на первых порах, как говорят, шапочное — началось с того, что перед несколькими своими фильмами он систематически появлялся в БДТ — подбирать актеров.

Вначале он просто ходил на наши спектакли, смотрел, разговаривал с актерами, со мной, слушал, размышлял. А потом я стал свидетелем того, как Василий Макарович, что называется, загорелся — захотел писать для театра. И вскоре принес пьесу «Энергичные люди», которая всем нам очень понравилась...»

Из воспоминаний Георгия Товстоногова



«Труппа БДТ в полном составе собралась в репетиционном зале. Шукшин на сцене. Скулы напряжены. Волнуется. И злится на свое волнение. Хриплым голосом сказал несколько слов приветствия труппе. Откашлялся. Выпил воды. Полоснул взглядом всех собравшихся и уткнулся в текст. Начал. Принимать стали с первых фраз. И все дружнее.

И автор скоро перестал волноваться за своё произведение. Оно явно нравилось. И незаметно вступил в дело актер Шукшин и сыграл свою роль. Прекрасно сыграл...»

Из воспоминаний Сергея Юрского



«Со жгучим интересом жду спектаклей по моей первой пьесе. Премьеру комедии «Энергичные люди» должны показать в Москве — Театр имени Маяковского и в Ленинграде — Большой драматический театр... Вообще, к театру меня влечет. Охота понять, в чем его живая сила, феноменальная стойкость. Если мой первый опыт пройдет удачно, обязательно найду силы и время поработать для театра».

Из интервью В. М. Шукшина





«В 1974 году я был утвержден на роль Некрасова в фильме «Они сражались за Родину». Как раз в это время Лидия Николаевна дала мне прочитать «Энергичных людей». Георгий Александрович Товстоногов тоже ее прочитал и решил немедленно ставить. Роль Аристарха он поручил мне. Тогда я написал Сергею Бондарчуку: так, мол, и так — не могу сниматься.

Я стал готовить Аристарха. Репетиции длились недолго — месяца полтора-два. Шукшин пришел на генеральную репетицию, посмотрел спектакль и из зрительного зала показал мне большой палец — понравилось, значит».

Из воспоминаний Евгения Лебедева



«— Знаешь, Михаил, не получается пьеса. Я ее, в общем-то, написал, но не знаю, чем кончить. Я понимаю, что русскому мужику пить — горе. Я понимаю. Но чем кончить, не знаю. А просто-напросто сказать, что пить вредно, тоже не могу. Мне нужен финал, а придумать не могу. Поэтому вот такая история...

Все это он сказал мне откровенно и даже как-то растерянно. Потом добавил:

— Послушай, если я тебе «А поутру они проснулись» не допишу, то напишу другую — у меня родилась интересная идея».

Из воспоминаний Михаила Ульянова

Непросто говорить о Шукшине

Из воспоминаний Андрея Гончарова

"Это был особенный вечер. Едва закончился спектакль и отзвучали аплодисменты, актеры вмиг разгримировались, и все до единого явились ко мне. Они были возбуждены и радостны, как бывают взволнованы все актеры в день премьеры. Но на этом спектакле был автор, которого они любили и чье произведение они впервые сыграли на сцене, и это удваивало их волнение.

Этот писатель до сих пор не писал пьес, он писал прозу, но мы увидели в этой прозе драматургический нерв и, инсценировав несколько рассказов, сыграли их как пьесу. Спектакль назывался «Характеры».

И вот писатель сидит в моем кабинете, а актеры шумно делятся своими впечатлениями, смеются, но настороженно ждут, что скажет автор. А он молчит, прислушивается к разговорам, сидит в углу у двери. Но затем незаметно пересаживается на диван, потом к столу, скованность его исчезает, он улыбается и говорит, что не верил в нашу затею, потому что не понимал, как можно сыграть прозу, а теперь видит, что оказывается, можно... Впрочем, я забежал вперед, это все случилось потом, а начиналось вот с чего...

Я услышал о Шукшине еще в 60-е годы: первые же работы молодого кинематографиста поразили меня какой-то своей «сибирской» натуральностью. Драматургия тех лет, в значительной мере сохранившая печальную инерцию бесконфликтности, давала не так уж много оснований для той поразительной технологии естественного, жизненного существования, в которой работал молодой артист и которая получила затем дальнейшее развитие в его режиссерской деятельности.

А потом появились литературные произведения Василия Шукшина — для меня они стали открытием, каких в моей жизни было немного. В чем же состояло это открытие? Прежде всего в том, что автор искал героев в совершенно «другой зоне». Напомню, что в 60-х годах литература пыталась все пристальней исследовать проблемы научно-технической революции. Тенденции изображения социально-активных персонажей — носителей идеи НТР, ее глашатаев и участников — позже аккумулировались в некоторых героях производственных пьес и фильмов, личностях рациональных, сухих, холодных. А Шукшин, оттолкнувшись от стереотипа, создал своего героя, с иной духовностью, с другой степенью богатства и красоты человеческой личности, которые мне намного дороже тех, так сказать, «людей со стороны». Его герой, который нес новую эстетику, был для меня бесконечно интересен. А так как у Шукшина не было драматургически цельных произведений для театра, то на своем курсе — первом объединенном актерско-режиссерском курсе в ГИТИСе — я начал делать этюды по его рассказам, а затем и инсценировать их. Потом это продолжалось на втором и на третьем курсах. Так и возник замысел объединить несколько рассказов в единое представление, в целостный театральный спектакль. Это стало возможным потому, что мы нашли общую для всех отобранных рассказов тему — тему душевной красоты, человеческой щедрости и отзывчивости, чем так богаты шукшинские герои. Тема подсказала и композиционный прием: взяв за основу сюжет одного из рассказов, я сделал его событийным стержнем, который соединил рассказы в драматургическую сюиту с общей темой.

Внешне спектакль, шедший на Малой сцене, был скромен, подчеркнуто непритязателен. Но постановка вызывала удивительный интерес зрительного зала и шла с большим успехом, кстати сказать, эта инсценировка прошла по многим сценам страны.

... И вот наступил вечер, когда мы пригласили Василия Макаровича на спектакль. Как признался Шукшин, он слышал в театре свой текст в первый раз — ведь он для театра никогда ничего не писал, абсолютно ничего. Было любопытно наблюдать, как стеснительный, по началу неконтактный человек к концу вечера начал улыбаться и расцвел. И тут-то я постарался заманить и завербовать Шукшина в театральные драматурги. Я уговорил его, и он дал обещание написать для нас пьесу.

Прошло несколько месяцев, Шукшин попал в больницу — его, кажется, опять мучила язва — и оттуда дал знать, что пьеса почти готова. То было в середине сезона 1973-74 годов. Тогда студенты, заранее сговорившись с ним, подогнали к больнице машину и «украли» Шукшина на несколько часов. У нас в Малом зале, где шли «Характеры», в час для собралась труппа, и Василий Макарович прочитал «Энергичных людей» — свою первую пьесу для театра, написанную, как он обещал, специально для нас.

Читал он по клеенчатой тетрадке, где текст был написан от руки. Больше того, в некоторых местах, вместо реплик, которые Шукшин не успел сочинить, стояли многоточия, и Василий Макарович на ходу импровизировал. Сразу после читки он вручил нам клеенчатую тетрадь с текстом — я видел эти самые многоточия, — а позже забрал, чтобы закончить работу, и мы получили машинописный экземпляр.

Читал Василий Макарович поразительно. Как он читал, так ни мы, ни Большой драматический театр в Ленинграде не смогли сыграть. В чтении Шукшина яркость языка и гротесковые характеристики действующих лиц носили натуральный, естественный характер. Эти характеристики в его изложении были так поразительно соотнесены с его личной емкой актерской индивидуальностью, что гротесковые тенденции словно уходили. Наоборот, они становились абсолютно естественным, жанрово точным определением сцены. И что не менее важно, не исчезала та замечательная щемящая интонация Шукшина, за которую мы его особенно любим, которая присутствует в его лучших произведениях, щемящая интонация любви автора к своим героям и какой-то боли за них. Хотя в пьесе этой шукшинской интонации не так уж и много, но в авторском чтении она была.

Когда читка окончилась, труппа устроила овацию...

Вскоре у нас начались репетиции, их вел талантливый молодой режиссер Борис Кондратьев. Начав работу над пьесой раньше БДТ, мы задержались с премьерой — она состоялась глубокой осенью. А весной вышел спектакль БДТ; Г.А.Товстоногов оказался энергичнее нас. В октябре 1974 года Василия Макаровича Шукшина не стало. Для нас это был тяжелый удар — страна потеряла человека огромного, всенародно признанного таланта, Театр Маяковского — «своего» автора, о котором мечтал, с котором было связано столько надежд..."

Из воспоминаний Георгия Товстоногова

“Мое знакомство с Василием Шукшиным — на первых порах, как говорят, шапочное — началось с того, что перед несколькими своими фильмами он систематически появлялся в БДТ — подбирать актеров. Естественно, что и на спектаклях бывал. Само собой разумеется, что чем дальше, тем больше мы с ним разговаривали...

Тут открылась одна любопытная деталь: учитель его по ВГИКу Михаил Ильич Ромм был убежден в том, что кино — искусство будущего, чего нельзя сказать о театре. Шукшин же, познакомившись ближе с театром, почувствовал, что сцена обладает огромной притягательной силой и особой магией, и ощутил специфические, только ей присущие средства воздействия, которые делают искусство театра неуязвимым и ни на что другое непохожим.

К этой мысли он пришел сам — никто у нас ничего подобного ему не внушал, никто не агитировал за сцену. Повторяю, вначале он так не думал — просто ходил на наши спектакли, смотрел, разговаривал с актерами, со мной, слушал, размышлял. А потом я стал свидетелем того, как Василий Макарович, что называется, загорелся — захотел писать для театра. И вскоре принес пьесу «Энергичные люди», которая всем нам сразу очень понравилась...

Я попросил Шукшина прочитать «Энергичных людей» труппе. В назначенный день он пришел, пожал всем руки, поднялся на сцену репетиционного зала, сел за столик, попросил кофе и, к слову, в продолжение всей читки пил крепчайший растворимый кофе. В самом начале Василий Макарович сказал: «Так, маленько я волнуюсь... Театр вы большой и драматический».

Волновался Шукшин ужасно, но прочел удивительно — со свойственным ему серьезом и юмором, и актеры просто покатывались от хохота. Смех вызывал не только сам текст: не меньшую реакцию вызывали и ремарки, полные авторского ироничного отношения к происходящему. Тут меня осенила идея: оставить голос Шукшина в спектакле, чтобы автор как бы сам комментировал и объяснял происходящее. Тогда я попросил его специально записаться, и он сразу согласился.

Василий Макарович приехал недели за полторы до выпуска спектакля, и мы с ним начали эту работу. Тут я столкнулся с ним уже как с автором. Надо сказать, что на запись, не такую уж большую по времени, мы потратили много часов, по-

тому что его мера требовательности к своей работе была очень высока. Часто он говорил: «Нет, то, о чем мы говорили, не получилось, давайте еще раз»...

Словом, я получал огромное удовольствие от совместной работы. К тому же было интересно наблюдать, как Шукшин-драматург периодически вмешивался в работу Шукшина-актера и импровизировал на ходу. Например, в конце у автора была длинная реплика; когда дошли до нее, Василий Макарович сказал: «А здесь попробую-ка я просто присвистнуть», — убрал текст и «просто» присвистнул.

Мы работали тогда часов девять подряд и вышли из студии почти без сил, но задачу выполнили: «Энергичных людей» на сцене БДТ комментировал голос автора.

Весьма интересными оказались репетиции, на которых присутствовал Василий Макарович: для меня он явился своеобразным радаром — глядя на него, можно было точно сказать, как играет артист. Дело в том, что на репетициях, слыша сочиненный им текст, Шукшин воспринимал его так, как будто слова родились только что и автор его — актер на сцене. Скажем, он хохотал над собственной репризой, которую знал наизусть, когда актер играл с полной мерой органики. Если же исполнение было неживым, не возникало, как свое, Шукшин оставался мрачным. По нему, повторяю, можно было видеть абсолютно точно, что получалось, а что не получалось на сцене...

Любопытная деталь: на одной из репетиций Шукшин обратился к заведующей литературной частью БДТ Дине Морисовне Шварц:

— У вас нет бумажки — мне записывать?

— Вот, пожалуйста, мне уж тогда не обязательно...

Среди записей, сделанных Шукшиным 18 июня 1974 года в блокноте Шварц, есть, например, такая: «Юрский — похохатывает — славно».

На обсуждении спектакля, после премьеры, Василий Макарович сказал, что именно БДТ заставил его поверить в возможности театра, что теперь он собирается много писать для сцены и следующую пьесу отдаст, конечно, только Большому драматическому. Театр стал в его жизни «Третьим китом» вровень с двумя другими — литературой и кинематографом. Так началась наша дружба. К сожалению, она не имела продолжения — через несколько месяцев Василия Шукшина не стало...

В театральных институтах есть особая форма обучения молодых актеров и режиссеров: «работа над отрывками», она состоит в том, что в учебных целях инсценируются какие-то, обычно прозаические, отрывки, которые играют студенты. Раньше я привлекал с этой целью, как правило, рассказы Чехова, потому что они обладают главным для такого рода педагогических материалов — неукоснительно точной логикой человеческих взаимоотношений и удивительной правдой чувств. Но эти характерные особенности чеховского письма свойственны и шукшинским рассказам. К тому же почти все они построены на диалоге, а значит, легко инсценируются. И еще: подкупают очень высокие нравственные критерии прозы Шукшина, который, кстати, никогда не опускается до примитивной морали, до проповедей типа «черное — белое».

Вот, скажем, говорят два человека (рассказ «Хозяин бани и огорода»): один — рачительный хозяин, другой — бездельник. Вроде бы. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд, потому что отношение к жизни того, кого мы вначале приняли за бездельника, оказывается поэтическим; а рачительный хозяин предстает прагматиком, человеком ограниченным.

Василий Макарович не был очень уж разговорчив, скорее — молчалив. На зато насколько возрастала ценность того, что он, бывало, скажет, потому что Шукшин никогда не говорил спроста.

Он обладал природным, я бы сказал, врожденным демократизмом — в высшем смысле этого слова. Если так можно выразиться, Шукшин был внешне простым человеком, наделенным огромной интеллектуальной силой, — я говорю не о таланте, а просто о человеческих проявлениях. Шукшин, будучи по происхождению крестьянином и интеллигентом в первом поколении, в то же время обладал способностью интеллектуально, философски мыслить, охватывать и сопоставлять самые разные явления и события...”

«Спасибо!»
(из рецензии А.Образцовой)*

“Проза Шукшина, совсем не предназначенная для театра, с легкостью, победоносно завоевывает подмостки. Рассказы писа-

---

* “Литературная жизнь”, 1977. № 1

теля сами собой, естественно складываются в спектакли, поражающие своей художественной целостностью. Как выяснилось, драматизм характеров и положений в них оказался очень близким театру. Будто Шукшин прежде, чем записать любой рассказ, уже мысленно режиссерски выстраивал и актерски проигрывал. Недаром и многие его персонажи наделены своеобразным даром творческой фантазии, импровизации, как, например, Бронька из рассказа «Миль пардон, мадам!». Не случайно также всей душой тянутся они к празднику, как Егор Прокудин из «Калины красной». Любил писатель и длинные монологи-исповеди, напоминающие чеховские, которые сами собой просятся на сцену. Одним словом, проза Шукшина открылась театру сразу — щедро, охотно, не тая секретов, обнаруживая своеобычную театральность.

Так случилось и с рассказами Шукшина, составившими литературную основу спектакля Малого театра «Беседы при ясной луне». Премьера шла, как обычно. Сначала — тревога и нетерпение у актеров и у зрителей: ведь предстоит новая встреча с Шукшиным. После окончания спектакля — уверенность в успехе, цветы исполнителям. Но прежде, чем были вручены цветы, привычный ритуал премьеры несколько нарушился. Одинокий мужской голос, перекрывая шум аплодисментов, крикнул из зала: «Спасибо!». К нему присоединились другие: «Спасибо!». Согласитесь, что такое происходит в театре не всегда. Несомненно, столь открыто выраженная зрительская благодарность относилась прежде всего к автору, чей огромный талант и глубокое постижение действительности завоевывают все большое число признательных поклонников. Благодарность была принесена также театру, бережно воплотившему идеи, образы, стиль писателя.

Во многом успеху спектакля способствовала инсценировка В.Иванова, начатая еще при жизни Шукшина, с его помощью и советами. Жанр повествования точнее всего определить как спектакль-беседа. Поистине — «Беседы при ясной луне»...”

Из воспоминаний Сергея Юрского

“Среди самых дорогих книг в моей библиотеке — последняя книга Василия Шукшина с дарственной надписью. Судьба подарила мне всего три встречи с этим самобытным, уникальным человеком. Это были короткие деловые встречи. Но

даже если бы их вовсе не было и не было бы возникшей личной симпатии, я бы все равно считал, что Шукшин вошел в мою жизнь. Властно вторгся и обогатил ее.

Режиссура Шукшина меня заинтересовала, к Шукшину-актеру я сразу отнесся восторженно. Первые рассказы читал со вниманием, не сразу, правда, приняв его темперамент, несколько отдающий кулачным боем, не сразу увидев глубину и драматизм за разухабистым юмором его персонажей.

Потом появилась книга «Характеры». Один рассказ лучше другого. Как будто читаешь не очередную книгу молодого писателя, а избранное крупного мастера, где отобрано лучшее из многого хорошего. Заболел я этой книгой. Но и тогда, летом 1973 года, мне в голову не приходило, что я могу стать исполнителем его произведений. Одно дело, когда тебя трогает рассказ по-читательски, по-человечески. Волнует до слез и до смеха вслух. Но совсем другое, когда ты чувствуешь в себе силы взволновать им других, целый зал. Заставить зрителей плакать и смеяться. Для этого данный автор, данные персонажи должны быть в границах твоих актерских возможностей. Должно быть некое внутреннее глубинное сродство. Я не чувствовал этой близости. Не мое амплуа. В театре мне не дали бы играть ни одного из этих крестьянских парней, шоферов, плотников. Не мое. Мое дело — интеллигенты. А Шукшин все тревожил, напоминал о себе засевшими в память оборотами речи, фразами, простыми и трогающими ситуациями, удивительными своими характерами.

И я решился.

(В тот год у нас с женой родилась дочь. По много часов в день я возил коляску, в которую положил две книги. Ходил, заглядывал то в одну, то в другую и учил вслух. Если правдива теория, утверждающая, что заложенное в самом раннем, бессознательном детстве глубже всего запечатлевается в памяти, то когда-нибудь выяснится, что моя Даша, не уча, знает наизусть «Домик в Коломне» Пушкина и шукшинские рассказы из книги «Характеры». Она слышала каждую строчку по много десятков раз).

От многократного повторения шукшинский текст не скучнел. Он не исчерпывал себя. Верный признак высоты уровня произведения. Я заучивал текст, впитывал его в себя, искал ритмы речи. Но странное дело — вовсе не думал о мизансценах, хотя чувствовал, что Шукшин обязательно потребует пространного решения. Под влиянием Шукшина, под влиянием его авторской воли мой обычный путь — от внешнего

действия, от пластики к внутреннему — был нарушен. Ведущим было внутреннее, сердечное впечатление, которое покорило меня при первом прочтении и не покидало.

В рассказах Василия Макаровича гармонично сочетаются три потока — драматизма, юмора и нежности. Я говорю об этом с точки зрения актера — анализирую структуру жанра, чтобы понять, как играть, а играть все эти три потока одновременно очень трудно (и как прекрасно делал это сам Шукшин в своих киноролях!)...

Если бы я был критиком, я нашел бы слова возражения тем, кто упрекал Шукшина в некоторой крестьянской тенденциозности. Художественная убедительность лучших рассказов Шукшина для меня всегда была бесспорна. Мне казалось, что автору стоит только назвать своих героев — и они сразу обретут плоть и кровь и начинают действовать интересно, забавно и неожиданно не по воле автора, а в силу своих характеров. Шукшин не рассказывает о своих героях, а прикасается к их внутреннему миру по праву сродства. И герои оживают во всей жизненной полноте.

Читая Шукшина, я не раз испытывал чувство неловкости, некоторого стыда за себя. За свою невнимательность к окружающим. За то, что не сумел разглядеть в обыденных событиях, в людях, с которыми сталкивался, говорил, той душевной жизни, того внутреннего богатства, которые открыл для меня Шукшин. И если есть в Шукшине тенденциозность, то она в настойчивом утверждении автором права своих героев на жизнь, на философию, на выводы, в утверждении обязательной ответственности за грех, за измену правде. Характеры! Характеры! И поиск характера — главное в работе над его произведениями.

Той же осенью два рассказа Шукшина вошли в мою концертную программу — «Дебил» и «Сапожки».

А зимой в театре у нас появилась пьеса Василия Шукшина «Энергичные люди». Товстоногов был в восторге от пьесы и никому не показывал: хотел, чтобы труппа услышала в чтении автора.

А потом была встреча с Шукшиным в нашем театре.

Труппа БДТ в полном составе собралась в репетиционном зале. На середине обширной сцены стояли стол, стул. На столе графин с водой, стакан и микрофон. Вошел Шукшин. Резкими неловкими поклонами головы отвечал на аплодисменты. Сел. Глубоко посаженные глаза прячутся. Скулы

напряжены. Волнуется. И злится на свое волнение. Хриплым голосом сказал несколько слов приветствия труппе. Откашлялся. Выпил воды. Полоснул взглядом всех собравшихся и уткнулся в текст. Начал. Принимать стали с первых фраз. И все дружнее.

И автор скоро перестал волноваться за свое произведение. Оно явно нравилось. И незаметно вступил в дело актер Шукшин и сыграл свою роль. Прекрасно сыграл.

В тот день мы и познакомились.

Через две недели начались репетиции. Читал он почти не улыбаясь, а смотрел — хохоча в голос, до слез. Буквально до слез. Утирал их кулаками и всхлипывал. Потом собрались за кулисами. Василий Макарович был серьезен, говорил о своем понимании сатиры, прозвучало слово «сочувствие». Искусство не может быть издевательским, уничтожающим. Но острие должно быть.

Я слушал его. Смотрел, как он курит, как держит папиросу, и думал о том, что правильно ввел в чтение рассказа «Сапожки» как реквизит пачку «Беломора» и многократные попытки закурить и, наконец, в финале закуривание. Долгожданное, когда дым сладок..."

«И висит на веревке луна»
(Из рецензии Н.Казьминой)*

"Движения души, побуждающие писателя к сотрудничеству с театром, право же неуловимы. Одни начинают писать пьесы, утвердившись в мысли, что театр был их предназначением. Другие, сочиняя для театра, не оставляют своих прежних привязанностей. Третьи — так и не проходят до конца весь театральный «путь проб и ошибок», оставаясь в драматургии на правах учеников... Сколько прозаиков, признававшихся в любви к театру, — столько и судеб драматургов-«непрофессионалов». Искать закономерность в этом весьма распространенном в литературе явлении «измены жанру» мне кажется не самым интересным и плодотворным. Поиски отвлекут нас от индивидуальностей, обеднит явление, лишат его красок. В этой ситуации театральному критику любопытнее будет наблюдать закономерность другого порядка: обращение прозаика к театру обнажает качественно иной пласт в его

* "Литературная жизнь", 1979, № 6

творчестве, открывает новую грань его таланта и еще одну грань его личности. Как это произошло с Василием Шукшиным.

Сегодня уже очень сложно сформулировать единственно верное и полное отношение к его судьбе и творчеству, отбросить надуманное, легендарное, пересилить запоздалое любопытство, во многом определенное моментом: количество мнений множится, популярность личности растет. Однако, несмотря на статьи, о нем написанные, споры, ему сопутствовавшие, Шукшин до сих пор остается для нас неразгаданным. Человек при жизни весь нараспашку, он не скрывал и не умел скрывать своих мыслей, не старался казаться сложнее, чем был, не боялся быть открытым и искренним, а после смерти, когда уже, кажется, решили, что знаем, как надо о нем писать, как играть его, как ставить, он вдруг отодвинулся от нас, замкнулся в себе и, оказалось, унес с собой свой секрет — секрет собственной личности.

Пожалуй, именно театр подтвердил догадку, что Шукшин не был ни простодушен, ни узнаваем. Он «никак не мог вписаться ни в традицию, согласно которой серьезная литература есть продолжение жизни с ее “вопросами” и “проблемами”, ни в то традиционное отступление от традиции, по которому уход от такой серьезности сразу переключает искусство в чисто развлекательный план. Деревенские парни Шукшина шокировали серьезных критиков своим легкомыслием, но отнести их к героям комическим что-то мешало. Шукшин явно нарушал традицию — он поселился меж двух станов. И обрушивались на него с двух сторон. С одной стороны — с грозными требованиями “серьезност”», от которой Шукшину должно было стать жарко. С другой стороны — с таким веселым и одобрительным хохотом, от которого он должен был похолодеть», — писал Лев Аннинский. Мы стали различать, каким он не был и каким мы не хотели бы его видеть, но до сих пор все-таки не знаем, что он собой представлял.

Взаимоотношения театра с Шукшиным характеризуются сегодня постоянной спешкой. По всей стране идут десятки спектаклей, на программках которых значится его имя, театры с азартом разыгрывают его ироничные «повести для театра»: «А поутру они проснулись» и «Энергичные люди». Не торопясь, обстоятельно текут «беседы при ясной луне», дивится зритель «точкам зрения», улыбается ситуациям и характерам, внемлет шукшинскому Разину. Проявляя неослабное внимание к произведениям Шукшина, инсценируя его прозу и вос-

полняя тем самым его собственное «опоздание» на сцену, театр словно торопится завершить линию прерванной судьбы, подтвердить легенду об уникальности и разносторонности этого таланта, — подгоняемый модой, гипнозом личности, подогретый естественным интересом и мелким любопытством, просьбами времени, — при этом не успев сформулировать своего отношения к нему и им написанному; не успев спросить себя, а сценичен ли он и нуждается ли в нем сцена и он в ней; упустив из виду, что писателя следует судить по законам, им самим над собой признанным.

Шукшин не был драматургом, хотя часто его называли и так. Возможно, он когда-нибудь им бы и стал, хотя написал только одну «правильную» пьесу, заявив новый жанр «повестей для театра». Но не только поэтому не совсем справедливо утверждать, что художественная эстетика произведений Шукшина лежит в области театра, недаром уже тесновато ему стало в последние годы в рамках кинематографа, а проза уже разорвала скрытую театральность. Она изначально несла на себе отпечаток кинематографичности, ощущала на себе власть первой его профессии. Поэтому, в частности, постановка ее в театре требовала не только перевода материала прозаического в жанр драматический, но и пересмотра всей подразумеваемой системы условностей кино. Читая Шукшина, можно было поймать себя на мысли, что все им созданное не раз было проиграно и поставлено им «в уме», прежде чем написано. Создавалось впечатление, что писал он уже в расчете на то, что его проза будет играться. Это и вводило театр в заблуждение. Впечатление не рассеивалось. Но не исчезало и «проклятие кинематографа», которое довлело над его прозой. Шукшина в театре все еще не открыли, не копнули (не успели копнуть?) еще тех глубин постижения и отражения человеческой природы и мысли, которые отличают его прозу и его кинематограф. Как бы там ни сложилось потом, сегодня мы вправе только скромно отметить факт явления Шукшина театру. Факт небезынтересный.

Сам Шукшин к театру только присматривался. Его любопытство вызревало долго и долго проверялось, прежде чем определилось словами — «наш театр сейчас активнее и интереснее нашего кинематографа», прежде чем обнаружилось удивление перед его возможностями. Прежде чем зародились планы.

Он задумывал писать для театра, инсценировать свою прозу, создать театр-студию — это одни предположения. Его ли-

рическая и сатирическая «повести для театра» стали началом общения Шукшина с незнакомым ему видом искусства — это факт. Они выглядели пробой пера, только попыткой вплотную подойти к незнакомому жанру, которым предоставлялась возможность разыгрывать серию этюдов — блестящие характеры, вышедшие из-под пера наблюдательного прозаика. Они не требовали от режиссера нового и чрезвычайного художественного усилия, они были традиционными (и при этом робко ученическими), вписываясь в ряд подобных современных пьес. Но существовало нечто такое, что выводило их за рамки первого опыта, — определенность позиции, занятой в вечном споре о цели и смысле человеческого бытия, та определенность и даже агрессивность в отношении к жизни, которая с самого начала терялась в конкретных постановках, ускользала от внимания театра, хотя была так недвусмысленно заявлена автором: «Этот разговор о душе я затеял не вчера, не сегодня — давно. И не собираюсь пока слезать с этой темы. В городе ли, в деревне одолевает нас тьма нерешенных проблем — проблемы механизации, проблемы мелиорации, проблемы интеграции и т.д. и т.п. Важные проблемы? Кто об этом спорит... Но вот что меня мучает страшно: всегда ли мы успеваем, решая все эти проблемы, задумываться о самом главном — о человеке, о душе человеческой? Достаточно ли мы думаем и заботимся о ней?» Эта мысль, важная в целом для всего творчества Шукшина и его прозы особенно, впервые им высказывалась в театре — так открыто и прямо, что обязывало театр ко многому. Насколько она была важна, можно судить по тому, что, как только театр игнорировал ее, спектакли по «повестям» получались среднеблагополучными и «утопали» в быту, иллюстрируя две из десяти вечных заповедей.

Тематически и стилистически эти первые для театра произведения Шукшина не походили на его прозу — были произнесены тоном саркастическим, насмешливым, незнакомым, отличным от прежней напевности, говорливости. Казались даже чем-то инородным в его творческой манере, в его как-то неожиданно утвердившемся амплуа «писателя-деревенщика». Стереотипное отношение к Шукшину вольно или невольно мешало его восприятию, влияло на общее решение спектаклей.

Случалось так: режиссер всячески отгораживал свое детище от «деревенского», якобы истинно шукшинского миро-

ощущения, стараясь подчеркнуть самостоятельность новых мотивов. И тогда не сцену привносилась интонация излишне гневная, обличающая, публицистичная; в зал, каждому из нас, произносил свой монолог Молчаливый в финале спектакля театра «Современник» «А поутру они проснулись». Слова были выстрелом, но произведенным отчасти вхолостую. Потому что весь спектакль, будничный, неторопливый, бытовой, не подводил к этой вспышке, игрался как тривиальная история, срисованная автором с натуры. Обличительный пафос спектакля «Энергичные люди» в Театре имени Вл.Маяковского, впрочем, как и голос автора. Растворялся в манере поведения героев, «грассируемой» актерами.

Случалось и по-другому: смущаясь новизны и непривычной для Шукшина тематики, режиссер это «истинно шукшинское» «тащил» на сцену. И тогда в неплохом, богатом актерскими удачами дипломном спектакле Щукинского училища «А поутру они проснулись» в перерывах между картинами появлялись девушки в пестрых платочках и затягивали русское многоголосие. Прием сам по себе и не новый и чужеродный в данном тексте, а потому ничего не определивший, не достигший цели.

Поддавшись первому порыву, общему воодушевлению, театр начал ставить шукшинскую прозу. Она действительно казалась сценичной, и было ясно, что так привлекает в ней: напряженное действие, лаконично и точно описанные ситуации и характеры, язык, густой, образный. От страниц веяло запахами земли, истоками, от строки — хитроватой иронией эдакого простоватого мужичка, каким любил прикинуться шукшинский герой с экрана. А театр спеша снимал порой только поверхностно событийный слой его рассказов, оставляя за скобками неизменно существенное для Шукшина — мысль о человеческом достоинстве и «разговор о душе», нравственный и поэтический пласт его прозы.

Поначалу театр, казалось, захлестнутый любовью к автору, готов был идти у него на поводу, но вскоре обнаружилось, что он не только освободился из-под авторского влияния, но и жестко начал отбирать то, что легко поддавалось театрализации, что могло выгодно звучать со сцены. При этом театр не ощущал хрупкости и искусственности приема, положенного в основу инсценировок, когда заведомо подбирались рассказы, схожие друг с другом, они, в свою очередь, скреплялись мотивами других рассказов, низались на «единый сюжет», «стержневой рассказ», с использованием «запевов»,

«зачинов», хороводом, авторской речи, переданной «закадровому голосу», или «хору-коллективу». Театр поступал эгоистично: не стремясь подняться над привычным, не осложняя себе задачу, приспосабливал Шукшина к сцене, делал «выборки» из его прозы. Вне поля зрения режиссеров оставались, как непригодные для театра, наиболее лиричные, камерные рассказы-монологи, представлявшие иную, драматичную сторону творчества Шукшина, который вовсе не был только «балагуром» или «баешником». Эти рассказы казались бесконфликтными, но конфликтная ситуация в них была лишь скрыта: их герой находился в противостоянии с самим собой, природой, совестью, вечностью, давней любовью. Возможно, обращение театра именно к этим рассказам натолкнуло бы на мысль, что этого автора нельзя измерить готовой меркой, вставить в уже готовые формы.

Шукшинская проза приходила на сцену, чтобы доказать, что она не сценична в привычном смысле этого слова, что, несмотря на видимую простоту, ее нелегко ставить, что, выдержанная в лучших театральных канонах «деревенской» темы, она что-то безвозвратно теряет, огрубляется, скучнеет. Вся атрибутика деревни в этих спектаклях соблюдалась неукоснительно, бытовой план был выписан до мельчайшей детали. Были здесь и «панорама сельского утра», и «зеленые луга с робкими, трепетными березками», на деревенской лужайке — «стол под красным сукном с непременным графином», деревянные оконца, воротца, резной конек под крышей, пуховые подушки горкой на широкой кровати, веселый ситчик «на занавесочки», которым иногда затягивалась вся сцена; и пелись хорошие русские песни, и звучали баян и балалайка. Но все это было понарошку, не всерьез, словно шла игра в деревенскую жизнь. И вся эта живопись не холодила сердце, не заменяла того живого зеленого холма, на котором плакал, бился Егор Прокудин. И актеры в таких спектаклях играли чересчур гротескно. Отстраняясь от своих героев, балагуря с ними, вкладывая скепсис в слова, герои выходили жалкими, смешными, лица-маски, чего никогда не случалось с настоящими героями самого Шукшина. В спектаклях по рассказам Шукшина, как правило, много места заставлено, мало обжито, много внимания уделено характерности, мало индивидуальности, много режиссерской фантазии потрачено на «развод» ситуации, мало на создание ее атмосферы. Взята лирическая и сострадательная нота, которая обычно сопровождает упоминание о Шукшине, но не звучит ностальгия по

жизни, которую он любил, не прибавлено нового знания этой жизни и этой личности.

И, глядя на все это, нет-нет да подумаешь: а может быть, не стоит так уж тиражировать Шукшина на сцене, пытаясь делать то, чего не сделал он сам, быть может, сознательно?

Истоки понимания творчества Шукшина таятся, на мой взгляд, в отношении к его личности. И только через понимание ее можно искать ключ и краски его произведений. Шукшин никогда не был отстранен от своих героев. Его лирический герой незримо присутствует на страницах, даже когда они не содержат лирических отступлений. Когда же этого героя не замечают, не любят, что-то мельчится. Когда стараются переводить прозу в иной жанр за счет сокращения авторской речи (а иначе — характеристики лирического героя) или передачи ее в уста действующих лиц, нарушаются необратимые связи.

Наверное, прав был С.Бондарчук, делясь с читателем и коллегами своими сомнениями: «Я слышал недавно, что какой-то режиссер собирается делать фильм о Разине по сценарию Василия Шукшина. Думаю, что ничего хорошего из этого не получится... Секрет же авторского кинематографа все же заключается в том, что его не разъять на части. Конечно, талантливый человек может сделать хорошую картину о Разине. Но лучше не трогать при этом сценарий Василия Шукшина, который рассчитывал на свою режиссуру и свое исполнение, а главное — на свое понимание этого образа и фильма». Возможно, существует такой же секрет и «авторской прозы»?

Практика вносит любые поправки к теориям: мелькнувшую было мысль о «нетеатральности» шукшинской прозы опровергает сам театр, правда, необычный — театр литературный в лице одного актера, Сергея Юрского, читающего рассказы Шукшина.

Несколько стульев. Спички, пляшущие в руке. Пачка «Беломора». Казалось бы, случайные разрозненные предметы, которые в его чтении приобретали многозначность, создавали насыщенный фон действия, будто бы не предполагавшегося в моноспектакле. Взгляд поверх зрительного зала. И определенно выбранная интонация разговора — с самим собой. Приглушенная, намеренно обыденная, за которой ощущается так остро и передается каждому «чувство неловкости, некоторого стыда за себя». То, что актер убедительнейшим образом читал Шукшина, представлял героев, которых, по его

же собственному мнению, ему никто бы не доверил играть в театре, составляло парадокс этих выступлений. Происходило так, наверное, потому, что у актера народилась любовь и потребность в сотворчестве.

Читая Шукшина, Юрский никогда не рядится «под Шукшина» или «под псевдо-Шукшина». Никогда не подражает ему. Понимая, что это было бы по крайней мере смешно. Он оставляет неизменной свою обычную манеру чтеца, он просто «входит в долю» с автором, при этом оставаясь в тени, — с автором, который «все тревожил, напоминал о себе», отношение к которому было давно определено и выстрадано. Актер предстает в своих композициях единым в трех лицах, читает за себя, за лирического героя и за героя рассказа, незаметно переходя от образа к образу, не давая опомниться и совместить свою индивидуальность с непривичной фигурой «одного из этих крестьянских парней, шоферов, плотников». Артист соединяет в своем исполнении юмор и нежность Шукшина с трагизмом его ситуаций, всегда намечает «обнаженно-поэтический прорыв» каждого рассказа. При этом не пропадает конкретность шукшинских образов, и растет, звучит одна, тревожная тема раздумий Шукшина о жизни, о человеке.

Кто знает, когда-нибудь мы заговорим о «театре Шукшина». Для этого, наверное, понадобится не так мало. Чтобы пришел режиссер, равный ему по таланту или, может быть, только созвучный ему? Осознавший не умозрительно, а постоянно чувствующий эту шукшинскую «власть земли» — под пальцами, на вкус, на запах, человек тех же корней, для которого слово Шукшина будет не столько откровением и открытием, сколько выражением чего-то сущностного? А может быть, так: совсем другой — обремененный теми же болями человеческими, той же тревогой? Или иначе: влюбленный в авторское слово и всерьез захваченный идеей открыть его театру?.."

Из воспоминаний Михаила Ульянова

"С Шукшиным я не был очень хорошо знаком, но встречи — памятные! — были. Под Москвой шли съемки «Простой истории», где мы оба снимались. В кино бывает так, что снимаешься с актером в одном фильме и ни разу не встречаешь-

ся на съемочной площадке, ибо общих сцен нет. Потом — монтаж, и на премьере только видишь: вот, оказывается, какой твой товарищ. И в данном случае у нас не было общих сцен. Но так случилось, что Шукшина и меня снимали в одно время, вот мы и оказались вместе дня три-четыре...

Я приехал в деревню, мне сказали, что буду жить в школьном классе, где уже поселился Шукшин. Никаких особо значащих разговоров с Василием Макаровичем, тогда еще студентом ВГИКа, у меня не возникло. Встречаясь, говорили друг другу «здравствуй» — и все. Шукшин, видимо, был очень замкнутым человеком и сходился с людьми трудно. В свободное время я, в основном, ходил на лыжах, а Шукшин оставался в школьном классе, где мы жили во время экспедиции. Иногда лежал, закинув руки за голову, думал. Иногда сидел на кровати, поджав ноги, положив на колени школьную тетрадку, все что-то строчил, закрывшись от посторонних. И нещадно курил.

Ни разу я его не спросил, что он пишет, — я ведь не знал, что он писатель. Для меня он был актером, который, как и я, приехал на съемку.

Через несколько лет в кинотеатре «Ударник» проходила неделя фильмов студии имени М.Горького. Все мои первые картины — этой студии, поэтому меня пригласили участвовать. Во время таких показов и зрители, и корреспонденты обычно спрашивают: «Над чем вы сейчас работаете? Ваши творческие планы? И так далее. Василию Макаровичу, участвовавшему в неделе, тоже задавали подобные вопросы; отвечал он нехотя. Помню его в невзрачной черной рубашке, страшно мрачного, я бы сказал: взъерошенного.

Еще раз довелось участвовать с Шукшиным в съемке фильма «Освобождение». Он играл роль маршала Конева, ибо актер, исполнявший эту роль в первых сериях эпопеи, заболел. Мы сидели рядом, гримировались. У меня в роли маршала Жукова и грима-то никакого не было — только тончик, а у Василия Макаровича грим был тяжелый, долгий, мучительный, часа на три — пластический грим коневской бритой головы. И опять он был замкнут, опять неразговорчив. На съемках он вел себя послушно, не вмешивался ни в режиссуру, ни во что другое, словно говорил: «Хотите так? Пожалуйста...» Работал спокойно, профессионально, достойно.

За четыре-пять дней, что мы вместе снимались, разговоры в основном шли житейские, бытовые — всерьез беседовать Шукшин не хотел. Я чувствовал, что ему не до разговоров.

Однажды я пришел в связи с одной неосуществившейся идеей к Андрею Тарковскому: он собирался ставить «Гамлета» в Театре имени Вахтангова и хотел, чтобы Гамлета играл я (по разным причинам, от нас не зависящим. Тарковский поставил «Гамлета» позже и не у нас, а в Ленкоме). Когда я пришел к Тарковскому домой, то неожиданно увидел у него Василия Макаровича. И снова это был другой человек.

То я видел ощетинившегося человека, а то вдруг в нем точно плотину какую прорвало. Он расхаживал по комнате широкими шагами, сунув руки в карманы брюк, все время ерошил волосы. Был очень разговорчив и страшно возбужден. Казалось, Шукшину было страстно необходимо, чтобы наш альянс с Тарковским состоялся, ему невероятно нравилась эта идея. Тарковский точно и абсолютно конкретно рассказывал о своем понимании великой трагедии, а Василий Макарович принимал необыкновенно заинтересованное участие в разговоре.

Через несколько лет настало время знаменитой «Калины красной».

«Калина красная» — странный фильм: если попытаться анализировать ее с точки зрения обычной логики, можно найти много эпизодов, казалось бы, несовместимых. Есть куски очень простые, я бы сказал даже, примитивные. Есть эпизоды, которые у другого художника могли прозвучать сентиментально и фальшиво. Однако все это превратилось в произведение, которое до сих пор живет и так пронзительно действует на миллионы зрителей, потому что склеено таким «составом», как боль и мука, как душевность Шукшина, потому что наполнено его искренностью и честностью.

Иначе говоря, если подойти к картине с гаечным ключом логики, ее можно разобрать на составные части — и ничего не понять. Но если с сердцем, перед ней можно преклониться.

Вот почему я и называю «Калину красную» «странной».

Ранней весной 1974 года — в феврале-марте — я затеял новую работу в театре. Мне нужна была пьеса, и я позвонил Василию Макаровичу. Он сказал:

— Есть у меня одна пьеса, приезжай — я тебе покажу.

Я приехал. Шукшин только вернулся со съемок, был очень домашний и возбужденно вдохновенный. На вешалке висели шубенки дочек, я спросил:

— Ну, что, до печенки достают?

Василий Макарович как-то радостно пожаловался:

— О, не говори! Дырки в боку крутят!

Мы сидели втроем — Лидия Николаевна, я и Шукшин; он сказал:

— Вот моя пьеса «Точка зрения». Но учти: я сейчас собираюсь писать новую.

У него была странная манера: когда его захлестывала какая-нибудь идея, он, разговаривая, вставал и проводил рукой по голове от лба к затылку — он делал так, даже снимаясь в кино.

Василий Макарович стал рассказывать сюжет «А поутру они проснулись». Я хохотал, а он говорил подробно, как будто читал наизусть. Возможно, часть пьесы уже была написана, а может быть, уже вся родилась в голове, и ее оставалось только записать.

Кончив рассказ, он бросил:

— Я сейчас подарю тебе книгу.

И действительно подарил сборник рассказов «Характеры» с надписью: *«Михаилу Ульянову — земляку, коллеге, художнику — с дружбою. В.Шукшин»*.

Лидия Николаевна сказала:

— Во, смотри, как он расщедрился!

Из этого я понял, что Шукшин не так уж часто свои книжки дарил. Но, очевидно, такая у него была светлая минута, так ему было хорошо, что он и в самом деле расщедрился. Что же касается землячества, упомянутого им, то оно у нас довольно относительное — только сибирское: я — из Омска, Василий Макарович — с Алтая.

— «Точку зрения» я прочту, но, конечно, подожду новую пьесу — ты так интересно рассказал... Я уж лучше подожду.

Прошло несколько месяцев. Я иногда позванивал, но не заставал его дома. Однажды все-таки дозвонился, он сказал:

— Пишу. Пишу. Сейчас на съемке как раз и пишу.

В конце сентября я позвонил со студии телевидения, трубку подняла Лидия Николаевна.

— Вася приехал?

— Его задергали. Он приехал на четыре дня и от телефона не отходит. Теперь я даже не подзываю. Но тебе его сейчас дам.

Подошел Шукшин:

— Знаешь, не получается пьеса. Я ее, в общем-то, написал, но не знаю, чем кончить. Я понимаю, что русскому мужику пить — горе. Я понимаю. Но чем кончить, не знаю. А просто-напросто сказать, что пить вредно, тоже не могу. Мне нужен финал, а придумать не могу. Поэтому вот такая история...

Все это он сказал мне откровенно и даже как-то растерянно. Потом добавил:

— Послушай, если я тебе «А поутру они проснулись» не допишу, то напишу другую — у меня родилась интересная идея.

Это был мой последний разговор с ним.

Он не так прост, как кажется на первый взгляд: когда вплотную сталкиваешься с его произведениями — уже как исполнитель, — понимаешь, что Шукшин — сложный писатель.

У него ведь правда не бытописателя, а своя — шукшинская. Он не сочинял жизнь, он ее знал, и «вытаскивал» на свет такое, что, в общем, удалось только ему. Все его герои очень просты и близки каждому, но в то же время исключительны и своеобразны. Они стоят как бы на грани экстравагантности и правды, будто абсолютно точно копирующей натуру.

Но если понимать или играть их как произведения бытописателя — Шукшина нет. И если выделять только экстравагантность, исключительность героев — Шукшина тоже нет. И лишь в странном, трудно уловимом сочетании абсолютной правды с найденными в жизни и воссозданными талантом писателя сюжетами и человеческими характерами, в которых как бы сконцентрировались самые интересные черты русского человека, — только в этом сочетании сила и обаяние Шукшина.

Однако передать зрителю такое сочетание необычной сложно: голыми руками, как говорится. Шукшина не возьмешь. Кажется, чего там — взял да и сыграл... Нет. Его нельзя сыграть «просто» правдиво. Его нельзя сыграть «просто» экстравагантно. Его надо сыграть правдиво и экстравагантно, правдиво и исключительно — не исключительно хорошо, а исключительно **типово**.

Я видел постановки, где от Шукшина оставалось одно зубоскальство, и это было плохо. Я слышал артистов, которые читали Шукшина, стараясь только рассмешить. И это тоже было плохо.

Сергей Юрский, например, в «Сапожках» и смешон, и наивен, и одновременно мудр и горек — вот это Шукшин. Он прост и доступен, но вместе с тем глубок и беспощаден.

В этом, вероятно, тайна воздействия Шукшина.

Была в нем замечательная черта: выйдя из народа и став одним из крупнейших художников кино и литературы, Шукшин приобрел интеллектуальный багаж, оставшись тем, кем был. **Он не изменился.** Это сейчас проблема немалая: слишком многие, выйдя из народа, становятся **другими;** и только паспортные данные иной раз связывают их с местом, где они родились, где выросли.

Способность Шукшина стать вровень с сегодняшними проблемами, оставаясь все тем же Шукшиным, каким он был на Алтае, — не только великий дар, но и первопричина силы его и успеха, и в том же — обаяние его личности. У него была мощная корневая система, она питала его и сделала тем, кем он стал: Шукшиным..."

Из воспоминаний Георгия Буркова

"В последние годы Шукшин увлекся театром. Много об этом сам говорил, и вместе мы не раз коротали вечера за разговорами о «театре», о своем театре. Хотя понимали, что надежды наши маниловские: «Давай театр создадим, давай мосты через пруд построим». Время нам не даст, и сами мы, что ли, не созданы, чтобы так вот усидчиво создать свой театр. Хотя при стечении некоторых обстоятельств он мог бы возникнуть.

Первое, о чем думали: «Надо место выбрать. Надо ехать в культурный центр, русский, древний город». Речь шла о том, чтобы на естественной культурной почве, из тех людей, что там живут и впитали в себя истоки народного творчества, найти актеров. И чтобы не учить их «стандартному» ремеслу, а у них мастерству поучиться. Василий Макарович мечтал, что и на актеров, которых он хотел взять в свой театр, должно подействовать соприкосновение с народным искусством.

Мы много спорим, как делать роли, как играть Шукшина, как играть в театре, о котором он мечтал. Мне кажется, нужны новые актеры, с определенным, деревенским, что ли, укладом, народной философией, образом мыслей. В своих фильмах Шукшин попытался очертить их круг — он подбирал исполнителей по духовной и душевной предрасположенности к тому, что хотел делать. У него и писатели снимались, и эта замечательная старушка, которая сыграла в «Калине

красной». Причем в этом заключался его секрет: он понимал, что с непрофессионалами фильм целиком не создашь. Но вот, скажем, старушка играет не по «системе» — просто рассказывает свою жизнь, и именно она несет ту жизненную духовную информацию, о которой Шукшин мечтал.

Василий Макарович часто говорил: «Настанет скоро время, придет пора нам расшифровываться. Ты к этому готов?» — спрашивал он, скажем, меня... И тогда я явственно понимал, о чем идет речь, сейчас формулировать трудно, а когда он рядом находился, то глаза, фигура, напряжение — все это давало ясность, о чем он говорил. Шел прямыми путями, был человеком со всеми задатками очень цельной натуры.

Для меня вообще отдельная тема — режиссерские и актерские уроки Шукшина. Очень сложно говорить, что он требовал от театра, кино. Вот когда я обратился к повести «До третьих петухов», то понял, что такая постановка почти невыполнима на сцене. Шукшина много и многие ставят. Но не понимают, куда он шел. Его рассказы — скорее трагические притчи, чем комедийные историйки. И всех он дезориентировал языком своей прозы. Язык ввел в заблуждение — уж больно смешной какой-то, чудной. Хотя, когда Шукшин играл или читал свои рассказы, не было смешно — за этим страсть стояла. Тот старый забытый русский язык был для Шукшина родным, понятным и живым. Природа его юмора не касается языка. Он не «юморил» по поводу своих героев. Вот, скажем, Чудик деньги потерял — смешная ситуация, а для Шукшина трагическая. Признак, что ли, совестливого человека — деньги-то его, а вернуться, сказать — стыдно. Вот и весь Чудик. А какой он чудик, просто совестливый русский человек, часто в жизни встречающийся. Да Шукшин и сам таким был.

Очень болезненно переживал хамство. Сдержаться не мог — его в драку тянуло, не знал аргументов против хамства, не умел хамить. И если встречался с этим, то, как раненый, уползал, мучился жутко, что не ответил, не нашелся.

Если попытаться как-то обозначить явление Шукшина, то для себя я предпочел бы такое неуклюжее, как авторское творчество. Снимался ли Шукшин как актер, режиссировал ли фильм, писал ли рассказ или сценарий, он при всей разности этих занятий оставался Шукшиным. В каждом созданном им

произведении, будь то написанная строка или сыгранный образ, обнаруживаешь черты его характера, его биографии. Шукшин секретов не имел. Садился и писал страничку, тут же читал — так без помарок потом и печаталось. Пьеса «До третьих петухов» писалась на моих глазах, для меня, с учетом моих пожеланий и советов — вот что самое невероятное....

Шукшин спрашивал:

— Куда идет Иван?

— Вот туда, — отвечаю. — Здесь Змея Горыныча надо бы вставить...

— Ну а как его играть будут?

— Три актера играют три головы.

— А как они войдут?

— В окна три головы просунут.

— Вот и хорошо...

Но там есть и другое, что для меня остается тайной... Там есть он со своим стыдом, с тем, как он казнит себя, мучается, будто признается в чем-то очень постыдном. Как мучается Иван-дурак, который пришел к Мудрецу просить справку, что он не дурак..."

Публицистика

КАК Я ПОНИМАЮ РАССКАЗ

Начну с кино, как ни странно.

Всякое зрелище, созданное художником ради эстетического наслаждения, есть гармония красок, линий, света, тени, движения. Главное — движения. Мертвым искусство не бывает. А движение не бывает кособоким, кривым, ибо это уже не движение, а развал на ходу.

Кино. Зрелище несколько грубоватое, потому что тут налицо психоз массовости в восприятии. Совсем не одно и то же, когда в зрительном зале сидят десять человек или пятьсот. Но никого это не страшит. Человек идет в кино и с удовольствием отдается захватывающей силе этого властного искусства, и чувствует себя соучастником какого-то массового «подсматривания», и ему нисколько не мешает сосед, который плачет рядом или смеется. Они даже как-то роднее становятся оттого, что вместе переживают одно и то же.

Но вот неумолимый закон. Как только в фильме начинает выбиваться какая-нибудь его составная часть, как только обнаруживается, что зрелище утратило движение, скособочилось и затопталось на месте, так кино сразу теряет свою магическую силу и начинает раздражать. Раздражает ложная значительность, отсутствие характеров у героев, их грустная беспомощность перед лицом всех сидящих в зале, ложь, выдуманная психология, сочиненные в кабинетах ситуации — все, что не жизнь в ее стремительном, необратимом движении. Такое ощущение возникает, будто при тебе избивают кого-то слабого, а ты связан ремнями. И горько, и больно, и стыдно.

В произведении искусства все на месте, все в меру, и даже всего как будто чуть-чуть мало. Всякий раз, когда я начинаю смотреть «Чапаева», я как будто начинаю бежать (прямо до галлюцинации). И удивительно, хорошо от этого упоительного чувства. И всякий раз, когда фильм подходит к концу, я обнаруживаю с грустью, что бежал слишком скоро, радость кончилась, мое движение прекратилось.

Теперь о рассказе.

Совсем разные явления — кино и рассказ. А законы, по которым сработаны хорошие фильмы и рассказ, одни.

Мне нравится в хорошем рассказе деловитость, собранность. Ведь что такое, по-моему, рассказ? Шел человек по улице, увидел знакомого и рассказал, например, о том, как только что за углом брякнулась на мостовой старушка, а какой-то ломовой верзила захохотал. А потом тут же стыдился своего дурацкого смеха, подошел, поднял старушку. Да еще оглянулся по улице — не видел ли кто, как он смеялся, Вот и все. «Иду сейчас по улице,— начинает рассказывать человек,— вижу, идет старушка. Поскользнулась — бряк! А какой-то верзила кэ-эк захохочет...» Так, наверно, он будет рассказывать. А если бы он начал так: «Я проснулся сегодня в каком-то подавленном состоянии. Ночью кошмары какие-то снились — звери какие-то...» — «Выпил вчера?» — поинтересуется знакомый рассказчика. Что он должен ответить? «Я ему про старушку, а он мне — про "выпил"! При чем тут я? Старушка за углом упала». Так, что ли? Или как? Хуже всего, когда возникает такой вот вопрос: ты о чем? Почему-то когда иной писатель-рассказчик садится писать про «старушку», он — как пить дать! — расскажет, кем она была до семнадцатого года. А читателю и так ясно — девушкой или молодой женщиной. Или он на двух страницах будет рассказывать, какое в тот день, когда упала старушка, было утро хорошее. А если б он сказал: «Утро было хорошее, теплое. Стояла осень», — читатель, наверно, вспомнил бы в своей жизни такое утро — теплое, осеннее. Ведь нельзя, наверно, писать, если не иметь в виду, что читатель сам «досочинит» многое.

В данном случае я говорю не о длиннотах, которые могут быть не длиннотами, а все о том же законе движения. Рассказ тоже должен увлекать читателя, рождать в душе его радостное чувство устремления вослед жизни или с жизнью

вместе, как хотите. А ритм жизни нашей (XX века) довольно бодрый. Тут тебя так и спросят: «Ты о чем?» Я не знаю, что такое «телеграфный стиль», знаю, что такое скучный рассказ. А должно быть интересно, вот и все.

Если в зрительном зале сидят пятьсот человек, они сразу обнаружат, что скучно. С рассказом сложнее. Один человек всегда найдет минутку усомниться. «Может, я не понял?» Иногда действительно не понимает. Но часто не понимается, по-моему, что писатель (рассказчик) — это обыкновенный человек, тот самый, который встретил на улице знакомого и захотел рассказать тот или иной случай из жизни (это другое дело — какой случай его поразил). Все просто. Но вот как дело доходит до письменного стола или до пишущей машинки, так все опрокидывается в яму, которая именуется «творческими муками». Ищутся начала, концы, завязки, развязки, подвязки... Можно сделать так, а можно совсем иначе. Но как же так? Ведь если старуха упала на мостовой, это не значит, что она может в рассказе немножко взлететь вверх. Не фотография, не натурализм, не бытописательство, не упрощенчество, но житейски правдивое явление: старушка падает вниз, а не вверх. Вверх — это оригинально, такого еще не было, но придумано. За столом. В «муках творчества». А придумывать рассказ трудно. И, главное, не надо.

Ну а вывод авторский? А отношение? А стиль автора? А никто и не покушается ни на вывод, ни на смысл, ни на стиль. Попробуйте без всякого отношения пересказать любую историю — не выйдет. А выйдет без отношения, так это тоже будет отношение, и этому тоже найдется какое-нибудь определение, какой-нибудь «равнодушный реализм». Ведь известно, что даже два фотографа не могут запечатлеть один и тот же предмет одинаково, не говоря уже о писателе, у которого в распоряжении все средства живой жизни. Другое дело, что нету писателя без искренней тревожной думы о человеке, о добре, о зле, о красоте... Это так. Поэтому нельзя, наверно, чтобы писатель-рассказчик отвлекался от своего житейского опыта в сторону «чисто» профессиональную. В стороне «чисто» профессиональной легче запутать следы, скрыть, что тебе, собственно, нечего рассказать. Опять же старушка может взлететь вверх.

Мастерство есть мастерство, и дело это наживное. И если бы писатель-рассказчик не сразу делал (старался делать) это главным в своей работе, а если главным оставалась его жизнь, то, что он видел и запомнил, хорошее и плохое, а мастерство бы потом приложилось к этому, получился бы писатель неповторимый, ни на кого не похожий. Я иногда, читая рассказ, понимаю, что рассказ писался для того, чтобы написать рассказ. И радовался человек, и волновался, и «искал слово», и просил, чтоб в квартире было тихо, а зачем? Старуха упала, а ему наплевать, он уже забыл, что она упала, тут уж пошли — капель тенькающая, солнце в мареве, туманы в разводах. И все это само для себя. А все должно бы служить старухе, ее «делу», и вовсе не много этого надо. Она ж упала, бедная, а несла небось яйца в кошелке и расколола, а дома сын яичницу ждет — на работу торопится, скандал будет...

Человеческие дела должны быть в центре внимания рассказа. Это не роман — места мало, времени мало, читают на ходу. Кроме того, дела человеческие за столом не выдумаешь. А уж когда они попадают наконец на стол в качестве материала, тут мало, наверно, укрепиться мужеством и изгонять все, что отвлекало бы внимание читателя от их сущности. Дела же человеческие, когда они не выдуманы, вечно в движении, в неуловимом вечном обновлении. И, стало быть, тот рассказ хорош, который чудом сохранил это движение, не умертвил жизни, а как бы «пересадил» ее, не повредив, в наше читательское сознание.

ВОПРОСЫ САМОМУ СЕБЕ

Сперва о том, что болит: фильм «Ваш сын и брат» вызвал споры. Мне в связи с этим задают вопросы. Разные. Не всегда, к сожалению, мы бываем настолько находчивы в ответах, чтобы потом не ныла душа: здесь не так сказал, там сморозил. Сейчас, «пользуясь случаем», я и хочу начать с этого — с ответов.

Мне вовсе не хотелось выходить к зрителю с фильмом, который весь в вопросах, как хорошенькая головка в бигуди (с головки в конце концов эти железки снимут, и станут — кудри; фильм-кокетка, выпущенный со студии, так и пойдет гулять по экранам). Не верю, чтоб художник сознательно задавался целью быть непонятным. Для кого-то да он работает.

Эти вопросы — это, вообще-то, не вопросы, а мысли, которые возникли при обсуждении фильма и определились то как упрек ему, то как недоумение.

Город и деревня. Нет ли тут противопоставления деревни городу?

Нет. Сколько ни ищу в себе «глухой злобы» к городу, не нахожу. Вызывает злость то, что вызывает ее у любого, самого потомственного горожанина. Никому не нравятся хамоватые продавцы, равнодушные аптекари, прекрасные зевающие создания в книжных магазинах, очереди, теснота в трамваях, хулиганье у кинотеатров и т.п. Если есть что-то похожее на неприязнь к городу — ревность: он сманивает из деревни молодежь. Здесь начинается боль и тревога. Больно, когда на деревню вечерами наваливается нехорошая тишина: ни гармонь «никого не ищет», ни песен не слышно... Петухи орут, но и то как-то не так, как-то «индивидуально». Не горят за рекой костры рыбаков, не бухают на заре торопливые выстрелы в островах и на озерах. Разъехались стрелки и певуньи. Тревожно. Уехали... А куда? Если в городе появится еще одна хамоватая продавщица (научиться этому — раз плюнуть), то кто же тут приобрел? Город? — нет. Деревня потеряла. Потеряла работницу, невесту, мать, хранительницу национальных обрядов, вышивальщицу, хлопотунью на свадьбах. Если крестьянский парень, подучившись в городе, метит в какое-нибудь маломальское начальство, если очертил вокруг себя круг, сделался довольный и стыдится деревенских родичей,— это явная человеческая потеря.

Если экономист, знаток социальных явлений, с цифрами в руках докажет, что отток населения из деревни — процесс неизбежный, то он никогда не докажет, что он — безболезненный, лишенный драматизма. И разве все равно искусству, куда пошагал человек. Да еще таким массовым образом.

Только так и в этом смысле мы касались «проблемы» города и деревни в фильме. И конечно, показывая деревню, старались выявить все в ней прекрасное; если уж ушел, то хоть помни, что оставил!

А нет ли тут желания оставить (остановить) деревенскую жизнь в старых патриархальных формах?

Во-первых: не выйдет, не остановишь. Во-вторых: зачем? Что, плохо, когда есть электричество, телевизоры, мотоциклы, хороший кинотеатр, большая библиотека, школа, больница?.. Дурацкий вопрос. Это и не вопрос — я ищу, как подступиться к одному весьма рискованному рассуждению: грань между городом и деревней никогда не должна до конца стереться. Никакой это не агрогородок — деревня — даже в светлом будущем. Впрочем, если в это понятие — агрогородок — входит электричество, машины, водопровод, техникум и театр в райцентре, телефон, учреждения бытового обслуживания,— пусть будет агрогородок. Но если в это понятие отнести и легкость, положим, с какой горожанин может поменять место работы и жительства, не надо агрогородка. Крестьянство должно быть потомственным. Некая патриархальность, когда она предполагает свежесть духовную и физическую, должна сохраняться в деревне. Позволительно будет спросить: а куда девать известный идиотизм, оберегая «некую патриархальность»? А никуда. Его не будет. Его нет. Духовная потребность в деревне никогда не была меньше, ниже, чем в городе. Там нет мещанства.* Если молодежь тянется в город, то ведь не оттого, что в деревне есть нечего. Там меньше знают, меньше видели — да. Меньше всего объяснялась там истинная ценность искусства, литературы — да. Но это значит только, что это все надо делать — объяснять, рассказывать, учить. Причем учить, не разрушая в крестьянине его извечную любовь к земле. А кто разрушает? Разрушали... Парнишка из крестьянской семьи, кончая десятилетку, уже готов был быть ученым, конструктором, «большим» человеком и меньше всего готовился стать крестьянином. Да и теперь... И теперь, если он почему-либо остался в деревне, он чувствует себя обойденным. Тут старались в меру сил и кино, и литература, и школа.

Сейчас, наверно, возьмутся за деревню крепко. Но боюсь, что на колхозных и совхозных собраниях опять будут выбирать в президиум одних и тех же людей — передовиков,

орденоносцев. Передовики есть передовики, но и им это дело порядком надоело, и они надоели: всегда везде одни и те же, одни и те же. И на доске Почета — они, и в президиуме, и на кустовых совещаниях, и по радио о них говорят, и по телевизору теперь их показывают. Зачем? Неужели есть опасность, что если в президиум выбрать не передовика, а его соседа, не орденоносца, то передовик обидится и станет хуже работать? Какой же он тогда передовик? Где передовик? В чем? Пустяковое вроде бы дело: ну, не меня, опять передовика послали на краевое совещание льноводов, не обо мне по радио рассказали — ерунда. Но если это так из года в год, все время, с меня постепенно снимут всякую ответственность за дела колхозные или совхозные. Есть я, и есть — они. Я свое дело знаю, больше мне ничего не надо.

Сельских мальчиков в школе учат вышивать. Смехота. Девочку-школьницу учат доить корову. Что, думаете, она не научится доить, когда это будет ей нужно, когда она станет хозяйкой и у нее будет корова? Свекровь ее за десять минут научит, если она сама собой не научится гораздо раньше. Другое дело, когда ребятишки совершенно серьезно помогают летом на покосе, на прополке хлебов, в уборочную. Да, когда отец с матерью не думают: не его это дело, он у нас учится. Что же, учиться не надо, а давай с тринадцати лет все на пашню? Нет, так все равно не будет. На пашню — значит, на трактор, все равно надо учиться. Что же делать? Учиться. Но не надо, чтобы молодой человек чувствовал себя обойденным, если судьба не сулит ему профессора, героя-летчика, знатного шахтера, знатного полевода — вообще знатного. Знатные всегда были и будут, только не они решали и решают судьбу страны.

Нам хотелось, чтобы фильм наш поняли так. Но фильм фильмом, вопросы вопросами... Вопросы поднимаются и опускаются, а деревня стоит.

Что же все-таки делать, чтобы жизнь в деревне стала живой и полнокровной? Тут, конечно, не фильмами пахнет. Не только фильмами.

Я заявил, что в деревне нет мещанства. Попробую развить эту мысль. Что есть мещанин? Обыкновенный мещанин средней руки... Мещанин — существо, лишенное беспокойства, способное слюнявить карандаш и раскрашивать, беспрерывно, судорожными движениями сокращающееся в

сторону «сладкой жизни». Производитель культурного суррогата. Существо крайне напыщенное и самодовольное. Взрастает это существо в стороне от Труда, Человечности и Мысли. Кто придумал глиняную кошку с бантиком? Мещанин. Кто нарисовал лебедей на черном драпе и всучил мужику на базаре? Мещанин. Крестьянин не додумается до этого. Он купит лебедей, повесит на стенку и будет думать, что это красиво. Его обманули. Попробуйте теперь отнять у него этот ковер с лебедями. Не отдаст. Он привык к нему. Надо ехать и объяснять, что это плохо. И надо так же искусно объяснять и доказывать, как искусно доказывали ему на базаре, что это хорошо. Я нарочно упрощаю, так удобнее выпятить мысль: сельская культура создается в городе. Вообще такой нет — сельской культуры. Ее придумал мещанин. Надо бить его по рукам, этого «изготовителя», всеми возможными средствами. Изготовителя «ковров-книг», «ковров-фильмов», «ковров-лекций», «ковров-концертов»... А кто бить будет? В городе есть такие люди, в деревне — некому. Мало таких людей в деревне. Книги-уродцы, фильмы-уродцы туда все равно приходят, иногда так же скоро, как и в город, а объяснить, что они уродцы,— некому, и их принимают за красавцев. Как быть? Должны быть в деревне люди, которые понимают искусство. И если в городе бьют тревогу, что родился урод — плохая книга, фильм,— то надо это делать очень громко, чтобы в деревне тоже услышали.

Откуда берутся в деревне люди, которые действительно понимают искусство? Одни вырастают там, другие приезжают из города.

О людях, которые приезжают. Это — горожане, выпускники вузов, специалисты. Хорошо, когда они приезжают, грустно, когда, отработав положенные 2—3 года, уезжают. Зачастую виновато в этом местное руководство, озабоченное только одним: выполнением производственных планов, глухое, нерасторопное, равнодушное ко всему остальному. Людей не обеспечивают элементарным — квартирами. Если уж решили ломать старинку, надо строить. Нельзя только ломать. Я знаю, не один председатель колхоза, сельсовета, директор совхоза подумает: «Хорошо тебе рассуждать там...» Я могу только ответить: если бы уход из деревни нужного человека — врача, фельдшера, учителя, аптекаря, клуб-

ного работника — расценивался как грубый срыв государственного плана, нашли бы возможность устроить человека. Убежден в этом.

Культурный человек в деревне... Господи, как он нужен там! Всегда был нужен, а теперь — особенно. А молодежь уходит. Больше тревоги не за тех, кто ушел, а за тех, кто остался. Кто ушел, тот ушел — не вернешь. Многие, кто хотел уйти, остались. И теперь самая пора громко, на всю страну, заговорить так: если счастье человека есть служение своему народу если это действительно так, то место наше там, где мы ему нужны. Как говорить, чтобы это было высокой Правдой? Не знаю. Эти наши статьи — это «слону дробина». Есть в деревне три могучих авторитета: школа, литература, кино. С них, по-моему, и надо начинать. Школу оставляю в покое — мало смыслю в этом. Хотя не считаю, что какой-нибудь много думающий и понимающий специалист сумел бы убедить меня, что изучение в школе вопросов киноискусства, широкое обсуждение фильмов — дело бесполезное. Он не убедит меня точно так, как не убедит в том, что сельского мальчика необходимо учить в школе вышиванию, а девочку — доить корову.

Кино — это маленький праздник для юной души. Это не надо доказывать — вспомните свои семнадцать лет. А в моем селе, например, этот праздник устраивается... в церкви, которую почему-то называют клубом. Никакой это не клуб — это бывшая церковь, которую построил в начале века какой-то шальной купец. Это все знают. Купец, видно, крепко согрешил — хотел угодить богу. Но купец есть купец — надул и здесь: срубил церковь на скорую руку, тяп-ляп. Она давно пришла в негодность, там сыро, холодно, темно... Ее латают и упорно называют клубом. Праздник сразу подпорчен. Не лежит душа к такому клубу. А село огромное, около трех тысяч человек населения. Киномеханик, Куксин Саша, — славный человек, предан кино... Но его задушил план. Если ему объяснить, что вот этот фильм — это прекрасный фильм, он поймет. Он согласен. Но гоняется он за фильмами, которые делают сбор,— план! У него от плана заработок зависит. А ведь он мог бы сам объяснять, рассказывать односельчанам, в чем благородный смысл той или иной картины, но... План! Если он будет «возиться» с каждым «трудным» фильмом, он «прогорит». А у него семья. И т.д. и т.п... Ин-

тересно получается: с одной стороны, признаем огромное воспитательное значение кино, с другой — вроде как плевать нам, кого воспитывать и как воспитывать.

Сколько усилий надо приложить, чтобы хороший, серьезный фильм пришел в деревню и нашел там своего зрителя, предположим, Сидорова. Допустим, некий дядя-режиссер сделал в городе хороший фильм. Этого мало. Надо, чтоб другой дядя, умный, распорядился сделать максимальное количество копий. Дальше. Третий дядя посмотрел фильм и сказал: «Сделайте так, чтобы его посмотрели и в деревне тоже». Четвертый написал в газете, что фильм серьезный, хотя там есть кое-какие просчеты, но — серьезный.

Какие-то дяди привезли газету в деревню, чтобы ее прочитал учитель, агроном, врач и наш Сидоров. Учитель, может быть, выписывает газету, Сидоров не выписывает — как-то не принято. Те же дяди должны сказать: «А почему у вас в деревне нет книжного киоска? Ай-яй!» Поставили киоск на углу, у почты. Сидоров шел с работы, купил за две копейки газету. А кто-то из тех же дядей стоял тут же. «Сидоров,— сказал он, — почему бы тебе не подписываться на газету? Ведь удобно!» — «А черт его знает, — признался Сидоров,— как-то все так, знаете... так как-то все. Забываю». Пришел Сидоров домой, почитал на сон грядущий газетку... А ту статью — про кино — не прочитал. Не все в газете читается.

Прочитал газету учитель... «Эге, — сказал себе учитель, — завтра надо побеседовать с ребятами насчет статьи, обсудить». А через полгодика и фильм этот хороший привезли в деревню. Киномеханик идет в радиоузел и говорит по радио: «Внимание! Товарищи, сегодня в нашем клубе будет демонстрироваться фильм “Гамлет”. Это хороший фильм, хоть он про королей». Учитель послушал, усмехнулся... Пошел на радиоузел и сказал: «Давайте я немного расскажу о Шекспире, о его пьесах». Дядя — управляющий радиоузлом подумал и сказал: «Валяйте. Вообще-то не положено, но... надо ведь!» — «В том-то и дело, что надо! — сказал учитель.— Кстати, какой дурак распорядился запретить местное радиовещание?! Три тысячи человек населения, совхоз, школа, библиотека, клуб, больница, сельсовет — сотни вопросов каждодневно самых разнообразных, а радио наше молчит. Да-

вайте напишем тому дяде в городе, что нам есть о чем сказать по радио односельчанам, разрешите!»

Послушал Сидоров про Шекспира, взял рубль у жены и пошел к сельмагу «сообразить» с кем-нибудь — опять до него не дошло, что надо посмотреть фильм. А сынишка его пошел и посмотрел. Посмотрел, ничего не понял, пришел домой и говорит: «Гениальный фильм! Ты вот чем пропивать этот рубль-то, сходил бы кино лучше посмотрел» — «Пошел ты со своим кино, — рассердился Сидоров.— Навыдумывают там, а я смотри».

А жила у них в квартире тетя-аптекарша (дом для работников аптеки еще только строился, у нее не было своей квартиры). Молодая тетя по роду своей работы имела дело с ядами, поэтому очень интересовалась Шекспиром. «Напрасно,— заметила она,— вы не правы». И стала рассказывать про Шекспира. Да так хорошо, понятно! «Допекли вы меня со своим Шекспиром,— сказал Сидоров,— пойду посмотрю». Пошел. Посмотрел и говорит: «Не знаю, как там у королей, а у нас бывает... У нас Гриша Новоскольцев захотел, паразит, бригадиром стать — что он делал!.. А бригадиром молодой парнишка был — школу механизаторов кончил. Так этот преподобный Гриша орет на всех собраниях: "У него, дескать, опыту мало!" А мы шумим: "Вот и хорошо, что мало,— меньше воровать будет"».

Трудно, как видите, идет фильм к моему Сидорову.

И все равно не надо смущаться. Капля камень точит. Но упаси бог подлаживаться сейчас под Сидорова. А мы подлаживаемся — в этом все горе. У Сидорова сынишка есть, у сынишки, глядь, свой сынишка, а тот — будущий Курчатов или Суриков. Вот для них и надо делать, писать, играть, петь.

Дальше. Мы хотим, чтобы культурный человек жил в деревне и вроде бы не чувствовал этого. А он чувствует каждый день. Зарплата специалистов в деревне, рабочих совхоза теперь почти такая же, что и в городе. А что ему предлагают в раймаге? Вековой драп, патефон, «сработанный еще рабами Рима», диваны — а-ля гроб на ножках. Получше хочешь? — «ехай в город». Понаблюдайте за деревенской хозяйкой, когда к ней приехали гости и ей хочется угостить их. Как она крутится, бедная! Селедочку бы — селедки доброй

нет в сельмаге, сметаны нет, молока нет — ничего нет. Зло берет. В селе — совхоз, значит, рабочие? Рабочие. А как же так — в магазине ничего нет? Приусадебный участок... Вот куда вольно и невольно обращены взоры тех, кто против него в принципе и кто — за него. А на кой бы он черт нужен, такой огромный, такой «натуральный», если бы в сельмаге было что купить! Сколько он сил, времени требует, этот огород! Парень на пашне наломается, приедет домой: капусту надо поливать, картошку окучивать, свиньям замес варить, сено косить коровенке...

Ворочает парень и тоскует: в городе отработал человек восемь часов — и вольный казак, а тут как проклятый — ни дня ни ночи. А в селе — молочный совхоз, рядом мясосовхоз, под боком сырзавод, «полеводка» — все есть. А в магазине шаром покати. Э-эх... А ведь парню книгу прочесть хочется, в кино посидеть, вечерняя школа, а то и заочный вуз ждут. Все надо. А время где? Где те дяди, которые бы освободили сельскому парню время для книги, кино, клуба, вечерней школы, заочной учебы? Где те дяди, которые по старинке «куют» для деревни патефоны? Хватит патефонов! Делайте электропроигрыватели. Где те дяди и тети, которые отбирают для села грампластинки? Не надо — все частушки да частушки! Тут и романсы любят, и Райкина, и «голоса писателей», и даже оперетту. Где те дяди и тети, которые комплектуют сельские библиотеки? Почему только «Белая береза», «Алитет уходит в горы», «Записки охотника» и про шпионов? Сейчас, пожалуй, укажут на тиражи вообще. Знаю — большие. Но надо представить себе, какая это зияющая утроба — деревня. Кстати, тираж журнала «Сельская молодежь» смехотворно мал.

В заключение о кино «применительно» к сельскому зрителю: каким оно должно быть? Перефразируя известное выражение: таким же, как в городе, только лучше.

Какой должен быть современный положительный герой? Знают, что он должен быть честный, неглупый, добрый, принципиальный и т.п. Знают больше: у положительного героя могут быть кое-какие и отрицательные стороны, слабости. Вообще о положительном герое знают все — какой он должен быть. И тут, по-моему, кроется ошибка: не надо знать, какой *должен* быть положительный герой, надо знать, какой он *есть* в жизни. Не надо никакого героя предлагать

зрителю в качестве образца для подражания. Допустим, вышел молодой человек из кинотеатра и остановился в раздумье: не понял, с кого надо брать пример, на кого быть похожим... Ну и что? Что, если не убояться этого? На кого быть похожим? На себя. Ни на кого другого ты все равно не будешь похожим. Если ты посмотрел умный фильм, где радуются, горюют, любят, страдают, обманываются, обретают себя живые люди, значит, тебе предложили подумать о самом себе. Тебе показали, как живут такие-то и такие-то, а ты задумаешься о себе. Обязательно. В этом сила живого, искреннего реалистического искусства. Если авторы сами радуются хорошему, если ненавидят дурное в людях и если все это — правда, если ты сам знаешь, что в жизни так и бывает, как тебе только что показали, то не захочешь спрашивать: на кого быть похожим? На себя, только станешь умнее, крепче, отзывчивее. Не мог же ты не радоваться, когда все в зале радовались, что человек в трудную для себя минуту не соврал, не словчил за счет другого... А человек-то, казалось, незаметный, каких много. Радость, какую мы испытываем, глядя, как человек перемог себя и остался человеком, скоро не забудется. Мне кажется, смысл социалистического искусства не в том, чтобы силиться создавать неких идеальных положительных героев (даже в противоположность отрицательным), а находить, обнаруживать положительные — суть качества добрые, человечные — и подавать это как прекрасное в человеке.

И потом мы забываем, что, когда мы очень уж настойчиво начинаем предлагать зрителю образцы для подражания, мы возбуждаем в нем чувство протеста, раздражение. Попробуйте за ребенка сделать какое-нибудь мало-мальски сложное дело — он заплачет. Он хочет сам. Общение с искусством, когда тому, что мы видим, мы целиком *верим,* приводит нас в редкое и радостное состояние детскости. Ребенок знает, наверно, что отец сделает лучше, но он хочет сам. Зритель тоже хочет сам.** И кто смолоду больше делает и думает *сам,* тот становится потом надежнее, крепче, умнее. Надо только стараться, чтоб мы не врали, не открывали то, что зритель давным-давно знает без нас, не показывали ему — вот это хорошо. Что, он сам не видит, что хорошо, что плохо? Странное дело: зритель приходит к нам из самой гущи жизни, зная о ней гораздо больше нас (в смыс-

ле конкретном, реальном), а мы не стыдимся показывать ему иногда такое, во что сами не верим. Самое, может быть, дорогое завоевание социалистического реализма — это то, что художник и тот, к кому он приходит со своим произведением, говорят на родном языке, на равных. Не надо только учить. Надо помогать исследовать жизнь, открывать прекрасное в жизни и идти с этим к людям. Надо страдать, когда торжествует зло, и тоже идти к людям. Иначе к чему все? Было время, когда мужика устраивал лубок. Было — и прошло. Он вырос, стал умный, думающий. Бить надо нас по рукам, когда мы вместо правды придумываем для него разные характеры, ситуации, психологию. Да еще делаем вид, что это-то и есть правда. Никого мы не обманем и не научим таким образом быть лучше. Только испортим дело.

«Я ТОЖЕ ПРОШЕЛ ЭТОТ ПУТЬ...»

Прочитал Вашу статью «Требуй, товарищ ВУЗ!» Она меня покоробила. Настолько, что захотелось и мне тоже написать в газету. Вы значительно моложе меня и готовитесь некоторым образом пройти тот путь, какой прошел я: я тоже в прошлом сельский житель, оборвал учебу в 14 лет, работал разнорабочим, слесарил, служил. Десятилетку окончил экстерном. Потом тоже поступал в вуз. Поступил. Окончил. Это я к тому, чтобы разговор у нас получился свойский и чтоб сразу же не влететь в разряд людей «не ищущих, философски не осмысливающих вопросы бытия». То есть самым наглым образом заявляю, что я — искал. Теперь — к делу. Разговор предстоит неприятный.

Статья Ваша — необдуманная. А если обдуманная, то того хуже: злая и преследует корыстные цели. Но, скорей всего, слишком поспешили Вы заявить, что Вы — человек хороший и все понимаете правильно. С таким заявлением лучше не торопиться, ибо никогда не опоздаешь (не думаю, что Вы ее, статью, еще и приурочивали ко времени вступительных экзаменов. Нет. Иначе не писал бы).

Давайте прочитаем статью вместе.

«Каких требований к себе я жду при поступлении в вуз? Считаю, они должны сводиться к трем критериям:

1. Высокая страсть к избранной профессии.

2. Интеллект, эстетическая культура.

3. Гражданственность».

Правильно. Их много, критериев. Вы это понимаете, а другие не понимают.

«Вероятно, все помнят парня из кинофильма “Председатель”, который брал справку для поступления не в полиграфический, а... вы знаете, в какой институт. Подобное воробьиное отношение, к сожалению, не редкость».

Не поняли Вы фильма. Или, по крайней мере, этой части фильма. Не было у этого парня «воробьиного» отношения к высшему образованию. У него не было *никакого* отношения — это трагедия тех лет, это боль, боль, может быть, сегодняшняя тех парнишек, теперь взрослых людей. Им было не до того. А тут — воробьиное отношение. Легко Вы, сельский житель!

Приятели Ваши и теперь не сознают всей серьезности момента, когда нужно выбирать профессию. Например:

«Мой приятель как-то поделился со мной: хотел было тоже на филфак, да, елки зеленые, трамвай туда не ходит!.. Придется в химико-технологический... Будем химичить!

Теперь, приезжая в Краснодар и завидев “умную морду трамвая”, я иногда повторяю: “Ай-ай, товарищ трамвай, как это вы из лириков делаете физиков?”».

Не верю я в такого Вашего приятеля, хоть убейте. Такой не смог бы поступить в вуз. Это Вы — «ради красного словца». Он, наверно, пошутил с Вами, приятель-то. А Вы всерьез «донесли» на него. Вообще, Вас окружают одни легкомысленные люди. Но Вы им, судя по Вашим словам, вправляете там мозги.

«— Но ведь есть и другие, — возразила мне одна девица. — Вот я, например, с восьмого класса страстно мечтаю овладеть профессией педагога.

— Мечтаешь?.. Страстно?.. И только? — спросил я».

Так их! Один вопрос: ее, ту «девицу», не удивила Ваша ирония? Поняла она ее, по крайней мере? Я не мог.

А вот еще одна нарвалась:

«А вот еще одна мечтательница — моя соседочка. Она простудила носик и пошла в поликлинику. Там увидела практиканток в белоснежных халатах, которым один больной (конечно, красивый юноша) тихо бормотал, когда они проплывали мимо него: “О белые лебеди, о белые розы”. И вот после насморка у моей соседки появились лебединые мечтания стать “белой розой”».

Я так понял: не надо было Вашей соседке говорить про красивого парня. Разоткровенничалась! Впредь умнее будет.

А вот это Вы совсем зря:

«Как видно, один современный поэт не напрасно осторожен:

Если я заболею —
К врачам обращаться не стану...»

Это глубокие слова. Они вырвались из груди человеческой в минуту тяжкую и прекрасную — когда человек в своей непосильной борьбе со смертью приподнялся над ней. Не часто пишутся такие слова. А Вы их так некстати, неумно сунули в статью. Рядом с «соседочкой» и «простуженным носиком»... А пункт второй Ваш гласит: «Интеллект, эстетическая культура». Можно закрыть глаза на Ваше «...до утра засиживаться над толстыми книгами по садоводству и пить их с таким наслаждением, как пьют стихи». Или: «Когда я вижу такого садовода, я хочу сам превратится в яблоню». Положим, неопытность. Хотя Вы сели писать статью! Ну, это ладно. Но Вы должны были почувствовать, что не надо так обращаться со стихами. А главное, что доказали-то этим? Ведь ничего. Только — что знаете их. Знаете, а не цените.

То шла речь о неразумных девицах. Но вот:

«Прошлым летом на своем консервном заводе мне пришлось работать с бригадой студентов, приехавших домой на летние каникулы из разных институтов и техникумов страны».

Дочитал это место, и у меня сердце сжалось: сейчас и этим достанется. Так и есть:

«Я, сельский житель, поначалу обрадовался им. Ожидал услышать массу новых, свежих мыслей, оригинальных суждений об экономике, о политике, о взаимоотношениях

людей, о живописи, скульптуре, поэзии, о музыке — словом, встретить людей ищущих, анализирующих, философски осмысливающих вопросы бытия. Но... это оказались ребята с плоскими, грубыми шуточками, с вечными кривляниями, разговорами о "ножках", носочках, пластинках, гитаре, вине и т.д. и т.п. Никаких государственных чувств у будущих маршалов производства я не обнаружил».

Все такие? Вся бригада? Бросьте Вы. Уже одно то, что ребята-студенты в свои летние каникулы сорганизовались в бригаду и пошли грузить, говорит о другом. Опять поспешили с выводом. Между прочим, орошенный на дороге ящик и Вас, штатного грузчика, касается, а не только «созревающих интеллигентов». Откуда, вообще-то, такая нехорошая снисходительность к этим «созревающим»?

Это Вы про людей, которых встречали, знаете. Смотрите, сколько их с «воробьиным отношением», с «насморком», с «плоскими шуточками» и с «вечным кривлянием» — плохих. Потребовалось, чтоб доказать, что Вы — хороший: приятель — раз, девица — два, соседочка с простуженным носиком — три, да в бригаде студентов — 8—10 человек. Итого — 12—14 человек. 14 человек плохих на одного хорошего. Это много.

А вот про людей, которых вы в глаза не видели:

«Если в 17—20—25 лет человек еще не пытался разобраться в сущности триады Гегеля, не знает Эйнштейна, не читал древних греков, не лез в недра, не расщеплял жизнь, не вникал в особенности течений современного искусства, если к 17-20-25 годам в человека еще не врывались ритмы старой и новой поэзии — зачем тогда молодость?»

Тут и меня за живое задело. Честно признаюсь: в 17 лет «не пытался разобраться в сущности триады Гегеля, не лез в недра, не расщеплял жизнь». Я и в институт-то поступил в 25 лет. Но молодость мне все-таки была нужна.

Спрашивается, зачем надо было писать статью? Чтобы напомнить членам приемных комиссий, что поступающие должны отвечать изложенным в статье требованиям? Они это знают. Знают это и поступающие. Кто не знает, тот не поступает. Чтобы убедить, что где-то живет один хороший человек — автор, а вокруг него все несмышленыши и кривляки? Невозможно: так не бывает.

«Человек без цели не находит смысла в жизни, разочаровывается в ней, не успев очароваться, жалуется на скуку, томится бездельем в свободное от работы время, а потому начинает пить, забивать “козла”, приобретательствовать, хулиганить — все симптомы обывателя».

Может быть, в этом рассуждении есть что-то свое, неожиданное, свежее? Нет. Это все знают, даже Ваша «соседочка». Не говоря уж о студентах — те даже «проходят» это. Зачем же?

А заключительного восклицания я совсем не понял:

«Лучше мы будем ошибаться по большому счету, чем делать успехи по малому!»

Но вот в чем присоединяюсь к автору: «Требуй, товарищ ВУЗ!»

«ТОЛЬКО ЭТО НЕ БУДЕТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ...»

— Только это не будет экономическая статья...

— И не надо. Кроме того, вы не сумеете написать экономическую статью. Пишите рассказ, очерк, повесть... — что получится. А это (командировочное удостоверение спец. корр.) поможет вам войти, куда захотите...

— Нет, по кабинетам я тоже не буду ходить.

— Я сказал: если захотите.

— Ладно.

— И — правду, всю правду. Без этого... без внутреннего редактора.

— Ладно. Это хорошо, что вы так говорите.

Такой примерно разговор состоялся в редакции одной из центральных газет: я ехал в командировку. Тема будущего моего очерка (статьи): почему молодежь уходит из села. Не ответ на этот вопрос, а... Впрочем, если удастся, почему бы не ответить.

Шел из редакции, думал: как написать поумней, поинтересней, чтоб прочитали. А то ведь не читают! Сам не читаю всякие проблемные статьи: скучно.

Почему молодежь уходит из села? А почему я сам ушел? Может, не мудрствуя лукаво, взять да и рассказать про себя: так и так, взял в свое время ноги в руки и пошел искать лучшую долю. И забыл «извечную» крестьянскую любовь к земле, и великолепно преодолел «тягу» к этой самой земле, и шаркал в «штиблетиках» по асфальту, и мечтал получить «квартиру с сортиром». По крайней мере, честно будет. И язык не повернется советовать: «Я, ребята, устроился, а вы оставайтесь на земле-матушке, нельзя ее, матушку, трогать». Соблазнительно. Но... когда мы трусоваты, мы всегда найдем нечто спасительное, что убаюкивает нашу совесть и не позволит поступить честно. Я тут же вывернулся и подумал так: ведь это когда было-то! В 1946 году, вон когда! Не характерно для наших дней. Тогда голодуха была, на трудодни ничего не давали, кто полегче на ногу, уходили *невольно.*

Ладно, жизнь подскажет, как писать. Буду — как захочется, как сам пойму... Что увижу, то я буду писать. Я еще не пробовал так.

...Лечу. Чуть поежился в удобном кресле от неприятного воспоминания: когда получал деньги, женщина в бухгалтерии посмотрела на работника редакции, который мной занимался, и негромко, чтоб я не слышал, спросила:

— А это ничего, что место рождения Алтайский край и туда же командировка?

— Ничего, — сказал работник.

А женщина, наверно, подумала: « Хорошо устроился парень: и дома побывает, и бесплатно». Мысленно немножко поспорил с ней. «Разве мне эти 150 рублей нужны! Я получил конкретное задание и обязан буду потом писать, вот что важно для меня сейчас. Вечно вы своим несчастным рублем все меряете! В конце концов, я не напрашивался».

Вот так, так оно полегче будет.

Смотрю в иллюминатор. Облака, горы облаков. Не могу понять: красиво это или нет? Всякий раз, когда гляжу на эти нежные горы, испытываю глупейшее желание — упасть в них, как в перину. А еще я никак не могу по-настоящему удивиться, что вот я, бескрылое существо, а подо мной — 10 километров воздуха, и перемещаюсь я с огромной скоростью — и хоть бы что, как так и надо. Мысленно отмеряю эти 10 километров на земле и ставлю их на попа — чтоб уди-

виться... И не удивляюсь. О человек! Царь он или не царь природы, а дьявол изобретательный. В самолете почему-то всегда много острят. Я подозреваю, что людям все-таки немножко не по себе от этих 10 километров, и они, чтоб скрыть это, шутят. Я, пожалуй, легко сказал, что мне — хоть бы что. Когда не сплю, я нет-нет, да подумаю: неужели в этой махине не испортится за пять часов ни один винтик, и мы не полетим по-топорному вниз? Один разок я имел удовольствие испытать нечто похожее на смертный испуг. Летел из Новосибирска в Москву, в Свердловске посадка на сорок минут. Снижаемся. Вот уже земля рядом, вот уж бетонная полоса летит назад... А толчка желанного все нет. Как потом объяснили знающие люди, пилот «промазал». Наконец толчок, а потом нас начинает швырять из стороны в сторону так, что послышался зубовный стук и скрежет. Один храбрец, сосед мой, не пристегнулся ремнем, его бросило ко мне на колени, он боднул меня лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился у нас в ногах. За все это время он не издал ни единого звука. И все вокруг тоже молчали — это поразительно. Потом мы стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминатор и обнаружили, что мы — на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый командир корабля и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его: «Мы, кажется, в картошку сели?» — «Что вы, сами не видите?» — ответил командир. Страх схлынул, и наиболее неутомимые уже пробовали робко острить:

— Мы что, и в Москве таким же образом приземляться будем?

— Нет, в Москве желательно сразу к похоронному бюро подрулить.

Храбрый сосед мой искал свою искусственную челюсть.

— Только что новую сделал, — огорчался он.

... Стали разносить обед. Тоже одна особенность: иногда совсем не хочется есть, а все-таки не отказываешься, ешь. В прочем, это я о себе говорю, может, другие не так. Наверно, это у меня крестьянское осталось: «Пусть лучше пузо треснет, чем добру пропадать».

Подзакусили. Курю и думаю: как же все-таки писать статью? Ну, вот приехал я домой, в свое село, все хорошо, родные живы-здоровы — что дальше? Идти в сельсовет: сколь-

ко от вас за последние два-три года уехало молодых? И — почему, как вы думаете? Нет, не то. Этак легче всего. Мне действительно охота понять: почему мы с такой легкостью оставляем родные деревни и села и пополняем городское население, да еще не всегда лучшим способом? Перебираю в памяти знакомых, родных... У меня около двадцати двоюродных сестер и братьев (сродных, у нас говорят). Люди примерно моего возраста, потомственные крестьяне... Из них только двое остались в селе, остальные — кто где по белому свету. И еще родная сестра, сельская учительница, тоже дома работает. Трое. Может, поразмыслить над их судьбами, тех, что разъехались? Ведь, в сущности, распался целый крестьянский род. А почему? А могли бы они снова собраться? В деревне сейчас «жить можно», говорят и старые, и молодые. Можно, верно. И очень даже не плохо. Старые даже ворчат: «Заелись». Заелись не заелись, а вспомнить, как жили сразу после войны, например, и в начале пятидесятых годов — не хотят. Больно вспоминать. Мне шел семнадцатый год, когда я ранним утром, по весне, уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому как стеклышко, ледку, а надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого. Было грустно и страшно. Мать проводила меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно и тоже страшно, но еще больней, видно, смотреть матери на голодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И ушел.

Пассажиры — большинство — спят.

Некоторые читают.

Облака поредели, видно землю. Я смотрю вниз и думаю уже о том, как наши предки шли вот по этим местам. Шли годами, останавливались зимовать, выходили замуж по дороге, рожали. До чего упорный был народ! Ну вот ведь она, земля, останавливайся, руби избу, паши. Нет, шли дальше и дальше, пока в океан не уперлись, тогда остановились. А ведь это не кубанские степи и не Крым, это Сибирь-матушка, она «шуток не понимает».

Не умею в дороге читать. И спать не хочется. Лететь надоело. Как они по два-три года добирались до мест своих поселений! Впрочем, наверно, это становилось образом

жизни — в пути. У меня отец — Макар; я где-то прочитал, что Макар — это путевой.

Новосибирск. Еще 12 часов поездом, потом 40 километров по тракту — и я дома.

В городе, перед тем как сесть в автобус, зашел в магазин купить что-нибудь,* каких-нибудь гостинцев племяшам-крестникам. Отстоял в очереди, набрал всякой всячины, отошел в сторонку, раскрыл на полу чемодан и стал укладывать покупки. Что-то глянул по полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей 50-рублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе никто ее не видит. Ужасно приятно сделать человеку добро, которое тебе ничего не стоит, Я прямо счастлив, когда мне выпадает сказать кому-нибудь: «Товарищ, вы обронили». Человек благодарен, и тебе хорошо. Не круглые же сутки грызть себя, иногда для отдыха — надо и подумать, что ты, вообще-то, не такой уж плохой человек. Хоть глупо, но приятно. Второпях, чтоб меня не опередил кто-нибудь, соображаю, как бы повеселее, поостроумнее сообщить этим, в очереди, про бумажку.

— Хорошо живете, земляки! — говорю громко и весело.

На меня оглянулись.

— Кто же такими бумажками швыряется?

Какое тут волнение началось! Это ведь не тройка, не пятерка — 50 рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки нет. Решили положить на видное место на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь, — сказала продавщица.

Долго еще рассуждали в очереди о находке.

Я вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Подходил уже к автобусу, как вдруг меня точно жаром охватило: я вспомнил, что точно таких три бумажки получал в бухгалтерии. Одну разменял еще в Москве, две были в кармане. Сунулся в карман — одна. Туда-сюда — одна. Моя была бумажка-то! Ах, мать твою так-то! Моя бумажка-то. Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был — пойти и сказать: «Товарищи, моя бумажка-то. Я их три получал, одну в Москве разменял, две оставалось, а теперь вот, видите, одна». Но только представил, как я огорошу всех этим заявлением, как подумают некоторые: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить. Возьмет, сядет и уедет. А потом хозяин прибежит» Нет уж, черт с ней. Не пересилить себя, не протянуть руку, чтобы

взять эту проклятую бумажку. Могут еще и не отдать. Подожди, скажут, может, кто-нибудь придет за ней.

И поматерил же я себя! Полпути, наверно, материл. Та зеленая дурочка, если к ней еще добавить другие, могла бы устроить дома лишний праздник. Потом стал успокаивать себя. «Ну и что? Эка потеря! Люди руки, ноги теряют, а тут бумажка вшивая».

Помаленьку успокоился.

Ну — дома.

Грязища на улицах!.. Я в своих московских «штиблетиках»... Чуть ноги не вывернул, пока шел. Между прочим, в десяти километрах от села добывают гравий, целая фабрика (это в сторону).

Итак, дома. Хорошо приезжать домой не по тревожной телеграмме. А что — почему это я должен приезжать и уезжать из дома? — как-то не думается. Подумалось вот сейчас, когда пишу. И матери не думается. Она даже говорит: « Ну как там у тебя, дома-то?» И невдомек нам, что как же это: и тут дом, и там дом? Человеку положено иметь один дом.

— Ну, как жизнь, мам?

— Ничего, сынок, хорошо.

— Зима тут у вас, говорят, была...

— Страшная зима, не приведи господи! Старики не помнят такой...

— А снега на полях мало.

— Мало. Сгребают сейчас, хотят удержать маленько. А кого удержать! — раз его нету.

Интересно, а как она думает об этой самой «проблеме» — что молодежь уходит и уходит из села.

— Дак а чего им тут делать-то? Их вон сколь! — растут. Да учатся все.

Позже директор школы (школа новая, прекрасная, сердце радуется) сказал тоже:

— Мы нынче выпустим сорок-пятьдесят человек. Совхоз может взять от силы десять, ну, пятнадцать. Остальные уйдут.

Вот и вся «проблема».

Еще один разговор — с двоюродным братом. Работал шофером в совхозе, нарушил правила езды, отняли права на год. Парень окончил десятилетку, учится заочно в техникуме, слесарь и еще киномеханик... Работы по специальности

нет. Директор совхоза предложил: «Бери вилы — и на скотный двор». Бывшему моряку, механизатору — на скотный двор...

При всем уважении к скотному двору я бы тоже не пошел. Может быть ведь еще и так — совестно. «А кто же там будет?» — «Не знаю... Человек 12 лет учился, имеет три специальности... Плохо ему на скотном дворе!» Или это неправильно — так рассуждать? А как же тогда? Если мне неинтересно ковырять навоз, я не работник там, а чучело гороховое. Да еще недобрую мысль буду таить на людей.

— Поеду куда-нибудь.

А не хочется, по глазам видать.

Уехал. В Горно-Алтайск. Устроился слесарем.

Иду по селу — село огромное, — смотрю: машин много, предприятия разные... Не могу поверить, чтоб толковый слесарь здесь был не нужен. А вот — уехал. Помыкался-помыкался и уехал. Еще одна судьба. Как нарочно, на моих глазах. Я было хотел помочь, пошел к товарищу детства — он на пункте «Заготзерно» механиком. А там свое: заканчивает заочно институт, и... тоже надо куда-нибудь ехать. По его специальности здесь работы нет. Тут уж — не просто не хотели иметь лишнего работника, а — «ничего не сделаешь». А мужики-то все хорошие — работяги.

А вот еще. Был отличный киномеханик в селе (я как-то о нем писал), был женат на городской...

МОНОЛОГ НА ЛЕСТНИЦЕ

Однажды случился у меня неприятный разговор с молодыми учеными.* Разговор был о деревне. А неприятный оттого, что я совсем не умею спорить. А надо было спорить, доказывать свою правоту. Я не сумел, и потом было тяжело.

Поступила записка. Спросили: «А сами Вы хотели бы сейчас пройтись за плугом?» Тут я сбился. Вякнул что-то насчет того, что и им тоже не хотелось бы сейчас от своих

атомных котлов — в кузницу. А они и не ратуют за то. Напротив. А у меня получилось, что я для кого-то хотел бы сохранить в деревне «некую патриархальность», а сам со спокойной совестью пристроился жить в столице. На меня смотрели весело и понимающе. Я заявил: «Если бы там была киностудия, я бы опять ушел в деревню». Это было совсем глупо.

Между тем мне бы хотелось продолжить тот разговор. Вот каких вопросов касался он:

«Что есть интеллигентный человек?»

«Куда идет деревня?»

«Что погибает в деревне, и что стоит жалеть из того, что погибает?»

«Что порождает город, и что стоило бы погубить из того, что он порождает?»

«Что есть человек неинтеллигентный, но пребывающий в приятном и отвратительном самомнении, что он — интеллигент?»

Много было вопросов, но все примерно такого свойства.

Вот как я думаю про все это:

Интеллигентный человек. Это ответственное слово. Это так глубоко и серьезно, что стоило бы почаще думать именно об ответственности за это слово.

Начнем с того, что явление это — интеллигентный человек — редкое. Это — неспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется — для созвучия — «подпеть» могучему басу сильного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса «что есть правда?», гордость... И — сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если все это в одном человеке — он интеллигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность — не самоцель.

Конечно же, дело не в шляпе. Но если судить таким судом, очень многим надо «встать и снять шляпу». Оттого-то мне и дорог деревенский уклад жизни, что там редко-редко кто сдуру напялит на себя личину интеллигентного человека. Это ведь очень противный обман. При всем том уважается интеллигент, его слово, мнение. Искренне уважается. Но, как правило, это человек «залетный» — не свой. И тут тоже то и дело случается обман. Наверно, оттого и живет в

народе известная настороженность к «шляпе». Как-то так повелось у нас, что надо еще иметь право надеть эту самую злополучную шляпу. Может быть, тут сказывается та большая совестливость нашего народа, его неподдельное чувство прекрасного, которые не позволили забыть древнюю простую красоту храма, душевную песню, икону Есенина, милого Ваньку-дурачка из сказки... Впрочем, Ванька-то, пожалуй, забывается, и даже имя его — все реже и реже. Все больше Эдуарды, Владики, Рустики. Опять надежда на деревню: может, хоть там не забудут про Ивана. Иван на Руси славные делал дела! И землю пахал, и книжки писал, и песни складывал, и машины изобретал, и города строил. И неплохо.

Двадцатый век, он, конечно, бурный век, стремительный. Ритмы его должны были всколыхнуть спокойную деревню. И всколыхнули. Я видел в Сибири, в деревне, как в клубе наяривают твист. Черт с ним, с твистом,— на здоровье. Но почему возникает при этом сладостное ощущение, что ты таким образом приобщился к современному образу жизни? Не обман ли это? Я ведь не к тому, чтоб запретить. Действительно, охота понять: не обман ли? Не маловато ли? Жалко, когда смолоду обманываются. Жизнь коротка.

Что же такое современность? Машины. Скорости, скорости, скорости. Но даже чтоб рассчитать самую среднюю скорость, надо сидеть и думать. Двадцатый век — это все более сложные задачи, все более вдумчивый, сосредоточенный взгляд человека. Все больше привлекает лобастый человек, все яснее становится, что это самая прекрасная часть человека — лоб (не к тому опять же, чтоб все взяли и начали наголо бриться, но и прятать-то его зачем же).

Ничто так не пугает, не удивляет в человеке, как его странная способность разучить несколько несложных житейских приемов (лучше — модных), приспособить разум и руки передвигать несколько рычажков в огромной машине Жизни — и все, баста. И доволен. И еще похлопывает по плечу того, кто пока не разучил этих приемов (или не захотел разучить), и говорит снисходительно: «Ну что, Ваня?»

Ничего, Ваня! Не робей. Думай.

Мы ломаем голову, какой он такой, интеллигентный человек? А образ его давно создал сам народ. Только он называет его — хороший человек. Умный человек. Уважитель-

ный. Не мот, не пропойца. Чистоплотный. Не трепач. Не охальник. Работник. Мастер.

Господин двадцатый век требует больших знаний. Но умный человек всегда много знал. И потому он и умный, что ему никогда не лень было узнавать все больше и больше.

Человечество ведет с природой вековую изнурительную борьбу, шаг за шагом отвоевывая у нее блага себе, тайны ее и богатства. В этот вечный бой вводятся все новые общества, поколения. Общество распределяет силы: тех, что впереди, на передовых рубежах, поддерживают те, что сзади. На равных. Неразумно бросать всех сразу вперед. Для наглядности грубо предположим, что город наш — впереди, деревня сзади — тыл. Современная жизнь с ее грохотом, ритмами, скоростями и нагрузками смалывает человеческие силы особенно заметно. Двадцатый век если и уступает много, то и мстит жестоко. Люди устают, нервничают, забывают покой, забывают радоваться жизни, красоте, годами не видят, как встает и заходит солнце, так привыкают к шуму, что иногда не поймешь, то ли крикнули «здравствуйте!», то ли «караул!» Особенно, конечно, достается городу. Разумно ли в таком случае не иметь надежного, крепкого резерва в лице деревни?

Я договорился, таким образом, до того, что в деревне надо бы сохранять ту злополучную «некую патриархальность», которая у нас вызывает то снисходительную улыбку, то гневную отповедь. Что я разумею под этой «патриархальностью»? Ничего нового, неожиданного, искусственного. Патриархальность как она есть (и пусть нас не пугает это слово): веками нажитые обычаи, обряды, уважение заветов старины. То есть нельзя, по-моему, насаждать в деревне те достижения города, которые совершенствуют его жизнь, но совершенно чужды деревне. Например:

Когда присылается в деревню типовой проект общественной бани, то это — зря. С таким же успехом можно прислать туда типовой проект... тюрьмы — так же будет неинтересно, нетворчески, я бы сказал. Кроме того, общественная баня там не нужна.

Если город способен принять и переварить (он огромный!) «достижение» вроде Дворцов бракосочетаний, то деревня не может вынести «показушную» свадьбу — стыдно, тяжело. Стыдно участникам, стыдно со стороны смотреть.

Почему? Не знаю. Ведь и старый обряд свадьбы — это тоже спектакль. А вот поди ж ты!.. Там — ничего, смешно, трогательно, забавно и, наконец, волнующе. Законный вопрос мне: где это вы видели сегодня такие «старинные» свадьбы? Сегодня — нигде. К сожалению. А вот лет двадцать назад я выдавал замуж сестру (на правах старшего брата, за неимением отца. Это было далеко, в Сибири). По всем правилам (почти по всем) старинной русской свадьбы. Красиво было, честное слово! Мы с женихом — коммунисты, невеста — комсомолка... Немножко с нашей стороны — этакая снисходительность (я лично эту снисходительность напускал на себя, ибо опасался, что вызовут потом на бюро и всыплют; а так у меня отговорка: «Да я ведь так — нарочно»). Ничего не нарочно, мне все чрезвычайно нравилось. Итак, с нашей стороны — этакое институтское, «из любопытства», со стороны матерей наших, родни — полный серьез, увлеченность, азарт участников большого зрелища. Церкви и коней не было. О церкви почти никто не жалел, что коней не было — малость жаль. Утверждаю: чувство прекрасного, торжественный смысл происходящего, неизбежная ответственная мысль о судьбе двух, которым жить вместе, — ничто не было утрачено, оттого что жених «выкупил» у меня приданое невесты за чарку вина, а когда «сундук с добром» (чемодан с бельем и конспектами) «не пролез» в двери, я потребовал еще чарку. Мы вместе с удовольствием тут же и выпили. Мы — роднились. Вспоминаю все это сейчас с хорошим чувством. И всегда русские люди помнили этот единственный праздник в своей жизни — свадьбу. Не зря, когда хотели сказать: «Я не враг тебе», говорили: «Я ж у тебя на свадьбе гулял».

Клубы в селе... Они, конечно, нужны. Хорошие! Но почему в них, даже в больших и хороших, такая скучная жизнь? Вообще я заметил: где хотят организовать веселье, там его не получается. Не надо все валить на плохих массовиков-затейников. Как во всякой профессии, есть там старательные, есть талантливые. У талантливых тоже не получается. Приходит в голову грустная мысль: а нужна ли она, такая веселая профессия? В войну нам было по двенадцать-шестнадцать лет. Никакого клуба у нас не было. А многие уже работали. Как ни трудна жизнь, а через шестнадцать лет не переступишь. Собирались на вечеринку. С девушками. Была балалайка, реже — гармонь. Играли в фантики, крутили

шестерку... Целовались. И у каждого (кто повзрослей) была среди всех, которая нравилась. Когда случалось поцеловаться с ней при всех — обжигало огнем сердце, и готов был провалиться сквозь землю. Но — надо! И этого хватало потом на всю неделю. И ждешь опять субботу — не приведет ли случай опять поцеловаться с желанной. Неохота говорить тут о чистоте отношений — она была. Она всегда есть в шестнадцать лет. Было весело — вот что хочется сказать. А кто организовывал? Никто. Лежала на печке бабка и иногда советовала «палачу» с ремнем: «А ты огрей ее хорошенько, раз она капрызничает. Огрей по толстой-то!.. Ишь какая!» И еще подсказывала: «А ишо вот так раньше играли: садитесь-ка все рядком...» И работалось. И ждалось.

К концу войны из церкви выгребли семенной овес, подчистили, сказали: теперь — это клуб. Вечерки стали разгонять. Долго боролись, прятались, но... В общем, пошел — клуб. Стали кино привозить. Редко, правда. Больше — лекции с танцами. Не ходили. Опять рассылали активистов по селу — собирать на лекции и на танцы. А один раз приехала молодежь из ближайшего города помочь в прополке хлебов. После работы организовали в клубе нечто вроде образцово-показательного вечера отдыха. Играл баянист, городские танцевали... Наши деревенские «черти» (так нас тогда называли городские. Еще — «рогалями») стояли вдоль стенки, улыбались и перешептывались. Кончился танец, и наш завклубом вышел на середину зала при всех орденах и в военной форме и строго сказал:

— Было замечено: три пары танцевали «линдой». Предупреждаю!

Что-то убили с вечерками. Не надо меня сейчас ловить на слове: я не за вечерки в 1968 году. Но как придумались когда-то всякого рода вечерки, посиделки, так к 1968 году придумалось бы что-то другое — вместе с лекциями и танцами. Зря покалечили народное творчество в этом деле. Обычай не придумаешь, это невозможно.

Хочется еще сказать: всякие пасхи, святки, масленицы — это никакого отношения к богу не имело. Это праздники весны, встречи зимы, прощания с зимой, это — форма выражения радости людской от ближайшего, несколько зависимого родства с Природой. Более ста лет назад Виссарион Белинский достаточно верно и убедительно сказал, как рус-

ский мужик относится к богу: годится, так годится, а не годится — тоже не беда.

Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже — не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю — упадешь. Не падения страшусь (какое падение? откуда?) — очень уж, действительно, неудобно. Но и в этом моем положении есть свои «плюсы» (захотелось вдруг написать — флюсы). От сравнений, от всяческих «оттуда — сюда» и «отсюда — туда» невольно приходят мысли не только о «деревне» и о «городе» — о России.

Ну, ладно, уходят из деревни, наверно, и впредь будут уходить. Наверно, таков неумолимый закон жизни — двадцатый век! Но надо бы подумать, как встречает город деревенского парня. А идет он оттуда «косяком» — много. Необходимо опять вернуться к разговору об интеллигентном человеке (кстати, чтобы пресечь всякие догадки о моем намерении претенциозного характера, скажу: мне бы хотелось когда-нибудь стать вполне интеллигентным человеком).

Деревенский парень, он не простой человек, но очень доверчивый. Кроме того, у него «закваска» крестьянина: если он поверит, что главное в городе — удобное жилье, сравнительно легче прокормить семью (силы и сметки ему не занимать), есть где купить, есть что купить — если только так он поймет город, он в этом смысле обставит любого горожанина. Тогда, если он зажмет рубль в свой крестьянский кулак,— рубль этот невозможно будет отнять ни за какие «развлечения» города. Смолоду еще походит в кино, раза три побывает в театре, потом — ша! Купит телевизор и будет смотреть. И будет писать в деревню: «Живем хорошо. Купил недавно сервант. Скоро сломают тещу, она получает секцию. Наша секция да ее секция — мы их обменяем на одну секцию, и будет у нас три комнаты. Приезжайте!»

Это — худший вариант. Есть другой — еще более худший: «выдвинут» его куда-нибудь, честного, простого, а он подумает, что тут самое главное — научиться «выступать». Научится, не научится, но попрет тоже по-крестьянски. По себе знаю, как любят иногда «городские» «побаловаться» в это дело. «Иди выступи. По-своему, как умеешь».

Как же надо встречать городу такого вот доверчивого, простого, здорового «выходца»? Не знаю. Только сразу приходит мысль о вековой городской культуре и об истинно интеллигентных людях. Что по мне, так, возвращаясь к временам, когда я говорил «как умел» — умной книжкой по башке: читай! Слушай умных людей, не болтунов, а — умных. Сумеешь понять, кто умный, «выйдешь в люди», не сумеешь — незачем было ехать семь верст киселя хлебать. Думай! Смотри, слушай — и думай. Тут больше свободного времени, тут библиотеки на каждом шагу, читальные залы, вечерние школы, курсы всякие... «Знай работай да не трусь!» Обрати свое вековое терпение и упорство на то, чтобы сделать из себя Человека. Интеллигента духа. Это вранье, если нахватался человек «разных слов», научился недовольно морщить лоб на выставках, целовать ручки женщинам, купил шляпу, галстук, пижаму, съездил пару раз за рубеж — и уже интеллигент. Про таких в деревне говорят: «С бору по сосенке». Не смотри, где он работает и сколько у него дипломов, смотри, что он делает.

Город — это трагедия Гоголя, Некрасова, Достоевского, Гаршина и других страдальцев, которые до смертного часа своего искали в жизни силу, которая бы уничтожила зло на земле, и не нашли. Это — Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов... Не могу удержаться, поделюсь одной мыслью, которая поразила меня своей простой правдой: мысль Ю.Тынянова (где-то в его записках). Вот она: только мещанин, обыватель требует, чтобы в художественном произведении:

а) порок был обязательно наказан;

б) добродетель восторжествовала;

в) конец был счастливым.

Как верно! В самом деле, ведь это удобно. Это «симметрично» (выражение Тынянова), «красиво», благородно» — идеал обывателя. Кроме обывателя, этого никто не хочет и не требует (дураку все равно). Это не зло, это хуже. Это смерть от удушья. Как же мы должны быть благодарны им — всей силой души, по-сыновьи, как дороги они всякому живому сердцу, эти наши титаны-классики. Какой головокружительной, опасной кручей шли они. И вся жизнь их — путь в неведомое. И постоянная отчаянная борьба с могучим гадом — мещанином. Как нужны они, мощные, мудрые, добрые, озабоченные судьбой народа,— Пушкин, Толстой,

Гоголь, Достоевский, Чехов... Стоит только забыть их, обыватель тут как тут. О, тогда он наведет порядок! Это будет еще «то» искусство! Вы будете плакать в зале, сморкаться в платочек, но... в конце счастливо улыбнетесь, утрете слезки, легко вздохнете и пойдете искать автора — пожать руку. Где он, этот чародей? Где тот душка! Как хорошо-то было! Мы все переволновались, мы уж думали... Но тут встает классик — как тень отца Гамлета,— не дает обывателю пройти к автору. И они начинают бороться. И нелегкая это борьба. Обыватель жалуется. Автор тоже жалуется. Администрация жалуется. Все жалуются. Негодуют. Один классик стоит на своем: не пущу! Не дам. Будь человеком.

Город — это и тихий домик Циолковского, где Труд не искал славы. Город — это где огромные дома, и в домах книги, и там торжественно тихо. В городе додумались до простой гениальной мысли: «Все люди — братья». В город надо входить, как верующие входят в храм,— верить, а не просить милостыню. Город — это заводы, и там своя странная чарующая прелесть машин.

Ладно, если ты пришел в город и понял все это. Но если ты остался в деревне и не думаешь тайком, что тебя обошла судьба,— это прекрасно. Она не обошла, она придет, ее зарабатывают. Гоняться за ней бессмысленно — она, как красивая птица: отлетит немного, сядет. Побежишь за ней, она опять отлетит и сядет. И близко так! — опять хочется побежать. Она опять отлетит и сядет в двух шагах. Поди, сообрази, что она уводит тебя от гнезда.

Труд, труд и раздумья. И борьба, и надежда. Вот удел человеческий. Везде.

Предположим далее, что разговор у нас пошел так: вопросы — ответы. Вопросы отберу из тех, что мне действительно были заданы в разное время, ответы — тут же, на лестнице, задним числом. Я уже значительно спокойнее — выговорился. Чарующая картина: стою и не смущаюсь, не заикаюсь, смотрю прямо, несколько даже весело. Пожалуйста.

В. Что такое «интеллигент духа»? Как это надо понимать?

О. Сознаю, что выразился несколько красиво и не совсем самостоятельно («аристократы духа» же были), но как-то не нашлось другого. Вот что это такое: это очень хороший человек. Деревенские старик и мальчик остановились и по-

здоровались с незнакомым. Я их не знаю и не захлебываюсь сразу от восторга: «Вот они, настоящие хорошие люди!» Нет, я поздоровался и — по привычке думать — думаю: откуда это у них? Положим, мальчику сказал учитель: «Надо здороваться со всеми». А этот, седой-то?.. Ведь жизнь прожил, устал, наработался, навоевался, наголодался — всякое было. Но неистребимо живет в нем вот это бескорыстие — «дай вам бог здоровья!» Так просто, от доброты душевной. Я ему не барин, не председатель сельсовета — человек. Вот он и пожелал мне: будь здоров, живи, ибо жить все-таки — хорошо. Спасибо. И ты — здравствуй много лет, жить, правда, хорошо, хоть иногда нелегко.

В городе, конечно, не наздороваешься с каждым встречным и поперечным. Понимаю.

Не так давно наблюдал сцену.

Метро. Поздно уже, часов двенадцать. Два провинциальных парня (на беду их, слегка под хмельком) интересуются в вагоне, как проехать до станции такой-то. Крупный молодой человек спортивного вида улыбнулся, объясняет:

— Вот остановка — видите? — вы здесь сойдете, сделаете переход, сядете вот тут (показывает по схеме) и поедете во-от так. Значит: раз, два, три, четыре, пять, шесть...

Громко объясняет, чтоб все слышали. Все слушают и улыбаются: парень направляет их по кольцу в обратную сторону (их остановка — следующая). Некоторые даже хихикают. Провинциалы полагают, что смеются над ними оттого, что они — немного выпивши. Оглядываются, тоже улыбаются.

— Далеко,— говорят они.

— За пять копеек-то! — изо всех сил наигрывает красавец-парень.— Спасибо скажите! А вы — «далеко».

В вагоне откровенно смеются. Необидно смеются — весело. В конце концов доедут же ведь они до своей станции!

Остановка. Им сходить. Какой-то пожилой человек с седенькой бородкой клинышком (прямо как из банальной пьесы: сельские простаки-парни, городской спортсмен-красавец и старичок-профессор. Но что делать!) поднялся с места, тронул ребят и сказал просто:

— Вам сходить.

Ребята замешкались, не понимают. Им же сказали...

— Сходите! — велел «профессор».

Они сошли.

«Профессор» сел опять на свое место и продолжал читать газету.

Всем стало как-то неловко. И «спортсмену» тоже. Может быть, начни «профессор» упрекать: как вам не стыдно! зачем вы так? — тут бы и облегчение пришло. Заговорили бы: а нечего пить! Нечего вообще до сих пор шляться, если они первый раз в городе! Все учреждения давно закрыты.

Нет, старичок спокойно читал себе газетку. Красивый человек!

А! — противопоставление: в деревне — хорошие, в городе — плохие, за редким исключением. Нет же, нет! И в деревне есть всякие. Есть такие, что не приведи господи! Но и там и там есть такие вот душевные, красивые люди, как эти старики. Один, наверно, не прочитал за всю жизнь ни одной книжки, другой «одолел» Гегеля, Маркса... Пропасть! Но есть нечто, что делает их очень близкими, — Человечность. Уверен, они сразу бы нашли общий язык. Им было бы интересно друг с другом. И зарю они, наверно, одинаково любят: мудро, спокойно, молча. И людей понимают одинаково: пустого человека, как он ни крутись, раскусят. И дурака-начальника встречают одинаково: немножко весело, немножко грустно, но, в общем, терпимо. Что делать?

В. Так куда же все-таки идет деревня?

О. В светлое будущее. Но... все равно она останется — деревня. И не надо бы насильственно подталкивать ее на путь «малой урбанизации». Понимаю, что характер труда крестьянина будет меняться со временем, совершенствоваться, небольшие промышленные предприятия будут «селиться» ближе к мужику (это хорошо! надо!), но дайте ему возможность и тогда самому срубить себе дом. Дайте ему отвести душу — вырезать узоры на карнизе, расписать ставни, посадить под окном березу, «присобачить» на крышу какую-нибудь такую штуку, что все ахнут. А он будет доволен.

В связи с этим позвольте не поверить в искренность таких вот слов: «Доходы колхозников позволяют им строить дома, которые по красоте и удобству не уступали бы хорошей городской квартире. *Но где взять такие проекты?*» (кур-

сив мой.— *В.Ш).* Это сказал председатель колхоза имени Кирова Слуцкого района С.Д.Лемещенко на совещании по сельскому строительству в Белоруссии.

Грешным делом, подозреваю, что это — модный «крик души». Не хочется верить вам, тов. Лемещенко. Это смахивает на прием «выступальщиков» — «так давайте же нам!», «помогите же нам!» А если у вас это искренне, тогда уж совсем плохо. Это уж черт знает что. Дайте проект: как нам жить? Как рожать детей? Как наладить добрые отношения с тещей? Как построить себе удобное жилье? Было бы из чего — построят без городского проекта. И будет удобно, красиво, будет лучше городской квартиры.

Молодой, полный выучки и энергии выпускник краевой культпросветшколы приезжает в «глубинку» и начинает «разворачиваться». Набрал энтузиастов — и пошли чесать. «Под Мордасову». С хором. Под баян. С приплясом. И голос подобрали «похожий» и приплясывать научились — довольны. Похоже! И в районе довольны. А то, глядишь, и в область попадут — на смотр. Но там уж из «похожих» выбирают самых «похожих». Какая досада! Село двести лет стоит, здесь хранят память о Пугачеве (предки, разбегаясь после разгрома восстания, селились, основали село), здесь даже былины знают... Здесь на каждой улице — своя Мордасова. Тут есть такие бабки, что как запоют, так сердце сжимается. Старо? Несовременно? Ну, значит, Пушкин ничего не смыслил в этом деле, если, будучи молодым человеком, просил Арину Родионовну, старушку, спеть ему «как синица тихо за морем жила». Значит, все, что нажил народ веками, сберег,— все побоку, даешь Мордасову! (Думаю, нет надобности заявлять тут, что я не имею ничего против этой славной исполнительницы веселых куплетов).

Спохватились, губим архитектурные памятники старины. Так давайте пожалеем (взвоем, охота сказать), что мы забываем! Мне по фильму «Ваш сын и брат» понадобилось набрать в сибирском селе, где мы снимали, человек десять-пятнадцать, которые бы спели старинную сибирскую песню «Глухой, неведомой тайгою». Мы должны были записать ее на магнитофон и потом в Москве в павильоне дать актерам послушать, чтоб у них получилось «похоже». Ассистенты бегали по всему селу и едва-едва набрали двенадцать

человек, которые согласились спеть (почему-то им было неудобно). Спели с грехом пополам. Все оглядывались, улыбались смущенно и просили:

— Может, мы какую-нибудь другую? «Мой костер в тумане светит»?

Дали им выпить немного — раскачались. Но все равно, когда потом пошли домой, запели «Мой костер». Запевал местный счетовод, с дрожью в голосе, «красиво». Оглядывались. Ушли с убеждением, что я человек отсталый, не совсем понятно только, почему мне доверили такое ответственное дело — снимать кино.

Это — к вопросу, что мы забываем, и с какой легкостью! И даже вспоминать стыдимся. Кстати, никак не могу понять, что значит: русская народная песня в обработке... Кто кого «обрабатывает»? Зачем? Или вот еще: современная русская народная песня! Подчеркнуто — народная. Современная. И — «Полюшко колхозное, мил на тракторе, а я на мотоцикле за ним...» Бросьте вы! Обыкновенная плохая стилизация.

В. Что можно было бы пожелать молодым в деревне и в городе?

О. Сейчас идеалом жизни сельской молодежи, даже если судьба не сулит ей (значительной части) в ближайшее время город, все равно — городская жизнь. Тут начинается самое сложное. Сразу легко напрашивается вывод: так давайте активнее насаждать там «городскую жизнь»! Давайте.

— Ну?

— Что? Давайте!

— Так что же вы в открытую дверь ломитесь!

— Почему же, давайте — только не с бухты-барахты, а подумав. Я помню, несколько лет назад к нам в село в парикмахерскую прислали женского парикмахера. Молодая такая, хорошенькая женщина...

— Ходили к ней?

— Ходили. Мужчины — посмотреть на нее. Парикмахерша поскучала недельку и уехала.

Конечно, молодому парню с десятилеткой пустовато в деревне. Он знает (приблизительно, конечно,— по кино, по книжкам, по рассказам) про городскую жизнь и стремится, сколько возможно, подражать городским (прическа, одежда, транзистор, словечки разные, попытки несколько упро-

стить отношения с девушкой, вообще — стремление попорхать малость). Он не догадывается, что он смешон. Он все принял за чистую монету. Но если бы от моей головы сейчас пошло сияние — такой бы я вдруг сделался умный, — я бы и тогда не сумел убедить его, что то, к чему он стремится, не есть городская жизнь. Он прочитает и подумает: «Это мы знаем, это — чтоб успокоить нас». Я мог бы долго говорить, что те мальчики и девочки, на которых он с тайной завистью смотрит из зрительного зала, — их таких в жизни нет. Это — плохое кино. Но я не буду. Он сам не дурак, он понимает, что не так уж все славно, легко, красиво у молодых в городе, как показывают, но... Но что-то ведь все-таки есть! Есть, но совсем, совсем другое. Есть труд, все тот же труд, раздумья, жажда много знать, постижение истинной красоты, радость, боль, наслаждение от общения с искусством.

В восемнадцать лет самая пора начать думать, ощущать в себе силу разум, нежность — и отдать бы все это людям. Кому же еще? Вот — счастье, по-моему. Можно, конечно, принять восемнадцать лет как дар Жизни, с удовольствием разменять их на мелочишку чувств, небольших, легко исполнимых желаний — так тоже можно, тоже будет, что вспомнить, даже интересно будет... Только жалко. Ведь это единственный раз! Жизнь, как известно, один раз дается и летит чудовищно скоро — не успеешь оглянуться, уже сорок... Вернуться бы! Но... Хорошо сказано: близок локоть, да не укусишь.

Вернуться нельзя. Можно — не пропустить. Можно, пока есть силы, здоровье, молодая душа и совесть, как-нибудь включиться в народную жизнь (помимо своих прямых обязанностей по долгу работы, службы). Приходит на память одно тоже старомодное слово — «подвижничество». Я знаю, «проходил» в институте, что «хождение в народ» — это не самый верный путь русской интеллигенции в борьбе за свободу, духовное раскрепощение великого народа. Но как красив, добр и великодушен был человек, который почувствовал в себе неодолимое желание пойти и самому помочь людям, братьям. И бросал все, и шел. Невозможно думать о них иначе, чем с уважением. Это были истинные интеллигенты! Интеллигенты самой высокой организации.

У нас сложилась традиция: в страдную пору в хлеборобные районы страны выезжает огромная армия студенчества и молодых рабочих. Они делают хорошее дело — помогают убрать хлеб. Что, если бы это были не только «рабочие руки», а еще молодые, умные, образованные люди, с которыми страсть как интересно поговорить, послушать их — в клубе ли, у себя ли дома за чашкой чаю, — что они собираются делать в жизни? Как понимают то или иное явление общественной, политической, культурной жизни в стране? Да мало ли о чем захочется поговорить с умным человеком! Это были бы дорогие гости. Только надо бы поначалу похоронить, забыть и никогда не вспоминать ту казенную манеру — скучно, нудно, длинно читать лекции, которые до того учены, что уж и не трогают никого. Я легко могу представить себе очень горячий спор, где-нибудь в клубе или в избе-читальне людей сельских и городских на такую примерно тему: «Ну, хорошо: понастроим мы всяческих машин, создадим города-гиганты, все вокруг нас будет грохотать, гудеть, свистеть, трещать, сверкать, — а не станем мы беднее от этого? Не станет ли человек слугой им самим созданного чудовища из стали, проводников, полиэтилена, резины, стекла, гранита, бетона, железобетона... Или это смешной страх?»

Еще одно обстоятельство: едут в те районы будущие филологи, историки, литераторы, художники, журналисты, адвокаты, то есть те, кому по роду будущей работы надо знать народные обычаи, особенности говоров, психологию сельского человека... Там, беседуя с мужиком, можно много узнать такого, чего не знает профессор в университете.

Образовалась бы вдруг такая своеобразная «целина»: молодые люди, комсомольцы, вы всегда были там, где трудно, где вы очень нужны, где надо сделать благое великое дело! Сегодня нужны ваши светлые головы, ваши знания диковинных вещей, ваша культура, начитанность — «сейте разумное, доброе, вечное» в благодарные сердца и умы тех, кто нуждается в этом.

Сколько хороших, умных книг не прочитано! Сколько открытий человечества неизвестно! Сколько радости «недополучили» люди оттого, что не готовы понимать большое серьезное искусство! И сколько дряни, халтуры, пустозвон-

ства обрушено было в разное время на их головы! Пора бы и разобраться. В деревне такая нужда особенно вопиет. Это понятно. Это отрадно. Грустно только, что в поисках этого «разумного, вечного» надо подниматься и уходить с земли отцов и дедов.

Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное и интересное (я преподавал русский язык и литературу). Я любил их в такие минуты. И в глубине души, не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье.

СРЕДСТВА ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВА КИНО

За экранизацию литературы чаще ругают, чем хвалят, или снисходительно молчат. И правильно делают. Мало того, иногда надо по рукам бить — за спекуляцию. Но если забыть, что есть в искусстве нечестные люди, а думать: все, кто обратился к классике, желая «переселить» живых строптивых героев прославленных книг на экран, раскрывают те книги с благоговением и знанием дела,— если даже так думать,— поуменьшится ли недоумение, боль, неподдельное раздражение тех, кто, предчувствуя скорую радость, торопился в кинотеатр на встречу со своими давними друзьями? Так, самую малость. Тоска и недоумение всегда будут сопровождать даже самые добросовестные фильмы, как только они осмелятся назваться дорогим именем той или иной повести или романа, того или иного дорогого нам писателя (ну и что с того, что есть удачные примеры экранизации? Оттого, что они редки, они лишь подтверждают, что нет

правил без исключения). Дело в том, что *нельзя* сделать фильм во всех отношениях равный произведению литературы, которое остается жить во времени, в душах людей (странно, но так: чем хуже литература, тем лучше можно сделать фильм).

Средства литературы и средства кино не равны. Различны. Средства литературы — неизмеримо богаче, разнообразнее, природа их иная, нежели природа средств кинематографа. Литература питается теми живительными соками, которые выделяет — вечно умирая и возрождаясь, содрогаясь в мучительных процессах обновления, больно сталкиваясь в противоречиях — живая Жизнь. Кинематограф перемалывает затвердевшие продукты жизни, готовит вкусную и тоже необходимую пищу... Но горячая кровь никогда не зарумянит его щеки.

Если я и хватил через край, то в том направлении, в каком лежит истина. Так в практике нашего кино и сложилось: сценарий никто всерьез не принимает за литературу. Крайне сомнительно, что какой-нибудь уважающий себя «толстый» или «тонкий» журнал станет печатать сценарий наравне с «обычной» прозой. Это делает «Искусство кино» — двенадцать раз в год (на сто двадцать фильмов!).

Я написал сценарий о Степане Разине, у меня вышло триста страниц. Казалось бы, ну и что? Это же *литературный* сценарий. Судить его надо пока по литературным достоинствам, по тому, удались или не удались характеры, близок ли он к исторической истине... Наконец, можно ли по нему поставить фильм? Мое кинематографическое начальство твердо сказало: много. Надо примерно сто пятьдесят — двести страниц (для двух серий). Сколько я ни упрашивал, сколько ни распинался, что и мне, и тем, кто будет со мной работать, чем больше знать о том далеком времени, тем лучше. Уж коли мне пришлось перечитать уйму книг, как-то использовать редкие документы, то почему же те сто страниц — «лишние» — будут лежать у меня в столе? Я готов понять требование того же «Искусство кино» — сократить: там журнальная площадь, которую не могу занимать я один. Но ведь тут речь идет о, так сказать, рабочем варианте. Ничуть не бывало! Один из начальников заявил, что он даже читать не будет «такую махину». С кровью сердца выдрал сто страниц. Зачем, черт его знает. Если верят, что я вообще сделаю

такую картину, то почему не верят, что я, режиссер, сделаю только две серии? Мне самому больше не надо. А с трибун взываем и жалуемся: почему писатели так неохотно идут работать в кино! А как же они — охотно! — если с ними будут так вот поступать. Это только я, «киношник», позволил так с собой разговаривать. А что делать? Мне очень хочется поставить фильм о Разине. Я угробил на сценарий два года, отступать некуда. И теперь болит душа: читают, а я там просто выкидывал, обрывал сцены, вычеркивал абзацы, которые вовсе не мешали. Разве так пишут! Ладно бы, читали и говорили: «Вам не кажется, что здесь затянуто?» Нет, говорят, хорошо, но это же на четыре серии! «Да ведь будет режиссерский сценарий!» — «А вы там будете метраж занижать». При чем тут литература? Литературный сценарий... Надо, видно, так писать: «Проход казаков к Астраханскому кремлю. Казаки оживлены. Народ приветствует их. Камера выхватывает радостные лица посадских казаков». Вот и получается, что более или менее смышленая домохозяйка втайне убеждена, что она сможет написать сценарий. И пишут! Пишут пенсионеры, домохозяйки, все, кому не лень. И удивляются и жалуются, когда им говорят, что это плохо.

Вернемся, однако, к начатому разговору: о природе литературы и кино. Хоть я и жалуюсь тут, что в киноинстанциях небрежно обращаются с литературой, а ведь и я не писал так, как пишут повесть, роман или рассказ. Надо мной все время — топором — висело законное требование: все должно быть «видно». Я просто позволил себе писать чуть более пространно, подробно, чем «казаки оживлены». Не больше. Истинная литература за такие штуки бьет кованым копытом по голове.

Нет, должна быть — кинолитература, пусть — сценарий, но без претензии на «тоже литературу». А уж это дело сценаристов — встать вровень с писателем, но по-своему. И дело, наверно, творческой общественности — писательской и кинематографической — помочь молодому кровному брату — сценарию — выйти на свою собственную дорогу и шагать твердо, а не поспешать вслед повести с оскорбленным видом.

Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель. Он задумал сценарий кинокомедии.* Почти уж написал. Про-

читал мне. Он — писатель, он не мог, чтобы «камера выхватывала лица», но он достаточно опытен, чтобы почувствовать разницу между сценарием и повестью и не написать повесть, что он прекрасно умеет. Это — сценарий. И какой! У нас такой комедии еще не было, смело могу это заявить. И смешно, и грустно, и думать охота. Но представил я, как будет он мыкаться с ней, искать режиссера, а он не умеет, да у режиссера часто — «свое на уме», а и найдется какой — не так поймет, скажет: вот тут изменить бы... И посоветовал я ему: пиши как повесть. Появится в журнале, прочитают — может, захотят поставить. Тогда напишешь сценарий. Или продашь право на экранизацию. А так — куда с ней? «Искусство кино»... Не беспределен и этот журнал; и потом, как правило, там идут сценарии, которые как-то уже нащупали свою производственную судьбу. По-моему, он согласился — так вернее. Обидно! Я пытаюсь заинтересовать режиссеров, каких знаю, этой необычной комедией, но... каждый ходит уже с замыслом, или работает с писателем, или сам пишет. Иначе и быть не может.

Пора, однако, говорить более убедительно, почему истинная, большая литература не может служить основой для кино. А может служить основой для кино истинная, большая кинолитература.

Есть у Льва Толстого рассказ «Три смерти». Гениальный рассказ с огромной мыслью: все вечно живет и вечно умирает — по-разному только. Допустим, что у кого-то зачесались руки — поставить рассказ. С этой целью внимательно прочитаем хотя бы первую главу рассказа и прикинем, что, приблизительно, будет на экране. Мое построение весьма и весьма хрупко: пять разных режиссеров сделают пять разных фильмов. Возможно, среди них будет один очень неплохой. Вот на этот, неплохой,— сколько нас хватит,— и будем оглядываться.

В карете едет смертельно больная госпожа, с ней — горничная Матрена, «глянцевито-румяная и полная». Сзади в коляске, едут: муж больной и доктор. Лакей, ямщики.

Чахоточная больная, как все они, видно, убеждена, что за границей, поехай она туда раньше, она «была бы совсем здорова». И теперь она рвется туда душой, верит, что будет здорова там. Муж (а ему убедительно советует доктор) роб-

ко пытается отговорить жену от столь рискованной поездки теперь, в сырость и бездорожье, но тщетно. Больная раздражается, злится, мысль о смерти приводит ее в холодный ужас, для нее сейчас не существуют ни дети, ни муж, ни жизнь других людей вокруг. Ее раздражает, что они все здоровы («Дети здоровы, а я нет». «А сам ест» — о муже), что ямщики переговариваются «сильными, веселыми голосами». Сам Толстой так говорит о ней в письме к А.А.Толстой от 1 мая 1858 года: «Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью».

Толстой не боится посадить рядом с худой и бледной госпожой полнотелую, крепкую Матрену, чья «высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем». Мы бы теперь убоялись лобовой контрастности, а он эту контрастность, где можно, всячески подчеркивает. И у него это — так и надо.

Полная Матрена старается как можно меньше занимать места в карете, жмется в угол, подобрала ноги... Чутьем здорового, но забитого и темного существа она угадывает, что злит своим здоровьем больную барыню. Та действительно злится. «Опять,— сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец салопа горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся». Толстой исподволь, но откровенно восстанавливает нас против барыни. Мы на экране должны делать то же самое. Я говорил о резкой контрастности фигур, сидящих в карете, которая не мешает Толстому. Посмотрим, как они будут выглядеть у нас. Вот — появились. Минута-две, и зритель понял: одна больна, другая здорова, одна — госпожа, другая — ее служанка. Барыня нервничает — понятно: больна. Все. Надо, чтобы они что-то делали, а то скучно. Ну, еще раз покажем на общем плане карету. Тут опять странность: казалось бы, кинематографу и карты в руки, чтобы создать иллюзию движения. Столько возможностей, столько всяких способов! У писателя — слово, предложение: «Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги». Как ни изворачивайся — залезь под карету, снимай самые колеса, снимай сбоку, сверху, сзади, снимай убегающую назад дорогу, снимай крупно, средне, общо, снимай с рук, с крана, с черта рогатого — такого дви-

жения, какое всем нутром ощущается в рассказе, в кино не будет. Будет что-то привычно мелькать, вертеться, трястись. В рассказе — это плавное, сильное (четверка), *здоровое* движение — сытые, ямские кони, молодой ямщик, лакей, которому от избытка душевного спокойствия сладко дремлется на козлах. И здесь опять невольная мысль: все это мощное, скорое движение возникло от того, что в центре его — властное, умирающее, обозленное существо. Все, стало быть, можно подчинить себе, заставить сильные силы «шибко» нести себя, а... и т.д. Точное, горькое столкновение сил жизни.

Итак:

И в рассказе, и в фильме мы пока что только внешне познакомились с действующими лицами. Они еще молчат — едут. Но в фильме мы так и остались с этим. Ну, бледно загримированная актриса еще раз поморщится, вздохнет. Ну, еще раз отодвинется в угол полная Матрена... (кстати, полная молодая актриса на экране — это совсем не то, что полная, «глянцевито-румяная» Матрена в рассказе. Для Толстого она — здоровый, естественный человек, который не виноват в том, что он здоров. Полная актриса на экране — это опасно). Будем считать, что полная Матрена на экране не вызовет у нас усмешки, не исказит глубокой, горькой, гневной философии Толстого.

Толстой рисует портреты обеих женщин (страница в книге!) и в то же самое время налаживает мощный подводный ток своей мысли. Когда барыней произносится первое слово «Опять!» — мы уже вовлечены в движение толстовской мысли, мы уже участники его могучего мыслительного процесса. На экране это «Опять!» будет маленьким дополнением к страдальческим гримасам актрисы.

Попробуем, однако, вырваться из этого тесного круга — снимем, например, деталь, которую предлагает Толстой: легкое прикосновение салопа Матреши к ноге больной, чем вызвала ее раздражение. В кино деталь — сильно действующее средство. Она обязательно обращает на себя внимание и требует разгадки: «Зачем?» Мы отвлекаемся на деталь и потом, возвращаясь к общему действию, лучше понимаем происходящее. Сняли деталь: салоп чуть-чуть прислонился к ноге барыни и вызвал у той новый всплеск раздражения —

«Опять!» Деталь могла быть иной: чуть коснулась нога ноги, локоть Матрены мог слегка потревожить барыню и т.п. Толстой говорит — «конец салопа». Это неспроста. Запомним пока.

Что дала деталь в кино, что прибавила она к тому, что мы уже знаем, поняли? Мало, почти ничего: такая мелочь, пустяк, а раздражает больную. Ей плохо. Все.

Толстой нас привел к другому. Во-первых, почему не рука, не нога Матреши коснулась барыни? Потому, что ноги и руки свои она усиленно «сторожит» — не приведи господи как-нибудь потревожить больную, которую она, видно, жалеет. А край салопа просмотрела. Неглупая барыня могла бы это понять, только она не хочет это понимать, она словно ждала этого прикосновения, чтобы сказать с раздражением «Опять!» И мы не заметили, как, когда, каким образом писатель сместил к этому времени наше сочувствие с больной, смертельно больной, все еще, пожалуй, красивой женщины на здоровую, простодушную девку (что вроде бы даже и нехорошо)? Но это так; мы, в свою очередь, тоже уже накопили немножко раздражения: «При чем же тут горничная-то, если тебе плохо? Ты ведь умна, образованна, нежна, это твое первое страшное — горе, ты еще в смерть-то не веришь — и уж так тихо, с таким отчаянием ненавидеть все живое и здоровое!» Это то, что требуется Толстому.

А в кино пока что продолжают покачиваться в карете две женщины: одна больна, другая здорова: салоп здоровой нечаянно коснулся больной, она с раздражением сказала: «Опять!» Здоровая отодвинулась в угол. Больная посмотрела на нее долгим взглядом. Здоровая покраснела.

У Толстого в этом «опять» и в том, как «прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной», сквозит, пожалуй, искреннее недоумение: почему она, дворянка, красивая, которой открыты все радости и красоты мира, которую окружает блестящее общество,— почему она больна, а вот это примитивное существо полно сил и здоровья? Ей, барыне, более необходимо здоровье, чем ее горничной. Барыне это представляется чудовищной несправедливостью, и она свой упрек прямехонько возносит туда, кверху: «Боже мой! За что же?» «Лжет!» — гневно заявляет Толстой. Здесь вековая, освященная попами и законами

привычка думать: я, крепостник, барин, — человек, ты, слуга мой и мой раб,— скотина. За что же — тебе здоровье, мне — чахотка! «Лжет»,— говорит Толстой, лжет перед людьми и богом, «и лжет перед смертью».

Ну и так далее. Еще там короткий разговор барыни с горничной, разговор мужа больной, доктора и самой больной на станции, и там Толстой тонко, немилосердно, чуть не злорадно добивает барыньку, вконец парализует наше к ней сострадание, совсем раздевает ее, притворную, злую, трусливую, с холодным камешком в больной груди.

Потом две другие смерти — старого ямщика Федора и дерева.

Ну и пора уж меня и спросить: а как же все-таки сделать так, чтобы рассказ этот, глыбистый, мудрый, обрел свою жизнь на экране? И я тоже, пользуясь правом спросить, спрашиваю: а зачем? (кроме того, я не знаю, как рассказ этот можно перенести на экран, не умертвив его). А главное, зачем? Ведь будет хуже, если не совсем пошло. Лучше или так же — не будет. Будет только вред: в наше суетливое время, которое мы совсем напрасно всегда называем бурным, да еще с нашим-то — погонять иногда лодыря, проторчать лучше у телевизора,— мы посмотрим картину и не прочитаем рассказ.

Вот другой рассказ, другого великого писателя, Достоевского: «Мужик Марей». Рассказ, где колыхнулось такое глубокое страдание, где вместилось столько русского горя, молчаливого, мучительного... Где как бы вскипела волна горького гнева и, прокатившись из края в край изболевшей души мученика, омыв ее, нежданно высветила душу эту такой неподдельной любовью к своему страдальцу-народу. Сколько ни погружайся в целительные родниковые струи, бьющие откуда-то со дна — этого, небольшого по объему, произведения, дна не достать — это история народа и его будущее. Вечен великий народ, и он вечно будет выводить вперед своих мыслителей, страдальцев, заступников, творцов. Нет, такое кинематографу пока не по плечу. И в этом нет беды.

Кино поистине восьмое чудо света, не надо только ему гоняться за литературой. Тем скорее оно обретет свою литературу, не будет на плоский экран проецировать объем-

ные фигуры, созданные магией слова. Этот волшебник многому уже научился, фокусы его становятся все загадочнее, все умнее и порой перестают быть фокусами, становятся чудом. Он молод и силен, всегда на виду — он еще развернется, заставит уважать себя.

Теперь что касается моего небольшого опыта в кино и в литературе. Грешно мне было бы жаловаться на «киношную» судьбу, но — тут надо преодолеть большую неловкость — рассказы, по которым я поставил оба фильма,— лучше. Никто, кроме меня, так не думает (разве только критик Генрих Митин).**

Отныне я перестану ставить фильмы по своим рассказам, буду пробовать писать литературу только для кино (когда — для кино). Может быть, когда-нибудь что-нибудь выйдет. Это должна быть чрезвычайно гибкая литература, которая не будет приспосабливать к себе индивидуальности режиссера и исполнителей, а будет сама к ним приспосабливаться. Но тогда она потребует: режиссер, исполнители должны быть — художники. И так и надо.

Что мы делаем, когда экранизируем произведение литературы? Мы мучаемся, добиваясь, чтоб было, как у писателя, потому что у писателя — хорошо. У писателя хорошо, потому что он так думает и чувствует. Даже если мы найдем средства и хоть в малой степени возместим неизбежную утрату, о которой говорилось выше, мы, чтобы у нас тоже было хорошо, должны *так же* думать и чувствовать, как автор литературного произведения. Так не бывает. Значит, настраиваем себя «под автора». Бывает — похоже. Но пропадет почти все, пропадет живое тепло первозданности, потому что для нас это — не наше, не свое. Я могу допустить возможность такого сценария, который позволит разрушить себя во имя создания единого сплава из индивидуальностей автора, режиссера, актера, оператора, художника, композитора, звукооператора, гримера и т.п.

Писатели не позволяют разрушать свое произведение, известно, как они отстаивают каждое свое слово. Они правы. Для чего же убирать или менять то, что нашлось так нелегко и точно встало на свое место. Сценарист может приветствовать разрушение своего сочинения, может быть тут же, где сочинение разрушают, и помогать разрушению и

созданию. Писатель пишет за столом, вычеркивает, переписывает, меняет... Фильм «пишется» на съемочной площадке, почему же там мастера не могут ничего «вычеркнуть», переделать? Они обязаны это делать. Никакой гений не работал одним махом.

Была у меня, к примеру, в фильме «Ваш сын и брат» сцена встречи старшего сына Игната с отцом и матерью. Весьма житейская сцена, всем знакомая... Актеры великолепные, знали, что им делать. Я полагался на них, но... между нами лежал сценарий. Где-то я допускал, чтобы они привносили в сцену свой собственный опыт, радовался удачно найденному слову, правдивой интонации, жесту, взгляду, «не запрограммированным» в моей режиссерской голове, но не больше. Надо было перешагнуть через сценарий (сценарий мой) и «сотворить» со всеми вместе сцену встречи (с Толстым или Достоевским этого нельзя делать. Со мной можно). Пять человек перед камерой да за камерой пятнадцать... А кто-то помнит случай из своей жизни, когда он «тоже приехал...» Кому-то припомнилась шутка, вроде: «А то письмо, в котором вы просили денег, я не получил...». В конце концов, все мы когда-нибудь уезжали из дома и приезжали домой. Разогреть бы товарищей моих, попросить: «А как ты сам приезжал? Покажи». Но все положились на сценарий и на меня. А меня влекла губительная сила инерции — так все работают. Вышла «проходная» сцена. А могла быть живая и увлекательная, не свяжи нас сценарий по рукам и ногам. Никогда актер не сыграет так неожиданно и верно то, что ему рассказано, подсказано или что он прочитал, как сыграет то, что помнит, знает, сам прожил. А мы же не о марсианах делаем фильмы.

Сценарий должен быть руководством к действию, а сценарист — сорежиссером. Я, может быть, говорю о так называемом авторском фильме, но кинематограф, по-моему, туда именно и идет. Это совсем не значит, что режиссер должен всегда сам себе писать сценарий. Но люди, которые собрались вместе, чтобы сделать фильм, должны действовать, как заговорщики: неважно, кто будет стрелять в принца, отвечают все одинаково, и всем одинаково необходимо убить принца.

То есть, таким образом, сценарист не тогда сценарист (хороший или плохой), когда написал в своем сочинении:

«Конец», а когда будет написано: «Конец фильма». До этого он может написать сочинение, равное по объему роману, может, сочинение это будет в размер повести и меньше — не суть дела, все должно однажды послужить будущему фильму и умереть как самостоятельная художественная ценность.

Кинематограф требует действия, поступков людей, разговора. В известном смысле это облегчает задачу писателя-сценариста: авторские размышления, подсказка, оценка — очень и очень рискованное дело. Но это же делает его задачу и крайне нелегкой: поступки людей должны быть вызваны к жизни авторским размышлением, и размышления эти должны стать достоянием людей. Какие же мысли и чувства должны терзать сценариста, чтобы, оставаясь «безмолвным» (авторско-дикторский текст — это почти всегда плохо, кроме необходимого комментария к документу), заставить людей мыслить и волноваться своими мыслями и чувствами! Авторская подсказка в теперешнем кино, вложенная в уста действующих лиц,— это тоже никуда не годится. Не проходит. Раздражает. Предполагает в зрителе дурака, на что он справедливо обижается.

Но кто должен сделать так, чтобы праздник состоялся? К кому идет автор-сценарист и выкладывает свои сокровенные думы? К режиссеру. Вот тот, кто двинет на зрителя всю громаду (если таковая имеется: а не имеется — не берись) мыслей и чувствований, кто «растолмачит» зрителю сценарный «бред». Без него нет сценариста, писателя, автора, без него нет произведения искусства. Он — художник. Вот, во что надо, наконец, искренне поверить. Мы верим не до конца. Если режиссер говорит, что вот по такому-то сценарию я хочу сделать фильм, ему не верят, что он сделает хороший фильм. Сценарий читают еще 20—30 человек, потом не раз, не два — много раз собираются и решают: сделает режиссер по этому сценарию хороший фильм или не сделает? Одни говорят — сделает, другие говорят — не сделает. И он сидит слушает. То есть разговор-то вроде бы идет о сценарии — можно ли по нему сделать хороший фильм? Но ведь сидит живой человек, который сказал: «Я сделаю». А ему как бы говорят: «А вы помолчите пока, не ваше дело. Вот мы решим, тогда уж принимайтесь делать. Или ищите другой сценарий».

Если уж случилось так, что два человека решают судьбу фильма — сценарист и режиссер,— то и верить им надо. Не спрашивают же композитора, живописца, писателя, скульптора, когда они еще не начинали работать: а вы сможете сделать?

Режиссера спрашивают. Да если бы спрашивали? Сомневаются и советуют, советуют и снова сомневаются. Так работать трудно. Самого крепкого человека можно пошатнуть.

Наверно, придет время, когда эти двое — сценарист и режиссер — станут действительно хозяевами своей судьбы и работы. Для этого один должен перестать «повторять» литературу, другого должны перестать бесконечно опекать и контролировать. Придет такое время. Туда идем.

«ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА»

Ответы на анкету журнала «Вопросы литературы»

1. Возникает ли языковой строй Ваших произведений в какой-то мере непроизвольно, «сам собой», в процессе выполнения общей художественной задачи, — или проблема языка произведений всякий раз встает перед Вами как относительно самостоятельная проблема? Какое место она занимает в кругу других профессиональных вопросов? Менялось ли у Вас отношение к этой проблеме на протяжении Вашего творческого пути или оставалось в основном неизменным?

Получив вопрос, я сам вдруг задумался. А что, действительно: возникает или не возникает «проблема языка»? Вообще-то возникает. В той степени, в какой по-разному говорят и ведут себя умный и дурак, человек степенный и трепач (опять же какой трепач), слабохарактерный и властный и т.д. Как они говорят, это куда ни шло: можно подслушать, записать, запомнить. Но они ведь и думают по-разно-

му. А я в связи с этим не могу относиться к ним одинаково. Рука не подымается написать про мелкого, бессовестного человека, что он «шагал крупно и крепко». Доброму человеку хочется найти хорошее слово: или он сам скажет в разговоре как-нибудь складно, метко, или я опишу, как он поздоровался с кем-нибудь — просто, с достоинством. Мне хочется сказать, что он — хороший человек, плохими словами этого не сделаешь. А написать просто, что вот этот человек — хороший человек, — этому не верят. И правильно делают.

Не уверен, что отвечаю на вопрос. Во всяком случае, для меня «проблема языка» возникает именно потому, что — люди очень разные.

2. В практике русской классической и советской литературы сложились и складываются различные, зачастую противостоящие друг другу системы словесного искусства (назовем, для примера тенденции «нагой простоты», с одной стороны, и «густого», метафорического письма — с другой, или «книжность», «литературность» одних писателей и тяготение других к разговорному, народному, «характерному» слову и т. д. и т. п.). Какую языковую традицию русской литературы Вы считаете наиболее живой и современной сегодня и наиболее близкой Вашей творческой индивидуальности? Какие новые тенденции в языке литературы Вы замечаете в последние годы?

В связи с этим вопросом... Меня в свое время поразил «Иван Денисыч» Солженицына. Один день... Долгий день. Простой и необычно сложный. Автор как-то повел рассказ, что я сразу попал в «ритм» жизни этих людей, как будто пристроился к их шеренге. Так умеют рассказывать мудрые старики — неторопко, спокойно, ни о чем не заботясь, кроме как рассказать, как все было. Их можно слушать бесконечно. И еще: при чтении такого рассказа (повести?) всякий раз возникает неотвязное ощущение, что автор где-то рядом с героем. Как наваждение. Это большая радость (если в данном случае уместно это слово) — читать такое. Тут — горячая, живая, чуткая сила слова. Думаю, что никакая другая «система словесного искусства», кроме как «нагая простота», не могла бы так «сработать» — до слез.

Когда человеку больно, у него нет желания говорить красиво и много, когда он счастлив, то, во-первых, это всегда коротко, во-вторых, тоже говорят просто (иные наши поэты, дай им волю, раздарили бы всю землю, все звезды, все водные просторы Европы и Азии — так им хорошо, такие они счастливые! Оно бы ничего, но очень уж много). Наконец, когда человеку *все равно,* он в состоянии придумать очень непростую фразу, ибо ему все равно. Тут и приврать ничего не стоит.

Вообще все «системы» хороши, только бы не забывался язык народный. Выше пупа не прыгнешь, лучше, чем сказал народ (обозвал ли кого, сравнил, обласкал, послал куда подальше), не скажешь.

В последние годы вышагнула вперед так называемая «деревенская литература». Я рад этому. Там не забыт и меньше испорчен живой русский язык, там все «проще», поближе к человеку, меньше соблазна щегольнуть заковыристым словцом. Там невольно вспоминается завет великого учителя: «Если хочешь что сказать, скажи прямо». Оттуда может прийти по-настоящему большая литература.

3. Считаете ли Вы, что передача речи героя-современника во всей ее характерности (профессиональный жаргон, например студенческий, терминологические штампы, газетные обороты, канцеляризмы и т. д.) противопоказаны языку художественного произведения?

Тут — странное дело: в литературе стало модой, в жизни — все не так (это о том, в какой степени есть нужда вводить в художественное произведение профессиональный жаргон, терминологические штампы и т.п.). Крупный вор никогда не станет «по фене ботать» — говорить языком воров, за редким исключением. «Ботают» — хулиганы, мелкие воришки, «щипачи», студенчество... Семь лет назад я сам был студентом — никакого такого особого жаргона у нас не было: отдельные специфические слова, более или менее остроумные, несколько облегчающие постоянный серьезный страх перед экзаменом, и еще — что касается «стипухи», ее чрезмерной «скромности». И опять же: щеголяют этими словечками первокурсники. Студент-дипломник говорит «нормально». В актерской среде больше всего говорят

о «ракурсах», «мизансцене», «фотогеничности», «публичном одиночестве»... профессиональные участники массовых сцен. И в матросах я был, и там все нормально с языком. «Салага» еще нет-нет выщелкнется со словцом, но его тут же осадит тот, кто служит по последнему году. Да он и промолчит в среде старших, это он с девушкой позволит себе «полундру» или «сачка». Но вот в литературе запестрели «предки», «чуваки», «чувихи», «хаты», «лабухи» — и пошла писать губерния: критики и пенсионеры ополчились на это, модные писатели упорствуют: целое дело! А «дела» нет «за отсутствием состава преступления». Поумериться бы с этим. Правда, из мухи слона раздули. Покажите сегодня молодого человека, который громко, при всех, скажет о родителях — «предки». Если ему самому не станет стыдно, то всем вокруг станет стыдно.

Упорствуют здесь не только модные писатели, упорствуют и те, к кому обращено внимание: первокурсники, мелкие воришки, «салажата», начинающие актеры — им отчаянно хочется утвердить себя. Но почему писатели-то торопятся? Подождите год-два и послушайте, каким хорошим языком заговорит тот, кто сегодня, «очертив вокруг себя круг», заявил, что его мать с отцом — «предки». А если этот «потомок» и впредь будет упорствовать, — это идиот, это уже другая область исследования человеческой жизни — медицина.

4. Как, по Вашему мнению, отражается сегодня на языке — как поэтическом, так и прозаическом — взаимовлияние прозы и поэзии?

Как Вы в своей творческой практике разрешаете проблему стилистической координации прямой и авторской речи? Как оцениваете Вы то, что в некоторых произведениях современной прозы язык автора и язык персонажа почти неотличимы друг от друга?

Никак не могу понять, что есть «стихотворение в прозе». Ну, знаю: «О великий, могучий русский язык...» Только мне это кажется высокопарно. Сам «великий», «могучий» не терпит никаких восклицаний. У того же Солженицына в «Иване Денисыче» есть фраза: «Хоть бы считать бы научились».

Господи, сколько тут ПРАВДЫ, отчаяния, иронии, сколько горького чувства изождавшихся, исстрадавшихся людей... А всего-то пять слов. Вот он — могучий. В действии.

Вторая часть вопроса.

Прямая речь позволяет мне крепко поубавить описательную часть: какой человек? Как он думает? Чего хочет? В конце концов, мы ведь так и составляем понятие о человеке — послушав его. Тут он не соврет — не сумеет, даже если захочет.

Но пьесы в то же время не могу читать. Пробовал — не могу. Сценарии тоже трудно читать (сам пишу их, читаю — по роду занятий. Но рассматриваю их не как литературу, как «руководство к действию»). Проза — честная проза, — дай ей бог здоровья!

НРАВСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ ПРАВДА

Человек трезвый, разумный, конечно же, везде, всегда до конца понимает свое время, знает правду, и если обстоятельства таковы, что лучше о ней, правде, пока помолчать, он молчит. Человек умный и талантливый как-нибудь да найдет способ выявить правду. Хоть намеком, хоть полусловом — иначе она его замучает, иначе, как ему кажется, жизнь пройдет впустую. Гений обрушит всю правду с блеском и грохотом на головы и души людские. Обстоятельства, может быть, убьют его, но он сделает свое дело. Человек просто талантливый — этот совершенно точно отразит свое время (в песне, в поступке, в тоске, в романе), быть может, сам того не поймет, но откроет глаза мыслящим и умным.

Есть на Руси еще один тип человека, в котором время, правда времени, вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистре-

бимо, как в мыслящем и умном... Человек этот — дурачок. Это давно заметили (юродивые, кликуши, странники не от мира сего — много их было в русской литературе, в преданиях народных, в сказках), и не стоило бы, может быть, так многозначительно вступать в статью, если бы не желание поделиться собственными наблюдениями на этот счет.

Был у нас в селе (в тридцатые годы) Вася-дурачок... Не боялся ни буранов, ни морозов (зимой мог босиком ходить), не боялся строгого председателя сельсовета, не боялся даже нас, мальчишек, но... до поры.

Он был парень сильный, перекидывал большие камни на тот берег довольно широкой протоки Катуни. Это было и наше любимое занятие. Мы с Васей подолгу и мирно состязались — кто бросит дальше. Вася, редкой доброты человек, забывал обиды, какие мы ему причиняли, чувствовал себя славно, нисколько не гордился, что бросает камни дальше нас... Но в нас уже назревало злое желание — «завести» Васю. Кто-нибудь доставал из кармана лист бумаги, карандаш и вдруг кричал:

— Вася, в коммуну запишу!

Тут — все мы — дай бог ноги! Вася хватал что ни попадя и гнался за нами. Камни свистели над нашими головами. Могла быть беда. А когда Вася оставался один, он садился на дорогу и горько плакал.

Вот: лет уж семь-восемь, как была коллективизация (а попытки с коммунами еще раньше), крестьянство претерпело невиданные изменения в своей жизни: была вера, был фанатизм, был страх, были радость и горе, и все это на доверчивую душу мужика, и душа эта содрогнулась. И это болезненное движение народной души, этот крутой излом в его судьбе печальным образом навсегда остался жить в одном человеке.

Позже была — война. Может быть, самая страшная в истории нашего народа. Новые дурачки. Больше — дурочки. Была Поля-дурочка (народ ласково называет их — Поля, Вася, Ваня...) Поля была раньше учительницей, проводила единственного сына на войну, и его вскоре убило (я вот почему подчеркнул это слово: ведь правильно — убили, а говорят — убило. Войну народ воспринимает как напасть, бедствие. «Громом убило...»). Поля свихнулась от горя, ходила

в чем попало, ночевала в банях, питалась подаянием... Плохо ей было, куда уж хуже! А она брала откуда-то непонятную жизнерадостную силу, трижды в день маршировала по улицам села и с горящими глазами звонко пела: «Вставай, страна огромная!»

Теперь предстоит самое странное и рискованное: провести параллель. Герой нашего времени — это всегда «дурачок», в котором наиболее выразительным образом живет его время, правда этого времени. Давайте представим, что это не так. Идет война, народ напрягает все силы в борьбе с врагом, шлет и шлет лучших своих сынов на поля сражений, и они гибнут тысячами, поливая родную землю молодой кровью. Страшное время! И вот появляется повесть, роман, где героем выведен этакий философствующий нытик, эгоист с душой паралитика, которая вся мучительно — *только хочет жить!* Это будет — про дезертира, предателя. И пусть он будет вовсе не глуп, иногда и не трус, и любить может, и не обжирается, как свинья, когда кругом голод... Пусть — тем хуже: значит, он не только дезертир, а еще — сволочь. В другое время — что ж, что человек безнадежно смотрит на окружающую его действительность, что он любит и хочет жить — что? Ну, есть такие. Были. Будут. То есть в другое время он-то как раз и может быть героем, и вовсе не сволочью. Я не говорю о герое положительном, а о таком, который — состоянием души, характером, взглядами — выражает то, чем живет с ним вместе его народ, о типичном, что ли.

Когда герой не выдуман, он не может быть только безнравственным или только нравственным. А вот когда он выдуман в угоду кому-то, тут он, герой, явление что ни на есть безнравственное. Здесь задумали кого-то обмануть, обокрасть чью-то душу... В делах материальных, так сказать, за это судят. В духовной жизни ущерб народу такими вот лазутчиками из мира лжи, угодничества наносится страшный.

Как у всякого, что-то делающего в искусстве, у меня с читателями и зрителями есть еще отношения «интимные» — письма. Пишут. Требуют. Требуют красивого героя. Ругают за грубость героев, за их выпивки и т.п. Удивляет, конечно, известная категоричность, с какой требуют и ругают. Действительно, редкая уверенность в собственной правоте. Но больше удивляет искренность и злость, с какой это делает-

ся. Просто поразительно! Чуть не анонимки с угрозой убить из-за угла кирпичом. А ведь чего требуют? Чтобы я выдумывал. У него, дьявола, живет за стенкой сосед, который работает, выпивает по выходным (иногда — шумно), бывает, ссорится с женой... В него он не верит, отрицает, а поверит, если я навру с три короба; благодарен будет, всплакнет у телевизора, умиленный, и ляжет спать со спокойной душой. Есть «культурная» тетя у меня в деревне, та все возмущается: «Одна ругань! Писатель...» Мать моя не знает, куда глаза девать от стыда. Есть тети в штанах: «грубый мужик». А невдомек им: если бы мои «мужики» не были бы грубыми, они не были бы нежными.

В общем, требуют нравственного героя. В меру моих сил я и пекусь об этом. Но только для меня нравственность — не совсем герой. И герой, конечно, но — живой, из нравственного искусства, а не глянцевитый манекен, гладкий и мертвый, от которого хочется отдернуть руку. Чем больше такой манекен «похож» на живого человека (есть большие мастера этого дела), тем неприятнее. Попробуйте долго смотреть ему (манекену) в глаза, станет не по себе.

Философия, которая — вот уж скоро сорок лет — норма моей жизни, есть философия мужественная. Так почему я, читатель, зритель, должен отказывать себе в счастье — прямо смотреть в глаза правде? Разве не смогу я отличить, когда мне рассказывают про жизнь, какая она есть, а когда хотят зачем-то обмануть? Я не политик, легко могу запутаться в сложных вопросах, но как рядовой член партии коммунистов СССР я верю, что принадлежу к партии деятельной и справедливой; а как художник я не могу обманывать свой народ — показывать жизнь только счастливой, например. Правда бывает и горькой. Если я ее буду скрывать, буду твердить, что все хорошо, все прекрасно, то в конце концов я и партию свою подведу. Там, где люди ее должны были бы задуматься, сосредоточить силы и устранить недостатки, они, поверив мне, останутся спокойными. Это не по-хозяйски. Я б хотел помогать партии. Хотел бы показывать правду. Я верю в силы своего народа, очень люблю Родину — я не отчаиваюсь. Напротив. Но когда мне возвращают рассказ — не из-за его низкого художественного качества (это дают понять), по другим причинам — неловко, стыдно.

Нравственность есть Правда. Не просто правда, а — Правда. Ибо это мужество, честность, это значит — жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду.

Положим, общество живет в лихое безвременье. Так случилось, что умному, деятельному негде приложить свои силы и разум — сильные мира идиоты не нуждаются в нем, напротив, он мешает им. Нельзя рта открыть — грубая ладонь жандарма сразу закроет его (хорошо, если только закроет, а то и по зубам треснет). И вот в такое тяжкое для народа и его передовых людей время появляется в литературе герой яркий, неприкаянный, непутевый. На правду он махнул рукой — она противна ему, восстать сил нет. Что, он безнравственен? Печорин безнравственен? Обломов безнравственен? Нет, тут что-то другое. Они — правдивы. Они также правдивы и небезнравственны, как правдивы и небезнравственны мятежники-декабристы. «Плохая им досталась доля» — и тем и другим. Царизм убил их. Но не для того же сегодня не перестают читать «Героя нашего времени» и «Обломова», чтобы учиться нравственности у Печорина или у Ильи Обломова. Они отразили свое время, а мы, их соотечественники, хотим знать то время. Лермонтов и Гончаров сделали свое дело: они рассказали Правду. Теперь мы ее познаем. Познавали ее и тогда. И появлялись другие герои — способные действовать. Общество, познавая само себя, обретает силы. И только так оно движется вперед.

Теперь хочется порассуждать об «устоявшемся» положительном герое наших рассказов, повестей и романов. И особенно фильмов.

Сразу признаюсь: я не уважаю его, «устоявшегося». Такой он положительный, совершенный, нравственный, трезвый, целеустремленный, что тоска берет: никогда таким не стать! Он — этакий непоседа, ему бы все у костров, да по тропинкам, по тропинкам (кстати, на какие деньги он так много путешествует?)!.. И что делать тем, кто не может так много «бродить» с гитарой, кто не может «рвануть» в тайгу (а семью куда?), у кого только месяц в году — отпуск, а родных много в разных местах, и хочется к ним поехать... Завидовать? И завидовали бы, если бы верили. Я подозреваю, никто в таких героев не верит. Зачем же они кочуют из кни-

ги в книгу, из фильма в фильм? Зачем они все совершенствуются и совершенствуются — чтобы служить примером? Да неужели мы так неразумны, что не видим, не чувствуем, как эта «агитация положительным героем» бьет нас другим концом! И как еще бьет!

Как-то я смотрел передачу по телевидению. Выступала женщина-адвокат. Она задалась целью проследить причину одного преступления. Преступление никакое нельзя назвать — «небольшое», но здесь оно было не такое уж большое: ребята-рабочие подрались в пьяном виде, и одному досталось основательно (повторяю, я не собираюсь их оправдывать, этих молодых рабочих). Словом, их судили и приговорили к разным срокам заключения. Почему, спросила себя женщина-адвокат, это случилось? И стала исследовать. Пошла по людям, которые общались с этими ребятами (соседи, рабочие, мастера тех предприятий, где они работали). И всем задавала примерно такие вопросы:

1. Вы знали их. Чем они жили? О чем мечтали?

2. Вот вы играли с ними в домино. А какие у них были цели в жизни? Чего они хотели добиться в жизни?

3. Вы стояли рядом у станка. Вы знали, как они проводят свободное время? Ходят ли в театр, в кино? Сколько раз в месяц, если ходят?

И т.п.

Ребята не частили, как выяснилось, в театры и кино, мало читали — адвоката это не удивило: она ждала этого. Но вот что ее неприятно удивило: и соседи, и товарищи по работе, и друзья осужденных *тоже* не слишком увлекаются искусством, тоже зачастую предпочитают лучше «забить козла», чем сходить в театр или в кино. Не хотят также посидеть над интересной книгой. И она горько поведала об этом с экрана телевизора. Руку, товарищ! Грустно, когда драгоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и потому, что — вот пришел человек в этот мир... Чтобы, конечно, потрудиться, вырастить хлеб, сделать чудесную машину, построить дом, но еще — чтобы не пропустить *ПРЕКРАСНОГО* в этом мире. Прекрасное несет людям *ИСКУССТВО,* и *МЫСЛЬ* тоже несет прекрасное. Мысль — это тоже нечто законченное. Вот вас и поразило: как люди так легко, сами отказывают себе в прекрасном!

Вы выступили хорошо.

Но что, если бы кто-нибудь из опрашиваемых вами ответил так:

«Мне скучно ходить в кино. Там много вранья, неправды. А мне отец с детства привил ремнем привычку: чтоб я сам никогда не врал и чтоб презирал людей, которые врут».

И ведь он доказал бы Вам (сославшись на какой-нибудь недавно виденный им фильм), что там — врут.

Стало быть, я так думаю, призывать людей к общению с *искусством* надо всегда, но всегда надо и художников призывать тоже к *искусству*. А то можно оказаться в смешном положении: будешь ратовать, прослывешь культурным человеком, а какой-нибудь «некультурный» возьмет и посадит тебя в калошу.

Мы часто употребляем выражения: «плохой фильм», «слабый роман», «середняк», «пошлость» и т.п. Почему мы не говорим: «лживый фильм», «лживый роман»? Ведь именно это качество — ложь — и составляет в них пошлость, слабость. Еще пишут иногда в рецензиях: «Авторы руководствовались добрыми намерениями, но...» Господи, да кто же, приступая к работе над книгой, фильмом, руководствуется дурными намерениями? Какими, например? Заработать деньги? Но всякий художник хочет заработать деньги — они нужны ему. Но, скажут, есть халтурщики, которым... Речь идет о художниках. Тогда еще один вопрос: способен ли художник врать? Способен. Итак, речь идет о художниках. И весь призыв к ним: смелее насчет правды! Единственно дурное намерение — сознательно не сказать правду.

А что, собственно, смелее-то? Смелее постигать глубину жизни, не бояться, например, ее мрачноватых подвалов. Тогда это будет — борьба за человека. А как же иначе? Иначе будет, как парадный подъезд главного здания Мосфильма: огромный, прекрасный и... И вечно закрыт. Люди проходят на работу через проходную и весь день потом снуют из здания в здание, пользуясь обычными дверьми. Жизнь студии — внутри ее, рабочая. Парадный подъезд не нужен. Даже из архитектурных соображений — он тяжелый, зимой завален снегом и только на грусть наводит: запустение какое-то.

В своем фильме «Живет такой парень» я хотел рассказать о хорошем, добром парне, который как бы «развозит» на

своем «газике» доброту людям. Он не знает, как она нужна им, он делает это потому, что добрый запас его души — большой и просит выхода. Не ахти какая мысль, но фильм делать стоило. Ну и делай — не кричи об этом, рассказывай... Нет, мне надо было подмахнуть парню «геройский поступок» — он отвел и бросил с обрыва горящую машину, тем самым предотвратил взрыв на бензохранилище, спас народное добро. Сработала проклятая, въедливая привычка: много видел подобных «поступков» у других авторов и сам «поступил» так же. Тут-то у меня и не вышло разговора с тем парнем, таким же шофером, может быть, как мой герой, с которым — ах как хотелось) — надо бы поговорить. Случилось, как случается с неумной мамой, когда она берет своего дитятку за руку и уводит со двора — чтобы «уличные» мальчишки не подействовали на него дурно: дитятко исключительное, на «фортепьянах» учится. Мое дитятко тоже оказалось исключительным: я сам себя высек. Почаще надо останавливать руку, а то она нарабатывает нехорошую инерцию.

Чувствую необходимость оговорить одно обстоятельство. А как быть со всякого рода шкурниками, бюрократами, если они изображены предельно правдиво? Они что, нравственные герои? Нет. Но они не безнравственны. Они есть та правда, которую заключает в себе всякое время (и время социализма тоже), которую *необходимо* знать. Правда труженика и правда паразита, правда добра и правда зла — это и есть, пожалуй, предмет истинного искусства. И это есть высшая Нравственность, которая есть Правда. Нравственным или безнравственным может быть искусство, а не герои. Только безнравственное искусство в состоянии создавать образы лживые — и «положительные», и «отрицательные» (если их можно назвать образами). Говорить в таком случае о нравственности или безнравственности нелепо. Честное, мужественное искусство не задается целью указывать пальцем: что нравственно, а что безнравственно, оно имеет дело с человеком «в целом» и хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему правду о нем. Учить можно, но если учить по принципу: это — «бяка», а это — «мня-мня» — лучше не учить. Ученики будут вырастать ленивыми, хитрыми, с наклонностью к паразитическому образу жизни. Потому что нет ничего легче: не самому решить трудную зада-

чу, а списать с доски. Нравственность можно подделать. И подделывают. И очень удобно живут — в «соответствии»... В заключение хочу показать на примере, как создается фальшивое произведение, способное запутать и обмануть. Пример мой собственный. Буду, сколько меня хватит, правдивым. Пример, мне кажется, тем более поучительный, что я все-таки врать и придумывать не хотел.

Задумал такой сценарий:

Живет на свете (в далекой глухой деревне) обиженный судьбой паренек Минька Громов. Мал ростом, худ и вдобавок прихрамывает: парнишкой еще уснул на прицепе, свалился, и ему шаркнуло плугом по ноге. Чудом жить остался: тракторист случайно оглянулся, дал тормоз. А то бы перепахало всего.

Так вот, не повезло парню. Наверно, от этого он стал пронзительно-дерзкий, ругался со всеми, даже наскакивал драться.

Таких — всерьез — не любят, но охотно потешаются и подзадоривают на всякие выходки.

Мне захотелось всеми возможными средствами кино оградить этого доброго человека от людских насмешек, выявить попутно свой собственный запас доброты (надо думать, немалый) — восстановить слабого и беззащитного в правах человека. Ходил радовался: задумал хорошее дело. Видел Миньку, знал актера, который сыграет его. Но еще держал себя, не начинал писать: рано. По некоторому опыту знаю: надо довести себя до почти мучительного нетерпения.

Надо знать также всех людей, которые будут окружать героя. И вот:

С Минькой живет безнадежно больной отец (фильм должен был с того начаться: отец умирает).

Есть у Миньки старший брат Илья, который живет в большом городе, работает прорабом на стройке. Илье за тридцать, среднего роста, широк и надежен в плечах, красив, взгляд прямой, твердый, несколько угрюмый, тяжелый. Нравится женщинам. Знает это. Немногословен.

Есть по соседству с Минькой девушка Валя, красивая, крупная, очень неглупая. Минька болезненно любит ее, она — нет, конечно. Ей весело с Минькой, но ей тоже охота

любить — пора. Некого. Парни разъехались из деревни, а те, что остались, переженились или совсем не пара красавице Вале.

Есть еще сосед Миньки, огромный Мыкола, великий молчун и недалекий человек. Он тоже влюблен в Валю.

Эту незатейливую ситуацию (даже не треугольник) Минька объясняет брату так:

— Вот она — рядом живет, Валька-то... Помнишь? Ковалевых...

— Так она же маленькая!

— Маленькая! С Петра Первого. Пожалуйста: хоть завтра женился бы — не хочет! Что я сделаю?! Люблю ее, как это... как не знаю. Прямо задушил бы, гадину! — Минька выпил еще рюмку. Снялся с места, заходил по избе, горестно размахивая руками. Походил он на птицу подбитую камнем.— Но я ее допеку, душа с меня вон. Нет таких крепостей...

— Красивая девка?

— На 37 сантиметров выше меня. Вот здесь — во! — полна пазуха. Глаза горят, как у ведьмы, вся гладкая... Как увижу ее, так полдня хвораю.

— Выбрал бы поменьше. Куда она тебе такая?

— Тут на принцип дело пошло. Вот тут оглобля одна поселилась, на 48 сантиметров выше меня. Мыкола, твою мать-то...

— Чей?

— Ты их не знаешь, приезжие. Он тоже втюрился в нее. Так тот хочет измором взять. Как увидит, что я к ней пошел, надевает, бендеровец, бостоновый костюм, приходит тоже и сидит. Веришь, нет, может три часа сидеть и ни слова не скажет. Сидит, и все — специально мешает мне. Мне уж давно надо от слов к делу переходить, а он сидит.

— Поговорил бы с ним.

— Говорил! Он только мычит. Говорю, если ты — бугай, жердь, оглобля, так в этом и все? Тут вот что требуется! — Минька постучал себя по лбу. — Говорю, я — талантливый человек, могу сутки подряд говорить, и то у меня не получается. Куда ты лезешь?

— А она что?

— Валька-то? Она не переваривает его. Но он упрямый, бугай. Я опасаюсь, что он сидит-сидит, да чего-нибудь все же высидит. Парней-то в деревне я да еще несколько.

— Трепешься много, Минька, поэтому к тебе серьезно не относятся. Надо хитрей быть.

— А что мне остается делать?! Что я, витязь в тигровой шкуре? Мне больше нечем брать. Было бы образование, я бы в артисты пошел, а так... ну чем больше?

И т.д.

Пришло время, сел писать. Писалось легко, податливо. Навалял 60 страниц и куда-то уехал. С сожалением оторвался от работы и все думал потом о написанном. И чем больше думал, тем тревожнее и тревожнее становилось на душе. Что-то, однако, не то! А что? — не пойму. И под конец так захотелось перечитать написанное, что перестало интересовать все окружающее. Чуял какой-то грех, вину, беду. Приехал, перечитал — так и есть: все написанное (а это почти весь сценарий) — ловкая выдумка. Теперь время прошло, я сумею спокойно понять свой промах.

Он в самом замысле. Все удобное мешает искусству. В данном случае очень уж удобная схема. Добрый, обойденный судьбой парень, его не любят, смеются над ним, стало быть, зрительская любовь ему обеспечена. По схеме ранних лет кинематографа авторы давали в конце такому герою орден — «за боль годов». Теперь схема иная: герой орден не получает, но всемогущий перст автора в конце устремлен на него: смотрите, какой это хороший, добрый, сердечный человек, и не стыдно ли всем нам, что ему плохо жить! Так я и сделал. Отец Миньки доживает последние дни. Минька дает брату телеграмму. Брат Илья приезжает, но не успевает к живому отцу. Уже начало непоправимо плохо. Как читатель и зритель сам не перевариваю, когда действие повести или фильма начинается с чьего-нибудь приезда. Сколько можно!.. Приезжает новый агроном, председатель колхоза, приезжают строители, приезжают дяди, тети, гости, секретари райкомов — столько приезжают, что скулы воротит. И еще: я тут же выдал свое сочувствие герою — зачем сразу заставать его в таком горе, от которого содрогнется всякое сердце? Я попросту сделал себе легкую жизнь: не утруждая себя особенно, заявил: «Смотрите, какой он непосредственный, милый, и как изболела его душа!» Не меньше в лоб получилось и с Ильей. Я тоже сразу раскрыл все карты: и он тоже поверяется смертью отца, относится к ней много спокойнее — очерствел в городе, прихватил жестокой житейской

«мудрости» современного городского мещанства («надо хитрей быть», «не открывай всем свою душу — ткнут пальцем, сделают больно»). Все сразу ясно. Дальше схема продолжает гнуть меня в бараний рог. Силы расставлены, рука летит по бумаге, сталкивая героев, слегка путая сюжет (современно!). Что может ждать более или менее поднаторевший зритель? Что красивый, сильный, привлекательный Илья (поначалу, по крайней мере) понравился Вале, а ему — умная, гордая, красивая Валя. И он (с первых страниц сценария известно: у него в городе не сложилась семья), научившийся брать у жизни крепкой рукой сколько подвернется, отнимет у нищих суму, лишит их всякой надежды на будущее — увезет Валю в город. Точно. На большее меня не хватило. Я только малость пококетничал: Илья отнимает у Миньки и у Мыколы Валю-надежду не без некоторой внутренней борьбы — ему все-таки жалко их. Но...

Название сценария было под стать содержанию: «Враг мой» — усеченное: «Брат мой — враг мой»!*

Если бы меня кто-нибудь другой ругал за сценарий или за фильм (критик), а не я сам себя, я бы, наверно, ощетинился: «А что, так не бывает в жизни?» Впрочем, нет, едва ли. Стыдно было бы. Так, конечно, бывает, но так не должно быть в искусстве. Нельзя, чтобы авторская воля наводила фокус на те только явления жизни, которые она найдет наиболее удобными для самовыявления. Не всегда надо понимать до конца то, о чем пишешь — так легче оставаться непредвзятым. В случае со мной схема потому одолела меня, почему всякой девушке, например, трудно, почти невозможно пойти на свидание в заурядном платье, оставив дома нарядное. Мысль моя была нарядная, яркая, я почувствовал себя хорошо. Смотрите: родные братья, судьба растащила их, увела старшего далеко от дома, научила равнодушию, жестокости, скрытности — это то, чем он расплатился за городское благополучие. А вот младший... Ну и так далее. Всем воздал. Может быть, фильм и смотрелся бы... Но, господи! Как он выдуман! Как все удобно там, как все хорошо и ясно. И вот: Минька — нравственный, Илья — безнравственный. Так пошел бы шагать по экранам еще один недоносок (это вовсе не ручательство, что фильм, который я теперь делаю, будет прекрасен во всех отношениях. Постараюсь, конечно, чтобы пошлость и недомыслие не отрави-

ли его еще в утробе). Изо всех сил буду стараться рассказать правду о людях. Какую знаю, живя с ними в одно время.

Ну и, как говорится, дай мне бог здоровья!

«МОДА...»

Взялся порассуждать на эту тему, но дал себе слово, что буду краток и осторожен, потому что тут легко можно наговорить «сорок бочек» или — еще хуже — очутиться в позе человека, все время показывающего пальцем, — поза противная, вовсе не смешная.

Мода... Тема «модная» — и это тоже рискованно. А мне еще надо бы и покаяться: я в свое время боролся с узкими брюками, и не так уж это было безобидно. Только не поднимется рука — бить себя в грудь. Не могу. Потом объясню почему.

Итак — мода. Мобилизовал свой «сельсовет» — думаю, как умнее начать. «Мода есть некая приятная несамостоятельность». «Мода — добровольное, не унижающее человека рабство». Нет, не то. Не так все просто.

Насчет самостоятельности...

Нельзя, наверно, моду (по крайней мере, на платье, прически, речевые штампы) связывать с этим понятием — самостоятельность. Этак можно с большой легкостью отметить целые группы людей, причем сюда, в эти группы, войдут наиболее подвижные, восприимчивые, способные чувствовать красоту люди. Но если отмести нельзя, то разобраться следует. Чем были плохи узкие штаны? Да ничем. Меньше пыли подымали с пола, некая экономия материи. Правда, ничего особенного в них не было. Отчего же возня была? Вот почему. Если, например, армия молодых людей зашагала по улицам в узких штанах, то часть их, этак с батальон, обязательно выскакивает вперед и начинает отчаянно обращать на себя внимание. И они-то, думая, что они народ крайне интересный, смелый, скоро начинают раздражать. Потому что искусства одеваться здесь нет, а есть

дешевый способ самоутверждения. Здесь налицо пустая растрата человеческой энергии, ума, изобретательности — почему же на это не указать? Другое дело, мы указывать не умеем. В борьбе за их (батальона молодых людей) самостоятельность утрачиваем разум и спокойствие. Я, например, так увлекся этой борьбой, так меня раззадорили эти «узкобрючники», что утратив еще и чувство юмора, всерьез стал носить... сапоги. Я рассуждал так: они копируют Запад, я «вернусь» назад, в Русь.

Мода — это чисто человеческое «изобретение», возникло с людьми и с людьми умрет. Это нечто выдуманное, цепкое, крикливое и пустое. Живая природа не знает моды; там, где решаются коренные вопросы бытия, мода молчит. Если бы это было не так, нам было бы очень важно знать: красиво ли, элегантно ли бежали солдаты в атаку? Почему поле вспахано вдоль, а не в елочку? Как ведет себя боксер в своем углу между раундами — обозревает светски рассеянным взглядом толпу или только успевает надышаться? Как написано: «Сказались бессонные ночи, полные сжимающей душу тревоги, раздумий, бесконечных давлений, сопоставлений, ассоциаций...» или: «Ванька устал», если нам, в данном случае, важно знать про Ваньку а не про автора — что он «может»?.. Ну и так далее.

Мода — тема обширная, мне ее не поднять в статье, поэтому я, говоря «мода», буду подразумевать только *способность* человека, не задумываясь, сделать так, как сделали уже другие. Преследуется цель: более или менее отчаянное самоутверждение. И — доказательство сопричастности передовому, новому...

МНЕ ВЕЗЛО НА УМНЫХ И ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ...

Был 1954 год. Шли вступительные экзамены во ВГИК. Подготовка моя оставляла желать лучшего, специальной эрудицией я не блистал и всем своим видом вызывал

недоумение приемной комиссии. Насколько теперь понимаю, спасла меня письменная работа, которую задали еще до встречи с мастером. «Опишите, пожалуйста, что делается в коридорах ВГИКа в эти дни»* — так приблизительно она называлась. Больно горячая была тема. Отыгрался я в этой работе. О чем спорим, о чем шутим, на что гневаемся, на что надеемся — все изложил подробно.

Потом произошло знакомство с Михаилом Ильичем Роммом. Абитуриенты в коридоре нарисовали страшную картину: человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмотрели на меня глаза удивительно добрые. Стал расспрашивать больше о жизни, о литературе. К счастью, литературу я всегда любил, читал много, но сумбурно, беспорядочно. Десятилетку окончил у себя на Алтае «ненормально» — экстерном. И был я уже великовозрастным юношей. И пожил, и помыкался, всякое случалось — семнадцати лет ушел из своей деревни, работал во многих местах, на заводе, на стройках, служил на флоте, год преподавал русский язык и литературу в вечерней школе сельской молодежи.

Ужас экзамена вылился для меня в очень человечный и искренний разговор. Вся судьба моя тут, в этом разговоре, наверное, и решилась.

Правда, предстояла еще отборочная комиссия, которую тоже, видимо, изумило, кого набирает Михаил Ильич. Все-таки я заметно выбивался среди окружающих дремучестью своею и неотесанностью. Председатель комиссии иронически спросил:

— Белинского знаешь?

— Да, — говорю.

— А где он живет сейчас?

В комиссии все затихли.

— Виссарион Григорьевич? Помер, — говорю и стал излишне горячо доказывать, что Белинский «помер».

Ромм все это время молчал и слушал. На меня смотрели все те же бесконечно добрые глаза, чуть ироничный, чуть улыбчивый взгляд поверх очков...

В мастерской Ромма мы учились не только режиссуре. Михаил Ильич требовал, чтобы мы сами пробовали писать. Он посылал нас на объекты — почтамт или вокзал — и просил описать то, что мы там видели. Потом, на занятиях, он читал и разбирал наши зарисовки. А мне однажды посове-

товал: «Пиши, в редакцию отсылать не торопись, а мне давай». Конечно, мне теперь стыдно, что я отнимал у Михаила Ильича время. Но взялся я за дело активно, писал и приносил ему показывать. Он читал, возвращал мне, делал свои замечания и велел продолжать. Затем, где-то к концу четвертого — началу пятого курса я услышал от него: «Посылай во все редакции веером. Придут обратно — меняй местами и — и снова. Я в свое время сам с этого начинал». Так я и сделал. График составил, чтоб не перепутать. Первым откликнулся журнал «Смена».

Ромм следил за моими первыми шагами. Но настал момент, когда он сказал: «Теперь — сам, ты парень крепкий». Радостно все это было и грустно, и важно. Во всей моей жизни свершился переворот. Мне везло в искусстве на умных людей.

О ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев... Когда они разговаривают, слышу их интонации, знаю, почему молчат, если замолчали, порой — до иллюзии — вдруг пахнет на тебя банным духом... «По всей бане так ароматы и пойдут!» — не много сказал вологодский расторопный мужик, а — вкусно сказал! Дальше он же добавил: «Зато и жили по девяносто годов». И вот — что тут случается? — вдруг мужичок становится каким-то родным, понятным, и уж нет никакого изумления перед мастерством писателя, а есть — Федулович, и, хочешь, говори с ним: «Да будет хвастать-то! — «по девяносто годов». Так через одного по девяносто и жили?» Кинется, небось, доказывать, что жили! А хочешь, следи дальше, как он на полке разворачивается: «Кха! Едрена Олена!.. В такую бы баньку да потолстее Параньку. А ты, Митрей, полезай повыше, на полу какой скус?» Я невольно улыбаюсь... Я понимаю, автор не ставил себе такой задачи — чтоб я, читатель, улыбался. Но тут какая-то такая свобода,

такая вольность, правда, точность, что уж и смешно. Может, я, по родству занятий с писателем, и подивлюсь его слуху, памяти, чуткости... Но и, по родству же занятий, совершенно отчетливо понимаю: одной памяти тут мало, будь она еще совершенней. Слух, чувство меры, чувство правды, тактичность — все хорошо, все к делу, но всего этого мало. Без любви к тем мужикам, без сострадания, скрытого или явного, без уважения к ним неподдельного, так о них не написать. Нет. Так, чтоб встали они во плоти: крикливые, хвастливые, работящие, терпеливые, совестливые, теплые, родные... Свои. Нет, так не написать. Любовь и сострадание, только они наводят на такую пронзительную правду. И тут не притворишься — что они есть, если нет ни того, ни другого. Бывает, притворяются — получается порой правдиво, и так и пишут критики: «правдивый рассказ», «правдивый роман». Только... Как бы это сказать? Может, правда и правдивость суть понятия вовсе несхожие? Во всяком случае, то, что я сейчас разумею под «правдивостью» — хитрая работа тренированного ума, способного более или менее точно воспроизвести схему жизни,— прямо враждебно живой правде. Непонятные, дикие, странные причины побуждают людей скрывать правду... И тем-то дороже они, люди, роднее, когда не притворяются, не выдумывают себя, не уползают от правды в сторону, не изворачиваются всю жизнь. Меня такие восхищают. Радуют. Работа их в литературе, в искусстве значит много; талантливая честная душа способна врачевать, способна помочь в пору отчаяния и полного безверия, способна вдохнуть силы для жизни и поступков.

А где же сама-то, душа эта, берет целебные силы?

Как-то гостил я у Белова в родной его деревне Тимонихе. И стал невольно свидетелем одной сцены. Пришла старушка с бумажкой, на которой записан адрес дочери... Пришла, чтоб писатель написал письмо ее дочери и выговорил бы ей вины ее перед родными — не пишет, совсем забыла... И столько было у старушки веры и надежды, что «Васенька, ангел наш» (она как-то произносила: «аньдели») сумеет так написать ее дочери, что та поймет, наконец, что... О, сколько веры она принесла с собой, та хлопотливая старушка! Да и горе ведь принесла — отбилась дочь-то от дома, совсем отбилась. Я сперва подумал, что это какая-нибудь двоюродная тетя Белова, а та самая дочь, которую поглотил город, стало

быть, двоюродная его сестрица — отсюда такая свойская доверчивость. Оказалось, нет — чужая. А вот — принесла. Видно, тут и ответ на вопрос, откуда у писателя запас добрых слов? От людей же... И людям же и отдается.

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...

Вот моя деревня...
Вот мой дом родной...

А вот моя мать... Дважды была замужем, дважды оставалась вдовой. Первый раз овдовела в 22 года, второй раз в 31 год, в 1942 г. Много сил, собственно, всю жизнь отдала детям. Теперь думает, что сын ее вышел в люди, большой человек в городе. Пусть так думает. Я у нее учился писать рассказы.

Вот тетки мои:

Авдотья Сергеевна. Вдова. Вырастила двоих детей.

Анна Сергеевна. Вдова. Вырастила пятерых детей.

Вера Сергеевна. Вдова. Один сын.

Вдовы образца 1941—1945 гг.

Когда-то они хорошо пели. Теперь не могут. Просил — не могут.

Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо.

Они не сознают этого. Да и сам я начал понимать это много лет спустя. И вот захотелось рассказать о них... И о них, и о других людях моей деревни.

Сюжета в этой картине нет. Впрочем, если мысль авторская может быть сюжетом, а так бывает, то пусть будет сю-

жет. Мысль же такова: это прекрасные люди. Красивые люди. Добрые люди. Трудолюбивые. И я всей силой души, по-сыновьи, хочу им счастья. Это моя родина, как же мне не хотеть этого.

Можно спросить их самих: какой фильм они хотели бы увидеть о себе? Они расскажут.

И дед Николай Петрович расскажет... Как себя помню, так помню, что он уже был стариком. А мне уже — сорок. А он все старик. Сколько же он — все старик и старик! В семьдесят три года еще женился. Когда шел сговор, старуха-невеста сказала так: «Я так скажу, Маня (сватала их моя мать, Мария Сергеевна): если приставать по ночам не будет, пойду». Пошла — старик дал слово.

Вот — живут.

Интересно, какой бы он фильм попросил сделать... Он расскажет.

И вот она расскажет, сверстница моя...

И председатель сельсовета...

И вот он, тракторист... Помню его еще пацаном сопливым.

И вот он...

И он... Этих я уже не знаю.

Я же бы начал наш фильм так:

Каждый год, 9 мая, люди моего села собираются на кладбище... И кто-нибудь из сельсовета зачитывает по списку:

Буркин Илья...

Козлов Иван...

Куксины: Степан и Павел...

Пономарев Константин...

Пономаревы, Емельяновичи:

Иван, Степан, Михаил, Василий...

Поповы...

Длинный это список. Скорбный.

Слушают... Молча плачут.

Тут есть еще матери, отцы.

Но мало уже. Больше — жены, сестры, братья, дети. Тут — все село.

Тихо слушают... И тот, кто читает, невольно делает это тоже негромко. Иногда, когда он зачитывает какую-нибудь фамилию, а потом пойдут: Егор, Кузьма, Иван, Василий, Михаил — братья, то он приостанавливается на некоторое время, стискивает зубы, моргает... И слышно, как плачут, шепотом как-то плачут.

А с кладбища, с горы, далеко-далеко видно окрест. С юга — горы, а к северу пошла степь. Необозримая. Земля этих людей, имена которых зачитывают. Они родились здесь, пахали эту землю.

Зиновьев Михаил...

Куликов Борис...

Думновы: Николай и Федор...

Докучаев Егор...

Сибиряки. В основном из села полегли под Москвой и на Курской дуге.

Есть даже один из двадцати восьми панфиловцев — Трофимов. Он остался жив. Он стоит здесь же... Его можно потом попросить рассказать о великой битве за столицу.

Он расскажет...

Но вернулось мало. Эти, в списке...

Они теперь на фотографиях в домах. На видном месте.

И если слышать негромкий голос, зачитывающий имена погибших...

И разглядывать их фотографии — каждого названного в списке, то удивит и резанет по сердцу мысль: «Какие они были молодые».

Можно, когда потом разойдутся с кладбища, попросить двух-трех вдов рассказать, как они провожали своих мужей на войну. Какие сны вещие видели...

Мать моя рассказывает, что приснился ей такой сон:

— Приехали мы в Бийск-то, а их там — видимо-невидимо. И вот их всех выкликают. А мы, бабы-то, собрались все в садочке, у вокзала-та, да и ждем. Ждем-пождем, а их все выкликают. Я и задремала, на скамеечке-то сидя. До этого-то не спали две ночи, ну, меня и сморило. И только я задремала, вижу такой сон. Вот захотела же я пить. Да так захотела — душа горит. И вижу будто чайник какой-то. А где это я? — я что-то не соображу. Ну, взяла я тот чайник да как хлебну с жадностью-то — там кипяток. И проснулась. Проснулась, рассказываю этот сон бабам, а те говорят: «Э-э, ма-

тушка, худо: обожгесся». Вот и обожглась: в 42-м похоронную получила.

Еще другие сны видели — причудливые, вещие... И очень уж какие-то... точные, что ли, пророческие. То ли правда такие снились, то ли потом додумалось и поверилось.

Говорят, правда.

Но это они потом расскажут.

А сейчас звучит все тот же голос на кладбище, называет фамилии...

И учительница тоже называет фамилии — те же, только имена другие.

Это — в школе.

Это уже внуки тех...

Встают — мальчишки, девчонки. Какие-то все рослые! Седьмой или восьмой класс, а девчата уже невесты целые. А парням бриться впору.

Это — внуки. Как-то трудно совместить эти понятия... Только что поразила молодость тех, на фотографиях, а это уже — их внуки. Но это так.

Сидят, делают вид, что слушают учителя. А сами думают: «Скорей бы кончались эти бесконечные уроки! Скорей бы каникулы!» Знаем мы это... Крестики где-нибудь дома ставят — сколько дней осталось.

Вот сидит явная отличница.

Вот — так себе, но все же ничего, терпимо. Будет плановиком в *райфо*.

А этот балбес... смотрит в книгу, а видит, конечно... все, что угодно, только не формулу. Улица на уме! Хватишься потом! Близко локоть, да не укусишь. Куда она уйдет от тебя, эта улица?! Никуда не уйдет! Будешь потом лес ворочать... без образования-то...

Ах, легко ругать! Правда, ужасно легко. То есть горько, конечно, что сын или дочь плохо учатся, но все равно ругать не составляет никакого труда. Это я ни к чему не клоню и никаких выводов не делаю. Просто говорю, что — легко.

Что же тут поделаешь, когда на улице-то, правда, так хорошо!

А на реке что делается!

Нет, учиться, конечно, надо. Хорошо надо учиться. Но и реку вот эту и острова, и околок, и согра — это ты только те-

перь и вберешь в сердце. И всю жизнь потом будешь помнить и любить... А если тебя судьба занесет куда-нибудь далеко от этих мест, то так будешь их любить, что и заплачешь один ночью, когда никто не видит. С этим тоже ничего не поделаешь. Так что учись, конечно, сынок, но покрепче и запомни вот все это...

Вот тут, у этого тополя, будешь впервые в жизни ждать девчонку... Натопчешься, накуришься... И тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная — дьявол бы с ней. Не идет! Ничего, придет. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь — другая. Придет. Ты этот тополь-то... того... запомни. Пройдет лет тридцать, приедешь откуда-нибудь — из далекого далека — и этот тополек поцелуешь. Оглянешься — никого — и поцелуешь. Вот тот проклятый вечер-то, когда заря-то полыхала, когда она не пришла-то — вот он и будет самый дорогой вечер. Это уж так. Не мы так решаем, кто-то за нас распоряжается, но... это так. Проверено.

А еще, парень, погляди на эту дорогу...

Погляди, погляди... Внимательно погляди. Это — из села. Вон столбы туда пошагали. Послушай подойди, как гудят провода. Еще погляди на дорогу... А теперь погляди на меня. В глаза мне...

Не торопись. Может, и уйдешь, только не торопись. Везде хорошо, где нас нет — это не сегодня сказали. Здесь тоже неплохо.

Вот — покос.

В мое время это было так (тут уж дай мне повспоминать. Да и ты посмотри).

Ни для чего я тебе это показываю, а просто — дорого мне все это, дороже потом ничего не было. Ну и — делюсь. У тебя будет другое дорогое, у меня — это. А земля-то у нас одна. Ты тоже потом расскажи детям твоим или внукам, что запомнишь хорошее, светлое. Не утерпишь, расскажешь.

Покос.

Самая прекрасная, самая трудная, самая певучая пора.

ОН УЧИЛ РАБОТАТЬ

Есть несколько человек на земле, голоса которых я могу легко «услышать» — они каким-то непостижимым образом живут во мне. Стоит захотеть, и ясно — до иллюзии — их слышу. Они мне очень нужны и дороги.

Михаил Ильич Ромм. Голос его — глуховатый, несколько как бы удивленный, терпеливый, часто с легкой, необидной усмешкой, голос человека доброго, но который устал твердить людям простые истины. Устал, но не перестает твердить. Две из них — необходимость добра и знаний — имелось в виду усвоить как главную тему искусства.

Он был очень терпелив. Когда я пришел к нему учиться, то не стеснялся его, не стыдился отнимать его время. Он был очень добр ко мне, я думал, что это так и должно быть и всегда бывало в Москве в искусстве. Потом, когда пришли ясность и трезвость, я поразился его терпению. И совестно стало, например, давать ему читать свои плохие рассказы. Но тогда удивился он: «А где же рассказы-то? Бросил писать, что ли?» Писать я не бросил, стал даже соваться по редакциям. А он же и подсказал, как это лучше делать. Я решил, что буду теперь приходить к нему, когда удастся сделать что-нибудь хорошо — порадовать его, показать, что не зря возился со мной и терпел. Но так получилось, что сделать что-нибудь очень хорошо — бесспорно хорошо,— все как-то не удавалось. Я заходил попроведать, а все было неловко, все думалось: «Что расселся-то!»

Он учил работать. Много работать. Всю жизнь. Он и начал с того свою учебу — рассказал нам, как много и трудно работал Лев Толстой. И все пять лет потом повторял: «Надо работать, ребятки». И так это и засело во мне — что надо работать, работать и работать: до чего-нибудь все же можно доработаться. «Надо читать», «подумайте» — это все тоже приглашение работать. «Попробуйте еще» — это все работать и работать.

Он и сам работал до последнего дня. Так только и живут в искусстве — это я теперь до конца знаю. Знаю особенно отчетливо, особенно непреклонно, когда думаю о всей его

жизни. И что главная тема искусства есть необходимость добра и знаний среди людей — это тоже как-то особенно понятно.

НА ЕДИНОМ ДЫХАНИИ

О повести А. Скалона «Живые деньги»

Повесть ли это?

Это, скорее, рассказ, и рассказ большой силы. Автор, когда закончил его, наверно, почувствовал эту силу, литую тяжесть и, подумав, написал — «повесть». Ну, повесть так повесть.

Еще по тому «повесть», что этого, например, хватило бы на целый художественный фильм, но только если бы он был поставлен по тому же обязательному закону, по какому это произведение написано, по закону «единого дыхания». Начни тут режиссер специально «выявлять характер» и «ставить акценты» — вещь умрет. То есть станет больше одной лентой про бяку-браконьера, и только.

Впрочем, написать «на едином дыхании» ничего нельзя, тем более повесть. Надо возвращаться, переделывать, двигаться дальше — то легче, то труднее... Но вот повесть есть, и прочитывается залпом. И кажется, что она так и писалась — с разгона, а наверное же, нет. То есть, думаю, что здесь — мастерство, а не чудо.

Чем же «берет» повесть А. Скалона?*

Она точно выстроена, хорошо написана и правдива.

Автор словно бы начал собирать повесть по мелочам. Подробно-подробно рассказано, как покупаются собаки, какие собаки, какого возраста, с каким характером... Попутно — про собак вообще: «кобельки против сук запаздывают на полгода-год в своем развитии». Я, грешным делом, подумал: «Опять про козу Ивановну!» Про собак, про волков,

про коров, про коней. Соблазн большой, а умеет редко кто. Догадка насторожила, однако читать не расхотелось. Дальше — больше, включил на кухне малый свет, пролистал повесть до конца — сколько он тут наворочал, удастся ли соснуть до работы?

Повесть втянула в себя и уже не выпустила. А ведь не детектив, не страшная история... Мужик настрелял соболей, а две собаки остались в тайге. И вот тут-то, когда все прочитано до конца, понимаешь, зачем автор так подробно описывал собачек на первых страницах. Он их, если можно так сказать, «очеловечивал».

Жили себе собаки среди людей, одна собиралась ощениться. Но вот хищная умелая рука человека же вовлекла их в кровожадную азартную охоту, пробудились занеженные древние инстинкты, откуда взялись сноровка, страсть, злость, сила. Сколько-то дней жизни, полной риска, трудов, отваги, самозабвения, — и конец: человек сделал свое дело и предал их. Дальше им — смерть, которая настигнет их в образе такого же четвероногого, но чей род не переставал кормиться охотой и убийством. Вот где сказалось пристрастие автора к подробности, к детали — все это вдруг привело к большой горькой мысли: да за что же?! Да что уж такого драгоценного можно купить за эти проклятые деньги, которые он, человек, получит за соболей? А сколько жизней загублено! И как подло! И тут невольно поворачиваешься к тому, кто «не самый худой человек на сибирских просторах, хоть, разумеется, далеко и не лучший», к герою повести, к Аркане.

Появляется желание вдуматься в его судьбу и в назначение его в этой жизни. Арканя неглуп, опытен, вынослив, идет на риск (такие удачливы!), и это должно вызвать к нему сочувствие и почти вызывает... Но лишь до того момента, пока он не предал собак. Дальше — при всем своем опыте — он безобразен, мерзок.

Это очень строгий суд над человеком. И как точно автор ведет к тому, что за человеком встает черная тень его черного дела.

Можно легко увидеть — и это тоже заслуга автора, — как Арканя сидит в кабине вертолета, посматривает вниз и немножко жалеет собак. Сведены воедино, в один круг, разум

человеческий, его необозримые возможности на земле (ружье, вертолет) и доверчивость собаки, ее привязанность к человеку... Круг распался — и вышла одна голая жестокость, немилосердность. Зачем же он тогда выдумывает и выдумывает все новые машины, зачем ему такие, почти неограниченные возможности, если он всего-то навсего жесток! Нет, это не вообще о человеке, и не последняя это заключительная мысль, но это тоже есть в человеке, и что же, это приветствовать, что ли? Этому и следует удивляться и ненавидеть. Не злой же увидел в другом злое, а добрый. Иначе бы и повести не было. Такой, по крайней мере.

Я думаю, если бы не возник в повести дед Аркани, такой фартовый прохиндей, как и внук, и не наладилась бы, таким образом, этакая наследственность у Аркани, все было бы в повести не менее убедительным, а может быть, более. Дед, мне кажется, от литературы, от заданности. Этот дед еще лишний раз, наверно, продиктовал слово «повесть». Все же это рассказ — большой, умный, мастерски написанный. Он так сцеплен внутри себя, что всякое отступление в сторону «повести», вроде «С деда началась охота», не воспринимается как обязательное, хотя оно тоже интересно.

Еще два слова о построении повести. По закону «единого дыхания» она сделана или не по закону («жмет» меня в этом определении какая-то броскость, красивость), но что она строилась еще по закону совести, это так.

Не могу еще не порадоваться умелости автора в том, как он пишет. Вот Арканя проснулся после тяжкой выпивки, больной («с годами стал болеть на похмелье»). Пошел проведать купленную вчера собаку. «Собака показалась *сильно* маленькой. Брюхо у нее было заметно отвисшее. Даже *сильно* отвисшее». Два раза «сильно»— раз за разом — это как-то качает короткие три фразы и бьет в одно место, как бьет колесо, смещенное с центра; так тупо — толчками — болит похмельная голова, человека покачивает, а мысль возвращается и возвращается к чему-то случайному нелепому. И этому же — ощущению похмелья — помогает такая вроде небрежность, несуразность: «сильно маленькая». И уточнение: «...заметно отвисшее. Даже сильно отвисшее». Видно, как человек медленно ворочает головой, разглядывает собаку и медленно, с трудом соображает. А всего-то три короткие фразы!

А вот из народных запасов подмечено, услышано, стало как вкопанное. Про деньги речь: «Не понесет же их такой солидный, самостоятельный мужик — с таким-то брюхом! — под зеркало! На месте расстреляет!»

А вот сравнение. О бесхозном богатстве тайги. «Любой бродяга — с договором, без договора — приходи, черпай до дна. Как Мамай». Здесь — и богатство, и горькая мысль, что богатство это можно безнаказанно грабить. И грабят. Одно слово вырвалось — и толкнуло чуждостью, вероломством. И как это страшно! Как понятно!

Это все — живой язык. Такими неуловимыми подсказками, где работает интонация, отдаленный намек, автор освободил себя от прямого морализирования, этого «пережитка прошлого». И остался граждански ясным до конца.

Вольное повествование, живой умный язык, некрикливая сама эта история — все обратилось цельностью.

Живет тайга, живет и действует, а порой преступно действует в ней человек. Композиция рассказа и есть сама эта жизнь, несколько дней, и только дед — от институтских учений, он ослабляет напряжение. Но все равно напряжение в повести большое. Она как пружина в руках: держишь и чувствуешь ее скрученную энергию, отпусти — больно ударит. И бьют-то в самое сердце, в самую нежную мякоть его. С таким расчетом и сделана.

«КНИГИ ВЫСТРАИВАЮТ ЦЕЛЫЕ СУДЬБЫ»

Ответы на вопросы корреспондента «Комсомольской правды»

Один из первых вопросов... о так называемой «проблеме второй книги». В последние годы мы становились свидетелями многих удачных литературных дебютов. Потом проходило время, появлялись вторые и третьи книги вчерашних дебютантов

и нередко разочаровывали: повторение самих себя... Высказывалось мнение, что одна из причин этого — ранняя профессионализация писателя... Не мешает ли она?

— Не только не мешает, но — с грустью это осознаю — не хватает профессионализма. Всякая профессия предполагает, прежде всего, дисциплину труда, и писательского тоже. У меня этой дисциплины нет. За тринадцать лет профессиональной работы вышло 4 книги, общий листаж которых — 50 авторских листов. Это — в четыре рабочих дня одна страница машинописного текста. О профессионализме в строгом смысле тут говорить невозможно. Если уж нельзя «ни дня без строчки», то и в день по строчке тоже нельзя. Какая бы причина столь малой продуктивности ни была, в любом случае это не вполне профессионально. Далее, если говорить о профессии писателя, она — природой своей — немедленно ставит вопрос о культуре писателя и сама же отвечает на этот вопрос: то есть имеем мы дело с профессиональным писателем или с человеком, который написал книгу, две книги... пусть пять книг, но не сообщил ничего нового о жизни. В наши дни писательская профессионализация — поздняя (прозаиков особенно). Это нормально. Если мы заговорим об интеллигентности писателя, то это и о культуре его. То есть если к тридцати годам, положим, человек, склонный к писанию, не обрел этой интеллигентности, общей необходимой культуры, не вкусил от хлеба писательского, который — вот это как-то с трудом доходит до сознания,— очень труден и черств, не преодолел (или не видно, что преодолеет) чужое влияние, не подчинил всю жизнь целиком одному делу, писательскому, не уверовал в могущество литературы в жизни — если все это еще не живет в человеке, говорить о нем как о писателе рано, он еще не писатель, или, скажем так, не настоящий писатель. Потому что писатель, кроме всего прочего, еще и найдет манеру, одному ему свойственную. Ведь на самом деле подлинно нехоженых троп в литературе не бесконечно много, до нас накоплено огромное богатство, и если оно тебе в какой-то мере доступно, скорей осмелишься ступить на свою дорогу. Она, тем не менее, должна быть. Жизненный опыт, да, только... Кому же его не хватает? Просиди ты сиднем тридцать лет — и это жизненный опыт: как сидел тридцать

лет. Это вон как интересно может быть, напиши-ка об этом талантливо, умело, справедливо! Ведь и такой «опыт» может сослужить службу.

Путь к культуре сегодня — со всеми нашими библиотеками, музеями, кино, радио, телевидением — бывает нелегок и непрост?

— Очень и очень непрост. Нужна помощь на первых порах. Формы такой помощи необозримы, но суть всегда одна: умная, добрая, бескорыстная. Так у меня случилось, что лет с двенадцати мне стали помогать выбирать, что читать. Сперва это была ленинградская учительница, которая в войну оказалась в нашей деревне, преподавала в школе. У меня обнаружилась какая-то ненормальная страсть к чтению, а учился я плохо, мать этого не могла понять. Пошла к учительнице. Та пришла, расспросила, что я читаю... И составила список книг, какие надо читать. Сказала, когда это прочтешь, я еще составлю. Еще помню библиотеку в Севастополе... Служил матросом и ходил в офицерскую библиотеку. И там пожилая библиотекарша опять чуть не со списком...

Наконец, список же был составлен и Михаилом Ильичем Роммом, к которому я пришел учиться во ВГИК. Это был последний список. Почти все книги из этих списков я помню, многие повторялись... Я бы теперь и сам составил кому-нибудь список — так я в них уверовал, так им благодарен, и книгам и людям. Не без того, что и я много палил впустую, возникали же они, эти списки! — но все же, наверно, меньше. Попробуйте мысленно окинуть нынешнее книжное море — тревожно за молодых пловцов. Ах, как нужна помощь старшего, умного!* Не говоря уж об ответственности писателя, совести его перед молодой жизнью: трудно и слова найти, столь она велика, эта ответственность. Книги выстраивают целые судьбы... или не выстраивают.

В одном из последних Ваших рассказов, «Медик Володя», герой — студент медицинского института... едет на каникулы в родную деревню, он хочет казаться цивилизованным горожанином и усвоил необходимый для этого нехитрый набор штам-

пов поведения... Здесь ясно видна псевдоинтеллигентность. А как человек становится интеллигентом?

— Я сам еще помню, какой восторг охватывал, когда Чапаев в фильме говорил: «Я ведь академиев не кончал...» Не кончал, а генералов, которые академии кончали, лупит. Этому, как видно, есть объяснение: «академиев не кончал» — наш, генералов бьет — это, значит, мы в состоянии их бить, без «академиев». Попробуйте сегодня вообразить героя фильма или книги, который с такой же обезоруживающей гордостью скажет: «я академиев не кончал» — восторга не будет. Будет сожаление: зря не кончал. Эта «гордость низов» исторически свое отработала. Теперь надо кончать академии. Это, впрочем, ясно. На мой взгляд, народилась другая опасность: щеголяние эрудицией, показная осведомленность, особенно в вопросах искусства... Ну, может, не опасность: болтуны и трепачи во все времена были. Но если не опасность, то постыдная легкомысленность. Не нам бы этим заниматься, не нам бы. Это еще не интеллигентность — много и без толку говорить, так и сорока на колу умеет. Интеллигентность — это мудрость и совестливость, я так понимаю интеллигентность. Это, очевидно, и сдержанность, и тактичность. Мне один человек посылает письма со сценариями и пишет: «Ну, Васька, ты даешь: на три письма не ответил!» Не буду отвечать: от такого «родного», «нашенского» меня тоже уже воротит. Хоть возраст-то надо уважать — мне 44 года. Даже в деревне никто не обращается к сорокалетнему человеку — «Васька». Это уж и себя тоже не уважать. Человеческое достоинство прямо относится к интеллигентности.

СЛОВО О «МАЛОЙ РОДИНЕ»

Как-то в связи с фильмом «Печки-лавочки»* я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмецо короткое и убийственное: «Не бери пример с себя, не позорь свою

землю и нас». Потом в газете «Алтайская правда» была напечатана рецензия на этот же фильм (я его снимал на Алтае), где, кроме прочих упреков фильму, был упрек мне — как причинная связь с неудачей фильма: автор оторвался от жизни, не знает даже преобразований, какие произошли в его родном селе... И еще отзыв с родины: в газете «Бийский рабочий» фильм тоже разругали, в общем, за то же. И еще потом были выступления моих земляков (в центральной печати), где фильм тоже поминался недобрым словом... Сказать, что я все это принял спокойно, значит, зачем-то скрыть правду. Правда же тут в том, что все это, и письма и рецензии, неожиданно и грустно. В фильм я вложил много труда (это, впрочем, не главное, халтура тоже не без труда создается), главное, я вложил в него мою любовь к родине, к Алтаю, какая живет в сердце,— вот главное, и я думал, что это-то не останется незамеченным. Не стану кокетничать и говорить так: «Я задумался... Я спросил себя: может быть, они правы — я оторвался от родины?..» Нет, не стану. Но и доказывать, что я люблю родину и не оторвался от нее,— тоже не стану, это никому не нужно. Но о родине сказать готов, это, впрочем, будет и о любви к ней, но только пусть не будет никаким доказательством. Я давно чувствовал потребность в этом слове. И вот почему.

Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с родины (понятно, что я имею в виду так называемую «малую родину») — а таких много,— невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусть. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит. Может, отсюда проистекает наше неловкое заискивание перед земляками, когда мы приезжаем к ним из больших «центров» в командировку или в отпуск. Не знаю, как другие, а я чего-то смущаюсь и заискиваю. Я вижу какое-то легкое раздражение и недовольство моих земляков чем-то, может, тем, что я — уехал, а теперь, видите ли,— приехал. Когда мне приходится читать очерки или рассказы других писателей о том, как они побывали на родине, я с удивлением не нахожу у них вот этого вот мотива: что им пришлось слегка суетиться и заискивать. Или у них этого нет? Или они опускают это потом, вспоминая поездку?.. Не пойму. Я не могу опустить это, потому что всякий раз спотыкаюсь о какую-то неловкость, даже мне бывает стыдно, что вот я — взял и уехал, когда-то, куда-то... И

вот все вокруг вроде бы и не мое родное, и я потерял право называть это своим. Я хотел бы в этом разобраться. Мое ли это — моя родина, где я родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько... Я не выговариваю себе это чувство, не извиняюсь за него перед земляками — оно мое, оно — я. Не стану же я объяснять кому бы то ни было, что я — есть на этом свете пока, это, простите за неуклюжесть, факт.

Больше всего в родной своей избе я любил полати. Не печку даже (хотя печку тоже очень любил), а полати. Теперь, когда и видеть-то не видишь нигде полатей (даже в самых глухих и далеких деревнях), оглядываясь мысленно по стране (которую, по-моему, неплохо знаю), я вижу Алтай — как если бы это мои родные полати из детства, особый, в высшей степени дорогой мир. Может, это потому (возвышение-то чудится), что село мое — на возвышении, в предгорье, а может, потому это, что с полатями связана неповторимая пора жизни... Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти — неизменно — полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет.

Редко кому завидую, а завидую моим далеким предкам — их упорству, силе огромной... Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь — с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. И если бы не наша теперь осторожность насчет красивостей, я бы позволил себе сказать, что склоняюсь перед их памятью, благодарю их самым дорогим словом, какое только удалось сберечь у сердца: они обрели — себе и нам, и после нас — прекрасную родину. Красота ее, ясность ее поднебесная — редкая на земле. Нет, это, пожалуй, легко сказалось: красивого на земле много, вся земля красивая... Дело не в красоте, дело, наверное, в том, что дает родина — каждому из нас — в дорогу, если, положим, предстоит путь, обратный тому, какой в давние времена проделали наши предки,— с Алтая, вообще что родина дает человеку на целую жизнь. Я

сказал «ясность поднебесная», но и поднебесная, и земная, распахнутая,— ясность пашни и ясность людей, которых люблю и помню. Когда я хочу точно представить, что же особенно прочно запомнил я из той жизни, которую прожил на родине в те свои годы, в какие память наша, особенно цепкая, обладает способностью долго удерживать то, что ее поразило, то я должен выразиться громоздко и несколько неопределенно, хотя для меня это точность и конкретность полная: я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, больше того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья.

Я думаю, что еще не время восторженно приветствовать двухэтажное длинное здание, которое стало приходить в сибирскую деревню. Надо подождать, когда это здание станет родным, дорогим, когда оно привыкнет к человеку, как привык деревенский дом. Я хочу сказать, что нужно еще время, пока длинное кирпичное здание в деревне, претерпев множество изменений — от первоначального замысла в городском кабинете,— обвыкнется с деревенским человеком, станет таким же сподручным, понятным, необходимым, как деревенский дом в прошлом. Я понимаю, на какой я напрашиваюсь упрек, и все же расскажу, каким я запомнил дом деда моего, крестьянина, это тоже живет со мной и тоже чрезвычайно дорого.

У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе... Я всегда смотрел и думал: «Ну вот это, что ли, и есть та самая жизнь — так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы — это уже тоже, по-своему, несвобода. В доме деда была непринужденность, была свобода полная. Я вдумываюсь, проверяю, конечно, свои мысли, сознаю их беззащитность перед «лицом» фигуры иронической... Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда — крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правиль-

ным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали... Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла — с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но — учили... Никак не могу внушить себе, что это все — глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире,— очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека: неужели в том только и беда, что слов этих «честь», «достоинство» там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он — нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие... Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным. Ни в чем там не заблуждались, больше того, мало-мальски заметные недостатки в человеке, еще в маленьком, губились на корню. Если в человечке обнаруживалась склонность к лени, то она никак не выгораживалась, не объяснялась никакими редкими способностями ребенка — она была просто лень, потому высмеивалась, истреблялась. Зазнайство, хвастливость, завистливость — все было на виду в людях, никак нельзя было спрятаться ни за слова, ни за фокусы. Я не стремлюсь здесь кого-то обмануть или себя, например, обмануть — нарисовать зачем-то картину жизни идеальной, нет, она, конечно, была далеко не идеальная, но коренное русло жизни всегда оставалось — правда, справедливость. И даже очень и очень развитое чувство правды и справедливости, здесь нет сомнений. Только с этим чувством люди живут значительно. Этот кровный закон — соблюдение правды — вселяет в человеке уверенность и ценность его пребывания здесь, я так думаю, потому что все остальное прилагается к этому, труд в том числе, ибо правда и в том, что — надо есть.

Эту сумму унаследованных представлений о жизни, о способе жить я и хотел, кстати, обнаружить в Иване и Нюре, героях фильма «Печки-лавочки».

Когда я подъезжаю на поезде к Бийску (от Новосибирска до Бийска поезд идет ночь), когда начинаю слышать в

темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь...** Поезд останавливается у каждого столба, собирает в ночи моих шумных, напористых земляков, вагон то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы НТР, но тут опять обнаруживается глубокое, давнее чувство справедливости, перед которым я немею. Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо, ехать близко), распахнула пошире двери и позвала еще свою товарку: «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко!» На замечание, что здесь — купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тетя искренне удивилась: «Да вы гляньте, чо в коридоре-то делается!.. А у вас вон как просторно». Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это — справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но... но уж пусть лучше мы придем к мысли, что надо строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному: одни будут в коридоре, а другие — в загородочке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. А совесть у человека должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения «правила передвижения пассажиров» — правила можно написать другие, была бы жива совесть. Человек, начиненный всяческими «правилами», но лишенный совести,— пустой человек, если не хуже.

Родина... Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский «запас прочности»: всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу. Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот — есть еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воз-

дух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу.

Я долго стыдился, что я из деревни и что деревня моя черт знает где — далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительную, как на грех, во флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства: ребятки в основном все из городов, из больших городов, я и помалкивал со своей деревней. Но потом — и дальше, в жизни — заметил: чем открытее человек, чем меньше он чего-нибудь стыдится или боится, тем меньше желания вызывает у людей дотронуться в нем до того места, которое он бы хотел, чтоб не трогали. Смотрит какой-нибудь ясными-ясными глазами и просто говорит: «вяцкий». И с него взятки гладки. Я удивился — до чего это хорошо, не стал больше прятаться со своей деревней. Конечно, родина простит мне эту молодую дурь, но впредь я зарекся скрывать что-нибудь, что люблю и о чем думаю. То есть нельзя и надоедать со своей любовью, но как прижмут — говорю прямо.

Родина... И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь непохоже по жизни-то... Отчего же? Может, потому, что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно, так. Благослови тебя, моя родина, труд и разум человеческий! Будь счастлива! Будешь ты счастлива, и я буду счастлив.

ЗАВИДУЮ ТЕБЕ...

“У меня есть мечта: стать комбайнером. Смотрю, как комбайн идет по полю, сердце петухом поет! Я уже думаю, как сяду за штурвал...

Но у нас есть учительница, которая дразнится: «Колхозники вы, больше никто!» Однажды, когда была линейка и директор называл учителей, им ребята хлопали и даже «ура» кричали, а ей никто не хлопал.

Когда я рассказал про эту учительницу маме, она долго молчала, а потом сказала, что хлеб — самое главное, без него все бы умерли.

Не знаю, что мне делать со своей мечтой. Вчера услышал по радио: «Спасибо тебе, человек, имя которого хлебороб». А может, хлебороб и колхозник — разница? Может, колхозником стыдно быть? И как тогда моя мечта? Ответьте мне, пожалуйста, через газету, правильно ли я мечтаю, чтобы я больше не сомневался.

Называть мою фамилию не надо".

(Письмо в редакцию)

Мне дали прочитать твое письмо, и захотелось с тобой поговорить. Правда, трудно говорить с человеком, не называя его по имени, но раз ты так решил, пусть так будет.

Я начну с того, с чего начал и ты,— с мечты. Но тут мы сразу же и разойдемся: я не люблю мечтать. Я не верю мечте. Ты же несколько (чуть-чуть) хвалишься своей мечтой, и я даже уловил в твоих словах нотку угрозы: вот возьму и перестану мечтать! Словом, ты мечтаешь, я — отмечтался. У обоих у нас есть на то основание: ты начал жить, я отшагал уже изрядно, Можем мы понять друг друга? Можем, при желании. Я не хочу, чтобы ты разучился мечтать (я бы и не смог отучить тебя от мечты, если б даже и захотел для чего-то, это не в моей власти и ни в чьей власти), я только хочу, чтобы ты знал: к желанной цели тебя приведет не мечта, а разум и труд. Я боюсь, что ты уже слышал-переслышал это и скривишь недовольно лицо, не дослушаешь меня. Мне хочется быть очень убедительным, но я не могу найти слов более точных, чем эти два: разум и труд. Не вина этих слов, что употребляют их слишком часто, иногда попусту, всуе, притворно, «ради хорошей отметки» или чтобы породить в людях хорошее о себе мнение... Слова не виноваты, они говорят правду, они вечны. Если бы тебя хоть сколько-нибудь мог убедить мой, например, жизненный опыт (я тоже — деревенский, жить начинал трудно, голодно, рано пошел работать),* то он тоже в этом: главная сила на земле — разум и труд. Здесь не должно смущать, что это слишком уж просто: за этой простотой люди за тридевять земель ходят, ее добывают всей жизнью. Это не просто, просто как раз не понять этого. За тобой право подумать, что разумному и трудо-

любивому не всегда хорошо в жизни, ты мог это заметить, но за мной право утверждать, что — все ценное, прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюбивый человек. Никогда еще в истории человеческой ни один паразит не сделал ничего стоящего, ты тут должен согласиться.

Что касается мечты... Я не отвергаю мечты, но верую я все же в труд. Мечта мечтой, а когда мастер берется за дело, когда руки его знают и умеют сделать точно, красиво, умно — это подороже всякой мечты. И еще: я не доверяю красивым словам. Мечта слишком красивое слово. Слов красивых люди наговорили много, надо дел тоже красивых наделать столько же, и хорошо бы побольше.

И еще совет: не обижайся на учительницу. Она тоже человек, она ошибается, не все еще до конца поняла. Почему она должна знать все?! Вообще, меньше обижайся на людей и не отчаивайся. Ты сам хозяин своей судьбы, никто больше (видишь, и у меня вышло красиво, к сожалению, красиво легче говорить). А кто больше? Ну, подумай, кто? Никто. Знай больше других, работай больше других — вот вся судьба. Это нелегко, это на всю жизнь, но ведь и помним-то мы, и благодарны — таким только. Кто бы ты ни был — комбайнер, академик, художник,— живи и выкладывайся весь без остатка, старайся знать много, не жалуйся и не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным — это будет завидная судьба. А когда будешь таким,— помоги другим. Я знаю, как это нелегко, я, может быть, тоже размечтался... Очень хочется, чтобы это так и было. Завидую тебе, твоим четырнадцати годам,— ты начинаешь, может быть, начинаешь хорошо, по крайней мере, есть возможность начать хорошо — а дальше вся жизнь. Много можно сделать! Еще: читай больше. Гони — в будущем — мысль о выпивке. Не начинай курить. Не тянись за теми, кто это рано начал делать — худое дело. Помни, что тебе надо много успеть сделать для своего народа. И все, что будет мешать этому — вино, табак (надо быть здоровым человеком), лень, непомерное честолюбие,— гони все прочь от себя.

Всего доброго!

КВИНТЭССЕНЦИЯ ДУШИ

Заявка на литературный сценарий двухсерийного художественного фильма

«Квинтэссенция души» — это должно поначалу обозначить некое «новое» учение о сверхсильной душе, суть которого: обнаружение возможностей невозможного. В конце это понятие прочитывается так: история взбесившегося подлеца, возомнившего себя личностью, притом личностью сильной, способной якобы на подвиг разума и воли. Все «учение», подкрепленное соответствующей терминологией, дневниковыми записями, цитатами мудрецов, обернулось грязным, подлым убийством.

Следственное дело, излагающее историю этого преступления (15 томов), позволит авторам привлечь — в меру надобности, уместности — богатый документальный материал (дневники подсудимого, письма его, свидетельские показания, наконец, его допрос).

Но не ради одного разоблачения лжеучения следовало бы сделать этот фильм (при всей смехотворности этого учения нельзя, однако, не заметить, что оно несет определенную опасность как прецедент и разновидность исходной позиции антиобщественных вылазок), а потому еще, чтобы обнаружить и подтвердить незыблемость вечного человеческого закона: всякий, кто свое отношение с миром захочет строить на принципе жестокости и насилия, жестокость и обретет как возмездие.

Вот вкратце сама история:

Некто по фамилии Виккел (все фамилии вымышлены), молодой человек, окончивший медицинский институт (психиатр по специальности), должен ехать по распределению на Север. Он не хочет ехать, он полагает, что ему, человеку редких способностей, на Севере не сделать той карьеры, какую он сделает (должен сделать!) в Ленинграде. Карьера ему мерещится блестящей, головокружительной, но... не за счет труда или ученых изысканий в своей профессии, а за счет житейской ловкости, гибкости, вероломства. Так — к 25 го-

дам своим — он полагает, как следует поступать человеку умному, сильному. Силы он в себе чувствует огромные, воззрений же подобных набрался не теперь, не сразу и, кстати, не без влияния отца. В свое время, в войну, отец Бориса Виккела симулировал психическое расстройство, чтобы не воевать, и не воевал, получив соответствующий документ. А было это в Ленинграде, в блокаду, и даже такое горе вокруг, такие непереносимые страдания людей не проломили совести папаши Виккела, он, здоровый человек, не взял в руки оружие, чтобы бороться с врагом. Столь же непроходимый эгоизм, бессовестный расчет усвоил потихоньку сын. Папа с мамой старались тут в меру сил: он, мальчик Боря, брал с родителей по 10 копеек за то, что ходил в магазин за хлебом. Родители аккуратно расплачивались с ним. Больше того, они подарили мальчику копилку (фарфоровый бочоночек), и он часто тряс около уха бочонок и с недетским вожделением слушал, как звенят ЕГО деньги. Позже он «за услугу» брал с родителей больше.

(Покрасить забор — 10 р., покрыть крышу на даче — 500 р.)

Что нужно Борису на первых порах? Не ехать на работу по распределению, получить целиком в свое распоряжение квартиру, дачу и сбережения родителей. Вместе с тем он обдумывает, как выгодно жениться, для того исследует варианты — один за одним — женитьбы то на дочери генерала, то на дочери профессора. Исследования носят названия — «операция»: «Операция «Университет — 0070», «Фрау», «Рентген», «Пантера».

Итак:

Не ехать по распределению. Как? И он придумал: убить 11-летнюю сестренку. Убить и труп зарыть. Он раскинул своим умом, что подобное потрясение в семье вызовет к нему сострадание, его не пошлют далеко от родителей, которые в таком горе. В других он предполагает и учитывает чувство жалости, сострадания, использует в своих целях эти человеческие качества... и презирает людей за это. Попутно он хочет начать проявлять свою теорию на практике: к цели любыми средствами. Он убил сестренку (задушил), труп закопал в подвале дачи. Он на следствии расскажет потом, как тщательно он продумал это убийство, как аккуратно душил,

стараясь, чтоб капли крови изо рта ребенка не попали на его рубашку и на одеяло, как не забыл бросить в яму игрушки девочки, чтобы подумали, что она куда-то ушла из дома с игрушками, как для этого же предварительно сбегал открыл калитку, как полил яму в подвале (могилу сестры) керосином, чтобы, если хватятся искать с розыскными собаками, собаки не учуяли бы труп. Он рассказывает, как во время убийства сестры он думал: если войдет отец (отец собирал в саду клубнику), то он тут же пристрелит его из малокалиберной винтовки, которая стояла в углу заряженной.

Итак, первый шаг сделан. «Квинтэссенция души», как наука, обогатилась первым драгоценным опытом: первый труп. Можно убивать безнаказанно, если делать все тщательно и умно. И еще обнадеживающий вывод: нет ни капли размягчающей жалости, сентиментальности — железная воля и спокойствие. С этим можно далеко пойти. Мелкая, отравленная тщеславием, злобой и необъяснимой какой-то свирепостью душа его ищет содрогнуться в новом акте насилия; разум, приспособленный отныне к работе обдумывания и сокрытия преступлений, целиком поглощен этой работой. Человека, готового жить, радоваться, любить — нету, есть выродок, напичканный изречениями, которые он во множестве записывает в своем дневнике («нет такой высокой стены, которую не перепрыгнул бы осел с мешком золота», «честность хороша в том случае, когда вокруг тебя все честные, а ты — мошенник»).

Он замышляет убийство родителей. И он осуществляет это убийство, инсценировав его как самоубийство. На допросе потом он будет гордиться тем, как он опять все тщательно продумал и проверил. Опять поползновение в сторону наукообразного «опыта», бред насчет «квинтэссенции души» (можно, очевидно, еще так сказать об этой «науке»: исключительное право души, способной жить целенаправленно; но это далеко не Родион Раскольников, которого отличал мучительный поиск смысла и назначения бытия, здесь — убогая, злая мелкотравчатость, здесь выбираются любые средства, но — никакой цели, кроме дачи, квартиры, собственной «Волги» и, очевидно, высокого конъюнктурного положения), то есть опять встает изворотливый гад, мстящий живой жизни за свое ничтожество.

Он застрелил мать и отца, отцу положил в кровать двустволку с концом шпагата, привязанным к спусковому крючку: якобы тот сперва убил жену, потом себя, дернув за шпагатину. Потом он изображает горе... Он понимает, что надо показать горе. При этом следит: обращают ли сбежавшиеся люди внимание на то обстоятельство, что отец лежит в очень уж покойной позе, в позе, скорее, человека, спящего перед смертью, нежели человека, принявшего смерть посредством выстрела в себя. И это преступление пока что сошло с рук; тут, кстати, пригодился тот документ, с помощью которого отец в свое время не пошел на войну: сын положил его в такое место, где он не мог быть не обнаружен. Фальшивая справка, подтверждающая психическое отклонение отца Виккела, сослужила еще раз: ее по праву можно рассматривать как признание отца, что он сам взрастил убийцу себе. За все в жизни надо платить. Эта справка обретает поистине зловещий смысл: в семье давно жила ложь; ложь, нечистоплотность (отец, будучи директором школы-интерната, приносил в дом украденные в школе вещи: телевизор, малокалиберную винтовку), жадность, расчет — все это должно было убить живую душу Виккела-сына, и убило. Дальше он пошел сам убивать.

Рядом с Борисом Виккелом все время находится (сперва на правах невесты, потом — жены) Татьяна Маевская, которая, в конце концов, и дала повод к разоблачению убийцы. Но она заметила в поведении мужа то, что и должна была заметить, будучи здоровым, нормальным человеком, основной и главный разоблачитель убийцы был сам убийца.

Здесь (наверное, это должна быть вторая серия) следует проследить, как неуютно и тяжко жить среди людей человеку с мертвой совестью. Весь-то сокровенный смысл фильма отнюдь не в детективной его части, не в том, как изобличают убийцу (хоть это и делают), а в том, как он сам себя изобличает. В обществе, где в основу нравственных и моральных ценностей положен труд, очень и очень непросто пребывать и утверждать иные принципы, вроде этого: к цели любыми средствами. Рано или поздно, но этот «сверхсильный» человек должен был вступить в противоречие с основным требованием развитого общества: к общественно полезной цели — через труд и творчество. Ему стало душно в тесном пространстве своего «учения», груз его омерзитель-

ной тайны сделался непосильным... Он стал опасно для себя болтлив. Если бы он жил там, где сила денег, например, в состоянии оградить человека, преступившего закон, от вторжения правосудия, или где с помощью денег (все сбережения родителей, немалые, надо сказать, перешли к наследнику) можно было бы проложить путь к той самой головокружительной карьере, к которой стремился наш «сверхсильный» герой, может быть, все было бы в порядке. Но в обществе, где используются совсем иные верования, он немедленно очутился в нравственной изоляции. И он из нее стал выбираться... Он стал судорожно искать связи с людьми, стал тяготиться своей тайной, стал подгибаться под ней — стал болтлив и развязен, стал неуклонно вести дело к тому, чтобы разоблачить себя. И все же это не мотив показания, это страх, одиночество, беспомощность довольно, в сущности, слабого человека. В электричке, когда он был слегка «подшофе», он вдруг заговорил со своим институтским товарищем. «А что, если бы выяснилось, что это я сделал?» — спросил он. «Как это может быть, что ты!» — удивился парень. И оттого, что это очень уж нелепо, не придал значения этим страшным словам. Но Виккел ведет себя все более нелепо, странно: он снова и снова заговаривает об убийстве. Он неоднократно заговаривает об этом со своей женой, и все в таком же духе: «А что, если бы ты узнала, что это сделал я?» Он ведет себя так, как если бы заболевший проказой человек, один только догадывающийся о своей болезни, беспрерывно выспрашивал у всех: «А что делают с прокаженными?»

Подробно принципы своего «учения» он досказывал следователю по особо важным делам, на следствии. От «учености» нашего героя ничего не осталось: он стал изо всех сил спасаться. Стал, например, клонить к тому, что он — ненормальный. Три месяца его исследовали самые авторитетные специалисты — нормален. Тогда он вновь стал налегать, что его убийства — это тяжкие, но необходимые для открытой им целой науки эксперименты. Но тут же вскрывалось, что он — довольно корыстное существо (он даже пожалел и не надел новый костюм на покойного отца, а надел поношенный и так схоронил). Понимая, что спасения нет, что он приперт к стене, он инсценирует (опять инсценирует!) самоубийство в камере (хотел повеситься, но как раз напро-

тив смотрового окошечка, куда ежеминутно заглядывает охранник). Он с великой легкостью забывает (он же в изобилии записывал все, что относится к сильным личностям!), как ведут себя сильные в преддверии смерти: он суетится, ловчит, рассчитывает, позирует, то выказывает наигранное спокойствие, а то намекает, что — ненормален.

«Сверхсильной» личности, в конце концов, было неопровержимо доказано, что он — взбесившаяся мразь, у него — путем обычной логики — отняли все претензии, сняли с него все покрывала «ученого» и «героя»... и вынесли смертный приговор.

«Я РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ...»

Беседа с корреспондентом газеты «УНИТА»

Далеко не часто бывает такое «совмещение», как у вас, когда один человек выступает как писатель, режиссер, актер. «Калина красная» меня просто поразила. Тема фильма чрезвычайно проста, но он производит очень сильное впечатление на зрителей независимо от того, кто они. Я разговаривал и с простыми людьми, и с интеллигентами... и для меня, иностранца, это изображение России такой, какая она есть. И в этом фильме, и в «Печках-лавочках». Я хотел бы понять, почему вы открываете двери этого крестьянского мира. Может, я задаю вопросы несколько беспорядочно, но я именно пытаюсь понять. И еще одно: кое-кто усмотрел в «Калине красной» нечто такое мистическое... эта деревня — единственное светлое пятно... поймите меня правильно, не мистицизм религиозного характера, а именно что деревня, природа, сельская местность — это единственно светлое пятно. Как вы это расцениваете?

— Я родом из деревни, крестьянин, потомственный, традиционный. Очень рано пошел работать. Это была война,

мы недоучивались в школах. Я окончил семь классов школы и пошел работать. В четырнадцать лет. Пошел работать, затем... подошел срок, и я пошел служить, служил во флоте. Затем только у меня в жизни появился институт.

А до этого я сдал экстерном за десять классов. То есть от начала вступления в самостоятельную жизнь до возможности осмысления в институте того, что я успел увидеть — это порядка 10—11 лет, — прошел период набора материала, напитанности им. Стало быть, мне в институте уже можно было объяснять на базе собственного жизненного опыта.

Я, к счастью моему попал учиться в мастерскую очень интересного человека, человека глубокого ума. Интеллигента. Михаила Ильича Ромма, ныне покойного, к сожалению... Я его с благодарностью вспоминаю всю жизнь. Вот, может быть, то обстоятельство, что я уже успел кое-что повидать и встретился с разумом, был в состоянии мне помочь осмыслить мною же виденное, привело меня к тому, что, положим, захотелось писать. Я писать начал в институте, и первые опыты мои литературные как раз читать начал Михаил Ильич Ромм. Он, что называется, и благословил меня на этот путь, он и просматривал рассказы. Ну, это были еще слабые рассказы, тем не менее, он мне советовал не оставлять этого дела, что я и делал потом. По окончании института я уже выбрался на профессиональную дорогу и стал печататься.

Это так. Что касательно, так сказать, дороги в искусстве, — о чем рассказывать? Я не мог ни о чем другом рассказывать, зная деревню. Я был здесь смел, я был здесь сколько возможно самостоятелен; по неопытности я мог какие-то вещи поначалу заимствовать, тем не менее, я выбирался, на мой взгляд, весьма активно на, так сказать, однажды избранную дорогу... И, в общем-то, мне кажется, я не схожу с нее, то есть темой моих рассказов и фильмов остается деревня. Мне тут думается: надо прожить три жизни, чтобы все рассказать. Может быть, несколько меняется интонация в разговоре. Вот до сих пор меня, предположим, интересовала деревня как таковая, вот там взятая, на своем месте взятая. А теперь... деревня ведь у нас пошла, она пошла в город, вышла на дорогу, она стала видеть город у себя дома, в деревне, так сказать, в виде всяких технических новшеств,

строений... вот, даже способа работы: техника, механизмы... Отсюда деревня стронулась, и вот на этом периоде, на этом своеобразном распутье меня тоже деревенский человек интересует. Вот он вышел из деревни. Что дальше? Мне думается, что фильм «Калина красная» в этом смысле прямо отвечает на эти, что ли, новые для меня задачи.

Но меня меньше всего, как это ни странно, интересует уголовная история. Больше интересует меня история крестьянина. Крестьянина, который вышел из деревни... Я так полагаю: поначалу я отваживался удерживать крестьянина в деревне, отваживался писать на эту тему статьи, призывать его. Но потом я понял несостоятельность этого дела... Если его жизнь так поведет, он уйдет, не слушая моих статей, не принимая их во внимание... Отсюда переосмысление: ладно, если ты уходишь — то уходи, но не надо терять себя как человека, личность, характер... Когда происходит утрата — происходит гибель человека, нравственная. Я себе представляю фильм и не с таким трагическим концом, как... этот обостренный случай. Мог быть и не такой обостренный случай. Но произошла нравственная гибель человека. Я так полагаю, что не столь физический конец, физическая смерть этого человека тревожит... Хотя она, в общем, тревожит, она тревожит нашего обывателя: почему вот убили, жаль, что убили. А тревожит гибель нравственная. В деревне, наверное, оставаясь там, где он родился, он был бы, наверно, хороший человек. Но так случилось, что он ушел от корней, ушел от истоков, ушел от матери... И, таким образом, уйдя — предал. Предал! Вольно или невольно, но случилось предательство, за которое он должен поплатиться... Момент, или, так сказать, вопрос расплаты за содеянное меня очень, ну вот по-живому волнует. Очевидно, мы за все, в самом деле, должны платить в жизни, и при всем при том, что нам иногда жаль прямо так глядеть и видеть, как человек погибает, но сила разума нам должна говорить, что, если случилось непоправимое, что, если случилось необратимое, приход к такому финалу, к такому концу жизни должен состояться все равно; он должен состояться, и он состоялся. Вот как я полагаю и думаю, теперь исследуется в моих же работах та самая тема деревни, которая началась в рассказах довольно, в общем, мирно. Присутствовал юмор, были

какие-то намеки на характеры... Я думаю, здесь надо обострять, обострять как можно активнее, безжалостнее... доводить разговоры до предела... Таким образом, в чем же мой совет-то общий, человеческий зрителю фильма? В том, что можно уйти... но нельзя себя утерять, утратить как человека, потому что, так или иначе, придет за это расплата... Вопрос совести, вопрос нравственного богатства нашего, даже не столько нашего, сколько в целом общества... В обществе, вообще говоря, вопрос совести должен стоять высоко и дорого, и когда наши современники утрачивают так или иначе остроту этого вопроса или идут на какие-то компромиссы, он у нас же на глазах должен получить, обрести своеобразную оценку этому... Мы на этом должны учиться... Меня не тревожил вопрос, положим, что это смотрят юные ребята, которые в подворотнях любят ножичек в карман... Но если говорить о том, что надо бы их учить, то, может быть, надо так учить, показав судьбу целиком от начала до конца... А наши голые, прямые слова перестают на каком-то этапе работать, они отлетают ото лба, и это их не волнует, наши добрые побуждения...

Ведь как случается в семье? Отец, умный, нормальный отец, говорит сыну какие-то хорошие слова. Сынишка выходит в подворотню и там слышит слова от своего сверстника, но какого-то своеобразного вожака. И парадокс, и дикая вещь вступает в силу: что вдруг тот становится для него авторитетнее. Разговор при помощи ремня тут несостоятелен. Нужно обрести мудрость отцу, чтобы перебить тот авторитет каким-то знанием, каким-то старшинством ума, убить тот авторитет и вернуть утраченный свой. Я думаю, что и искусство тоже так. Это применительно к «Калине», к ее нравственным выводам. Не прямо учить, а через какую-то судьбу, характер, через гибель даже... через гибель...

— То есть вы хотите сказать, что декларации в чистом виде не дают желаемого эффекта, в то время как что-то вроде притчи, судьба человека от начала и до конца, судьба человека с закономерным необходимым финалом, может этот результат дать?

— Это может быть гораздо лучше и ощутимей...

Вот я думаю, что рассказы в этом смысле где-то продолжают работу мою же в кино... Я думаю, что идет там тот же поиск нравственных ценностей людьми, которые стронулись, сдвинулись с места. Вообще это делать тяжело, например, уходить из родного дома, тяжело уходить от родных мест... Но коль надо и необходимо, так случилось... А надо и необходимо это, потому хотя бы, что у нас в сельском хозяйстве просто занято гораздо больше людей, чем, в общем-то, нынешнее положение вещей позволяет. То есть это есть и будет, уход вот этот. Но уход-то уходом, а как быть, положим, когда человек здесь родился и получил что-то от отца, деда, матери, бабки и ему не надо делать нового труда для того, чтобы познать, что хорошо и плохо, что — добро, что — зло; он как-то готов к этому самим процессом незаметного для него воспитания окружающими людьми, природой... Теперь: вот он стронулся с места и каким-то образом остался один. Обязательно надо обнаружить нравственную основу, нравственную крепость обнаружить в себе, чтобы не потеряться. Я думаю, что рассказы, скорее всего, освещают вот этот мотив, вот это изначальное самое первое обнаружение... в новых обстоятельствах — новых нравственных опор. Вот первые шаги он сделал, и уже его не подкрепляет сзади ничто. Мне вообще хочется, чтобы сельский человек, уйдя из деревни, ничего не потерял дорогого, что он обрел от традиционного воспитания, что он успел понять, что он успел полюбить; не потерял бы любовь к природе... Потому что несколько меня угнетает изолированность от всего этого городского человека. Отсюда у меня желание, чтобы он это хранил в себе и нес бы дальше в жизнь. Но одно дело — я и мои авторские пожелания, другое дело — сам человек: я понимаю всю трудность этого героя моего. Больше того, я понимаю и свою трудность, я и сам еще не очень хорошо понимаю, что он должен обрести, что он должен полюбить... Очень хочется, чтобы это не было временным чем-то, а хочется, чтобы это было у него так же прочно, как было прочно до него веками...

Положим, научно-техническая революция. Это красиво звучит, но ведь это несет с собой еще и негатив какой-то. Я хочу, чтобы герои, чтобы наши люди не растерялись от такого вторжения техники, не растерялись и чаще бы при-

влекали для решения вопросов в тех или иных ситуациях совесть, силу сердца своего... совесть, совесть и совесть, вот это не должно исчезать. Я, к сожалению, живя в городе, наблюдаю теперь с этого конца приход деревенских людей и вижу, что утрата таки происходит... То есть на веру берутся какие-то такие ценности, которые не есть ценности. Например, они быстро научаются такому какому-то стертому языку, перестают говорить, как они говорили, положим, у себя в деревне — красиво, гибко, певуче, окая, образно... Но неопытный человек полагает, что язык деда и бабки устарелый язык, и он скорее схватывает, и с удовольствием схватывает такой нейтральный городской язык, общий, стертый, невыразительный, сорочий... И он меняет одно на другое. Мне это со стороны видно — и теперь, уже пожив (мне сорок пять лет), так сказать, а я имею какой-то опыт, мне теперь виднее, что это зря; не надо так терять язык... Вот, наверное, здесь где-то рассказы, так сказать, сосредоточены... Иногда читателям моим кажется, что я противопоставляю деревню городу, что мол, там все хорошо, а здесь все плохо... Это, в общем, не так, не так... Я просто, может быть, смелее, отважнее и... ну, умнее, что ли, в тех вопросах, которые я сам хорошо знаю. Тут еще нужна новая смелость, для того чтобы ступить...

Я чувствую, кстати, потребность нового режима в работе, я чувствую, что надо еще на одну ступеньку ступить: положим, овладеть и городским материалом. Другое дело, что это труднее сделать, для этого нужна новая какая-то мудрость, нужно обрести эту мудрость, нужно понять, что город... ну, не враждебная сила, а раз уж здесь живут люди, много людей, и творят ценности, и пишут книги, и создают фильмы, и, значит, не все здесь плохо, и больше того, наверное, здесь очень много хорошего. Но как крестьянин я, может быть, растянул этот процесс сближения, так сказать, на слишком долгое время и, может быть, был излишне осторожен. Но я знаю, и герои мои в этом положении ведут себя так же осторожно. То есть мне эту осторожность их не хочется и спугнуть: будьте осторожны, только точнее выбирайте, только точнее находите умную книгу, точнее распознавайте настоящих людей, не ошибайтесь... меньше ошибайтесь, реже ошибайтесь; не берите на веру, так сказать,

такого ультрасовременного человека, окончившего много-много вузов, не полагайте, что это самая великая ценность... ищите глубже, как вы умеете, по-крестьянски... И тогда, в общем, не будет большой беды, что вы ушли из деревни, стали городскими жителями.

— Вы хотите сказать, что с корня-то человек съехал, но в душе этот корень должен остаться?..

— В душе должны остаться те силы, которые не позволят этим людям, уехавшим вчера из деревни, сегодня пополнять ряды городских обывателей. Это отчасти происходит, и это очень жаль. Это очень жаль... Я вижу, как вчерашняя деревенская девушка приехала сюда в город, устроилась продавщицей, и, к ужасу нашему, если она догадается ужаснуться, она, прежде всего, научилась кричать. Почему? Потому что овладеть традиционной городской культурой — это тоже с налету не сделаешь, это тоже, так сказать, процесс длинный, большой, вековой. А к сожалению, она только... осмелела здесь, на своем месте, и уже, значит, что-то утратила... Это жаль, жаль... Глубоко жаль. Мне охота помочь литературой своей кино. А уж поскольку я родством деревенский, я и обращаюсь к той же теме, но отнюдь не исповедую, будто там хорошо, а здесь плохо.

— Значит ли это, что вы будете продолжать эту же тему? Если нет, то чем вы собираетесь заниматься как в области литературы, так и в кино?.. И, если можно, ваши планы ближайшие, хотя, конечно, это очень трудно спрашивать у писателя, какие у него планы. Я знаю, например, о вашем новом фильме. Я имею в виду «Степана Разина».

— Теперь я думаю, что где-то по осени выйду в запуск фильма о Степане Разине. Я давно к этому иду, примерно шесть лет.

Почему мне хочется сделать этот фильм? Не разъезжается ли он с постоянной моей тематикой? Я думаю, что нет, потому что Степан Разин — это тоже крестьянство, но только триста лет назад. Почему эта фигура казачьего атамана выросла в большую историческую фигуру? Потому что он

своей силой и своей неуемностью, своей жалостью даже воткнулся в крестьянскую боль. Вот это обстоятельство. Были до него удачливые атаманы, после него удачливые атаманы, были такие же яркие... Это была среда, которая выдвигала, выдавала из себя действительно по-настоящему одаренных людей, воинов и разбойников... Но почему же один так прочно пойман народной памятью? Потому что он неким образом ответил вот той крестьянской боли. На Руси тогда начиналось закрепощение крестьянства. Оно разбегалось, оно искало заступников, оно оборонялось всячески от боярства, которое шло по переднему плану, и от закабаления. И когда появился такой вожак и мститель, — конечно, он собрал громаду людей. И оттого, что он сложил голову за это дело, он вошел прочно и в историю, и особенно в крестьянскую память... Отсюда, так сказать, он у меня и появился как яркий, неповторимо яркий, сильный, вольный, могучий заступник крестьянства. Он казак, это немножко обособленное сословие русского народа, но для меня он прежде всего крестьянский заступник, для меня, так сказать, позднейшего крестьянина, через триста лет. Для того чтобы мне его понять в зачине, я его воспринимаю в одном качестве: это казак, это ремесленник от войны, это неким образом не крестьянин... Но дороже всего мне этот человек именно как человек, искавший волю... Замкнувший крестьянскую боль и чаяния. Вот отсюда — продолжение темы, а во времени — отскок на триста лет назад в историю. Но все это тоже крестьянство. Я так думаю, что я просто-напросто не сумею много рассказать, проживи я даже три жизни... Слишком крут перелом, слишком крутой поворот в истории общественной формации, общественной психологии, особенно в среде крестьянства. А если еще помнить, что в двадцатые годы в нашей стране было, наверное, восемьдесят процентов крестьян, подавляющее большинство, то есть можно говорить о народе, почти о народе... ну несколько вычленяя специфику крестьянской жизни, интересов.

Таким образом, когда нынешние критики говорят «деревенский писатель», они не совсем правы в том плане, в котором наклейкой, этикеткой своей немножко обуживают смысл самого этого явления. Мне нравятся так называемые деревенские писатели... Мне они представляются очень че-

стными людьми. И они не случайно пришли. Я ничуть не отказываю в каких-то ценностях другим писателям, городским, положим. Но у меня язык не поворачивается обозвать их просто «городскими», мне кажется, я их этим обижаю.

— *Как вы думаете, когда может начаться и закончиться этот фильм о Степане Разине?*

— Я думаю, он начнется осенью этого года, 74-го, а закончится где-нибудь в конце 76-го.

— *Сценарий ваш?*

— Да, сценарий мой.

— *И вы будете режиссером и актером?*

— Режиссер — я, а вот актер — не знаю. Я поищу актера, я пока не знаю...

— *Однако вам самому хотелось бы сыграть роль Разина?*

— Да, да! Наверное, так и будет, но я не откажу себе в поиске. У нас очень провинции богаты актерами. Это так происходит: вот люди одинаковых способностей окончили училище, институт театральный, но один остался — сумел остаться здесь, это не так просто, а другой уехал на периферию. Этого знают, а там живет... Мне охота поездить, там посмотреть, нет ли там свежего лица... Мне очень нравится, когда свежие люди, не примелькавшиеся.

— *Будет ли в этом фильме сниматься ваша жена?*

— У меня там женских ролей почти нету. Это — «мужской» фильм, повстанческое движение, восстание, бунт, мало женщин совсем. У него, у Разина, есть... она его тетка, Матрена Говоруха, есть жена. Личной жизни очень немного: куда-то поехал, приехал домой, что называется, и только для того, чтобы вот опять начать. Частной жизни минимум, совсем мало... Но, кажется, тут не в этом дело: тема

иначе взята. Кроме того, размер фильма. Даже если две серии, но все равно этого мало, чтобы показывать еще и личную жизнь, которая всякий раз нетороплива, всякий раз требует огромного метража и времени, и пространства. Я написал роман о Разине. Он в этом году выйдет.

Почему я отважился на роман, имея предшественников романистов Чапыгина и Злобина... Хорошие романисты... Но прошло время, потом, они не имели, положим, столько документов для спокойного прочтения... Сейчас издан трехтомник документов о восстании Степана Разина. Я себе представляю, как они работали. Когда они добывали один документ, они тряслись над ним, и, в общем, он подавлял уже своей уникальностью, своей редкостностью. А я этот трехтомник свободно перелистываю туда-сюда, пользуюсь им, как хочу. И я в этом смысле несколько свободнее, не столь парализован документом, как мои предшественники. Ну и, кроме того, от чапыгинского романа уже отошло вон сколько времени, чуть не сорок лет... Злобинский роман мне меньше нравится, а вот чапыгинский я люблю. И, тем не менее, я все же вышел на собственную интерпретацию этих событий и фигуры Разина в целом. Я, наверное, более свободен здесь от его казачьей принадлежности. Я даже сблизил его родство с воронежскими крестьянами, мужиками. Я увидел в каких-то документах возможность так сделать. Это, кажется, так и было... Подавляет ведь что: ну, казак, казак... Они же приходили, беглые крестьяне; весь вопрос, когда... Не столько уж времени проходило, чтобы он утратить успел свое мужичье начало. Это я по себе знаю, как это нелегко, да и не нужно, а тогда-то уж тем более было не нужно. Это мы, по молодости лет, забывали язык, а потом его вспоминали. Я в свое время стыдился по дурости, что я из деревни, так хотелось походить на городских людей, что я молчал, где я родился...

— Какой ваш любимый рассказ в «Характерах»? Что вы больше всего любите из этого сборника?

— Так, так, так... Сейчас я не очень хорошо вспоминаю, что там за рассказы. Тут придется глянуть...

Ну, мне вот представляется: первый же рассказ, «Срезал» называется. Тут, я думаю, разработка темы такой... социальной демагогии. Ну что же, мужик, мужик... Вот к вопросу о том, все ли в деревне хорошо, на мой взгляд, или не все хорошо. Вот образец того, когда уже из рук вон плохо. Человек при дележе социальных богатств решил, что он обойден, и вот принялся мстить, положим, ученым. Это же месть в чистом виде, ничуть не прикрашенная; а прикрашенная если, то для одурачивания своих товарищей. А в общем — это злая месть за то, что он на пиршестве, так сказать, обойден чарой полной. Отсюда такая вот зависть и злость. Это вот сельский человек, это тоже комплекс... Вторжение сегодняшнего дня в деревню вот в таком выверте неожиданном, где уж вовсе не благостность, не патриархальность никакая. Он напичкан сведениями отовсюду: из газет, радио, телевидения, книг, плохих и хороших, и все это у него перемешалось. Но адресовано все для того, чтобы просто напакостить. Оттого, что «я живу несколько хуже». Снят с повестки дня вопрос, что для того, чтобы жить хорошо, надо что-то сделать. Он снимает это. Никаких почему-то тормозов на этом пути не оказалось. Может быть, мы немножко виноваты, что слишком много к нему обращались как к господину, хозяину положения, хозяину страны, труженику, мы его вскормили немножко до размеров, так сказать, алчности уже. Он уже такой стал — все ему надо. А чтобы самому давать — он почему-то забыл об этом. Я думаю, что вот деревенский житель, тоже нынешний, и такой.

— В сборнике «Характеры» есть рассказ «Верую». Описанная в нем ситуация подсмотренная или выдуманная?

— В строгом смысле слова это все же выдуманная вещь. Выдуманная постольку-поскольку... опять же ситуация несколько крайняя, что ли. Но мне нравятся крайние ситуации. Вот поп, скажем... Для того чтобы извлечь искру, надо ударить два камня друг о друга... Мне нравится вот эта сшибка совсем полярных каких-то вещей. В рассказе «Верую» мне показалось заманчивым вот столкнуть некие представления о жизни, совсем разные. И извлечь отсюда что? Вот что: мы получаем много информации ныне. Для того,

чтобы кормить наш разум, мы получаем очень много пищи, но не успеваем или плохо ее перевариваем, и отсюда сумбур у нас полнейший. Между прочим, отсюда — серьезная тоска. Оттого, что мы какие-то вещи не знаем точно, не знаем в полном объеме, а идет такой зуд: мы что-то знаем, что-то слышали, а глубоко и точно не знаем. Отсюда... в простом сельском мужике тоска зародилась. А она весьма оправдана, если вдуматься. Она оправдана в том плане... в каком надо еще больше и глубже знать...

ЗАЯВКА В ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Заведующей редакцией современной советской прозы изд-ва «Молодая гвардия» Яхонтовой З.Н. От писателя Шукшина Василия Макаровича.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в план 1975 г. мою новую книгу «Калина красная» (повесть и рассказы) объемом в 15 листов. В книгу будут включены повесть «Калина красная» и рассказы последних лет, опубликованные в журналах «Наш современник», «Звезда», газете «Литературная Россия» и др. Суть их, говоря принятым языком, не строго «деревенская», хотя и повесть, и рассказы исследуют судьбу выходцев из села. Путь их сложный, нелегкий, но все же ведет он к Человеку. Герои мои, когда я смотрю на них «со стороны», — хотят найти дорогое интересное дело в жизни, не истратить совести, не обозлиться, не иссушить душу. То есть и я хочу им этого же.

Рукопись обязуюсь представить в июле 1974 г.

26 февраля 73 г.
В.Шукшин.

Авторская аннотация сборника, написанная по просьбе издательства:

«Сборник рассказов и повестей»
(Изд-во «Молодая гвардия»)

Если бы можно и нужно было поделить все собранное здесь тематически, то сборник более или менее четко разделился бы на две части:

1. Деревенские люди у себя дома, в деревне.

2. Деревенские люди, уехавшие из деревни (то ли на жительство в город, то ли в отпуск к родным, то ли в гости — в город же).

При таком построении сборника, мне кажется, он даст больше возможности для исследования всего огромного процесса миграции сельского населения, для всестороннего изучения современного крестьянства.

Я никак «не разлюбил» сельского человека, будь он у себя дома или уехал в город, но всей силой души охота предостеречь его и напутствовать, если он поехал или собрался ехать: не теряй свои нравственные ценности, где бы ты ни оказался, не принимай суетливость и ловкость некоторых городских жителей за культурность, за более умный способ жизни — он, может быть, и дает выгоды, но он бессовестный. Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами — стоит ли отдавать его за некий трескучий, так называемый «городской язык», коим владеют все те же ловкие люди, что и жить как будто умеют, и насквозь фальшивы. Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания — не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. Помни это. Будь человеком.

21 авг. 1974 г.

«ИЗБИРАЮ ЛИТЕРАТУРУ...»

Беседа с корреспондентом болгарской газеты «Народная культура»

Первый вопрос, с которым я обратился к Василию Шукшину, касался его отношения к творчеству М.Шолохова, личных впечатлений Василия Макаровича о встрече с этим писателем в его доме. Вот что ответил мне Шукшин:

— Скажу откровенно: Шолохов для меня — открытие. До этого я имел о нем представление только по рассказам разных людей — в клубах, компаниях, ресторанах, редакциях. А это упростило его образ или, сказать точнее, создало нереальное представление о нем. Каким я его увидел при личной встрече? Очень глубоким, мудрым, простым. Для меня — Шолохов — олицетворение летописца... Мое знакомство с посредственными писателями весьма ощутимо способствовало упрощению представления о Шолохове. По образу и подобию этих писателей я создал суетный образ собственной жизни.

Шолохов все во мне перевернул. Он внушил — нет, не словами, а собственным примером, своим присутствием и в Вешенской, и в большой литературе, — что не нужно спешить, гнаться за рекордами в искусстве; что надо искать тишины и спокойствия, чтобы глубоко обдумывать судьбы народные. Будничная суета, стремление схватить и удержать преходящее мгновение порядочно сбили меня с толку, запутали. Я не имел никакого представления о жизни Шолохова в Вешенской. Он открылся мне в реальном, земном свете как труженик в литературе. И я еще раз убедился, что в своей жизни занимаюсь несвойственным для себя делом, распыляюсь, растрачиваю силы — сразу во многих направлениях. Сейчас необходимо подумать о коренном переустройстве своей жизни. Кое с чем придется распрощаться — с кино, театром, актерством, а может быть, и с московской квартирой...

Суета! Суетное стремление ухватить от всего понемножку — вот, что руководило мной. А эта суета губит. Если зай-

мусь всерьез литературой, то должен буду проститься с кино. Многие вещи я и сам для себя еще не прояснил. Но в том, что кино мешает литературной работе и влияет на мой стиль, я уже дано убедился. Коль берешься за литературу, должен всю жизнь посвятить только ей. Она требует большого спокойствия и сосредоточенности, изучения и глубокого знания жизни, мира, в котором живем. Сколько я до сего времени написал книг, столько и опубликовал. Ничего больше нет в моем столе. А серьезный писатель должен всегда иметь что-то, над чем работает, думает, что он шлифует... Теперь я вижу, что ничего значительного еще не создал. Нужно очень глубоко вникать в жизнь и после осмысливать это в литературе. Я не знаю, есть ли в жизни Михаила Александровича такое спокойствие, и вообще может ли творец жить в покое... Но он, Шолохов, может работать... А мы ищем разнообразия, интереса, быстрого успеха. На что только не транжирим свою энергию, полагая, что служим искусству. А выходит — все это суета сует.

Может ли один человек достичь больших успехов во всех видах искусства? Этот вопрос встал передо мной только теперь, когда я увидел, в каких условиях работает Шолохов. Писатель ставит фильм! Да это же компромисс с писательским трудом! Техника кино ограничивает его, не дает ему думать глубоко. Может, в будущем техника раскрепостит нас? Едва ли! И потому я стал перед выбором: кино или литература? Михаил Ромм, мой учитель в кино, говорил: «Искусство требует глубокого пристрастия. Если ты однажды соприкоснешься с киноискусством, то должен отдать ему всю свою жизнь. Вы занимаетесь и литературной работой. Нужно выбирать: кино или литература. Потом будет очень трудно выбирать».

Аудитория кинофильма — миллионы зрителей, а для писателя это редко достижимая мечта. Но кино — искусство быстротечное, а литература — вечное. Нужно выбирать. Режиссер или писатель? За свою прежнюю неопределенность теперь придется дорого расплачиваться... И я еще не могу до конца осознать, чем расплачиваться...

Кино — дело соблазнительное. Но проходят годы, появляются новые фильмы, созданные с помощью новой техники, и сметают «предшественников» с белых экранов. А шо-

лоховская проза стоит крепко, тут уж ничего не скажешь. Крепко стоит и долго живет, а кино, я бы сказал, вертится вокруг нее. Боже мой, сколько уж экранизировано шолоховских творений! А Шолохов один. Его проза жизненна. Правдива. Она кинематографична и с успехом идет на экранах — вот и новый соблазн для киноартиста. Как актер могу сказать: шолоховское слово заряжено высоким напряжением и требует полной отдачи, но в итоге актер получает огромное наслаждение от работы с его прозой.

Роман «Они сражались за Родину» незавершен. Он еще у автора. Мы снимаем то, что уже вышло из печати. Вообще с произведениями Шолохова всегда работается легко. Нет, это сказано не совсем точно. В работе с ними получаешь огромное удовлетворение, ни с чем не сравнимую творческую радость. Есть в них правда, истина. И Бондарчук великолепно чувствует этот материал: глубоко, со знанием дела. В том ему помогает и его собственный солдатский опыт, добытый на фронтах Великой Отечественной войны.

Чрезвычайно талантливо это шолоховское произведение. Михаил Александрович осмыслил войну как войну народную. Мой герой Лопахин — шахтер, в нем выражен подлинный характер народа. Не знаю, как я его сыграю. Но Лопахин —человек живой: встретил, например, на фронте женщину и хочет ее обольстить. Просто, без хитрости, без лукавства. Это правда жизни. Надоели мне схемы. Искусство и литература должны черпать истинные проблемы из своей жизни.

Мы ничего не меняем в Шолохове. Ни Бондарчук, ни я. Дай бог, как говорится, справиться мне с образом! Это серьезная литература, и она требует большой ответственности. Шолоховское произведение будет иметь на экране самостоятельное и полнокровное звучание. Я его чувствую, стараюсь быть правдивым, много размышляю над образом Лопахина, вижу, как играют другие артисты, и думаю, что получится отличный фильм. Но нашим судьей будет зритель.

— Михаил Шолохов во время Вашей с ним беседе в Вешенской, говоря о многочисленных экранизациях его произведений, назвал самыми удачными «Тихий Дон» режис-сера Сергея Ге-

расимова и «Судьбу человека» Сергея Бондарчука, ученика Герасимова. Что Вы, режиссер и актер, можете сказать о режиссере и актере Сергее Бондарчуке?

— Именно то, что сказал Шолохов... Место и роль Бондарчука в современном киноискусстве уже ярко очерчены. Он отличный режиссер, великолепный актер! Сергей Бондарчук с профессиональным мастерством решает большие проблемы в кино. Режиссер Бондарчук, по-моему, человек мудрый, очень точный в подборе актеров, к тому же он чрезвычайно тактичен: никому не навязывает свой опыт, избегает что-либо подсказывать артисту, когда уже принято какое-то решение, верит в его силы, всегда поощряет инициативу. Короче, предоставляет артисту возможность творить и зажигает его. Умный режиссер! Он умеет создавать свой микроклимат и в этом микроклимате дает актеру играть, уважая его видение. И актер творит, свободный от опеки режиссера. А это чрезвычайно тонкое искусство в искусстве!

— Считаете ли Вы, что фильм «Они сражались за Родину» можно назвать солдатским?

— Бог его знает! Когда закончим съемку, пусть люди сами определят, какой он — солдатский или человеческий. Ясно одно: фильм жду с интересом и судить будут очень строго, потому что создано немало киноштампов, а в этой киноленте, на мой взгляд, есть новаторство. Я не думаю, что «военная тема» на экране имела много удач. Потому что сама тема — глубокая, огромная, ее невозможно исчерпать, ею будут заниматься еще многие поколения творцов. Однако нужно честно относиться к своей работе... Пожалуй, фильм этот — «солдатский», то есть близкий к «Василию Теркину». В нем оживают народные характеры. Рано прогнозировать результаты и реакцию зрителей, но режиссер работает в полную силу, старается делать все, что от него зависит. А зависит от него многое. Если он раб штампа и скован схематичным решением проблемы, фильм и будет решен шаблонно. В кино необходимо больше думать, размышлять о народном подвиге, народной душе, народном характере.

Люди шли на подвиг, потому что осознавали свой долг, масштабы национальной трагедии. Бондарчук сам был среди них, видел пленных, сражался на фронтах, он знает жизнь войны не понаслышке. А потому и стремится рассказать правду о войне.

— Вы пишите романы, делаете по ним сценарии, снимаете фильмы как режиссер и в большинстве случаев сами же исполняете главные роли. Какое изменение у Вас претерпевает проза при движении ее на экран? Не могли бы Вы рассказать об этом творческом процессе?

— Это очень деликатная и сложная работа. У меня дело идет так, у других, видимо, иначе. Движение от прозы к фильму — процесс необратимый. Создавать прозу по кино невозможно — дело бесполезное. Попытайтесь написать повесть по фильмам Чарли Чаплина — результат будет смехотворный. Кино — искусство зрительное, у него и природа совсем иная, чем у прозы. Все слова из романа Шолохова нельзя, да и не нужно переносить на экран. Роман читают, скажем, неделю, а фильм смотрят два часа. Кино — это аккумуляция прозы, оно требует иного подхода, чем литература. Когда я начинаю работать над фильмом, то забываю о литературном произведении — «мотор» сам отключается... Часто даже не читаю сценария, не слежу за точной передачей текста, руководствуюсь лишь действием сюжета. Написанное на бумаге служит мне ориентиром, а сценарий у меня в голове. А то что в голове, никогда ни на какую бумагу записать невозможно. Я и не стремлюсь все, что написано в сценарии, скрупулезно переносить на киноленту. На съемочной площадке остаюсь один на один с актерами, оператором, чтобы принять последнее решение. Но это решение, конечно, соответствует сюжету сценария. У меня во всем объективный подход. Мне уже приходилось записывать сценарии по аналогии с фильмом, потому что я слишком отошел при работе над лентой от первоначального варианта сценария. Например, так было с фильмом «Живет такой парень».

...Мы исследуем жизнь, и не нужно брать ее «взаймы» ни из книг, ни из готового литературного сюжета. Надо, считаясь с законами кино и логикой вещей, создавать возмож-

ность самим актерам творить... Я верю в силу искусства и стремлюсь к правдивому изображению жизни. А съемочная площадка — место, где я творю эту правду «через» актеров.

— Ваше мнение об экранизации классики? Как, по-Вашему, реалистичны ли фильмы, созданные по классическим произведениям русской литературы? Удалось ли языком кино убедительно «прочитать» творения Достоевского, Толстого, Горького, Чехова?

— ... Пересказывают Достоевского, и ничего, как мне кажется, не получается. Режиссер берет сюжет, а потом тонет в нем. Сюжет дал ему повод для разговора, а он вдруг забыл о нем. Так появляются заботы о сюжете, страх перед ним. А сюжет — это, повторяю, повод для глубокого разговора. И тогда — вне сюжета, в отдалении от него — начинают говорить душа, разум, мудрость, сам кинотворец. Если режиссер и актеры талантливы, то результаты будут хорошими. И наоборот.

— Василий Макарович, в литературном произведении один из основных компонентов — язык, а что остается от него в кино?

— Большое отличие черт побери! Вопрос очень серьезный. Даже боюсь на эту тему говорить. Режиссер руководствуется тем, что он скажет и как воспримет эту работу зритель. Ведь, когда читатель читает книгу, у него одно восприятие, когда же смотрит спектакль — второе. Зритель в театре — свидетель сиюминутного действия, а в книге и в кино и читатель, и зритель сознают, что это было когда-то, но верят в то, что действие, событие, судьба описаны точно. Это и определяет детальные подробности языка кинематографии.

Сегодня театр интереснее кино, он ушел вперед и осваивает проблемы, до которых кино еще не добралось.

— До сего момента я беседовал с актером, сценаристом, режиссером, а что скажет писатель Шукшин? Где он и над чем работает, какие у него творческие проблемы и планы?

— Да, меня самого больше всего тревожит, куда ушел писатель Шукшин. В конечном счете это для меня главное. Не могу его оставить в стороне, и порой это пугает. Особенно после встречи с Шолоховым. Он заразил меня своим образом жизни. Этот мудрец сидит себе в Вешенской и думает. Далекий от сует столичной жизни. Наши будни в Москве проходят в напряжении, в стремлении вкусить от всего понемногу. А вечером, когда подумаешь, что ты сделал за день, какой след оставил, — становится страшно. Жизнь ушла дальше, еще один день прокатился мимо. Мы проходим мимо чего-то, может быть, самого главного в жизни, не можем спокойно думать и творить. Это не мое изобретение, это древние мысли. Поддаваясь суетному соблазну схватить, удержать мгновение, далеко не уйдешь. Теперь-то я вижу, что Михаил Шолохов сконцентрировал и претворил эти мысли в жизнь. Нужно работать! И оставить суету преходящего — кино, пьесы, актерство, режиссерство, сценарии. Написать на десяток рассказов больше — вот что останется моим капиталом в жизни! Но, кроме того, что их еще надо просто-напросто написать, большое значение имеет, и с каким литературным мастерством они будут написаны.

...Есть в России умные люди! В Вологде живет писатель Василий Белов. Он метко стреляет дичь: у него всегда крупные литературные трофеи. А я прожигаю жизнь в столице, транжирю ее, и она проходит мимо. Нет, больше не буду разбрасываться! Это решение пришло ко мне после встречи с Шолоховым, и я не думаю отступать. Белов сидит себе в Вологде, а Шолохов из Вешенской мудро поглядывает... Спасибо им, что открыли мне глаза!

— *Что Вы можете сказать о собственной лаборатории писателя?*

— Я думаю, что творец должен иметь глубокое и здравое суждение о человеческой личности, но это свое убеждение он не имеет права навязывать кому бы то ни было в качестве нормы. Каждый из нас очень пристрастен и субъективен. Даже очень хороший писатель может внести такую путаницу в умы людей своими откровениями о литературном мастерстве, что, когда одумается, ему самому станет не по се-

бе... Литературное мастерство, творческая лаборатория — это чрезвычайно сокровенный мир! Я не хочу говорить о литературном Олимпе и дорогих для меня творцах. Можно крепко утонуть в пристрастных оценках, а навязывать другим свой субъективный взгляд я не имею права, да и нечестно это. И вообще я всегда опасаюсь подобных исповедей об индивидуальной работе, о внутреннем мире писателя во время его творческого процесса...

В литературу и искусство я пришел довольно поздно. Я приехал в столицу из села с большими пробелами в знании мира. Всегда рассматривал литературу и искусство как некое откровение человеческого духа. На писателей смотрел как на мудрецов, людей иного мира. И вдруг сам оказался среди них. Прежде моя жизнь была совсем иной — будничной, обыденной. Я считал себя далеким и недостойным мира творцов. Так что же мне распинаться? Чем делиться? Пусть лучше люди читают написанное писателем и сами дают оценку. Я не уважаю откровений о сокрытом от чужих глаз писательском труде и считаю их делом мерзостным. Меня даже злит рубрика «Как я пишу». Еще не показал читателям, на что способен, а уже пустился рассуждать, передавать молодым свой «опыт». Откровенно говоря, я ценю процессию писателя за то, что в ней есть некая тайна: творец хранит в себе нечто сокровенное, отличное от других.

Да мне и не до этих философствований. Я многое упустил в жизни и только теперь это осознал. В кино проработал почти пятнадцать лет, пять лет боролся, чтобы получить московскую прописку... Зачем? Ради чего? Неустроенная жизнь мешала моей творческой работе, и я метался туда, сюда, тратил бездну сил на ненужные, пустые вещи. А силы нужно беречь! Написал две-три книжицы и сделал два фильма: «Печки-лавочки» и «Калину красную». Остальное сделано для овладения мастерством, для самого существования... И потому теперь решил: кончаю с миром кино! Конец всему, что мешает мне писать!

— Василий Макарович, Ваша творческая палитра самовыражения во всех видах и жанрах искусства и литературы очень широка. Где Вы берете время на все это? Полагаю, что, когда

Вы работаете в кино, то «откладываете» литературу в сторону, полностью отдаетесь актерской роли. Но всегда ли это возможно? И еще: не отражается ли на качестве творческого самовыражения столь «высокое напряжение» Вашей жизни?

— Времени, честно сказать, никак не хватает. В наш динамичный и напряженный век ни у кого его нет в избытке. Особенно у меня. Но все-таки я выкраиваю несколько свободных минут, пишу, когда снимаюсь где-нибудь как актер, пишу во время пауз между съемками двух эпизодов. Иногда только ради этого принимаю предложение сниматься в каком-нибудь фильме и уезжаю подальше от столицы, потому что знаю: на съемках могу вырвать хоть немного времени, чтобы пописать.

Большое напряжение отражается и на качестве моей работы — и в кино и в литературе. Возможно, это только у меня так сложилась судьба, судьба человека, распятого между режиссурой, актерством, сценариями, драматургией и литературой. Потому-то и решил твердо: из всех муз, в которые влюблен, избираю лишь одну — литературу. Покину Москву и вернусь в свой родной край — в Сростки. Там, в Сростках, буду жить и работать.

— Нелегко, наверное, будет Вам выполнить свое решение. Перед Вами стоит еще большая задача: реализовать идею двухсерийного фильма «Степан Разин», то есть предстоит еще, по крайней мере, три-четыре года напряженно поработать в кино. А что потом? У нас в Болгарии говорят: крестьянин, который однажды ступил на городской тротуар, никогда уже не выйдет на поле хозяином...

— Кинокартина «Степан Разин» — это моя самая большая мечта. Я уже давно обдумал ее до мельчайших подробностей. Как только закончу эту съемку, распрощаюсь с кино. Это — категорическое решение...

— Может быть, следовало сделать это раньше? Так поступил в свое время и Михаил Шолохов. В молодости, как известно, он одинаково хорошо проявлял себя и как драматург, и как актер (казаки только из-за Шолохова приезжали в станицу Кар-

гинскую, когда он играл в какой-либо из ранних своих пьес), и как солист, и как юморист, и как поэт (от его бывшего секретаря я узнал, что Михаил Александрович пишет стихи, однако не хочет их публиковать). Шолохов не поддавался соблазнам кино и после первой экранизации двух томов романа «Тихий Дон». Он позволил себе расти и развиваться лишь как романисту. И достиг в литературе мировых вершин.

—Да, это так. Согласен. И именно после встречи с Шолоховым, в его доме, я сам твердо решил: вернусь в Сростки!

— Василий Макарович! Ведь Вам будет нелегко, если Вы, и вправду, уедете в Сростки...

— Это почему же? (Шукшин удивился и оторвал взгляд от водной глади Тихого Дона...)

— Ну, допустим, Вам, человеку, родившемуся и выросшему в деревне, не столь тяжело будет расставаться с Москвой. Многие писатели уезжали от столичной суеты, когда приходил, как говорится, зрелый возраст. Да вот вам известный пример с профессором Ленинградского университета Федором Абрамовым, который ушел с профессорской должности, уехал в село и там написал свою знаменитую трилогию «Пряслины». Если вернетесь в Сростки, Вы, полагаю, не пошлете свою знаменитую жену Лидию Федосееву работать руководителем драмкружка при Доме культуры? Она ведь актриса большого таланта, большой известности... Вам придется поискать какое-нибудь другое решение, то есть одному из супругов надо будет пойти на компромисс с собой, на разлуку с искусством. Я уже не говорю о родительских заботах— как дать образование двум своим дочерям...

— Тут Вы правы. Я как раз об этом все время думаю: как же будет с Лидой? АСростки давно уж манят меня и даже во сне являются... Должен вам сказать, что там, в родных краях, я всегда пишу с каким-то остервенением, с неистощимой силой... Писатель, я в этом убежден, может существовать, двигаться вперед только благодаря силе тех жизненных соков, которыми питает его народная среда, само бытие народное.

Конечно, для меня нет красивее села, чем Сростки, красивее реки, чем Катунь... Но разве менее хорош Дон, прославленная красавица-река? Или, скажем, станица Вешенская — чистая, зеленая, степная... Да и в России повсюду можно найти прекрасные уголки, тихие места, нежные березы, чистые реки и широкие степи. Однако Михаил Шолохов живет в Вешенской, наверное, не только из-за красот Дона. Да и я стремлюсь на свой Алтай по той же причине: люди! В них жизненные соки писателя... Народ Сростков — мой родной люд —вот ради кого я хочу вернуться в село. Лучше всего я знаю людей своего села. Их судьбы открыты мне, как линии на ладони. И они удачнейшим образом ложатся под мое перо, их образы точнее всего удаются мне в рассказах, в повестях... Мое детство — трудное, военное — прошло на Катуни, в Сростках, у подножия Алтайских гор. Не думайте, что люди моего родного края какие-то особенные, не такие, как в других местах. Но они мне близки, я полагаю, что знаю их жизнь, быт, язык, нравы, прошлое, характеры, человеческие судьбы... Шолохов — весомое подтверждение того, что писатель не должен, не может избегать дней и атмосферы своего детства.

Примечания

РАССКАЗЫ 70-х ГОДОВ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Первоначально: «Центробежная сила», «В райгородке Н. Разные случаи из жизни Николая Николаевича Князева». Рассказ написан в январе 1973 года. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 9, 1973), затем в «Избранных произведениях». Наброски к рассказу в рабочих тетрадях: *«Приехал в село гонщик. Пришел к нему парень, стал спрашивать, как это ему удается... Гонщик вдруг заважничал, заважничал перед простодушием-то. Стал противный, маленький сразу... даже жена его не узнала и обиделась».*

«Человек, который всех учит... Жил человек, который учил всех подряд. Не мог утерпеть. От секретаря обкома до портного и парикмахера. И получал за это одни неприятности».

«Мессия. Начал вдруг человек на селе прописные истины проповедовать:

Люди должны быть честными;
должны честно трудиться;
не обманывать никого;
не воровать...

Им заинтересовались сельсоветские. Вечерний разговор, очевидно:

1. Кто разрешил?
2. Зачем?
3. К чему?

Запретили».

«В зоопарке. У этого длинного, с раскроенной шкурой (жираф). Езда на пони. Взрослые — 20 к., дети —по 10 к.

А смотрит на все это некий доморощенный философ и приходит к открытию:

— А звери-то... это... умней нас.

— При детях не говори так!

— Почему? Вот — люди: сели на карусель и машут руками — «До свиданья!». А сами — на месте. Так ведь и вся наша жизнь.

Помолчи при детях, идиот!

Некоторые конкретные мысли Н.Н.Князева, человека и гражданина».

ВЫБИРАЮ ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Рассказ написан в феврале 1973 года. Впервые опубликован в еженедельнике «Неделя» (№ 19, 1973). Включен в книгу «Беседы при ясной луне». Наброски к рассказу в рабочих тетрадях:

«Как мужик нанимался на работу. Некий маленький делопроизводитель, который протер на работе не одну пару штанов, раз в неделю, в субботу, приходил на вокзал и там, где курят случайные люди, искал работу где-нибудь в деревне. Проезжих много, начинают советовать, предлагать... Хвалят свои места. Причем из загнанных пассажириков, которых толпами гоняют туда-сюда по вокзалу, люди становятся высокомерными. Особенно охотно берутся устроить судьбу человека люди подвыпившие. Делопроизводитель всерьез волнуется, записывает адреса... До следующей субботы».

«А я погляжу... Как человек долго мыкался в жизни, мучился, неустроенный. Потом возымел желание устроиться куда-нибудь на вокзал и смотреть, как люди не могут достать билет, стоят сутками в очередях, спят на полу, опаздывают на поезд... Какая-то холодная мстительная ярость и злое удовольствие».

ВЛАДИМИР СЕМЁНЫЧ ИЗ МЯГКОЙ СЕКЦИИ

Рассказ написан 2 февраля 1973 года в Москве. Впервые напечатан в газете «Литературная Россия» 30 марта 1973 года. Мотивы рассказа использованы в фильме «Позови меня в даль светлую». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Мещанин взбунтовался. «Крохоборы!» — кричит на других мещан».*

ВНЕЗАПНЫЕ РАССКАЗЫ

Первоначальное название цикла: «Больничные рассказы».

Боря

Первоначально: «В больнице. Зарисовка».

Петька Краснов рассказывает

Первоначально: «Как Петька Краснов рассказывал о своем пребывании на курорте».

Сны матери

Первоначально: «Сны моей матери».

Рассказы впервые опубликованы в журнале «Сибирские огни» (№ 11, 1973). Рассказ «На кладбище» включен в книгу «Беседы при яс-

ной луне» и «Избранные произведения»; рассказы «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту», «Боря», «Сны матери» — в сборник «Брат мой». Наброски к циклу в рабочих тетрадях: *Карманные рассказы.*

Очень-очень коротенькие рассказы — крохотули. Сценки. Должен быть цикл. Надо набирать!

«Боря», «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту», «Петька Краснов рассказывает».

«Внезапные рассказы.

Цикл рассказов, нечаянно рассказанных людьми. Вовсе не придуманных и рассказанных случайно, в самых неподходящих условиях».

«Мечты». Знал одного парня в бытность в Калуге. Тот мечтал стать официантом. Через двадцать лет встретил его — в Москве, официант. Да еще такой... лощеный».

«Рас-з нигде не берут. Нет! «Сиб. огни» родные — взяли».

«Мечта.

Знал одного парня в Калуге, который мечтал стать официантом. Давно это было, нам в ту пору едва ли было по семнадцать. Не было. А потом, лет через пятнадцать, встретил его в Москве, в ресторане, официант. Ничего, прекрасно выглядит. Я не признался».

«Земная Божья мать. Стоял солдат на посту. Слышит: на кладбище плачет женщина. Сказал сменщику. Тот тоже слышал — сказали командиру. Командир кликнул храбрецов. Один поехал на коне.

— Кто тут живой?!

— Я живая.

Женщина... Рядом стоит.

— Чего ты плачешь?

— О молодом поколении плачу. Я Земная Божья мать. И плачу о молодом поколении...

— *Вот скажу так — мне не поверят.*

— Поверят. — И коснулась солдата ладонью — спины.

И когда солдат приехал, у него обнаружили на спине образ Божьей матери. Поверили...»

«Разговор на кладбище:

— Ничего, бабушка, на звезду-то крестишься?

— А чего? Ничего.

— *Ничего, мол, что звезда-то?*

— Дак а чего?.. Он у меня не хуже других был. Чего же? Не последний был человек».

«Странности Петра Краснова.

Это у Петьки — как болезнь стала: день ходит, смотрит, слушает, соглашается, а дома вечером... все начинает ругать и весьма ядовито критиковать».

«Сны моей матери».

1. Как она водила ослика. «А на ослике сидел святой с бородкой. «Поводи, поводи меня». Она догадайся спросить: «А что мне будет на том свете?» Старичок подал бумажку, а там написано... «И буковки-то все наши, и написано много, а ничего не могу понять. Ну ладно, думаю, я еще в избе почитаю. Покатаю еще немного старичка и пойду в избу читать». И проснулась».

2. У сестры матери померли от скарлатины две девочки, 7-ми и 5-летнего возраста. «И вот лежу я на печке... А боялась, боялась, всего боялась, как Макара-то взяли... И тут кто-то с улицы постучался... И уж я будто бы ничего не боюсь сроду, слезаю будто с печки, открываю избную дверь. — Кто? — Мы — отроки. С того света. — А чего вы ко мне-то? Идите вон к Николаю Погодину, он мужик... — Нет, нам к тебе надо. — ...Открыла им... Зашли два мальчика в сутанках. А меня всюе опахнуло приятным таким духом. Сели они. — Чего же ко мне пришли-то? — У тебя есть сестра, у нее померли две девочки. Она сильно по ним плачет. — Да, плачет — жалко. — Скажи ей, чтоб не плакала, а то девочкам-то — хуже. Плохо. Не надо плакать. — Ладно, скажу. — И отроки ушли. И опять всюе меня опахнуло приятным запахом».

3. Те же девочки тети Дуни: Валя и Нюра. Мать рассказывает: — Хвораю лежу: в тятином доме. Си-ильно хворала. А вскинула глаза-то — а они — две — стоят. В чем их положили в гробики, в том и стоят. Ой, Валенька, Нюронька, миленькие мои... Да вы откуда же? — Оттуда. — Ну, как вы там? — Хорошо. Ой, нам там хорошо!

Ну, знамо, безгрешные душеньки. А потом Валя-то, постарше которая, вот так вот погрозила пальцем и говорит: — А куклу-то нам посулила, а сама не сделала.

Купила потом (сделала) куклу да подарила соседской девочке.

4. Приласкала мать девушку-сиротку. В больнице вместе лежали.

— Она ко мне ночевать ходила. Потом померла. Плеврит, а от плеврита занялась печень. И вот вижу раз сон:

Вышла я на речку, а на той стороне, где Гилев остров, — город. Большой-большой, да красивый, да весь в садах, и цветы так колышутся... Я села в речку-то да поплыла — сидя, только руками перебираю, а сама сижу и плыву. И так переплыла. И никого нету, и я не знаю, куда идти. И тут выходит эта девушка. Обрадовалась, обняла меня, прилюбила.

— Куда же мне идти-то!

— А во-он туда...

А там вроде окраина такая, похуже место, победней.

— А ты где?

— А я, — говорит, — вот здесь — в центре».

ПСИХОПАТ

Рассказ написан в 1973 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 28 декабря 1973 года, затем в журнале «В мире книг»

(№ 8, 1975) и в «Избранных произведениях». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Возмутился человек фельдшерицей, которая не умеет делать уколы. Тихая, скромная, милая девушка и... ничего не умеет делать. Все вены исколола. Ну, и уж — обобщение справедливое, впрочем»*.

КЛЯУЗА

Рассказ написан 2 декабря 1973 года. Впервые опубликован в журнале «Аврора» (№ 8, 1974), затем перепечатан «Литературной газетой» 4 сентября 1974 года с подзаголовком «Опыт документального рассказа». Рассказ вызвал большую читательскую почту, проанализированную критиком В.Л.Канторовичем (журнал «Сибирские огни», № 9, 1975).

МУЖИК ДЕРЯБИН

Рассказ написан в 1974 году. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 9, 1974), затем в «Избранных произведениях». Запись в рабочих тетрадях: *«Здесь жил Дерябин. (Надпись на стене. И — характер)»*. И еще один набросок: *«Безалаберность. Некто узнал, что улицу его называют по имени какого-то бывшего субчика. Стал писать, жаловаться... Стал проявлять при этом прямо революционную истовость. Стал грозить: «Я на ней бардак разведу, если не переименуете!»*

РЫЖИЙ

Рассказ написан в январе 1974 года. Впервые опубликован в журнале «Аврора» (№ 7, 1974), затем в «Избранных произведениях». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Ехал я мальчиком по Чуйскому тракту с рыжим шофером, нас задел по борту встречный грузовик. Рыжий шофер вышел, посмотрел на поломанный борт... Потом сел, развернулся и стал догонять того, который нас повредил. Догнал, умело прижал его к обочине и шваркнул тоже по борту. Подождал с рукояткой — не остановится ли тот, — развернулся и поехал, как ехали. Все это — молча»*.

ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫЙ ЯКОВЛЕВ

Рассказ написан в январе 1974 года. Впервые опубликован в еженедельнике «Неделя» от 18—24 марта 1974 года. В подготовленные В.М.Шукшиным сборники не включался. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Один Некто приехал из города, обозленный в душе, опустошенный, наученный драться... Пошел (выпивши) избил по старой памяти бывшего школьного друга, потом не может толком сказать — за что. Говорит: в детстве дрались, я запомнил. Боксер. И жесток»*.

ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ

Рассказ начат в апреле 1972 года, прерван и закончен в феврале 1974 года в больнице. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 23 августа 1974 года, затем в журнале «Наш современник» (№ 9, 1974). Вошел в книгу «Брат мой». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Ро-*

дился у сестры незаконный ребенок — отец не объявился, не захотел. Брат сестры, маленький, нервный человечек, пошел к отцу (как-то узнал, кто он такой и где живет) ребенка, которого очень полюбил, стал требовать справедливости... И получил по зубам».

ЖИЛ ЧЕЛОВЕК...

Рассказ написан в феврале 1974 года. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 9, 1974), затем в книге «Брат мой». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Жил человек... Хворал часто. Рассказывал, как после войны — на костылях — колол лед на реке. «Костыли зажму подмышкой и топором... Одна нога совсем болтается. Потом комнату дали в общежитии».*

Любил рассказывать анекдоты, а не умел. «Ворона достала сыр, к ней лиса — спой. — А ху-ху не хо-хо? — зажала сыр под крыло и говорит: вот теперь потолкуем...» А дальше не успел рассказать — помер».

КАК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ КУРИНКОВ, ЮВЕЛИР, ПОЛУЧИЛ 15 СУТОК

Рассказ написан 10 марта 1974 года в Москве, в Кунцевской больнице. Впервые напечатан в газете «Литературная Россия» 22 марта 1974 года. Этот рассказ и следующий — «Ночью в бойлерной» — были опубликованы под общим заголовком «Две совершенно нелепые истории». Рассказ вошел в повесть для театра «А поутру они проснулись...». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Маленький резиновый человек... Попрыгунчик и мстительный».*

НОЧЬЮ В БРОЙЛЕРНОЙ

Рассказ написан в марте 1974 года в Москве, в Кунцевской больнице. Впервые напечатан в газете «Литературная Россия» 22 марта 1974 года, затем в книге «Брат мой». Мотивы рассказа использованы в повести для театра «А поутру они проснулись...». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«В бойлерной. Это — внизу, в подвале, туда «опускаются» люди после своих катастроф. А там сидит дядя Вася — мудрый и хитрый».*

ПРИВЕТ СИВОМУ

Рассказ написан в марте 1974 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (№ 9, 1974), а затем в «Избранных произведениях» (1975). Мотивы рассказа использованы в повести для театра «А поутру они проснулись...». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Очкарика, умного русского человека, избил «современный» горилла».*

ЧУЖИЕ

Последний рассказ В.М.Шукшина. Написан в марте 1974 года в больнице. Впервые напечатан в журнале «Наш современник» (№ 9,

1974), затем в книге «Брат мой». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Про великого князя Алексея и дядю Емельяна, бывшего матроса. Богатырь. Лоцман. Не знает, куда девать силу.*

1. Ругается с бабами, когда проплывает мимо баб, полощущих белье.
2. В месте на реке, где гуляет кто, кричит: «Кто украл хомуты!» Эхо: «Ты!»

ПОВЕСТИ ДЛЯ ТЕАТРА

Повести для театра — явление, не вполне традиционное с точки зрения жанра и не совсем обычное на фоне творческой истории других шукшинских произведений.

Если рассказы В.М.Шукшина задумывались и создавались, как произведения *прозы,* то повести предназначенные для сцены (или экрана), *становились* произведениями прозы, задумывались же и создавались — в расчете на сценическое (или экранное) воплощение, хотя и писались не как пьесы, а скорее все-таки как тексты для чтения.

По теме и по стилю повести В.М.Шукшина — плоть от плоти его рассказов, это важнейший элемент созданной им художественной картины мира и это абсолютно органичный для него этап социального и психологического обобщения; крепко связанные с непосредственным опытом повести выходят к широкой философской проблематике; художественная целостность большинства шукшинских повестей делает их явлениями большой русской прозы, хотя эти явления и рождаются на стыке с театром (или кино) и даже воспринимаются нередко как нечто сравнительно с рассказами В.М.Шукшина «вторичное». До некоторой степени этим объясняется и тот факт, что *читательский* резонанс повестей В.М.Шукшина первоначально заглушается резонансом зрительским, отклик на спектакли и особенно на кинофильмы превалирует над осмыслением прозаических текстов. Однако собранные в книгах, поставленные в общий контекст все сильнее действующей на людей шукшинской «легенды», эти повести становятся заметным фактором в развитии русской прозы, оказывают воздействие на литературную ситуацию и нуждаются в соответствующем осмыслении.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. Повесть-сказка

Варианты подзаголовков, сохранившиеся в бумагах В.М.Шукшина: «Сказка для детей старше школьного возраста»; «фарсовое представление в 4 сценах»; «опыт современной сказки»; «опыт современной сценической сказки»; «опыт современной кинематографической сказки».

Замысел повести относится к середине 60-х годов и связан с замыслом одноименного фильма, о котором В.М.Шукшин, отвечая на во-

прос корреспондента «Московской кинонедели» о ближайших творческих планах, рассказал следующее:

«Свой новый фильм мне хотелось бы посвятить нравственным и философским проблемам наших дней. Я надеюсь осуществить эту постановку по собственному сценарию, который условно называется «Точка зрения». Это будет современная сказка-притча.

Действие сценария происходит «в некотором царстве, в некотором государстве», где живут два молодых человека — Пессимист и Оптимист. Один утверждает, что в жизни все плохо и неинтересно, нет хороших людей — их выдумывают писатели. Другой привык воспринимать жизнь через розовые очки, считает, что трудности и невзгоды преодолевать так же легко, как стометровку.

Не сумев разрешить спор, Пессимист и Оптимист обращаются за помощью к Мудрому человеку. Мудрец направляет молодых людей в дом девушки, которую вечером должны прийти сватать, и предлагает каждому по-своему описать все, что они там увидят.

О том, что увидели в чужом доме и как рассказали об этом Пессимист и Оптимист,— мой будущий фильм.

Воплощая свой замысел в сценарии, я поставил перед собой задачу показать вред и опасность двух крайностей — огульного очернительства жизни, беспросветного пессимизма и, с другой стороны, беспочвенного оптимизма, своеобразной «маниловщины»...»

(«Московская кинонеделя», 24 января 1966 г.). В феврале 1967 года В.М.Шукшин читал «Точку зрения» в Центральном Доме литераторов на творческом объединении прозаиков; состоялось обсуждение рукописи (информация — в еженедельнике «Литературная Россия», 1967, 17 февраля); все это свидетельствует о том, что сценарий непоставленного фильма уже был переработан в повесть.

Кинофильм «Точка зрения» так и не был поставлен В.М.Шукшиным. Повесть-сказка под этим названием впервые опубликована в журнале «Звезда» № 7 за 1974 год, незадолго до смерти В.М.Шукшина.

Впоследствии неоднократно инсценировалась, но так и не была экранизирована, ставши таким образом первой у Шукшина повестью для театра.

***ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ.* Сатирическая повесть для театра.**

Закончена 1 января 1974 года в Москве, в больнице. Впервые опубликована с подзаголовком «сатирическая повесть» в еженедельнике «Литературная Россия» 7, 14 и 21 июня 1974 года.

Набросок к повести в рабочих тетрадях: *«Энергичные люди» (Повесть для театра). Пил мужик, гулял — был человек. Жена одурела от его пьянки — развод. Он обиделся — озверел: бросил пить и стал заниматься общественной деятельностью. И весь ушел с головой в это. Жена видит, у него все хорошо, тоже ушла с головой в общественные дела — стала ему вредить в жизни. Так нашли свое место».*

***ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ.* Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума.**

Написана в первой половине 1974 года: в феврале В.Шукшин показал артисту М.Ульянову ее начало. Закончена повесть 26 июля 1974 года на Дону, во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Первоначальный заголовок (сообщенный автором Л.Н.Федосеевой-Шукшиной): «Ванька, смотри». Подзаголовок (сохранившийся в черновиках): «Сказка про Иванушку-дурачка, как ходил он за тридевять земель добывать справку, что он умный и современный». Окончательные заглавие и подзаголовок найдены совместно с редакцией журнала «Наш современник», для которой повесть предназначалась. Опубликована посмертно в «Нашем современнике», (1975, №1) (публикация Л.Н.Федосеевой-Шукшиной).

***А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...* Повесть для театра.**

Начата в декабре 1973 года в Москве, в больнице. Осталась незавершенной. В.М.Шукшин продолжал работать над текстом летом 1974 года на Дону до самой смерти. Впервые опубликована Л.Н.Федосеевой-Шукшиной в журнале «Наш современник» (1975, № 6) с предисловием С.П.Залыгина. Заглавие дано редакцией. Повесть предназначалась для Ленинградского академического Большого драматического театра имени М.Горького.

Впервые поставлена в 1978 году Московским театром «Современник». Подготовленный «Современником» сценический вариант текста тогда же издан для театров (М., ВААП, 1978).

ПУБЛИЦИСТИКА

Публицистические выступления В.М.Шукшина сравнительно поздно стали объектом внимания исследователей. Впервые эти тексты были собраны авторами настоящего комментария и изданы через шесть лет после смерти Шукшина в книге «Нравственность есть Правда» (М., Советская Россия, 1980); дополненное издание этой книги вышло год спустя (В. Шукшин. Вопросы самому себе. М., Молодая гвардия, 1981). Читательские и критические отклики на два эти выпуска показали, что публицистика В.М.Шукшина — живая и важная часть его творческого наследия и что суждения его сохраняют жгучую актуальность. Сегодня общепризнано, что В.М.Шукшин — одно из ярчайших имен не только в истории русской прозы, но и в истории русской мысли 60—70-х годов, хотя под привычные мерки его публицистика не подходит.

Суждения В.М.Шукшина полны открытых и осознанных противоречий, и оттого может показаться, что в статьях его нет того глав-

ного, что мы привычно ждем от публицистики: системности. На самом деле это не так, но сам Шукшин, пожалуй, легко согласился бы с такой оценкой — и по его всегдашней склонности сосредоточиваться на собственных слабостях, и потому, что его публицистика внешними признаками действительно напоминает мозаику: это либо статьи, написанные по заказам редакций (а значит, и каждый раз по-новому, извне продиктованному поводу), либо беседы, когда вопросы интервьюеров тоже попадают к тебе извне. Высказывания Шукшина исходят не из системы внешнего изучения того или иного вопроса, а из живой ситуации: обсуждается фильм, попалась книжка, пришел корреспондент, прислали письмо или записку... Поэтому статьи Василия Шукшина не содержат легких ответов на вопросы, которые ставит современный человек самому себе. Рецептов тут нет. Юноше, обдумывающему житье, не найти в этих статьях ни назиданий, ни нравоучений, ни прописной морали. В публицистическом наследии Шукшина содержится куда более важный и ценный материал: опыт жизни, прожитой трудно и осмысленной с предельной искренностью. Шукшин — это прежде всего обнаженность боли. Он сказал: *«Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам больной»*. Он не «осмыслял» проблемы — он перебаливал ими.

КАК Я ПОНИМАЮ РАССКАЗ

Написано в 1964 году для еженедельника «Литературная Россия» и опубликовано там 20 ноября 1964 года.

ВОПРОСЫ К САМОМУ СЕБЕ

Написано в 1966 году для журнала «Сельская молодежь», где и опубликовано в №11 за 1966 год. Перепечатано в газете «Советская культура» 15 ноября 1966 года.

* *Там* (в деревне. — Ред.) *нет мещанства*. Это утверждение, вызвавшее в свое время полемику и, безусловно, дискуссионное, характерно для темперамента В.М.Шукшина, втянутого в 1966—1967 годах в критические споры о деревенском и городском героях. Отдавая себе отчет в том, что от «мещанства» как бездуховности ни место жительства, ни профессия не страхуют, Шукшин тем не менее склонен в тот период к полемически крайним формулировкам, которые он постоянно смягчает оговорками («Я нарочно упрощаю» и т.д.).

Зритель тоже хочет сам. В первоначальном варианте статьи это рассуждение о положительном герое было значительно обширнее: *"Герой. Герой — это, по-моему, сам художник, его произведение. Бывали в российской жизни самые разные условия для творчества: выгодные, не очень; а бывали на редкость плохие. Но даже при совсем уж «выгодных» обстоятельствах, когда кажется — героями хоть пруд пруди, хватай первого попавшегося и тащи в роман или фильм, только бы они не стеснялись и про свое геройство не молчали — и даже тогда почему-то появлялись плохие*

книги, фильмы, произведения живописи. И сколько! У одного автора самый расхороший герой, «наблюденный», «увиденный», «подсмотренный» в жизни, начинает вдруг так кривляться, такие шутки начинает выделывать, что хоть святых выноси — смешит, дьявол; у другого — тоже «выхваченный» из жизни — ходит в фильме, как кол проглотил, ходит и учит жить; у третьего — как андаксина наглотался: любит, поет, бегает в березовой роще. В общем — «солнцем полна голова». У четвертого — хоть и в ухо даст, но это ничего, он о-б-я-з-а-н дать в ухо.

Есть герои отрицательные, но тех сразу по походке видно, не о них речь.

Критики сами требуют и подучивают зрителя требовать от художников кино положительного героя типа «Х»... Много образцов предлагается. И пишут и жалуются — не с кого брать пример.

Жалуемся, что иногда плохие фильмы, фильмы-уродцы находят себе массового зрителя. Что делать? Делать фильмы с глубокой мыслью, идейные..."

(Архив В.М.Шукшина.)

«Я ТОЖЕ ПРОШЕЛ ЭТОТ ПУТЬ...»

Написано в 1966 году как ответ на письмо грузчика Хатукайского консервного завода А.Шипулина «Требуй, товарищ ВУЗ!», опубликованное в одной из центральных газет. Озаглавлено по первым строчкам текста. Впервые опубликовано в газете «Комсомольская правда» 25 июля 1979 года к 50-летию В.М.Шукшина.

«ТОЛЬКО ЭТО НЕ БУДЕТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ...»

Написано в 1967 году по заданию газеты «Правда». Не окончено. Озаглавлено Л.Н. Федосеевой-Шукшиной по первой строчке текста. Впервые опубликовано в еженедельнике «Неделя» (№ 30, 1979) к 50-летию В.М.Шукшина.

* *«В городе, перед тем как сесть в автобус, зашел в магазин купить что-нибудь...»* — описанные ниже события послужили В.М.Шукшину материалом для рассказа «Чудик».

МОНОЛОГ НА ЛЕСТНИЦЕ

Написано в 1967 году для сборника статей «Культура чувств». (М., Искусство, 1968).

* *«Однажды случился у меня неприятный разговор с молодыми учеными»*. Речь идет об обсуждении фильма В.Шукшина «Ваш сын и брат» среди научных работников в Обнинске весной 1966 года. Обостренная реакция В.М.Шукшина на крайние мнения, высказывавшиеся в связи с этим фильмом, видна также из выступления В.М.Шукшина на обсуждении фильма в Союзе кинематографистов СССР 8 апреля 1966 года (не-

правленная стенограмма): *"Тут умнее говорили, чем я могу сказать... О противопоставлении города деревне. И вопрос об интеллигенции. Начнем с того, что я всем обязан интеллигенции, да и нет оснований почему-то видеть в интеллигенции какое-то нехорошее начало нашей современной жизни, к которому надо внимательно присмотреться... Я люблю деревню, но считаю, что можно уйти из деревни. И Ломоносов ушел из деревни, и русский народ от этого не потерял, но вопрос: куда прийти? Человека тут же вбирает та подавляющая масса недоделанных «интеллигентов», которая имеется в городе. Это первое,что его хватает,— по себе знаю. Городские жители начинают по образу и подобию своему приготовлять человека, а потом начинают немножко глумиться, что такой фанфарон и дурак вырос... Статей Л.Крячко и В.Орлова я не понимаю* (авторы статей обвиняли авторов фильма «Ваш сын и брат» в апологии «дикой, злой «самобытности». — «Литературная газета», 1966, 10 марта.— *Ред.). Меня начинает мутить от злости, и ничего сделать я не могу. Выходит, что они более высокие, чем... те люди, которые работали над картиной, понимая до конца ее замысел. Ведь никто вслепую не работал. Все понимали, что речь идет о хороших людях... Критики говорят, что тут погоня за самобытностью. За какой самобытностью? Конечно, у деревенского человека есть какая-то робость, растерянность перед такой командой, какая наваливается на него. У этого парня ранено сердце (речь идет о герое фильма — Ред.),когда он получил известие,что мать больна,а он встречает такое равнодушие. А кто они, эти продавцы?.. Они ведь тоже деревенские люди. Они тоже приехали сюда. Тут страшно то, что они научились выполнять самую примитивную работу и возгордились этим, начали презирать то,что оставили там... Если бы так начали думать деревенские — разве это к лицу? Важнее всего, наверное, тот конкретный человек, который нам на сегодняшний отрезок времени интересен. А городской он или сельский — нет этого вопроса. И никогда по-настоящему,наверное,в русском реалистическом искусстве не было такого... не отыскивали здесь знак вражды или признак недовольства друг другом".*

(Архив В.М.Шукшина.)

СРЕДСТВА ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВА КИНО

Написано в 1967 году. При жизни не печаталось, Опубликовано в журнале «Искусство кино», (1979, № 7) к 50-летию В.М.Шукшина. Печатается по рукописи.

* *«Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель. Он задумал сценарий кинокомедии».* Имеется в виду киноповесть Василия Белова «Целуются зори».

** *«...Рассказы,по которым я поставил оба фильма,— лучше. Никто, кроме меня, так не думает (разве только критик Генрих Митин)».* Речь идет о фильмах «Живет такой парень» и «Странные люди». Г.Митин писал: «Шукшин, используя материал, хорошо ему знакомый, свободно и

как бы играючи создает свою особенную, «шукшинскую жизнь». Особенно это удается ему в рассказах, хуже — в кинофильмах». (Г.Митин. С чем пришел Шукшин. — «Московский комсомолец», 1967,13 сентября.)

«ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА»

Ответы на анкету журнала «Вопросы литературы». Написано в 1967 году, впервые опубликовано в «Вопросах литературы» в № 6 за 1967 год с незначительными сокращениями. В дальнейшем опубликовано в книге «Вопросы самому себе», также с сокращениями.

НРАВСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ ПРАВДА

Написано в 1968 году для сборника статей «Искусство нравственное и безнравственное» (М., Искусство, 1969), где и опубликовано впервые.

*«*Название сценария было под стать содержанию: "Враг мой...". Так пошел бы шагать по экранам еще один недоносок»*. Сценарий «Брат мой...» опубликован в журнале «Искусство кино» (1974, № 7). По этому сценарию режиссер В.Виноградов в том же году поставил одноименный фильм.

«МОДА...»

Написано в 1969 году для сборника «Мода: за и против» (М., Искусство, 1970, составитель В. Толстых). Не окончено. Озаглавлено Л.Н.Федосеевой-Шукшиной. Впервые опубликовано в книге В.Шукшина «Нравственность есть Правда».

Для воззрений В.М.Шукшина на феномен моды характерны наброски его ответов на анкету газеты «Неделя». К сожалению, вопросы не сохранились, но, исходя из содержания ответов, можно предположительно реконструировать их так:

1. Как вы относитесь к моде в одежде?
2. Нужно ли «гнаться за модой»?
3. Ваша любимая одежда, когда Вы работаете?

Ответы В.М.Шукшина:

"1. Положительно. Но заниматься этим должны исключительно женщины. Сошлюсь на природу: особи женского рода (птицы, звери) всегда ярче. Есть, однако, петух... Но ведь петух он есть петух: две обязанности на всю жизнь, и то головы не надо ломать.

Правда, удивляет, когда молодой человек всерьез увлечен модой (я имею в виду активное, изобретательное увлечение, отнимающее уйму времени и средств).

Что касается меня (моего гардероба): одеваюсь так, как где-то уже принято, что теперь надо так одеваться (и то не всегда), Где это принимают,кто— понятия не имею (вдруг сейчас кольнула догадка: а не следуем ли мы, в конце концов, все за пижонами?). Сам я пальцем не пошевельну, чтобы что-нибудь тут предпринять.

Вообще-то нам, по-моему, не грозит беда (именно как беда) поголовного увлечения модой: не тот национальный характер. Мы в отдельных случаях будем грешить... этим... (никак не подберу определения. Я бы назвал это: «Эй,смотрите!»— вот что будет слегка шлепать по нашему национальному самолюбию). Только сейчас видел — прошла... Гордо прошла! Черт знает, уже «мини-крик» какой-то. А ноги, извините, не «соответствуют».

2. Это дело вкуса. Я, например, неожиданно оказываюсь здесь даже «впереди» моды: отстаю не «чуть-чуть», а ощутимо.

3. В новом костюме или даже в глаженых брюках ничего путного написать не смогу. А если еще и в галстуке, то и строки не выжму. Не знаю, почему так. Хорошо, когда просторно, тепло и не боязно мять (старые штаны, валенки, чистая рубаха). И полно сигарет".

(Архив В.М. Шукшина.)

МНЕ ВЕЗЛО НА УМНЫХ И ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ...

Написано в 1969 году. Впервые опубликовано в газете «Советское кино» 11 октября 1969 года.

* *«Опишите, пожалуйста, что делается в коридорах ВГИКа в эти дни»*. В архиве ВГИКа сохранилась эта письменная работа В.М.Шукшина. Она называется «Киты, или О том, как мы приобщались к искусству»:

"Вестибюль института кино. Нас очень много здесь, молодых, неглупых, крикливых человечков. Всем нам когда-то пришла в голову очень странная мысль — посвятить себя искусству. И вот мы здесь.

Мы бессмысленно толпимся, присматриваемся друг к другу и ведем умные разговоры. Лица наши хотят выражать спокойствие и зрелость мысли. Мы очень самостоятельные люди и всем своим видом показываем, что мы родились для искусства.

Знакомимся мы настороженно, подозрительно всматриваясь друг в друга, опасаясь втайне встретить людей, которые имеют больше несомненных шансов для поступления в институт. Тревожная мысль о конкурсе не покидает нас, но у нас достает духу шутить даже на эту тему.

Время тянется томительно долго.

Наконец, получив документы, мы расходимся. В общежитии мы знакомимся ближе, но, по-прежнему, живем каждый своей напряженной жизнью. Впрочем, все мы единодушно сходимся на том, что только мы девять, а не те 180, достойны поступления. Правда, для очистки совести мы говорим о том, что мы сомневаемся в удаче, и каждый из нас даже называет каких-то талантливых людей, которые уж обязательно поступят, но все это выходит у нас неискренне. Каждый знает, что он талантливее других, и доказывает это каждым словом, каждым своим движением. Среди нас неминуемо выявляются так называемые киты —

люди, у которых прямо на лбу написано, что он — будущий режиссер или актер.

У них, этих людей, обязательно есть что-то такое, что сразу выделяет их из Среды других, обыкновенных.

Вот один такой.

Среднего роста, худощавый, с полинялыми обсосанными конфетками вместо глаз. Отличается тем, что может, не задумываясь, говорить о чем угодно, и все это красивым, легким языком. Это человек умный и хитрый. У себя дома, должно быть, пользовался громкой известностью хорошего и талантливого молодого человека; имел громадный успех у барышень. Он понимает, что одной только болтовней, пусть красивой, нас не расположишь к себе — мы тоже не дураки, поэтому он вытаскивает из чемодана кусок сала, хлеб и с удивительной искренностью всех приглашает к столу. Мы ели сало и, может быть, понимали, что сало ему жалко, потому понимали, что слишком уж он хлопотал, разрезая его и предлагая нам. Но нас почему-то это не смущало, мы думали, что это так и следует в обществе людей искусства.

Разговор течет непринужденно; мы острим, рассказываем о себе, а выждав момент тишины, мы говорим что-нибудь особенное, необыкновенно умное, чтобы сразу уж заявить о себе. Мы называем друг друга Коленькой, Васенькой, Юрой, хотя это несколько не идет к нам.

В общем гаме уже выявляются голоса, которые обещают в будущем приобрести только уверенный тон маэстро. Здесь, собственно, и намечаются киты.

Человек с бесцветными глазами и прозрачным умом рассказывает, между прочим, о том, что Тамара Макарова замужем за Герасимовым, что у Ромма какие-то грустные глаза, и добавляет, что это хорошо, что однажды он встретил где-то Гурзо и даже, кажется, прикурил от его папиросы. И все это с видом беспечным, с видом, который говорит, что это еще пустяки, а впереди будет еще хлеще.

Незаметно этот вертлявый хитрец овладевает нашим вниманием и с видимым удовольствием сыплет словечками, как горох. Никто из нас не считает его такой уж умницей, но все его слушают из уважения к салу.

Почувствовав в нем ложную силу и авторитет, к нему быстро и откровенно подмазывается другой кит — человек от природы грубый, но нахватавшийся где-то «культурных верхушек». Этот, наверное, не терпит мелочности в людях, и, чтобы водиться с ним, нужно всякий раз рассчитываться за выпитое вместе пиво, не моргнув глазом, ничем не выдавая своей досады. Он не обладает столь изящным умом и видит в этом большой недостаток. Он много старше нас, одевается со вкусом и очень тщательно. Он умеет вкусно курить, не выносит грязного воротничка, и походка у него какая-то особенная — культурная, с энергичным выбросом голеней вперед.

Он создает вокруг себя обаятельную атмосферу из запаха дорогого табака и духов.

Он, не задумываясь, прямо сейчас уже стал бы режиссером, потому что «знает», как надо держать себя режиссеру.

Вечером киты поют под аккомпанемент гитары «сильные вещи». Запевает глистообразный кит, запевает неожиданно мягким, приятным голосом:

Ваши пальцы пахнут ладаном...

Второй подхватывает мелодию; поет он скверно и портит все, но поет старательно и уверенно. Мы слушали, и нас волновала песня.

Только всем нам было, пожалуй, странно немножко: дома мы пели «Калинушку», читали книжки, любили степь и даже не подозревали, что жизнь может быть такой сложной, по-видимому, интересной.

Особенно же удивили нас киты — эти видавшие виды люди, — когда они не ночевали в общежитии, а явившись утром, на наш вопрос ответили туманно:

— Да так, в одном месте.

Это было очень таинственно и любопытно. Киты заметно вырастали в наших глазах. Впрочем, кто-то из нас, отвернувшись, негромко сказал:

— У тетки, наверно, в Москве ночевали.

Один из китов был в прошлом актер. И они подолгу разговаривали, уже не обращая на нас внимания, о горькой актерской жизни, сетовали на зрителей, которые не понимают настоящего искусства. Да и в кинематографии тоже «беспорядочек правильный», говорили они, и не прочь были навести там наконец настоящие порядки.

В нас они здорово сомневались и не стеснялись говорить это нам в лицо.

Однако приближался день экзаменов, и киты наши как-то присмирели и начали уже поговаривать о том, что их могут не понять. В день экзаменов они чувствовали себя совсем плохо.

Наверное, правду о себе они чувствовали не хуже нас. Когда наконец один из них зашел в страшную дверь и через некоторое время вышел, у нас не было сомнения в том, что этот провалился. Мы с каким-то неловким чувством обступили его в вестибюле и начали «закидывать» его ненужными вопросами.

Кит рассказывал, как он «рубал» на экзаменах, а в глазах у него метался страх и неуверенность. Словечки по-прежнему свободно сыпались у него изо рта, но видно было, что он вспоминает неприятные ощущения испытаний.

Он, кажется, начинает понимать, что нужно было не так. И в тот момент, когда лицо его приобретает естественное выражение, — его жалко. Но тут же вспоминается он — прежний кит, самоуверенный и нев-

нимательный, и жалость пропадает. «Пусть тебя учит жизнь, если ты не хочешь слушать людей»".

(Архив В.М.Шукшина.)

На сохранившейся работе В.М.Шукшина, помимо отличной оценки, стоит следующая резолюция преподавателя ВГИКа: «Хотя написана работа не на тему и условия не выполнены, автор обнаружил режиссерское дарование и заслуживает отличной оценки».

О ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

Написано в 1970 году в качестве предисловия к одной из книг Василия Белова. При жизни В.М.Шукшина не публиковалось. Впервые напечатано в книге В.Шукшина «Нравственность есть Правда».

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...

Написано в январе 1970 года. Озаглавлено Л.Н.Федосеевой-Шукшиной по первой строке текста. На титульном листе рукописи два подзаголовка: «Документальная поэма. Литературный сценарий». При жизни не публиковалось. Впервые напечатано в газете «Комсомольская правда» 17 июня 1979 года.

ОН УЧИЛ РАБОТАТЬ

Написано в 1972 году как отклик на смерть Михаила Ромма. Впервые опубликовано в журнале «Искусство кино», (1972, № 2).

НА ЕДИНОМ ДЫХАНИИ

Написано в 1972 году, впервые опубликовано под названием «На одном дыхании» в журнале «Новый мир» в № 11 за 1972 год как рецензия на повесть А. Скалона «Живые деньги» (журнал «Наш современник», № 3,1972).

**Скалон Андрей Васильевич*— российский писатель.Автор повестей и рассказов, в том числе — «Стрела летящая» (1969), «Красный бык» (1973), «Живые деньги» (1974), «На бугре» (1978), «Рыжая лисица счастья» (1982), «Ровный и зеленый луч на том берегу» (1983) и др.

«КНИГИ ВЫСТРАИВАЮТ ЦЕЛЫЕ СУДЬБЫ»

Написано весной 1973 года. Впервые опубликовано в «Комсомольской правде» 27 апреля 1973 года под заголовком «Судьбу выстраивает книга...» в виде беседы В.М.Шукшина с корреспондентом газеты Ю.Смелковым. Предварительно Ю.Смелков прислал вопросы, на которые В.М.Шукшин подготовил ответы, частично использованные в беседе. Полностью впервые опубликовано в книге В.Шукшина «Нравственность есть Правда». Озаглавлено Л.Н.Федосеевой-Шукшиной по одной из строчек текста.

* *«Ах, как нужна помощь старшего, умного!»* — для отношения В.М.Шукшина к старшим товарищам — литераторам характерен его отзыв о критике А.М.Макарове, рецензировавшим для издательства «Советский писатель» рукопись книги Шукшина «Там, вдали». Рецензию Шукшин прочел, когда Макарова уже не было в живых, и откликнулся на нее:

"Случилось так, что в то время, когда готовилась моя книга к печати, меня не было в Москве, и я не мог прочитать рецензию Александра Николаевича — мне передали только редакционное заключение. И вот теперь я прочел эту его рецензию. И почувствовал неодолимое желание побыть одному: откуда-то «оттуда» вдруг дошел до меня добрый, спокойный голос, очень добрый, очень ясный. Как же мне дорого было бы это умное напутственное слово тогда— 10 лет назад. Как нужно.

Оно и теперь мне дорого.

Василий Шукшин".

(Архив В.М. Шукшина.)

СЛОВО О «МАЛОЙ РОДИНЕ»

Написано в 1973 году для «сибирского» номера журнала «Смена», где и опубликовано впервые с сокращениями (1974, № 2), полностью — в «Литературном обозрении» (1975, № 12).

* *«Как-то в связи с фильмом «Печки-лавочки»...* Фильм «Печки-лавочки» снят в 1972 году, вышел на экраны в 1973 году. Сценарий фильма был еще в 1969 году представлен в студию «Мосфильм» и в Комитет и в целом одобрен. В феврале 1971 года В.М.Шукшин пишет директору киностудии имени Горького Г.И.Бритикову:

"Моя задача сейчас переписать сценарий заново с учетом и тех пожеланий, которые были высказаны у вас в редакторате и в Комитете". К заявке приложено следующее изложение «Печек-лавочек»:

"Это опять тема деревни с «вызовом», так сказать, в город. Иван Расторгуев, алтайский тракторист, собрался поехать отдохнуть к Черному морю. История этой поездки и есть сюжет фильма. Историю эту надо приспособить к разговору об:

I. Истинной ценности человеческой.

II. О внутренней интеллигентности, о благородстве.

III. О достоинстве гражданском и человеческом.

Через страну едет полноправный гражданин ее, говоря сильнее — кормилец, работник, труженик. Но с каких-то странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского надо беспрерывно учить, одергивать, слегка подсмеиваться над ним. Учат и налаживают этакую снисходительность кому не лень: проводники вагонов, дежурные в гостиницах, продавцы... Но разговор об этом надо, очевидно, вести «от обратного»: вдруг обнаружить, что истинный интеллигент высокой организации и герой наш, Иван Расторгуев, скорее и проще найдут взаимный интерес друг к другу, и тем

отчетливее выявится постыдная, неправомочная, лакейская, по существу, роль всех этих хамоватых «учителей», от которых трудно Ивану. И всем нам.

Если попытаться найти в данном сюжете жанр, то это комедия. Но, повторяю, разговор должен быть очень серьезным.

Под комедией же здесь можно разуметь то, что является явным несоответствием между истинным значением и наносной сложностью и важностью, какую люди пустые с удовольствием усваивают. Все, что научилось жить не по праву своего ума, достоинств, не подлежащих сомнению, — все подлежит осмеянию, т. е. еще раз напомнить людям, что все-таки сложность,умность,значимость— в простоте и ясности нашей, в неподдельности.

Иван с женой благополучно прибыли к Черному морю (первый раз в жизни), но путь их (люди, встречи, столкновения, недоумения) должен нас заставить подумать. О том, по крайней мере, что если кто и имеет право удобно чувствовать себя в своей стране,то это— работник ее,будь-то Иван Расторгуев или профессор-языковед, с которым он встречается. Право же, это их страна. И если такой вот Иван не имеет возможности устроится в столичной гостинице, и положим, с какой лихостью, легкостью и с каким-то шиком устраиваются там всякого рода сомнительные деятели в кавычках, то недоумение Ивана должно стать и нашим недоумением. Мало сказать— недоумением,не позор ли это наш?

Вот— коротко— о чем сценарий."

(Архив В.М.Шукшина.)

** *«Когда я подъезжаю на поезде к Бийску...»*— о роли города Бийска в жизненной и душевной судьбе В.М.Шукшина можно судить и по тому, что в 1969 году он принял участие в подготовке документального фильма о Бийске на местной киностудии. В архиве В.М.Шукшина сохранился набросок его выступления к фильму и кадроплан.

"Нелегко сразу сказать, какую роль сыграл он в моей жизни, этот городок.

Десятилетним мальчиком приехал я сюда с родителями... Он напугал меня. Очень уж много людей! И все куда-то спешат. И никто друг друга не знает. У нас в селе все друг друга знали. Это был большой новый мир.

С легким ужасом прошел я в первый раз по скрипучему, качающемуся наплавному мосту... Это было первое чудо, какое я видел. Понемногу я стал открывать еще другие чудеса. Например, пожарку. Каланча вконец заворожила меня. Я поклялся, что стану пожарным. Потом мне хотелось быть матросом на пароходе «Анатолий», еще— шофером— чтоб заехать на мост, а он бы так и осел под машиной...

А когда побывал на базаре,то окончательно решил стать жуликом— мне показалось, что в таком скопище людей, и при таком обилии всякого добра... гораздо легче своровать арбуз, чем у нас в селе, у тетки Семенихи

из огорода (уголовного кодекса я тогда не знал). Потом все-таки пожарный одолевал — очень нравилась сияющая каска.

Потом началась война, и мы уехали опять в село. Отец ушел на фронт.

Лет через пять я снова попал в этот город — как студент автомобильного техникума. Я был взрослее и немного смелее. Но и тогда он пугал меня. Слишком много надо было понимать заново. Слишком далеко раздвигался горизонт,и жизнь оказывалась — большая,сложная".

(Архив В.М.Шукшина.)

В архиве В.М.Шукшина сохранился кадроплан фильма:

1. «Рассказчик» — под изображение старого города.

2. Рассказчик и автор — в кадре. Синхронный р-з.

3. Указ Петра об основании «Бий-Катунска».

4. Дикое место. Бия. «Вот здесь указал Петр...»

5. Первое какое-то строение на месте будущего Бийска.

6. Кадр,посвященный тому,— чем стал Бийск для окружающих сел — скупщик и перекупщик хлеба. Снимать: крестьянин везет воз хлеба в город.

7. А вот «хозяин» города — бородатый купчина на крыльце уже купеческого дома срезным крыльцом.

8. Шло время. Город рос. В изображении — общий план города (с горы).

9. Не обошла город и Гражданская война. В изображении — Гражданская хроника.

10. Не обошла город и другая война — Вел. Отеч. (1941—45 гг.). В изображении — вокзал. Поезда увозят и увозят бийчан. Поезда.

11. Страна строилась. В изображении — стройка. Не Бийская (может быть, хроника).

12. Строился и Бийск. Стройка — Бийская.

13. Старые «чудеса» уходили. Возникали новые (старые баркасы, наплавной мост) и новый мост (о его расчетной «трудоспособности»).

14. Бийск продолжает расти. В изображении — новые кварталы. Люди. Люди в современных («европейских») костюмах.

15. Москва, Ленинград посылают своих посланцев в далекий город Бийск (вокзал).

16. Москва,Ленинград посылают целинников — и всех встречает г. Бийск.

В изображении — поля,трактора,сеялки,бороны (полевые весенние работы).

17. И всех принимал вот этот вокзал (Бийский вокзал).

18. А время шло — Бийск продолжал расти.

19. Бийск не отстает в своем развитии, росте от страны. В изображении — Бийск отвоевывает свои «права». В изображении — стройка — рядом лес.

20. Какой-то человек рассказывает о Бийске (о его «приросте» населения — 50 т. —200 т.),о его промышленной мощности. Хорошо бы ка-

кой-нибудь «сухой» специалист (экономист, статистик). Важно здесь не бояться очень «цифрового размера».

21. Общий план современного города. Лирическая песня (может быть, — вечер)."

(Архив В.М.Шукшина.)

ЗАВИДУЮ ТЕБЕ...

Написано в 1973 году для газеты «Пионерская правда», опубликовано в газете с незначительными сокращениями 6 марта 1973 года.

* *«...я тоже деревенский, жить начинал трудно, голодно, рано пошел работать»*— подробнее В.М.Шукшин рассказывает об этом в «Автобиографии», написанной в 1966 году:

КВИНТЭССЕНЦИЯ ДУШИ

В мае 1974 года актер и режиссер Н.Н.Губенко поделился с В.М.Шукшиным замыслом фильма, построенного на материалах уголовного дела об убийстве; Губенко хотел привлечь Шукшина к работе над картиной и дал ему для ознакомления материалы процесса. Шукшин изучил материалы и написал заявку на литературный киносценарий фильма «Квинтэссенция души». Фильм замышлялся двухсерийный; он не был поставлен; не был написан и сценарий; но заявка Шукшина интересна как яркая декларация его отношения к жестокости. Впервые опубликовано в книге В.М.Шукшина «Вопросы самому себе».

«Я РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ...»

Беседа с корреспондентом итальянской газеты «Унита» в Москве Карло Бенедетти при участии переводчика Сергея Гринблата 17 мая 1974 года. Опубликована с сокращениями в газете «Унита» и полностью в журнале «Нуова дженерационе» («Новое поколение»), впервые на русском языке — в журнале «Наш современник» в № 7 за 1979 год к 50-летию В.М.Шукшина.

ЗАЯВКА В ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В заявке В.М.Шукшина речь идет об однотомнике. Впоследствии издательство «Молодая гвардия» приняло решение о выпуске двухтомного собрания произведений В.М.Шукшина, вышедшего в 1975 году, уже после смерти писателя, под названием «Избранные произведения».

«ИЗБИРАЮ ЛИТЕРАТУРУ...»

Беседа с болгарским журналистом Стасом Поповым. Опубликована в журнале «Литературное обозрение» (1980, № 5).

Из письма Стаса Попова в журнал «Литературное обозрение»: “Уважаемые товарищи! Не так давно я прочитал в вашем журнале письмо В.Дмитриева. Автор письма, критикуя статью И.Жукова, опубликованную в газете «Комсомольская правда» (И.Жуков, возможно, с излишней категоричностью утверждает, что Шукшин после встречи с Шолоховым, «...побывав в Вешенской, с запоздалой болью говорил потом, что зря распылялся, работая многопольно, в различных жанрах и видах искусства»), сопоставляет факты этой статьи и других бесед, интервью с Василием Шукшиным, состоявшихся летом 1974 года. В частности, он цитирует фрагменты беседы с Шукшиным Г.Цитриняка, опубликованной в «Литературной газете». А в конце письма в редакцию «ЛО» В.Дмитриев задает важный, на мой взгляд, вопрос: «Так как же все-таки относился Шукшин к своему творчеству, к созданному им, каковы были его замыслы и чем мотивированы, как представлялась ему его миссия в искусстве?»

...Журнал с письмом В.Дмитриева прислал мне в Софию ростовский литературовед К.Прийма, написав при этом: «Может быть, Вы что-нибудь ответите «Литературному обозрению»?..

В 1979 году я закончил работу над книгой «Литературное созвездие», в которую вошли интервью-автопортреты двадцати двух поэтов, прозаиков, драматургов, критиков, сценаристов из всех уголков Советского Союза. Материалом для одной из глав этой книги послужили записи нескольких бесед с Василием Макаровичем: мы познакомились летом 1974 года, на съемочной площадке у хутора Мелоговский. Если я не ошибаюсь, я был последним из журналистов и литераторов, кому довелось беседовать с Шукшиным... А потому я и решил послать в Ваш журнал все, что записал в те дни на Дону”.

Посылаю Вам свои записи с В.М.Шукшиным не полемики ради. Я не могу делать те или иные выводы, строить какие-либо прогнозы на основании своих встреч с Василием Макаровичем, которого очень мало. Могу лишь честно гарантировать, что изложенные здесь мысли он действительно высказывал — предельно искренно и откровенно».

Из книги Стаса Попова «Литературное созвездие»: “...Не знаю, как проходил разговор между Василием Шукшиным и Михаилом Шолоховым в доме на берегу Дона. Но на фотографии, сделанной во время этой встречи, они сидят рядом. И как только я узнал об этой встрече, у меня родилось убеждение, что знакомство писателя-актера-режиссера с писателем-казаком вызовет глубокие раздумья у Василия Шукшина. В этом меня убеждали их творчество и неотразимая сила обаяния личности Михаила Шолохова. Герои у Шолохова и у Шукшина — обыкновенные люди, отправившиеся по тернистому пути искать большую правду жизни. Правда, у Шукшина не было еще возможности по-настоящему полно выразить себя в литературе из-за нехватки времени и интенсивной работы в кино. Было много и других причин, которые давали мне

основание считать, что эта встреча не совсем обычна для писателя-актера. Собственно, это можно заметить и по вопросам, которые я задавал В.Шукшину во время наших бесед на донских берегах.

В первый же день приезда я познакомился с Василием Макаровичем, который, несмотря на всю занятость (он в те дни упорно, много работал над новой пьесой-сказкой), согласился выкроить время для продолжительного разговора со мной. Через три дня — 16 июля 1974 года — состоялась наша первая беседа. У Василия Шукшина я намеревался взять интервью для болгарской газеты «Народная культура». Разговаривать с ним мне довелось трижды: вначале — на теплоходе «Дунай», потом — просто на донском берегу. И хотя вводная часть нашей беседы несколько лет назад была напечатана в «Литературной России», затем переводилась на многие языки за рубежом, а полный текст первой беседы (записанный корреспондентом «Литературной газеты» Г.Цитриняком на пленку) публиковала в 1974 году «Литературная газета», — многие материалы, сохранившиеся в моем блокноте после тех встреч, публикуются здесь впервые".

Комментарии к произведениям, опубликованным в настоящем собрании сочинений, подготовлены Л.Аннинским, Г.Костровой и Л.Федосеевой-Шукшиной.

СОДЕРЖАНИЕ

книга третья. СТРАННЫЕ ЛЮДИ

ПУБЛИЦИСТИКА

Василий Макарович Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах

Книга третья

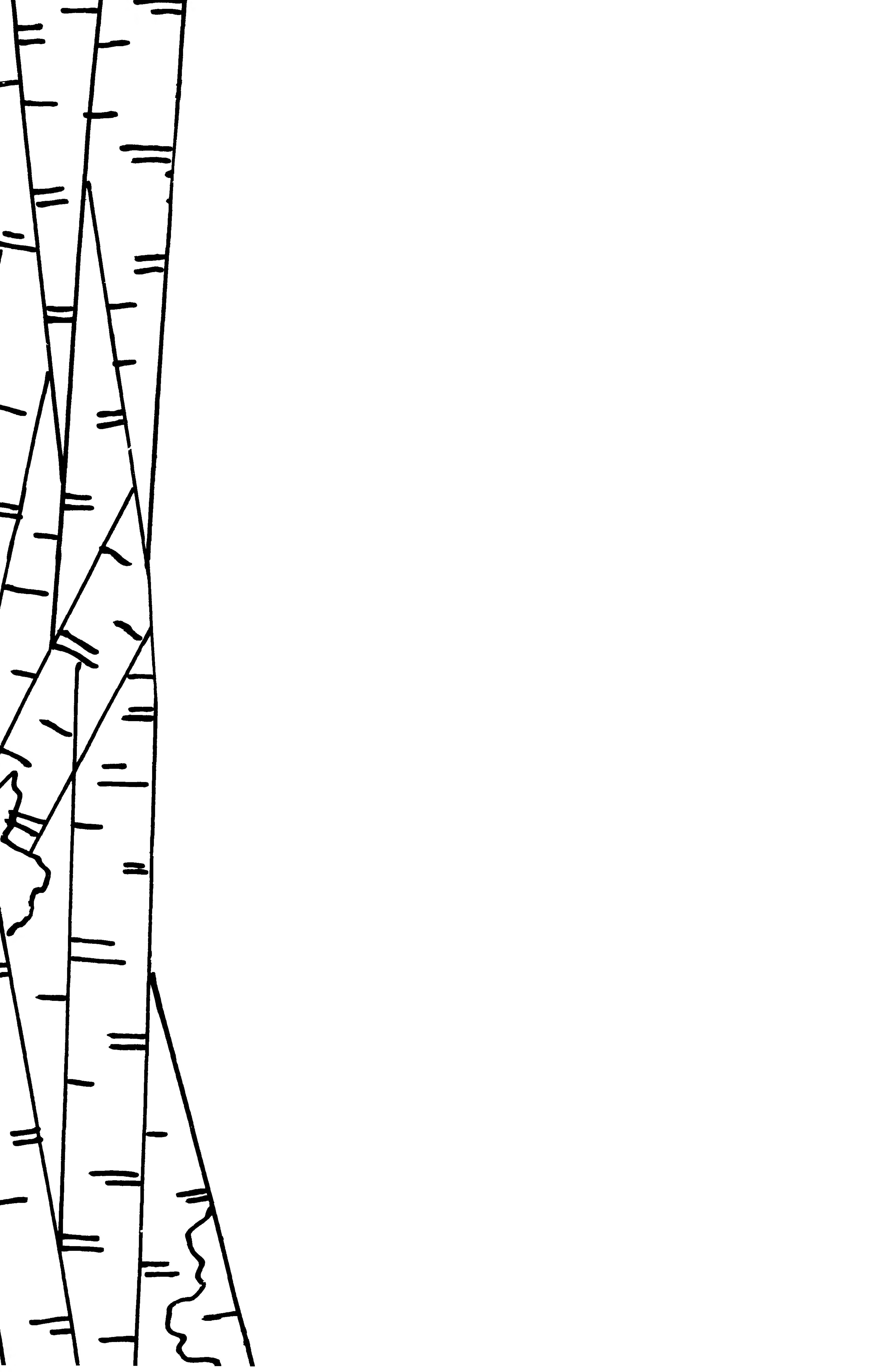
СТРАННЫЕ ЛЮДИ

Лицензия № 063348 от 13 мая 1994 г.

Подписано в печать 16.12.1997 г. Формат 84×108/32.
Бумага офсетная №1. Печать высокая. Уч.-изд. л. 29,2.
Усл. п. л. 27,72. Тираж 10 000 экз. Заказ 9.

Издательство «Надежда-1»
129366, Москва, ул. Космонавтов, 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.



До крайнего порога
вели его, спеша, —
алтайская порода
и добрая душа...
Пожалуйста, ответьте,
прервав
хвалебный вой:
вы что,
узнав о смерти, —
прочли его
впервой?!
Пожалуйста, скажите,
уняв
взыгравший пыл,
неужто он
при жизни
хоть в чем-то хуже
был?!
Полипные застолья,
заупокойный звон...
Талантливее —
что ли? —
Стал
в черной рамке
он?!
Убийственно жестоки,
намеренно горьки
посмертные
восторги
надгробные
дружки.
Столбы
словесной пыли
и фимиамный дым...

А где ж вы раньше
были,
когда он был
живым?

Роберт Рождественский